

Звезда

2004/9

Handwritten text in German script, likely a letter or poem, partially obscured by a dark, textured overlay.

**ПОСВЯЩАЕТСЯ
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ**



СТЕФАН ГЕОРГЕ
12 VII 1868 — 4 XII 1933

* * *

Давай построим солнечное царство
Где радость будет нам с тобой нарядом
Чтоб рощи и поля — всю эту яркость
Она благословила пред распадом.

Мы этой жизнью насладимся вдоволь
Мы будем благодарными гостями
Ты сочинишь к ней музыку и слово
И в ветви грусть взовьется соловьями.

Мелодия твоя как зыбь пространства
Как серенада что пропета скрипкой
Ты учишь в ней простому постоянству
И слезы прячешь за скупой улыбкой.

С терновника слетает стая птичья
И звон стрекоз затих перед грозой
Прошла — и вновь искрятся бирюзой
Цветы в слезах? такого нет обычья.

* * *

Ты помнишь как прекрасен был избранник
Что в дальних бухтах лилии ловил
И за ловитвой зорь не видя ранних
Нектар медвяный из соцветий пил?

Кто отдыхая уходил в аллеи
Сверканьем крыльев увлечен туда
И кто свою задумчивость лелея
Прислушивался к таинствам пруда.

Покинув островок камней замшелых
Струей фонтанною наскучив вдруг
Выходит лебедь чтобы гибкой шеей
Обвить ему ладони детских рук.

* * *

Когда смутят нас вновь дурные вести
Посеяв страх в наш золотой приют
Ты скажешь с верой мне: со мною вместе
Не бойся их они как сон прейдут.

Ты лишь меня от сердца не гони
Пока слепящий свет тебя не сжег
И нас обоих сад в густой тени
Не спрятал примирителен и строг.

Перевод Нины Гучинской

Звезда

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1924 года

2004/9

Санкт-Петербург



Специальный номер журнала выходит в рамках проекта ШАГИ/SCHRITTE, представляющего современную литературу Швейцарии, Австрии, Германии. Проект разработан по инициативе Фонда С. Фишера и при поддержке Уполномоченного Федерального правительства по делам культуры и средств массовой информации Государственного министра Федеративной Республики Германия на средства Фонда культуры Федеративной Республики Германия и Фонда С. Фишера.

800 экземпляров журнала печатаются при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и рассылаются по библиотекам России

380 экземпляров для школьных библиотек печатаются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства печати и информации Российской Федерации № 01589 от 21 сентября 1992 г.

Учредитель: ЗАО «Журнал «Звезда»

Директор Я. А. ГОРДИН

Соредакторы: А. Ю. АРЬЕВ, Я. А. ГОРДИН

Редакционная коллегия:

К. М. АЗАДОВСКИЙ, Е. В. АНИСИМОВ, А. Г. БИТОВ,
Вяч. Вc. ИВАНОВ, И. С. КУЗЬМИЧЕВ, А. С. КУШНЕР, А. И. НЕЖНЫЙ,
Н. К. НЕУЙМИНА, ЖОРЖ НИВА (Франция), Г. Ф. НИКОЛАЕВ,
В. Г. ПОПОВ, А. Б. РОГИНСКИЙ, И. П. СМИРНОВ (Германия),
Б. Н. СТРУГАЦКИЙ, С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ, А. А. ФУРСЕНКО

Редакция:

Д. К. ДАТЕШИДЗЕ (публицистика)
Е. Ю. КАМИНСКИЙ (проза)
А. А. ПУРИН (поэзия, критика)
А. К. СЛАВИНСКАЯ (иностранная литература)

Зам. гл. редактора В. В. РОГУШИНА
Зав. редакцией Г. А. КОНДРАТЕНКО. Отв. секретарь А. А. ПУРИН
Корректоры: Н. В. ВИНОГРАДОВА, О. А. НАЗАРОВА
Компьютерная группа: А. В. МУРАТОВА, Е. Ф. ШАРАЕВА
Зав. компьютерно-информационным отд. С. А. ШАРАЕВ

Художник В. А. ГУСАКОВ

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Звезды» запрещена

Информацию о журнале «Звезда» и материалы из всех номеров журнала можно найти в INTERNET по адресу: <http://magazines.russ.ru/zvezda/>
<http://www.eastview.com>

Уважаемые читатели!

Наш индекс в каталоге Агентства «Роспечать» («Газеты и журналы») — 70327, 71767
Объединенный каталог «Пресса России» — 42215 (адресная рассылка)
(Спрашивайте во всех отделениях связи России и стран СНГ)

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20. Телефоны:
соредакторы и зам. гл. редактора — (812) 272-89-48, зав. редакцией —
(812) 273-37-24, редакция — (812) 272-71-38, факс — (812) 273-52-56,
отдел реализации — (812) 273-37-24.

ЗВЕЗДА®

© «Звезда», 2004

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

РИКАРДА ХУХ

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

На британском берегу
Юный Петр тоской томится:
— Почему я не могу
Над водою взмыть, как птица!
Научиться бы у рыбы,
Как с волнами совладать,
И пускай в морскую гладь
Меня волны увлекли бы!

Море, мы ль не заодно:
Бешены, мятежны, круты?
Жаль, что смертным не дано
Разорвать земные пути.
И пускай расправит крылья
Наша вечная тоска,
Что царя, что рыбака —
Всех к земле гнетет бессилье.

Взор пылающий не вдруг
Одолеет земные грани:
Перед ним распахнут Юг,
Север плавает в тумане.
Дерзкий дух диктует зверю
Человеческий закон;
Ум заботой поглощен,
Сил своих пределы мера.

Твердь небесного стекла
Тайной полнится бесплотной;
Гусеница проползла —
Чуда символ мимолетный.
Хищны и многоголосы,
Между звездами парят
И земных терзают чад
Беспощадные вопросы.

Только жажду утолишь,
Тут как тут нужда и глупость;
А достаток значит лишь
Тягостный расчет да скупость.
Время, силы, труд привычно
Экономит человек:
Ведь людской недолог век,
А наука безгранична.

Что не словишь на лету,
То потом навек сокрыто;
Всё, что с ходу не добыто,
Ускользает в пустоту.
Вот синклит ученых скопом
Изучает мотылька:
Спинку, крылышки, бока —
Век прошел за микроскопом!

Муз беспечный хоровод
Будоражит наши чувства:
Ненадежное искусство
Тщетно смертного влечет.
Как избыть людские хвори,
Ищет многомудрый врач,
Хватъ — и умер сам, хоть плачь,
До конца с природой споря.

Мне по силам всё: в забое
Рушить каменную твердь,
Искушать отвагой смерть
На кровавом поле боя.
Мне и круг гончарный нужен!
Даже корпус корабля
Под моей рукой послушен
Мановению руля.

Рикарда Хух (1864—1947) — немецкая писательница, автор стихов, рассказов, исторических романов, историко-научных трудов и др. Широкую известность получило ее двухтомное исследование «Романтизм» (1899—1902). Произведения Рикарды Хух (новеллы, роман «История Гарибальди», отдельные стихи) неоднократно переводились на русский язык.

И тем дальше цель моя,
Чем придвинусь к цели ближе,
В том, чего достигну я,
Смысла я уже не вижу.
Словно по дороге горной
Я всю жизнь иду вперед,
И все шире предстает
Мне огромный мир просторный.

К невозвратным временам
Нет пути назад, я знаю:
Потерял еще Адам
Путь к утраченному раю.

Вспыхнут новые желанья
Сквозь золу былых утех —
Вечен будущего бег,
Вечно наше отставанье.

Я есмь царь — не для того ль,
Чтобы здесь, в земной юдоли,
Навязать огромность воли
Миллионам чуждых воль?
Над народом вознесенный,
Я силен миллионом сил:
Всё, чего б я ни просил,
Мир отдаст мне потрясенный.

* * *

Всё рукотворное бренно в мире:
Высокостенный пал Илион,
Богатства, хранимые в пышном Тире,
Стали добычей волн и времен.

Где фавны мраморные и наяды?
В прах обратился их блеск живой.
Полуразрушенные колоннады
Заметает осень листвою.

Всё, что мы создали, берегли веками,
Передать мечтали потомкам в дар —
Всё без остатка поглотит пламя,
Истребит беспощадный пожар.

Но солнце и звезды на небосводе,
Дети богов, над земной тщетою
Блещут без усталы в хороводе
Юностью, мощью и красотой.

* * *

Они присвоили венки, награды,
Рукоплесканий гром,
Их изваянья высятся кругом.
В их честь — и звон фанфар, и труб рулады,
А на тебя глядят надменно,
Но сколько бы тебя ни унижали,
Народ мой, ты потупился, притих,
Покуда Муза огненным перстом
Твои дела заносит на скрижали.
Ты напоказ не обнажаешь ран,
Но помни, что когда-нибудь потом,
Когда уже мы все сойдем со сцены,
Трагический тебя помянет стих,
Поведает о подвигах бесплодных,
И неподдельной славой осиян,
Останешься ты в душах благородных.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Когда-нибудь нам с тобой предстоит разлука,
Мой дорогой,
Не будет ни поцелуя, ни взгляда, ни звука
За той чертой.

Повесть, милая повесть придет к эпилогу
О нас вдвоем.
А рассказать бы можно еще так много
Из тома в том.

Прекрасная тема — и дальше бы ей развиваться,
Как до сих пор,
Добавить, пожалуй, каких-нибудь вариаций —
Мажор, минор.

Бессмертная музыка смолкнет — но неужели
Растает звук,
И хор распадется, забудется всё, что мы пели
С тобой, мой друг?

Всё обольщение искусства, любви, улыбки,
Весь этот рай,
Звездное пение, ласка флейты и скрипки, —
Прощай, прощай!

Останется только взгляд, слезами набухшие веки
Лукавых глаз,
Всё понимающих, жалких, любимых навеки —
В последний раз.

Перевод Елены Баевской

БОРИС ХАЗАНОВ

КСЕНИЯ

НОЧЬ С СУББОТЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Думаю, что мне все-таки следует записать это маленькое происшествие. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто возвращался мыслями к русскому походу; странным образом война напомнила о себе не тогда, когда я готовился к выступлению, а во время концерта.

Месяц тому назад Z отпечтала и разослала приглашения. В программе Шуман, трехчастная фантазия C-Dur, ор. 17. Могу сказать без лишней скромности: не каждому музыканту по зубам эта вещь. Не стану утверждать, что я достиг высот мастерства, куда уж там, но меня когда-то хвалил Вернер Эгк. Обо мне однажды лестно отозвался сам Рихард Штраус. *Ce n'est pas rien.**

Дом Z от меня в десяти минутах езды: двухэтажный особняк с флигелем; позади круто поднимается лес — собственно, это уже окраина поселка. Z приходится мне дальней родственницей. Муж, по профессии архитектор, провел семь лет в лагере военнопленных на Урале, вернулся еле живой. В Андексе, в галерее у входа в монастырскую церковь, висит, среди других приношений, благодарственный крест, который баронесса сама тащила вверх по тропе паломников; образцовая католическая семья, что вы хотите. Спустя полгода архитектор умер. Я остановил машину возле калитки, вылез и, встреченный Алексом, с папкой под мышкой, прошествовал к дому. На мне был фрак, крахмальная манишка, черная бабочка, Z увидела меня в окно. Алекс крутился вокруг моих ног, виляя хвостом, поцелуи, комплименты, она ослепительна в своем черном платье с кружевами и воланами, бледно-лиловая прическа, нитка старого жемчуга, да и я, по общему мнению, неплохо сохранился для своих лет.

Собралось не меньше двадцати человек. Большая гостиная отделена аркой от комнаты, которая служит сценой, там стоит рояль. Я выхожу из укрытия под жидкие аплодисменты и чувствую, что забыл все, от первой до последней ноты. Знаю, что великие пианисты дрожали от страха всякий раз, выходя на сцену, этот страх, этот трепет — не просто боязнь потерять благосклонность публики. Ты уполномочен сообщить нечто чрезвычайно важное, нечто такое,

* Это кое-что значит (*фр.*).

Борис Хазанов (Г. М. Файбусович; род. в 1928 г. в Ленинграде) вырос в Москве. Прозаик, эссеист, переводчик. По образованию — врач. В 1949 г. осужден на 8 лет за «антисоветскую пропаганду». Сотрудничал в самиздатских изданиях («Евреи в СССР» и др.). Эмигрировал в 1982 г. Автор многочисленных журнальных и книжных публикаций в России и на Западе. Живет в Мюнхене.

что поднимается над тусклой повседневностью. Тот, кто не испытывает волнения, усаживаясь за рояль перед слушателями, не заслуживает права называться музыкантом, это ремесленник, это чиновник, который садится за свой стол. Я это знаю, и мне от этого несколько не легче. Беата, милая девушка, уже сидит наготове, чтобы переверачивать ноты, которые мне не нужны, не далее как вчера мы еще раз прорепетировали всю вещь, я знал ее назубок, но сейчас мне придется по крайней мере первые пятнадцать-двадцать тактов читать с листа, прежде чем опомнится моя память.

С тяжелым чувством я остаиваюсь перед инструментом, руки по швам, старый идиот, солдат разгромленной армии, и кланяюсь коротким, судорожным движением. Я сижу на кожаном сиденье, мне неудобно, я ерзаю, подкручиваю винт, зачем-то разминаю кисти рук, барышня смотрит на меня, я смотрю на пюпитр, чувствую, как четыре десятка глаз следят за каждым моим движением, ах, прошли те благословенные времена, когда, как в Сан-Суси, король стоял с флейтой, а гости слушали и не слушали, и не смотрели на исполнителя, стоял пристойный шум, кавалеры отпускали mots, дамы обмахивались веерами... С самого начала, когда, словно чудо, из волн сопровождения рождается простая нисходящая тема, робкая мольба о встрече, — с самого начала я взял неверный темп. Наверняка кто-нибудь из сидевших это заметил. Вскоре появляется вторая тематическая линия, я овладел собой, музыка подхватила меня, словно немощного инвалида, и даже это труднейшее место, где так часто пианисты промахивают клавиши, последние полминуты первой части, удалось сыграть, как мне кажется, более или менее сносно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 3 ЧАСА НОЧИ

Я принял снотворное, заведомо зная, что не подействует, и, конечно, сна ни в одном глазу. А все-таки — почему, садясь за рояль, я так волновался, было ли это подсознательным чувством опасности, предвестием воспоминания, о котором я уже говорил? Что-то заставило меня отвести глаза от клавиатуры во время короткой паузы после *Kopfsatz**. Покосившись на публику, я наткнулся на недобрый, как мне показалось, прищуренный взгляд человека, сидевшего у окна в последнем ряду стульев.

Когда все кончилось (я был награжден аплодисментами, отходил в уголок, снова выходил, сыграл еще два этюда собственного сочинения, чего делать не следовало, затем гости, едва дослушав, с тарелками в руках ринулись к закускам), когда, стало быть, я вышел один на крыльцо, было уже совсем темно, над домом и лесом горели созвездия. Я давно не курю, но не расстаюсь с трубкой. Сейчас осень, вечерами прохладно, а тогда было лето в разгаре, июль... Поздно вечером в землянке полкового командира мы слушали С-Dur'ную фантазию. Кто играл, теперь уже невозможно вспомнить...

На столе коньяк, радиоприемник, в банке из-под галет «Алая Лизхен» с мелкими глянцевыми листочками, и мы сидим, околдованные сдержанно-страстной темой, которая царит над взволнованным сопровождением. «Там у Шумана есть эпиграф, — сказал полковник. — Сквозь все звуки тихий звук... Не помню дальше». — «Для той, кто ему внимает», — подсказал я. Кстати, он был убит на следующий день при объезде позиций, прямое попадание с бредущего полета.

Я вернулся в гостиную, гости уже прощались, в передней говор, суета. Все как в порядочном консервативном доме, дамы протягивают руки, мужчины склоняются (поцелуи отменены), девушки делают книксен. Мимоходом Франциска коснулась моей руки, это значило, что она просит меня задержаться.

* Первой части (нем.).

11 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Память у меня, благодарение Богу, не ослабела, однако не помешает свертиться. Конечно, с тех пор, особенно в шестидесятые годы, когда все вдруг принялись вспоминать, появилась уйма всевозможных записок, дневников и проч.; сколько там, однако, искажений, умолчаний, ошибок памяти. Смею думать, что эта стопка тетрадей в коленкоровых переплетах не лишена исторической ценности. Я храню ее в столе под ключом. Мои сверстники, те, кто уцелел, по большей части вымерли. Не исключаю, что для моих записей найдется издатель — только уж, ради Бога, после моей смерти.

Итак, 1942 год: двадцать четвертого июля (здесь стоит дата) мы приблизились к излучине; отсюда, повернув почти на 90 градусов, могучая река устремляется на юго-запад к Азовскому морю. Наша цель — мосту Калача. Это название можно перевести как пшеничный хлеб. Сколько полей пшеницы, ржи, еще каких-то злаков, подожженных отступающим противником, мы оставили за собой! Местность становится все более плоской, время от времени ее пересекают неглубокие овраги. По вечерам я слышу из ржи, совсем близко, бой перепела — высокий металлический звук, слегка приглушенный, как будто карлик под землей постукивает молоточком. Коршун в небе высматривает мышей-полевок...

Разбитая и деморализованная сталинская армия уходит от нас быстрее, чем мы можем ее настигнуть, перед нами никого нет, позади нас подвоз опаздывает — снабжение отстает, пожалуй, это не совсем хорошо. День за днем монотонный лязг гусениц, гранадеры, стоя по пояс в открытых люках, без шлемов, подставили головы горячему ветру. Следом за танковыми колоннами пехота шагает по пыльному тракту, с засученными рукавами, в коротких штанах, горланя песни. Лето в разгаре, ни капли дождя за последние несколько недель, в бледно-лиловом мареве едва можно различить горизонт. Пьянящее чувство затерянности в этих азиатских степях... Но осталось уже немного. Еще пятьдесят, еще тридцать, двадцать километров, — мы увидим сверкающее лезвие Дона.

Давно уже все было убрано на кухне и в гостиной, Беата и другая женщина, полька, нанятая ей в помощь, отправились спать. Алекс растянулся на коврике в прихожей. Франциска, успевшая сбросить свое прекрасное платье и облачиться в длинный, до пола, капот, проверила запоры и поднялась наверх, где я ждал ее в комнатке рядом со спальней.

После нашей многолетней связи мы остались друзьями, так и оставив открытым вопрос о браке, который мог бы, кстати, помочь решению еще одной проблемы. Понимаю, что все эти вещи в значительной мере потеряли свой вес, национальные традиции, ветер истории, который веет на нас со страниц Ранке, Трейчке, Ниппердея, — увы, — скомпрометированные понятия. Имя, которое я ношу, словно доносится из саги о Фридрихе Рыжей Бороде, который спит в пещере со своей дружиной, спит и видит сны — о чем? О том, что он когда-нибудь проснется и протрет глаза?..

Er hat hinabgenommen
Des Reiches Herrlichkeit
Und wird einst wiederkommen
Mit ihr, zu seiner Zeit.*

Мой предок снабжал винами императорский двор, вот откуда Trinkhorn** с крылышками в нашем гербе. На семьдесят восьмом году жизни я имею осно-

* Величие своего царства унес он туда с собой, но дайте срок — он вернется, и с ним вернется блеск его державы (нем.; из баллады Фр. Рюккерта).

** Сосуд для питья в форме рога (нем.).

вания полагать, что уже недалеко то время, когда этот герб займет место в альбоме угасших фамилий. Короче говоря, я последний в моем роду.

Женившись на Z, я мог бы усыновить ее детей. Старший, адвокат, — ему под шестьдесят, с первой женой расстался, теперь снова женат, — присоединил бы к своему баронскому имени мое, более звучное, и положение было бы спасено. Тем не менее такой выход и сейчас, как десять лет назад, кажется мне абсурдным. Почему? Ответить непросто. Отчасти из-за финансовых дел моей бывшей подруги, в которые я предпочитаю не входить. Отчасти просто потому, что теперь уже поздно. Думаю, что и она, если прежде и подумывала о брачном союзе со мной, теперь пожала бы плечами, случись нам заговорить об этом. Это было бы просто смешно. Впрочем, у других это не вызвало бы удивления. О нашей связи все знали. В нашем кругу всем все известно друг о друге. Разумеется, и покойный Z был более или менее в курсе. С Франциской мы учились в Салеме, мы ровесники. (Архитектор был на 12 лет старше.) Мы даже обручились тайком и потом вспоминали об этом с усмешкой. В наших отношениях было много странного. Бывало так (уже после моего возвращения из американского лагеря интернированных), что она присылала мне записку примерно такого содержания: «Мы перестаем встречаться, перестаем звонить друг другу, это необходимо, чтобы сохранить нашу любовь». После чего мы месяцами избегали друг друга, пока, наконец, не раздавался телефонный звонок, не присылалось приглашение на домашний концерт, не назначалось свидание в городе, в нашем любимом кафе «Глокеншпиль» на углу Розенталя и площади Богоматери: «необходимо обсудить некоторые вопросы», — а какие, собственно, вопросы?

С ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

«Устала, сил нет, — сказала она, усевшись напротив меня. (Я возвращаюсь к нашему разговору вечером после концерта.) — Ты прекрасно играл... Особенно этот ноктюрн в финале».

Мне хотелось возразить, что я не вполне доволен своим выступлением; она как будто угадала мою мысль.

«Поздно, друг мой. Время сожалений прошло».

Я спросил: что она хочет этим сказать?

«Что нет смысла жалеть о том, что ты не стал профессиональным музыкантом».

«Знаешь, — проговорил я, — мне вспомнилось...»

«Ах, лучше не надо».

«Но ты же не знаешь, о чем я».

«Не надо никаких воспоминаний».

«Представь себе... — сказал я. Тут оказалось, что я забыл, как звали полковника, убитого на другой день. — Представь себе, я эту вещь слушал однажды на фронте. По радио из Мюнхена... Может быть, ты была на этом концерте, в зале «Геркулес»?»

«Когда?»

«В сорок втором, в июле».

«Не помню. Не думаю. Да и какие концерты в июле».

Нет, сказал я, это было в июле, память у меня, слава Богу, все еще...

Утро, меня зовут, это г-жа Виттих, которая ведет мое жалкое хозяйство; вот на ком следовало бы жениться.

ВЕЧЕРОМ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Распорядок дня безнадежно разрушен, и это, к несчастью, уже давно не новость. Днем меня одолевает сонливость, я дремлю в кресле, а сейчас ощу-

щаю прилив какой-то нездоровой бодрости, беспокойство заставляет меня вскакивать то и дело из-за стола; о том, чтобы лечь в постель, не может быть и речи. Старый Фриц* считал спанье привычкой, от которой можно отстать. Ему удалось сократить сон до четырех часов в сутки. Мне не нужно принуждать себя, скоро я в самом деле разучусь спать. Мы рвемся вперед. Мы движемся мимо черных пятен выгоревших злаков, налетает порывами горячий ветер, клубы праха заволакивают уходящие вдаль колонны. За спиной у нас зловещее красное солнце садится в пыльной буре. Холмистая степь — как огромные качели: вверх, вниз.

На короткое время проясняется дымное марево. Шелест, угрюмое потрескивание — степь горит. Рыжее пламя перекидывается с места на место, катится, как бес, расставив руки в лохмотьях, по полям спелой ржи. Внезапно мы сталкиваемся с противником. Автомобиль наблюдательной службы, в котором я стою рядом с лейтенантом, шарахается влево, в сторону от передового клина. Но что это за противник! На короткое время видимость проясняется, в слепящем свете заката мы видим перед собой кучку солдат в пилотках, без шинелей и без погон, в русской армии отменены погоны. Шофер дает газ, мы несемся навстречу, машина резко тормозит. Лейтенант, с пистолетом в руке, кричит: «Руки вверх!»

Первое августа. Воздушная разведка показала, что противник спешно соорудил укрепления на западном берегу для защиты моста. Фронтальное наступление вряд ли достигнет цели, 6-я армия, при поддержке двух танковых корпусов, должна будет обойти оборонительные позиции противника с флангов. 14-й корпус (куда мне предстояло направиться), двигаясь вдоль реки, ударит противника в спину. Если это удастся, мы подойдем с юга к Калачу и сумеем овладеть мостом прежде, чем он будет взорван. Дальняя цель после успешной переправы — излучина Волги, которая вместе с дугой Дона образует подобие буквы икс. На излучине стоит самый большой город, который нам предстоит увидеть после Харькова, — Сталинград...

НОЧЬ С ПОНЕДЕЛЬНИКА НА ВТОРНИК, 2 ЧАСА

Не могу отвязаться от тогдашнего нашего разговора. Какие-то пустяки; обратил ли я внимание на Лубковиц, как она постарела!

Я пробормотал: «Что тут удивительного. Ей сто лет».

«Ты скажешь!»

«Что тут удивительного, мы все постарели... Кроме тебя, разумеется».

«Да, время бежит».

Мы умолкли, я обвел глазами фотографии на стене, на затейливом бюро старинной работы — давно знакомые лица. Девочка в белых бантах, в платице с оборками сидит на стуле с резной спинкой, ноги в высоких зашнурованных ботинках не достают до пола — это она сама. В каждом дворянском доме сидят такие девочки в круглых, овальных, прямоугольных рамках. Щеголь с пышными усами, в канотье — отец Франциски. Гувернантка: круглая прическа, похожая на птичье гнездо, блузка с высоким кружевным воротничком до подбородка, отчего шея походит на горлышко графина, с обеих сторон, уткнувшись в широкую темную юбку мадемуазель, — Франци и маленький братик. Смутное лицо в постели — это их мать: умерла от родильной горячки через десять дней после рождения сына. Франци в форме салемской воспитанницы. Молодой человек, брат Франциски: матросская форма, лицо подростка, в самом начале войны пропал без вести. Офицер с Железным крестом — фрейгер** фон Z. И так далее. Меня здесь, разумеется, нет.

* Фридрих II Прусский.

** Барон.

Я спросил — почему-то он мне вспомнился, — кто этот господин, сидевший в последнем ряду.

«М-м?» — отозвалась она. О чем-то задумалась. Мне пришлось повторить свой вопрос. Он был ей представлен, но она не помнит его имени; кажется, американец. Почему он меня интересуется?

Я пожал плечами, не зная, что ответить. Сейчас я мог бы добавить, что тревога, которую якобы внушил мне его пристальный взгляд, — скорее всего обратный эффект памяти: просто я испытал мимолетное любопытство, заметив среди знакомых лиц нового гостя. Задним числом мы приписываем незначительным происшествиям смысл, которого они вовсе не имели.

Наверняка я забыл бы о нем, если бы вечером не раздался телефонный звонок. Я снял трубку, раздраженный тем, что звонят так поздно.

Незнакомый голос осведомился, говорит ли он с таким-то.

«Да».

«Меня зовут... — я не мог разобрать его имени. — Извините...»

«Что вам угодно?»

«Я здесь проездом», — сказал он.

«На und?»*

«Я был на вашем вечере».

Голос с американским акцентом — Франциска была права. Но почему я решил, что это тот самый человек?

Человек молчал.

«Послушайте...» — сказал я. Он перебил меня, почувствовав, что я сейчас положу трубку:

«Я хотел бы попросить вас об одном одолжении».

Эта фраза была для него, по-видимому, сложна, он произнес ее спотыкаясь. Или уж очень робел?

«Я вас слушаю», — сказал я по-английски.

Что-то показалось мне убедительным в том, что он мне сказал, и мы условились встретиться в кафе «Глокеншпиль».

ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ, ВТОРНИК

С утра мягкая, расслабляющая погода, фен; воздух так прозрачен, что с крыльца моего дома я могу различить далекую гряду гор. Эти горы всегда зовут к себе. Собственно, у меня было много других дел; но, повинаясь этому зову, я сел за руль и отправился туда, где начинаются отроги Альп. Пронесся по автострадам мимо Отгобрунна, мимо Вейярна, долго ехал вдоль восточного берега Тегернзее. Огромное спокойное озеро сверкает за деревьями, в промежутках между вилами, за террасами кафе. К полудню, по извилистому пути между перелесками, спящими вечным сном хуторами, деревьями с неперменной церковкой почти кукольного вида, не доезжая пятнадцати километров до австрийской границы, добираюсь до Руссельгейма. Здесь находится наше бывшее владение, проданное отцом еще в моем детстве. Дом с башенкой на месте когда-то существовавшего замка принадлежит местной общине, ныне в нем разместилось благотворительное учреждение.

Я оставил машину перед воротами, прошагал через парк, приблизился к небольшому, окруженному кустарником, отгороженному невысокой кирпичной стеной участку. Я сижу на скамейке. За кладбищем плохо ухаживают, цветы завяли. Прямо передо мной на почетном месте покрытая плесенью, со стер-

* Ну и что? (нем.)

шейся позолотой плита с моим именем, титулом и щитом. Но это не я, меня здесь не будет, маленький некрополь считается закрытым.

Это мой дед, обергофмаршал вюртембергского двора, посредственный музыкант и поэт, замечательная личность. О нем, между прочим, существует такой рассказ: однажды он познакомился с потомком ландграфа Филиппа Гессенского. Этот Филипп когда-то посадил в крепость одного нашего предка, который тоже был стихотворцем, автором сатирических куплетов о некоей даме по имени Лизбет, наложнице ландграфа. При этом он называл ее Беттлиз*. Любимец муз просидел взаперти чуть ли не двадцать лет, и до тех пор, пока ландграф не отправился к праотцам, ему носили еду из дворцовой кухни.

Так вот, мой дед как-то раз встретился с прапраправнуком ландграфа Филиппа. «Я, — сказал он, — хочу сделать то, что вовремя не было сделано». — «Und das wäre?»** — «Вызвать тебя на дуэль!» — «Я готов к услугам», — ответил тот. Оба расхохотались и три часа спустя вышли, обнявшись, из какого-то славного швабского погребка.

Гисторические анекдоты, хе-хе. Однако мы изрядно разболтались, временами даже, того не замечая, раговариваем вслух сами с собой. Характерный симптом старческого слабоумия. Что еще сказать о моем дедушке? Воинственность не принадлежала к числу его добродетелей. Думаю, что король Вильгельм был для него в этом отношении примером, в отличие от своего прусского тезки. *** Король не любил военную службу, не бряцал шпорами и не красовался в мундире с орденами, свой ежеутренний моцион совершал в котелке и крылатке, пешком по улицам Штутгарта.

Два одинаковых, невысоких каменных креста — два моих двоюродных деда, погибших в Первую мировую, здесь их нет, один лежит во Фландрии среди полей, заросших маком, другой пал под Верденом. А вон там замшелая гробница — моя бабка, померанская княжна: взбалмошная особа, сумевшая восстать против себя весь клан... Другие; их здесь немного, но за ними тени тех, дальних, совсем дальних... Я пообедал в Гмунде какой-то местной дрянью, сидел, посасывая трубку, за столиком у воды (погода отличная) и думал: не предаю ли я моих предков тем, что никого не оставляю после себя, не было ли моим долгом продолжить их род?

Время приблизилось к вечеру, багровое светило моей жизни, под пологом туч, опускаясь, палило в окна, и что же удивительного в том, что мне снова приснилась степь. Очнувшись, я с трудом опознал свое жилье (было уже темно), хотел принять душ, чтобы освежиться, но не мог заставить себя встать на ноги, сон, похожий на обморок, сковал мое тело, а главное, я не мог убедить себя, что нахожусь здесь, а не там. Я сидел, согнувшись, на диване (мне все-таки удалось сесть), но вполне возможно, что комната, и мой дом, и кресло перед смутно рисовавшимся в потемках письменным столом — с выдвинутым нижним ящиком — были всего лишь призраком одурманенного мозга, а на самом деле я сижу на кожаном сиденье рядом с шофером, нас потряхивает, я снимаю фуражку, чтобы утереть пот, солнце спускается к горизонту и слепит глаза. Навстречу плетется мужик в оборванной одежде. Немного дальше стоят крестьянки с лопатами по обе стороны дороги, которую они чинят, засыпают выбоины землей. Широкие краснощекие лица, блондинки с татарской примесью. И глядя на эти сияющие глаза, на эту высокую грудь, покойно дышащую под белой блузкой, и широкую синюю юбку до колен, я испытываю острый укол вожделения, я чуть было не остановил машину, чтобы выйти и обнять степную красавицу, — черт возьми, женщины всегда принадлежали победителю!

* Игра слов: Bett-Lis(e) означает «постельная Лиза».

** А именно? (нем.)

*** То есть кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна.

ОКОЛО ПОЛУНОЧИ

На другой день (на другой день после чего? Я листаю мои записи полувековой давности) я прибыл в штаб 6-й армии в Харькове, куда был прикомандирован с особым поручением; к этому времени некоторые решающие события весны и лета были уже позади. Противник предполагал начать крупномасштабное наступление, Сталин хотел доказать себе и своему народу, что наше поражение под Москвой не было следствием внезапно грянувших полярных морозов. И что же? За каких-нибудь пять дней генерал Клейст со своими одиннадцатью дивизиями рассекал и опрокинул русских, форсировал Северский Донец юго-восточнее Харькова и соединился с 6-й армией Паулюса — три русские армии оказались в котле. У меня записан разговор с одним высоким чиновником в главной квартире: «Жаль, что нам не попался в руки Тимошенко. Фюрер заготовил для него Железный крест с дубовыми листьями в благодарность за все, что он сделал для нашего успеха».

Кто такой был Тимошенко? (Если я правильно воспроизвожу это имя.) Не могу вспомнить. Да и кого это может интересовать. Какой-то бездарный большевистский маршал, потерявший две армии возле Барвенково, говорят, Сталин его потом сослал в Сибирь... Стремительное продвижение к Донцу — две недели спустя мы уже юго-западной Купянска, в июле — Острогожск...

Кончено; под этим давно подведена черта. Прихлебывая старый, верный арманьяк, напиток, к которому я всегда испытывал слабость, я вспомнил фразу одной француженки: «L'alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi».* И все-таки... все-таки. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто вспоминал об этих временах, бесконечно далеких; разве только изредка, во сне; а тут, по-видимому, произошло то, о чем говорит Пруст, только роль *petites madeleines*** сыграл этот злополучный концерт в доме Франциски Z, вдруг воскресивший в памяти тусклое сияние керосиновой лампы. А там уже банка с «Алой Лизхен», радиоприемник на столе у полкового командира, которого я навестил в связи с необходимостью уточнить кое-какие подробности нашего наступления... То, что определенно представлялось закрытой главой жизни, — подобно тому, как сдают в архив судебное дело, — приходится поднимать сызнова, как говорят юристы, «ввиду вновь открывшихся обстоятельств».

СРЕДА

Я, кажется, упоминал о том, что подростками мы провели несколько лет в Салемском монастыре, где незадолго до того Курт Ган основал на деньги принца Макса Баденского школу-интернат. Наша детская любовь окончилась тем, что отец взял Франциску из школы, семья переехала в Эгерланд, в бывшую Судетскую область (я не люблю это название, предпочитаю по старинке называть ее Немецкой Богемией), в поместье, полученное в наследство от тетки. Что происходило в конце войны, известно; по чешскому радио прохрипел голос нового президента Бенеша: «Горе немцам, мы покончим со всеми». Он добавил: «У них останутся только носовые платки, утирать слезы». Какое там утирать слезы. Никто не знает, сколько людей среди сотен тысяч изгнанных, бежавших, волоча за собой ручные тележки с детьми и старухами, погибло от голода и болезней в пути, а то и попросту было убито. Те, кто уцелел, разбрелись кто куда, по Австрии, по Баварии. Когда я прибыл домой из плена, оказалось, что Франци — моя соседка. Ее супруг, как я уже говорил, вернулся из России, когда уже никакой надежды на возвращение не оставалось. Мы оба встречали его на перроне. Барона вынесли из вагона на носилках.

* Алкоголь отрезвляет. Два-три глотка коньяку, и я о тебе больше не думаю (фр.; Маргерит Юрсенар).

** Бисквитное пирожное; см. «В сторону Свана. Комбре».

В тот же вечер Z сказала мне, что наши отношения должны быть прекращены. Я согласился с ней. Франци было в это время сорок с чем-то, и можно сказать, что она была в расцвете красоты: все, чем она пленяла меня, было при ней. Франци — типичная баварка, из тех невысоких, дивно сложенных, темноглазых и темноволосых женщин с явной примесью латинской крови, которых считают потомками римских легионеров. Мы сидели — отлично помню — в полуосвещенной гостиной, той самой, где я играл пять дней назад Шумана, в те времена она была, конечно, обставлена не так, как теперь. Было за полночь. Большой спал наверху. Я встал, чтобы проститься. Она остановила меня.

«Ты должен понять, — сказала она. — Мы оба должны понять... Он перенес столько мук. Он воевал за отечество. Да и ты тоже».

«Я не знаю, за кого я воевал», — возразил я.

«Не понимаю».

«Не за этих же ублюдков».

«Я говорю об отечестве... Хорошо, — сказала она, — не будем об этом, я женщина, политика меня не касается. Я женщина, и я тебя люблю. Я и его люблю».

«Франци, — сказал я. — Тебе не в чем оправдываться. Нам обоим не в чем оправдываться. Что было, то было. У тебя теперь новые обязанности. Останемся друзьями».

И я снова поднялся; мы стояли друг против друга.

«Alors, c'est arrêté?» — сказал я, улыбаясь.

«C'est arrêté.* Посидим еще немножко».

Она вышла. Я сидел, заложив ногу за ногу, на канаве и смотрел на язычки пламени. Франциска любила сидеть при свечах.

Она вошла в домашнем халатике, туго подпоясанная.

Видимо, она хотела что-то добавить к разговору, но все уже было сказано, и я подумал, что мне следовало бы исчезнуть до ее возвращения.

«Я уж думала, ты не дождался и ушел. Неужели это последний вечер, — проговорила она, садясь рядом со мной. — Но ведь мы остаемся добрыми друзьями, ты сам сказал... Барон тебя ценит. Ты будешь по-прежнему бывать у нас. А когда он немного окрепнет, мы сможем все вместе куда-нибудь поехать».

«Куда?» — спросил я.

«Куда-нибудь далеко. — Она встала. — Но имей в виду...»

С мечтательно-отсутствующим выражением, которое было мне так знакомо, вздохнув: «Имей в виду. Мы дали друг другу слово. Мы прерываем наши отношения, чтобы... чтобы навсегда сохранить память о нашей... да. И о том, как мы отказались друг от друга...»

Как давно это было. И как недавно... Вступительная речь окончена, халат лежит на полу, в мистическом сиянии Франциска стояла передо мной в черном ореоле волос, невысокая, сложенная как богиня, с узкими опущенными плечами, с повисшими вдоль стана руками, с кружками сосков и треугольником в широкой чаше бедер. В этой позе — я чуть не сказал, в позировании — было что-то трогательно-нелепое, почти пародийное, словно мы разыгрывали сцену соблазнения. И при этом она остро, исподтишка следила за мной. Я понимал, что малейшая усмешка, легкое движение губ испортили бы все. Да я и сам, кажется, поддался этому настроению. Это продолжалось две-три секунды, не больше; тотчас она отвернулась, якобы устыдившись; известная театральность всегда была чертой ее характера и поведения. Вероятно, она полагала, что таким способом исполнила свой долг по отношению к мужу, и не ее вина, что обстоятельства оказались сильнее ее добродетели. К числу этих обстоятельств, разумеется, принадлежала невозможность возобновить супружеские отношения с бароном. Поразительная свежесть воспоминаний. Сладкая судорога, о которой вспоминаешь сейчас, как о потерянном рае... Мне незачем добавлять, что все между нами осталось по-старому.

* Так решено? — Решено (фр.).

ТРЕТИЙ ЧАС НОЧИ С ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ

Итак, я с ним увиделся, это было вчера... Или позавчера? Я что-то путаю. Конечно, было бы лучше записывать по свежим следам. Но мне надо было справиться с мыслями, переварить этого человека.

Я редко пользуюсь машиной в городе; обыкновенно оставляю свой BMW на стоянке в Пазинге, оттуда до центра на S-Bahn.* Выехав наружу на эскалаторе перед новой ратушей, я пересек площадь, вошел в подъезд за углом и поднялся на лифте. Хорошо помню взгляд этого господина, я совершенно не представлял себе, как он выглядит. Кроме того, как известно, там есть еще один зал. Заведение процветает, это было видно по тому, что даже в эти часы ресторан не пустовал. Ни одного лица, которое напомнило бы мне человека, назначившего свиданье; как вдруг сзади раздался его голос с англосаксонским акцентом: он извинился, что заставил меня ждать. Я возразил, что сам пришел только что. Первые реплики очевидным образом предназначались для того, чтобы умерить обоюдное смущение.

Молодой человек был лет сорока с небольшим, выше меня ростом, полноват, даже несколько рыхл и мешковат, широкое розовое лицо, ранняя лысина. Предупредителен, пожалуй, даже слишком любезен. Суетился, подвигая мне стул. Преодолеть неловкость было, однако, нелегко, и сейчас я спрашиваю себя: в чем дело? Он просил меня о встрече, он хотел поговорить «по одному вопросу», — по какому вопросу? Поняв, что он мне малосимпатичен, что я недоумеваю, зачем нам понадобилось увидеться, он смутился еще больше, забывал немецкие слова, разговор перескакивал с одного языка на другой. Он немного рассказал о себе: ничего интересного. Холост, окончил экономический колледж в Пенсильвании. Служит в какой-то фирме. Что его привело в Европу? Он отвечал без видимой охоты, а на мой вопрос, откуда он знает немецкий, развел руками.

Словом, разговор не клеился и даже принял какой-то мучительный характер; еда казалась невкусной; надо было прощаться, но что-то удерживало меня и его, он как будто не решался приступить к делу, если у него было ко мне вообще какое-нибудь дело; я не пытался его ободрить; разливая остатки вина, я дал знак кельнеру принести вторую бутылку и спросил:

«Вы любите музыку?»

«Пожалуй, — сказал он. — А что вы играли?»

Вздыхнув, я молча воззрился на него. Он даже не знал, что исполнялось!

Он пробормотал:

«Германия — очень музыкальная страна».

«Чего нельзя сказать об Америке?» — съязвил я и тотчас пожалел об этом. Потупив взгляд, он кивал, но не в знак согласия, а как будто отвечая своим мыслям; поднял голову и спросил, можно ли задать мне один вопрос.

«Вы курите?»

«Нет», — сказал я.

«Я тоже не курю».

«Вы это и хотели спросить?»

Он следил исподлобья за официантом, который плеснул бордо в мой бокал. Я отпил, кивнул, официант разлил вино по бокалам. Молодой человек произнес:

«Вы, вероятно, были участником войны?»

«Так точно».

Он усмехнулся. Отставил в сторону свой бокал, отодвинул тарелку и вытащил из кармана деревянную игрушку, полосатый шарик, насаженный на ось. В моем детстве это называлось Kreisel. Игрушка была старой, от цветных полос почти ничего не осталось. Он крутанул ось двумя пальцами, шарик завер-

* Пригородные железнодорожные линии, соединенные с сетью метрополитена.

телся на столе и слетел на пол. С соседних столиков поглядывали на нас; мой собеседник наклонился, волчок вращался и описывал круги у нас под ногами.

Кисло улыбнувшись друг другу, мы подняли кубки.

ПЯТНИЦА, ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

Июль сорок второго года! Для нас нет ничего невозможного, мы занимаем все новые территории, преследуем противника по двум основным направлениям, южному и юго-восточному; согласно стратегическому плану, наступление идет в обход Азовского моря и дальше на Кавказ, это одно направление, и от Дона до Волги к Сталинграду — другое.

Ужасный случай, — здесь, в этих старых записях, о нем лишь глухое упоминание, почему? Из-за боязни, что дневник попадет к кому-нибудь на глаза, или — что кажется мне сейчас правдоподобней — оттого, что я гнал от себя все сомнения, оттого, что мы не хотели слышать, не хотели знать ни о чем, что бросало черную тень на все наши представления о воинской чести? Немецкий солдат не воюет с мирным населением! Немецкий солдат защищает мирных жителей, женщин, детей от бандитов — партизан, о жестокости которых ходили страшные слухи. И вот этот немецкий солдат, выполняя приказ немецкого офицера, сжигает из огнемета крестьянскую избу только потому, что в ней будто бы ночевали партизаны, или отнимает последнее у детей и старух, обрекая их на голодную смерть, так как ему вдолбили, что это отсталый народ, неполноценная раса.

Или этот эпизод (о котором мне рассказал майор N), когда в деревню прибыл с подразделением армейских СС некто Бенке, страшный человек, по которому — говорю это с полным основанием — плачет веревка. Не знаю, куда он делся после капитуляции, дожил ли вообще до конца войны... Опять-таки в дневнике — краткое и невнятное упоминание. И я снова спрашиваю себя: что это, политическая осторожность? Нежелание признаться, что мы, вторгшиеся в эту страну, о которой у нас не было никакого представления, явившиеся как освободители, — мы повели себя не лучше сталинских сатрапов? Бенке распорядился отобрать десять мужчин среди жителей, им связали руки за спиной и погнали по дороге, которую заминировали партизаны. Люди падали лицом вперед среди взрывов. И ведь это происходило не раз. Спустя немного времени отряд Бенке, рыскавший по окрестностям, наткнулся на убитых немцев, два десятка трупов, у которых были выколоты глаза, отрезаны уши и половые органы, это сделали партизаны. В ответ было истреблено все население округи, сожжены деревни, заколоты штыками грудные дети... А ведь еще совсем недавно нашу армию встречали с ликованием, выстраивались вдоль дорог. Нам навстречу выбегали с цветами, с угощением...

Да, скажут мне, но это СС, черная рать на службе у политиков. Не путайте ее с немецким солдатом. Немецкий солдат защищает отечество, политика — не его дело. Увы, могу в ответ лишь пожать плечами. А что сказать о смутных, страшных слухах, которые все больше распространялись — и в конце концов подтвердились! — о том, что по всей Европе, во всех покоренных областях идет охота на евреев. Во что превратилось мое отечество?

Июль сорок второго года. Острогжск... Теперь я отчетливо помню, когда и как все это началось. Попиваю напиток воспоминаний... Она права, коньяк отрезвляет — но лишь первые два глотка. Четвертый час ночи, бутылка опорожнена наполовину, я не мистик и, кажется, не подвержен галлюцинациям. Я пробиваюсь сквозь теснины прошлого, как некогда пробивалась вперед, прокладывая свой смертный путь немецкая армия. Я лежу, подложив руки под голову, и как будто вижу все перед собой.

НОЧЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

В штабе полка, допрос пленного: лейтенант, 19 лет. Белобрысый, с белыми ресницами, веснушки на лице и на руках. Ранен в голову, повязка, ослеп на один глаз. Держится спокойно, угрюмо.

Майор, который ведет допрос, настроен благодушно, предлагает мальчику сигареты. Тот, поколебавшись, закуривает, торопливо затягивается раз-другой и бросает сигарету.

«Ну что, — говорит майор, — так и будем играть в молчанку?»

Пленный воззрился на него единственным оком, повернул голову к окну.

«А?»

Пленный пробурчал что-то.

«Что он сказал?»

«Ругается», — сказал переводчик.

«Та-ак. Ну, а что ты скажешь насчет...»

Пленный то ли отвечает, то ли не отвечает, а чаще коротко кивает в ответ на вопросы или мотает головой. Собственно, то, о чем спрашивает Оланд (так зовут майора), ему и так известно, надо лишь удостовериться.

Русский смотрит на него в упор и внезапно раздражается более или менее длинной фразой. Майор лениво косится на переводчика. Тот пожимает плечами:

«Ругается... последними словами».

«Угу. Хорош».

Оланд щелкает пальцами, делает знак, солдат приносит бутылку, наполнивину опорожненную. Наливает полстакана: пей.

Парень берет стакан в руки, взбалтывает, это русская водка, намой взгляд, весьма низкого качества. Пленный делает большой глоток. Вытирает рот тыльной, темной от веснушек стороной ладони, отдувается и выплескивает остаток в Оланда.

Майор и бровью не повел. Оглядел свой мундир, перекинул ногу за ногу.

«Советую, — говорит он, — вести себя лучше. В твоих же интересах».

Допрос продолжается.

Пленный смотрит на меня, словно только что меня заметил, переводит взгляд на Оланда. Что-то отсутствующее, почти мечтательное появляется в его блекло-сером глазу, рот приоткрыт. Пленный начинает говорить. Он говорит все быстрее, по-видимому, глотая слова, и часто моргает.

Майор Оланд принимает величественный вид, задирает подбородок и медленно, через плечо, поворачивает голову к переводчику. Переводчик — балтийский немец, худой, изможденный человек.

Парень умолк и смотрит в пол.

«Нет смысла переводить...» — говорит переводчик.

Майор догадывается, мрачнеет, — ну-ка, повтори, говорит он. «Повтори, сволочь!» И пленный, тяжело дыша, снова изрыгает на нас отвратительную грязную ругань.

«Переводите. Переводите, черт побери!»

Переводчик старательно переводит.

Ты сам сволочь, переводит он, вы все сволочь.

«Дальше!»

Переводчик переводит: вы не люди, вы мразь, отбросы, дерьмо собачье, вы сраная сволочь, и вся ваша нация, ваша вшивая Германия, вас надо уничтожать, как вшей, вот увидите, мы вам еще покажем, вы еще не знаете, что вас ждет, мы вас за яйца повесим, перестреляем всех, суки поганые, вашу мать, всех до последнего.

«Молчать!» Это не пленному, а переводчику. Пленный все еще что-то бормочет. Майор, с белыми, как свинец, глазами, хватается за кобуру, смотрит вопросительно на меня, я все-таки начальство, хоть он и старше меня по званию, — ждет моего кивка. Я тоже вне себя. Ну, раз пошел такой разговор... Не глядя на Оланда, я коротко киваю. Мальчика выводят и тут же, за сараем, расстреливают.

СЕДЬМОЙ ЧАС, ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Можно по-разному отвечать на вопрос, ради чего была затеяна эта война. Когда фюрер объявил по радио, что «с шести утра ведется ответный огонь», — а это был ни много ни мало, как стоявший в Данцигской бухте, в боевой готовности, крейсер «Шлезвиг-Гольштейн», — ребенку было ясно, что не поляки нас провоцируют, а мы воспользовались первым удобным случаем для нападения, чего доброго, сами же и организовали эту провокацию.

Была ли разумная необходимость в том, что мы начали эту войну? Ответ, разумеется, зависит от политических взглядов или от наших воззрений на историю. Скажут, что геополитика есть нечто стоящее и над обыденным здравым смыслом, и над традиционной моралью. (Необходимостью начать войну был сам режим.) С другой стороны, на всякий ответ не может не повлиять знание о том, чем все это кончилось. Миллионы убитых, причем не только на фронте. Нация потеряла четверть всех мужчин. Может быть, что-то подобное этой катастрофе происходило во время Тридцатилетней войны, но в XVII веке не было бомбардировочной авиации. Наши прекрасные города в развалинах. И, что еще ужасней, в разломах и трещинах наши души. Я уж не говорю о потере имперских территорий — уничтожить на карте рейха, стереть с европейской карты Пруссию и Силезию не значит ли вырвать с мясом огромный кусок нашей истории? И, как траурный венец всему, расчленение страны. Верим ли мы все еще в исторический разум?

Безумец не считал необходимым оправдываться перед кем бы то ни было. Он и на том свете, в котле с кипящей смолой, продолжает считать себя величайшим стратегом всех времен. Говорилось и пелось на все лады, что война нужна для расширения жизненного пространства на Востоке. Для того, чтобы окончательно утвердить наше господство в Европе. Сокрушить заклятого врага — большевизм. Для разделения мира на зоны влияния между рейхом, Японской империей и Америкой. После того, как мы ликвидировали Чехословакию и Польшу, поставили на колени Францию, стало ясно, что мы, и только мы распоряжаемся историей. Оставалось только вторгнуться в Россию, в полной уверенности, что сталинская власть рухнет еще раньше, чем мы завоюем страну. После чего мы расправимся и с Великобританией. И так далее...

Но если бы вопрос был задан мне, что я сказал бы? Пусть я выжил из ума. Но я знаю ответ...

Охваченный необъяснимой тревогой, я бродил по кабинету, перебирал какие-то вещички, перекладывал ноты и книги, начал стирать пыль со статуэток, снова принялся перелистывать свои тетради.

Тянет дымом. Откуда-то тянет дымом! Это запах горящих полей, тяжелый смрад обгорелых печных труб — все, что осталось от деревни. Даты: в первых числах августа мы подошли к высотам правого берега, 8 августа они взяты. На другой день дуэль с противником, который укрылся в зарослях смешанного леса, но выдал себя вспышками орудийного огня. Это «Т-34», русский средний танк, о котором у нас много говорили, последнее достижение техники. Особо прочная броня, увеличенная шестигранная башня, пушка 85 миллиметров, два пулемета. Кажется, в то время еще не появились наши «Тигры», способные на больших расстояниях уничтожать эти танки. Чувство общей судьбы — у нас и у них. Обмен залпами кончается тем, что над противником поднимается столб черного дыма, пушка умолкает.

С полудня 23 августа 16-я танковая дивизия переходит по понтонному мосту Дон. Переправа продолжается всю ночь, в темноте взрывы, фонтаны воды обдают с головой — ночные бомбардировщики пытаются остановить движение наших войск. Дальнейшее продвижение. Я почти не узнаю свой почерк, мои руки дрожат, еле успеваю перелистывать страницы — азарт, похожий на азарт игрока, азарт наступления! Мы в Морозовской. 18 сентября мы на пути от Нижнеалексеевской к Городищу. 13 октября, осень, но все еще тепло... Вой-

ска группы А — у подножья Кавказа, прорвались к нефтяным промыслам, взяв Майкоп, горные егеря вскарабкались на Эльбрус, высочайшую вершину, теперь над ней развевается немецкий флаг. Впереди — необъятные запасы жидкого топлива в районе Баку, по ту сторону Кавказского хребта. Группа Б тем временем с боями овладела Калачом и Котельниковом. Никаких сомнений — к Рождеству кампания будет закончена. Говорят, что жестокость большевистского командования превзошла все возможное: позади линии фронта стоят отряды заграждения, которым приказано стрелять в каждого, кто попытается отступить. Перебежчики подтвердили, что есть приказ Сталина, его зачитывают в подразделениях. Там говорится о потере 800 миллионов пудов хлеба, двух третей промышленности, и что людские ресурсы Советов теперь меньше немецких, так как оставлены территории с населением 70 миллионов, и что дальше отступать некуда... Но русское отступление продолжается. Мы в двадцати, в десяти километрах от цели, и вот, наконец, как видение, как долгожданная весть, — Волга. Импозантный силуэт города, башни элеваторов, заводские трубы, многоэтажные дома. Очень далеко на севере очертания огромного собора. С трех сторон 6-я армия окружает огромный, растянувшийся вдоль западного берега на добрых два десятка километров город, с юга насаждает 4-я танковая армия.

Чуть ли не до рассвета я шагал по моему кабинету, усаживался, снова вскакивал. Кажется, у меня поднялась температура. И сейчас, и тогда. Октябрь, 27-е: в парной бане. Русские заимствовали эту идею, по-видимому, от финнов; мне необходимо преодолеть гриппозное недомогание последних дней. Меня лихорадит, баня не помогла, мы на западном берегу, занято по меньшей мере две трети города. Считалось, что огромная река поставит противника в безвыходное положение, затруднив отступление и подтягивание подкреплений, теперь же оказывается, что река препятствует и нам окружить русских.

В чем дело? Нам казалось — еще двести, еще сто метров, и мы прорвемся к воде, но как раз эти сто метров оказались непреодолимым препятствием. Мы были наступательной армией, в этом отношении нам не было равных, наступление было основой нашей военной доктрины. Сокрушить противника танковой атакой, затем очистить захваченную территорию и — дальше. Но в ближнем бою, и тем более в лабиринте большого города, где сражение шло за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом и даже каждый этаж, мы уступали противнику, несли больше потерь, чем русские, которые лучше нас ориентировались в городе и, в конце концов, дрались на своей земле, защищали свое отечество. И все же 90 процентов города к середине ноября было в наших руках.

Безумец в волчьей норе, в лесах Восточной Пруссии, уже грезил о том, как танки Роммеля, оставив за собой Египет и Ближний Восток, соединятся в Иране с танками, идущими навстречу из России. Последняя запись в моем дневнике — от 7 ноября, я болен. Накануне вечером дождь, пронизывающий холод, на рассвете степь, белая от снега, мороз 13 градусов...

Коньяк не помог мне справиться с волнением, выйдя в соседнюю комнату, я уселся за мой прекрасный, доставшийся мне от матери старый Бехштейн, поднял крышку, прошелся по клавишам... В шестом часу утра я сыграл Арабеску Шумана, томительно-волшебную, поистине утешающую горечь. Пора ложиться...

17 ЧАСОВ, ПЯТНИЦА

Мне пришла в голову странная мысль пригласить молодого человека на похороны Лубковиц. Забыл записать: еще третьего дня я нашел в почтовом ящике извещение в конверте с траурной каймой. Довольно неожиданно, ведь она была на моем концерте. Она была еще достаточно бодра. Ей было под 90. Сухонькая старушонка; троюродная кузина. Помнит ли еще кто-нибудь, что

ее предку, князю Францу Йозефу фон Лобковицу, Бетховен посвятил цикл «К далекой возлюбленной»?

Ach, den Blick kannst du nicht sehen
Der zu dir so glühend eilt,
Und die Seufzer, sie verwehen
In dem Raume, der uns teilt.*

Мне кажется, в Фантазии Шумана цитируется эта тема, вначале незаметно, тайно, зато к концу первой части звучит вполне отчетливо; это именно цитата, а не случайное совпадение.

«Знаете ли вы, — сказал я американцу, когда все было кончено, толпа провожавших, все в черном, разбившись на кучки, возвращалась по широкой аллее к воротам, за которыми ждали автомобили, — знаете ли вы, что она когда-то служила в штабе Штюльпнагель?»

Он спросил, а кто это такой.

Он не знал, кто такой Штюльпнагель. Он ничего не знал!

«Генерал инфантерии, — сказал я. — Командующий оккупационными силами во Франции. Княжна была его секретаршей».

«Вот как».

«Она была в курсе дела».

«Что вы имеете в виду?»

Я объяснил. Генерал был участником заговора. Об этой истории молодой человек что-то слышал. Я не стал углубляться в подробности, сказал только, что как только в Париж пришло сообщение о взрыве, Штюльпнагель арестовал начальников СС и СД, все черное войско было заперто в казармах. Потом оказалось, что фюрер жив, генерал был вызван в Берлин, вместо самолета отправился в машине, с ним вместе его Bursche,** секретарша уговорила шефа взять и ее с собой.

«Эта старушка?» — спросил американец.

«Да. Она была тогда молодой женщиной».

«У нее были дети?»

«Нет. У нее никогда не было семьи. Похоже, что она была влюблена в своего генерала. По дороге Штюльпнагель вышел из автомобиля и выстрелил себе в правый висок. Остался жив, ослеп и был повешен».

«А она?»

«У нее были потом неприятности. Что, если нам пообедать вместе?».

Мы отстали от других, подошли к машине, когда почти все уже разъехались. Молодой человек поглядывал по сторонам. Не видно было, чтобы его особенно интересовали все эти дела.

23 ЧАСА

Нет сна. Я почти не спал накануне и сейчас чувствую, что предстоит снова бессонная ночь. Я спрашиваю себя: если бы я был посвящен, если бы кто-нибудь из друзей сообщил мне о том, что готовится покушение. Согласился бы я присоединиться? Увы! — едва ли. Я не трус, никто не решился бы назвать меня трусом. Но одно дело стоять под огнем врага, рядом с товарищами по оружию, и совсем другое — подвалы гестапо, где ты один на один с палачами, омерзительный фарс «народного суда» и застенки в Плецензее, где и сейчас еще висят крюки на потолке... Но почему я говорю об этом так, словно заговор был заведомо обречен на неудачу? Ведь только случайность спасла диктатора. Насколько мне

* Тебя не достигнет мой взор, устремлённый к тебе с такой страстью, мой вздох исчезнет в пространстве, разделяющем нас (нем.).

** Денщик (нем.).

известно, заговорщики были готовы ко всему. Во всяком случае, многие из них, насколько я знаю, — может быть, и сам полковник Штауфенберг, — отнюдь не были уверены в успехе. Для них это было актом отчаяния и вопросом чести. А мы, те, кто остались безучастными зрителями, в то время как другие, немногие и отважные, взошли на историческую сцену, как на эшафот, мы, ничего не сделавшие, не предпринявшие никаких попыток спасти то, что еще можно было спасти, — мы, выходит, лишились чести? Понималли я, если не в сорок третьем, то хотя бы в сорок четвертом году, что единственный выход — убрать тирана? Разумеется, понимал. Или, по крайней мере, не стал бы спорить, если бы кто-нибудь высказал при мне такую мысль... Что изменилось бы, если бы его разорвала бомба, изменилось бы что-нибудь? О да. Прежде всего рухнул бы режим. Война была бы прекращена. Другое дело, на каких условиях. Удалось бы нам заключить сепаратный мир с американцами и англичанами, остановить русских, предотвратить оккупацию и раздел страны? Сомневаюсь. И все-таки! Я думаю об одном и том же. В последний раз задачу спасти нацию, которая катится в бездну, взяла на себя старая аристократия. Для нее, для графа Штауфенберга, для Треско, Вицлебена, графа Йорка фон Вартенбурга, графа Мольтке, для многих других это значило спасти честь Германии.

Сознание, что ты не герой, порождает недоверие ко всякому героизму.

Кто я такой? К военной профессии я, подобно моему дедушке-камергеру, никогда не питал симпатий, хоть и носил капитанские погоны. Музыка? Я остался дилетантом. Я дилетант во всем.

ВТОРОЙ ЧАС НОЧИ С ПЯТНИЦЫ НА СУББОТУ

Я пригласил американца снова отобедать вместе, повел его в скромный на вид, но очень неплохой ресторан в Швабинге, где меня знают; я не сомневался в том, что он сказал мне правду, да и зачем ему было бы лгать. Собственно говоря, мы должны были бы перейти на «ты», но как-то не получалось — стеснялись, что ли.

Что стало с ней? Как это все случилось? Меня интересовало все, хотя, по понятным причинам, он не на все вопросы отвечал охотно, как ни старался я быть тактичным; да и не всегда мог дать ответ: в сущности, все или почти все, что он мог рассказать, ему известно со слов других людей, отчасти по рассказам бабушки; своего деда он не помнил, дед пропал без вести, точнее, был увезен советской политической полицией, так называемыми «органами», сразу после того, как русские вошли в город. Вдобавок прошло столько лет... Как он меня разыскал? На этот вопрос я тоже не получил вразумительного ответа; впрочем, он давно знал, что я жив, знал, где я нахожусь, — значит, все-таки навел справки? Да, но «как-то все не было времени...», «был занят...», «долго болел», чем болел — неизвестно; мне было ясно, что он сомневался, стоит ли ему встречаться со мной. Разговор получился хаотический, мы перескакивали с одного на другое, и даже сейчас, буквально по свежим следам, я не в состоянии как следует все пересказать; я почти не притронулся к блюдам (молодой человек, напротив, ел с аппетитом), обед давно кончился, я вручил знакомому кельнеру щедрые чаевые, мы вышли и двинулись куда глаза глядят. Пересекли шумную Леопольд-штрассе и в конце концов оказались в Английском саду, на скамейке в укромном углу, в тихом месте; зелень все еще свежая и густая, тусклое солнышко висит над деревьями, изредка прокатит мимо девушка на велосипеде, тащится старуха.

Кажется, в мае были введены режимные послабления. Какого года, спросил я. В мае 43-го. Дети, рожденные украинкой, считались расово полноценными и даже могли удостоиться чести быть воспитанными в германском духе. Правда, мать по паспорту не была украинкой; в наших местах, сказал он, вообще все смешалось, кто украинец, кто русский, не разберешь.

«Это Воронежская область? Или уже Украина?»

«Воронежская. Но почти на границе».

Я спросил, велика ли разница между русским и украинским языками.

«Не особенно».

Как между баварским диалектом и Hochdeutsch?

«Об этом мне трудно судить. Вероятно».

Говорит ли он сам по-русски?

«Немного».

Я прошу его продолжать.

«Эти послабления помогли ей уехать в Германию».

«С вами... с тобой? Почему она решила уехать?»

«Потому что знали, что она жила с немецким офицером, соседи знали».

«Когда, — спросил я, — войска оставили ваш город?»

«Мы уехали в сорок третьем, осенью или зимой, точно сказать не могу».

А когда немцы ушли из города — откуда я знаю? Вы это сами можете уточнить».

«Да, конечно», — пробормотал я.

«Если это так важно».

«Важно, — сказал я. — Значит, она уехала добровольно?»

«Не совсем, н о другого выхода не было».

«А ее родители?»

«Они остались».

«Вы... то есть я хочу сказать: ты. Можно мне так тебя называть?»

«Пожалуйста», — он пожал плечами.

«Ты туда ездил?»

«Да. Гораздо позже, конечно. Уже взрослым».

«И... застал кого-нибудь?»

«Бабушка Анастасия была еще жива. На пенсии».

Было видно, что ему не хочется рассказывать о поездке на родину.

СУББОТА, 18 ЧАСОВ

Мне пришлось остановиться — не было сил записать до конца наш вчерашний разговор. Погода испортилась. Уже ночью я почувствовал перемену. Я спал и не спал, меня терзали видения. До обеда в постели; сумрачно, дождь утих. В воздухе висит изморось, волглый ветерок повевает; зябко, неуютно. Я сижу с лампой, кутаюсь в какую-то ветошь. По моей просьбе г-жа Виттих затопила камин, которым я пользуюсь раз в сто лет. Господи, как мне холодно!

Он сказал, что в городе уже не первый был набор желающих уехать на работу в рейх. Собственно, не совсем желающих. В городе были расклеены плакаты: «Борясь и работая вместе с Германией, ты и себе создаешь светлое будущее», что-то в этом роде. По-видимому, в одно из посещений биржи труда, где полагалось периодически отмечаться, ей вручили повестку. С грудным ребенком было нетрудно уклониться. Очень может быть, что ее вообще не взяли бы, не пустили бы в эшелон. А оставить дитя бабушке она не хотела. Короче говоря, поехала. Не только потому, что опасалась преследований. Положение в городке и округе с приближением Красной Армии ухудшилось, наступил голод, людей сгоняли на строительство укреплений, на торфоразработки, свирепствовал сыпной тиф.

Как я уже говорил, мне приходится пересказывать то, что само по себе представляло пересказ: собственных воспоминаний у мальчика, естественно, не могло остаться. Меня же — он это сразу почувствовал — интересовала не столько его собственная судьба, сколько судьба Ксении. Нельзя сказать, что он был слишком словоохотлив. Да, он по собственной инициативе разыскал меня. Но, с другой стороны, впечатление было такое, что сомнения, стоит ли нам встречаться, надо ли объясниться, — не оставили его и теперь.

В любом случае он меня не обманывал. Никаких сомнений тут быть не мо-

жет: он говорил то, что знал. Но знал-то он об этом из вторых рук. Насколько соответствует истине все, что я от него услышал? Я пытаюсь сопоставить даты. Он родился — уж это-то, по крайней мере, известно наверняка — в марте 1943 года. Не позднее чем в августе германская армия покинула этот район (Харьков был окончательно сдан 28-го). Следовательно, к моменту отправки в рейх ему не исполнилось и полугода. Что было дальше? Говоря о матери, он употребил слово «устовка». Оказывается, так называли себя рабочие, прибывшие из восточных областей. Ксении повезло: она попала на молочную ферму.

«Я узнал, — сказал он, — где это было: в Люгде».

Значит, он и в самом деле предпринял розыски. Тухловатый городок в Вестфалии, весьма древний, с красивой церковью Св. Килиана.

«Ты там был?»

«Был. Прежней хозяйки уже не было. Ферма принадлежит наследникам».

«Ты сказал: вам повезло».

«Да. По крайней мере, вначале... Тем более, что у матери пропало молоко. Но когда я пытался узнать, что же произошло, никто мне ничего не мог рассказать. Никто не знал. Даже якобы не знали, что там работали эти самые устовки».

«Откуда же... э?»

«От кого я узнал? В приюте».

«Тебя отправили в приют?»

Он пожал плечами: «А куда же было меня девать».

После этого в нашей беседе наступила довольно долгая пауза, начинало темнеть, мы все еще сидели в Английском саду.

«Ты не договорил», — сказала я упавшим голосом.

Молчание.

Неожиданно для себя самого я заговорил.

«Вэл, — сказал я. (Его зовут Вэл, Валентин. Он носит фамилию матери, по-видимому, изрядно искаженную.) — Вэл... Я хочу тебе кое-что сказать... Мне кажется, ты не можешь справиться с прошлым. Ты искалечен войной, хоть и не помнишь войну. Но и я не могу справиться с ней. Единственный выход — круто изменить жизнь. Я вот что хочу сказать. Я хочу сделать тебе одно предложение. Мое имя известно с XII века. У меня нет наследников. Я последний в своем роду... Я бы хотел тебя усыновить».

Он как-то дико воззрился на меня; я ждал ответа. Он усмехнулся.

«Зачем?»

«Зачем... Странный вопрос».

А впрочем, совсем не странный. Положа руку на сердце — согласился бы я, окажись я на его месте?

«Вы правильно выразились, — сказал он. — Усыновляют чужих детей...»

«Но ты мне не чужой!»

«Я сын моей матери. Сын женщины, которую вы бросили на произвол судьбы».

Я пролепетал:

«Мы уговорились встретиться. Как только получу отпуск... Все военнотрудовые имели право на отпуск с фронта, два раза в год... Я вернулся бы непременно, заехал бы за ней... Мы бы поженились. Я увез бы ее в Германию, к моей матери. И тебя, конечно... Если бы я знал о тебе, Вэл!»

Он ответил, что в конце концов установил, кто была хозяйка фермы. Ее звали Ростерт. Гертруд Ростерт.

«У нее был муж-инвалид, он был освобожден от фронта. Он стал приставать к моей маме. Фрау Ростерт плеснула ей горячее молоко в лицо. Ну, и...» — он пожал плечами.

«Что? что?» — спрашивал я.

В эту минуту я почувствовал, как меня что-то заливает. Кровь бросилась мне в голову, в лицо. Это была ненависть. Я ненавидел его. Еще минута, я бы его задушил. Я ненавидел его за то, что он ворвался в мою жизнь, за то, что он сознательно меня мучает, специально приехал для того, чтобы меня истерзать,

сидит передо мной, толстый, вялый, с маленькими глазками, с неподвижным, тупым выражением на азиатской своей физиономии.

Мой сын взглянул на мое искаженное злобой лицо и спросил:
«Кто, по-вашему, во всем этом виноват?»

ЧАС НОЧИ. 2 ЧАСА НОЧИ

Кто виноват... Что я мог ответить? Я не стал ему рассказывать о том, что заболел в Сталинграде, у меня пожелтели глаза, потемнела кожа, рвота и лихорадка изнурили до крайности, — то, что принимали за грипп, оказалось инфекционным гепатитом. Меня как заразного больного изолировали, я лежал в лазарете, когда в Гумрак, в штаб танковой дивизии, к которому я был прикомандирован незадолго перед этим, поступила телеграмма из ОКН.* Я был вывезен в рейх на самолете. Желтуха спасла меня. Вряд ли бы я уцелел, если бы оставался в Сталинграде и вместе со всеми очутился в котле. В конце января командующий, а затем и вся армия капитулировали. К этому времени от трехсот тысяч осталось в живых девяносто тысяч. Почти все они погибли в плену.

ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

Затертая льдами память, как нос ледокола, взламывает толщу замерзшего времени, память пробивает себе дорогу.

Я хочу припомнить все по порядку, но картины наплывают одна за другой, лица теснятся, я стараюсь опомниться. Старые тетради, скудные, пунктирные записи — как много в них, однако, пицци для воспоминаний. Они помогают восстановить ориентиры... Часть городка со стороны наступающих войск была разрушена, деревянный мост через реку Оскол непонятным образом уцелел. За мостом начиналась улица, где стояло несколько двухэтажных каменных домов, далее, огороженное палисадником, здание школы со спортивной площадкой. В школе расположился штаб.

Партизаны не решались входить в город. В первый день было много работы; подвечер, проехав еще метров двести по Школьной улице (по-видимому, она была срочно переименована), мы свернули на тенистую, деревенского вида улочку и остановились перед деревянным домом, который указал мне Вальтер W., штабной офицер, немного знавший по-русски; я вышел из машины, мой человек вынес чемоданы. Вальтер постучался в окно. Один за другим мы вошли в дом.

Там жила учительница с дочкой. Мне отвели небольшую опрятную комнату. Чистый деревянный пол, высокая никелированная, несколько облупленная кровать, белое покрывало, большая подушка в пестрой наволочке (я заметил, что здесь любят толстые подушки), оборка из грубых кружев вдоль нижнего края кровати. Здесь ждали немцев, и было известно, что в доме будет квартировать офицер. Наутро завтрак: меня усаживают в большой комнате за длинный деревянный стол, с низкого потолка свешивается пузатая керосиновая лампа, в комнате несколько сумрачно оттого, что все три окошка заставлены цветочными горшками. На стене семейные фотографии, расписные часы с маятником, с двумя гириями. В углу, к моему удивлению, я замечаю полочку с иконой. Большая белая печь отгораживает комнату от кухни. Хозяйка вносит на огромной черной сковороде яичницу. Лук, укроп на чистой дощечке. Еще одна дощечка с хлебом; не прошло, впрочем, и нескольких дней, как я сам научился резать хлеб толстыми ломтями, широким кухонным ножом, прижав к груди горячий пухлый каравай.

Чай пьем не из самовара, а из пузатого чайника. За столом вместе со мной и ординарцем сидит степенный беловолосый старик, отец учительницы, и время

* Верховное командование сухопутных сил (Oberkommando des Heeres).

от времени вставляет словечко на безупречном саксонском диалекте: оказалось, что в Первую мировую войну он был в плену, три года работал на хуторе у крестьянина где-то возле Торгау. Скрипнула низкая дверь. Я поднял голову.

НОЧЬ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Какая глупость... У меня в чемодане лежала отличная лейка последнего образца, с видоискателем, какая глупость, что я не сфотографировал ее в тот первый и, может быть, — хотя ничего подобного мне, конечно, и в голову не приходило, — все решивший момент. В ту минуту, когда, переступив порог, она остановилась и обвела нас своими сияющими глазами. Я сидел в расстегнутом кителе в углу на лавке, огибающей стол, лицом ко входу, по-видимому, это было почетное место. Солнце било сквозь цветы из трех окошек. Чуть ли не полстолетия прошло с того дня. В который раз я спрашиваю себя, кто я такой, кем я был и как выглядел в те времена.

3 ЧАСА

Вот фотография, на которой я стою рядом с генералом Паулюсом, сменившим погибшего Рейхенау на посту командующего 6-й армией, в первую зиму русского похода, с тем самым злополучным Паулюсом, который сдался в плен в Сталинграде вместе с остатками своей армии на другой день после того, как вождь пожаловал ему по радио звание генерал-фельдмаршала. Вероятно, это школьный двор, сзади можно различить волейбольную сетку. Кто мог представить себе в те жаркие летние дни, что год закончится катастрофой? Мы оба смеемся, шуримся под ярким солнцем, я без фуражки, в полевой униформе с имперским орлом над правым карманом, Рыцарский крест на шее, все зубы на месте, я молод!

Ах, мне поистине повезло, после зимней кампании 41-го года я почти уже не участвовал в боях. Старые связи, мое происхождение, громкое имя и титул способствовали моему новому назначению. Странно подумать, что я считался дельным штабным офицером... И вот теперь, когда я вновь задаю себе вопрос: кому, зачем была нужна эта война, — ведь даже если встать на точку зрения этого маньяка, представить себя на его месте, должен же был он прислушаться к предостережениям трезво мыслящих людей в своем окружении, должен был понимать, что с Россией, даже если она выглядит слабой и кажется легкой добычей, шутки всегда оказываются плохи, — когда я задаю себе этот вопрос, безумная, но, может быть, прикоснувшаяся к какой-то высшей мудрости мысль опять приходит мне в голову. Скажут, что я выжил из ума. Из какого ума? Из бескрылого рационалистического рассудка, — между тем как разум подсказывает достойный ответ. На все остальное наплевать. Да, нужно было, чтобы в недрах генштаба был сочинен и детально разработан стратегический план, нужно было обмануть бдительность русских, нужно было, чтобы армия неслыханной мощи и организованности зашагала навстречу победе, перейдя границу лишь на день раньше Великой армии Наполеона, — чтобы старый, с позеленевшей бородой, кайзер Фридрих Барбаросса пробудился в своей пещере в Кифгейзере, чтобы двинуться с войском на Восток... Нужно было, чтобы я оказался на Восточном фронте, чтобы мы шли и шли все дальше, чтобы штаб армии остановился на две недели в никому не известном городишке на Осколе и оберлейтенант W. озаботился приискать для меня квартиру в домике школьной учительницы. Все это нужно было — для чего? Для того, чтобы отворилась дверь и вошла Ксения. Чтобы мы встретили друг друга.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Судьба нас баловала — наступило затишье. Бумажные дела, которыми я занимался в штабе Паулюса, оставляли мне довольно много свободного времени. Лето

остановилось, земля замедлила свой бег, день заднем солнце стояло высоко в небе без единого облачка, и таким же долгим и безоблачным счастьем кажутся мне сейчас эти две недели. Оно никогда уже не повторилось... Все было удивительно, непостижимо, и удивительней всего было то, что как-то само собой все стало казаться естественным, да оно и было естественным; война, вражда, подозрительность — все отошло, все это попросту нас не касалось; мать Ксении перестала на нас коситься, Андреас, мой ординарец, глуповатый, но честный парень, северянин из Шлезвига, помогал по хозяйству, что же касается старика, то он откровенно нам покровительствовал. Из разговоров с ним я понял, что он люто ненавидел московскую власть, ненавидел колхозы, радовался поражению русских и был уверен, что война в самом скором времени окончится нашей победой. В дом заглядывали соседи и, по-видимому, не удивлялись, видя, что немец сделался чуть ли не членом семьи, и за столом я сидел рядом с Ксенией.

Два вопроса решились сами собой; это, во-первых, язык. Я считаю немецкий язык одним из самых трудных, и меня не удивляло, что мать Ксении, мягко говоря, не слишком годилась для той должности, которую она занимала. Я уже знал, что в России в школах преподается немецкий. Правда, у школьников были каникулы, и неизвестно было, возобновятся ли занятия осенью; учителя, те, кто остался, а остались только женщины, не работали. И, в конце концов, откуда взяться в провинциальном городишке квалифицированному педагогу? Тем не менее первое впечатление оказалось обманчивым. Первые дни мать Ксении почти не открывала рта, на мои вопросы либо не отвечала, либо качала головой, отводя взгляд. Я полагал, что она попросту меня не понимает. Но однажды она произнесла немецкую фразу — разумеется, с ужасным акцентом, и, однако, это была правильно построенная фраза. Я понял, что она попросту скрывала свои знания. По-видимому, эта женщина не разделяла симпатий своего отца к немцам, скорее всего, была напичкана марксистской идеологией. (Хотя откуда тогда эта иконка в углу?) Однажды был такой случай. Вальтер, тот самый оберлейтенант W., который немного знал русский, — но теперь разговор шел уже по-немецки, — в упор спросил: как она относится к историческому материализму? Учительница ответила, что в школе такого предмета нет.

Но, Боже мой, какое мне было дело до всего этого, какое дело было нам до всего этого! Мы были поглощены друг другом, для нас не существовало никаких идеологий. Позади дома находился огород, за ним густой ольшаник спускался к воде. Мы стояли, глядя на оранжевое солнце, повисшее далеко над холмами, мы шли куда глаза глядят вдоль берега, она впереди, мелко ступая точеными босыми ногами, я следом, и песок скрипел у меня под сапогами. На каком языке мы общались друг с другом? У нас не было переводчика. Мы говорили на том вечном языке, для которого не нужны падежи и спряжения, на языке, который обходится вовсе без слов. Да, я понимаю, что это звучит смешно: я стар и впадаю в сентиментальность.

Какие-то, впрочем, выражения я усвоил от Ксении, каким-то словам она научилась от меня. И вот теперь я хочу подойти ко второму вопросу. Я знал, что к этому идет; и она знала. Тем более, что не сегодня — завтра мне предстояло покинуть городок. Я готовился к тому, что должно было совершиться, не так, как мужчина готовится овладеть женщиной. Робость и благоговение — иначе не могу это назвать — сковали мою инициативу, и я даже не был уверен, что окажусь на высоте, если наконец это наступит. Я чувствовал, что она ждет этой минуты. Она была безоружна. Не зря говорят, что девственницу охраняет ангел. Я должен буду целиком положиться на свою память: в моих скудных записях нет ни слова о нашем физическом сближении; между тем оно совершилось с необходимостью естественного закона.

Сцену, которая произошла перед этим, лучше меня описал бы в прошлом веке какой-нибудь гейдельбергский романтик. Был теплый вечер. Солнце садилось на западе в бледно-лиловом мареве, которое, возможно, было далекой пеленой туч. На западе, откуда пришла оккупационная армия. Вот говорят о

дружбе народов. Но ведь война — это тоже в своем роде средство для сближения народов! Впрочем, я говорю чепуху. Ксения объяснила, что завтра будет дождь. Здесь давно ждали дождя. Но ее предсказание не сбылось, на другой день было так же ясно, светло и солнечно, как во всю предыдущую неделю. И вместе с тем все изменилось. Мы стали мужем и женой.

Был теплый, пепельно-прозрачный вечер, солнце исчезло. Ксения стояла спиной ко мне, маленькая, в легком платье, по щиколотку в розоватом олове вод. Неслышно прошла взад-вперед, разгребая воду ступнями, склонилась над своим отражением и поболтала в воде рукой. Потом повернулась и произнесла что-то. Я не понял. Она повторила свои слова, знаками показала, чтобы я отошел в сторону или отвернулся. Я повернулся спиной и через минуту взглянул через плечо. Я уже знал, что она хочет искупаться. С определенной целью, с намерением, которое было вполне понятно ей самой и которое она не хотела понимать. Я сел на песок, разулся, сбросил мундир и галифе, стянул с себя офицерское белье. Она шла, подняв руки, в воду, я успел увидеть ее узкую талию и начало ягодиц. Приблизившись, я обнял ее сзади.

«Ксюша...» — сказал я.

«Не Ксюша, а Ксюша. Ксюша».

«Ксюша».

Я выхожу, беззвучно прикрываю за собой дверь, мне холодно, я надвигаю на глаза шляпу и поднимаю воротник. Я усаживаюсь в машину, хлопаю дверцей, пристегиваюсь. Зажигаются фары. Человек, которым я был, выезжает из гаража.

Еще темно, в тумане тлеют фонари. Может быть, едва начинает светать. Где-нибудь за лесами, далеко от наших мест, из-под полога тьмы выбирается заспанное туманное солнце. Человек, который все еще жив, все еще не лежит в Руссельгейме, где, впрочем, никого больше не принимают, катит по пустынной автостраде, посылая вперед струи света, привычно шевеля рулем, это можно назвать прогулкой или путешествием, на самом деле это побег. Догадывается ли он, что навсегда покидает насиженное гнездо, покидает прошлое, спасается от чудовищного века, от истории — этого дьявола, о котором кто-то сказал, что он полномочный представитель демиурга?

Водитель сворачивает на проселочную дорогу, свет выхватывает из тьмы кусты, стволы сосен, лес все гуще, слух, как ватой, заглушен тишиной, тяжелый дорожный автомобиль трясется по колеям, мотор глохнет. Зажигается свет в кабине, человек разворачивает на руле дорожную карту.

Никакого толку, и он тащится дальше, должна же куда-нибудь привести эта дорога. Светлеет, между деревьями проглядывает сумрачное оловянное небо. Черные, как слюда, окна дачи заколочены досками крест-накрест, но на крыльце, под полусгнившим половиком удастся отыскать ключ. О, как здесь холодно. Присев на колено, он растапливает печурку.

Он ждет. Для него совершенно ясно, что неожиданный приезд и рассказ гостя — не более, чем дурной сон. Нагромождение противоречий. Иначе и быть не могло, ведь на самом деле ничего этого не было. Не было никакого эшелона, никакой фермы, не было фрау Ростерт и ее мужа-инвалида, и то, что ожоги от кипящего молока оставили на лице рубцы, и то, что уже выздоравливая, в больнице, обезображенная, Ксения удавилась в ванной комнате, — весь этот бред — есть именно бред и ничего больше, призрак, явившийся на рассвете измученному бессонницей мозгу.

Он ждет, прислушивается, и вот, наконец, шелестят шаги, скрипят подгнившие ступеньки крыльца. Ее шаги.

ИЛЬМА РАКУЗА

NOWHERE

We are; but it's nowhere.
Somewhere is nowhere?
Somewhere is anywhere.
Is anywhere everywhere?
Is anywhere somewhere?
Everywhere's nowhere
everywhere?
everywhere
everywhere?
everywhere
nowhere?
nowhere
no
where?

Robert Lax

Давно ничего не ловит мое лассо
закидываю в Британию (one hour less)
в Нью-Йорк (six hours less), в Лос-Анджелес (nine hours less)
поверх океанов поверх привычек и часовых поясов
ничего не выходит синхронно только рывками
ты там я тут
ты с дельфинами я
в утробе ночи
смеяться нечего
пылает сегодня японский куст
и кто бездомен
где ему зимовать
с чемодами со всей этой ружлядью с горячей обидой
мы теперь посторонние: разные страны
я мерзну ты мерзнешь хотя кто тебя знает
там в небесах
внутри самолетного зверя
там твое место
прочь
отсюда туда

Ильма Ракуза (род. в 1946 г.) — швейцарская писательница, переводчица, поэтесса. Изучала славистику и романистику. Перевела на немецкий язык ряд произведений русских авторов (прежде всего — Марины Цветаевой). Русской литературе посвящен сборник эссе «Об еретиках и классиках» (2003). В России опубликованы переводы ее стихов, книга «Перечеркнутый мир» (М., 2000). Живет в Цюрихе.

и никогда
назад в Nowhere-Land
где когда-то давно встречались наши пути
ты брал мою руку в свою
don't be afraid
и отступал мой стыд
замирал ураган
за завтраком Уолт Дисней, европейское
солнце
обмен адресами (милости просим в гости!)
на Сараево падают бомбы
но это так далеко
но ты веселишься ты как ребенок
ребенок просто ребенок
и вдруг эта властность эта настырность
нетерпение: all at once
и театральное: я я я
и еще раз я
и это Я огромно как мяч
слишком большой того и жди улетит
этот раздувшийся
в горле ком
ничего у нас не получится
ты в крик
я в плач
ты здоров как бык
хочешь еще и еще
я умоляю: меньше расходов
ты безумствуешь
а я так
худа как спичка
карикатура
сама на себя
ты мужчина
деляга гуляка ворчун
а я так малышка
растерянная
серая мышка
я поле
ты пахарь
но весь твой труд
намарку
через пару минут
вот так
каждый раз так
такт трехнедельный
размах качелей
всё это только на пробу
но как
и сколько страхов
скорее отсюда прочь
легко сказать
поскольку
воображение
идиллию запасает
и каждый из нас зависит

на ниточке у другого
каждый другому цедит по капле
жизнь и стыд
зазор невелик
между изменой
и проводком телефонным
если не в унисон
шаг мимо
и взрыв
и надрыв
и прорыв и невосстановимо
домашний уют
и сразу рывок назад
в блаженную неизбежность
раз
и еще
и еще раз
трудись не отлынивай
боль берем
стучимся друг другу в сердце
you love me?
или нет?
what do you feel?
what do you think?
Кружим вокруг чего-то такого
оно ускользает
а мы всё теснее
стягиваем петлю
слушай ты
коллекционер неприятностей:
так не пойдет
время вышло
злость улеглась
выдохлась тоска
любовь где попало
но не у нас внутри
в этих страстях-зверях
в этих участках страха
только не в каждом из нас
не в нашей жажде
о горе
как холодно в мире
где куст
краснел
теперь снег
где зелень лед
птицы врзлет
озеро подо льдом
стылый дом
я знаю ты знаешь
всё конец
а может и нет
пей свой чай
четыре часа
все остальное —
судьба

БАРБАРА ХОНИГМАН

ГЛАВА ИЗ МОЕГО ПРОШЛОГО

1

«Казнь Этели и Юлиуса Розенбергов была жестокостью, но невиновными их не назовешь», — сказала мама, стоя перед зеркалом и пытаясь справиться с копной своих буйных волос, и хотя ее слова противоречили всему, что я обычно слышала, чему нас учили в школе и к чему мы вообще привыкли, я ничуть не усомнилась в том, что это моя мама знает лучше других, и не стала допытываться. Зато спросила, какой у нее был природный цвет волос, потому что мама, сколько я себя помнила, всегда красила волосы, и, конечно, лишь в темные тона, ведь она принадлежала к «южному типу», впрочем, в этом спектре она сполна пользовалась всеми оттенками — от темно-русого до иссиня-черного, с каштановым и огненно-рыжим в промежутке. Она ответила, что не помнит, просто забыла начисто.

Она не могла припомнить, каким был цвет ее волос, но что Этель и Юлиуса Розенбергов нельзя назвать невиновными, — это она знала наверняка.

Мы жили в Карлхорсте, в той самой части Берлина, где 8 мая 1945 года была подписана безоговорочная капитуляция, понятно, не на нашей вилле, хотя и неподалеку, и большая часть Карлсхорста превратилась с тех пор в советский гарнизонный городок с огромной казармой для солдат и отгороженными участками для строевых занятий, но имелась и гражданская территория с магазинами, кинотеатрами и культурным центром, а еще ближе к нам — несколько зданий, в которых жили офицеры со своими семьями. Их дети играли во дворах, между домами. Я ходила к ним иногда поиграть, но была в течение многих лет единственным немецким ребенком, который ходил играть на русскую площадку. Правда, там частенько исчезал наш непослушный Атци, поскольку «сам явился на свет от случайных собачьих прогулок и не научился оценивать их последствия», как говаривал мой отец; песик регулярно забегал в закрытую военную зону, откуда днем, а порой и ночью, слышались пугающие звуки, похожие на выстрелы, и куда ни один человек не отваживался ступить ногой, что к тому же строго-настрого воспрещалось, и в таких случаях нам приходилось звонить в комендатуру и спрашивать у военного начальства, не у них ли наш

Barbara Honigmann. Ein Kapitel meiner Vergangenheit. Carl Hanser Verlag, München — Wien, 2004.

Барбара Хонигман (род. в 1949 г.) — прозаик, драматург. Училась в Гумбольдтовском университете (Берлин, ГДР). Писала пьесы для театра, работала режиссером; в 1970-е гг. наряду с литературной работой занималась живописью. С 1984 г. живет в Страсбурге.

Атци, а потом идти за ним в комендатуру. Со временем они стали его узнавать и приводили к нам со словами: «Вот ваш Атци!»

Однажды в дверь нашего дома в Карлсхорсте позвонил мужчина и с сильным английским акцентом спросил, нельзя ли видеть «миссис Ханнигмэн». К тому времени прошло уже десять лет со дня казни супругов Розенбергов и почти двадцать лет с той поры, как моя мать вернулась из Англии, где жила в эмиграции. Собственно говоря, не «вернулась», поскольку прежде никогда не бывала в Берлине, — а просто последовала за моим отцом, который некогда работал здесь журналистом в газете «Фоссише цайтунг»; отец надеялся возобновить прежнюю жизнь, тогда как мама всего лишь добавила к своей обрывочной жизни еще один эпизод. Мои родители часто говорили по-английски и между собой, и с друзьями, также вернувшимися из эмиграции, причем некоторые из них привезли с собой английских или американских жен, которые, разумеется, вовсе не говорили по-немецки да и не давали себе особого труда овладеть этим языком, так что английский был для них, очевидно, возможностью обеспечить себе поддержку и сплоченность, а также оградить себя от презрения тех, кто считал их чужаками и привилегированной партийной элитой, что было не так уж далеко от истины. Евреи по происхождению, они действительно стали чужаками, а их принадлежность к партийной элите или, по крайней мере, более высокое положение в культурной иерархии делали их среду привилегированной — для кого в большей, для кого в меньшей степени. Их привилегии, их космополитизм и статус выживших, при том что они были евреи и коммунисты, — все это накладывало на них особую печать.

Вилла в Карлсхорсте, построенная в 1920—1930-е годы, теперь была разделена на несколько квартир. Мы занимали квартиру с большими светлыми комнатами на первом этаже, где полы были выложены сверкающим паркетом, с зимним садом, выходившим на улицу, и небольшим садиком позади дома, в котором летом мама читала газеты, лежа в шезлонге под яблоней. Квартира над нами была поделена на две, и в каждой жила мать с дочерью, чьи отцы, по-видимому, погибли на фронте. На верхнем этаже, под крышей, жили Ломи, Брауни и Вальтрауд. Ломи казалась столетней старухой, Брауни выглядела лет на восемьдесят, а Вальтрауд было восемнадцать. Брауни была дочерью Ломи, а Вальтрауд — дочерью Брауни. Должно быть, их мужья и отцы погибли на разных войнах, и казалось, их вообще не существовало, ведь в разговорах о них никогда не упоминалось. Зато обе вдовы без конца рассказывали о колоннах беженцев, о бомбежках и русских, под надзор которых они попали на пути из Восточной Пруссии, причем звук «р» получался у них еще раскатистее, чем у мамы, которая не умела скрыть свое австрийско-венгерское происхождение подобно тому, как обе эти женщины — свое восточнопрусское. Ломи топила печь и трудилась в садике, Брауни убирала квартиру, готовила еду и гладила белье, а мама, служившая на киностудии ДЕФА, щедро платила всем, кто следил за порядком, и при этом обходилась с ними приветливо, раз и навсегда устанавливая тем самым непреодолимую дистанцию между собой и этими женщинами. Возможно, Ломи и Брауни потому и рассказывали так много о своих мытарствах во время войны, чтобы моей маме не пришлось в голову завести разговор о своей прежней жизни. В ответ на их бесконечные сетования она лишь возводила глаза к небу, словно показывая, что англичане, во всяком случае, не стали бы и в худшие времена так недостойно жаловаться и ныть.

Ломи была целительницей, известной всему городу, по крайней мере, славила в нашей округе, и потому мой отец, в общем-то весьма ее почитавший, называл ее попросту «колдуньей» — она была горбатая, низкорослая, в волосатых бородавках. Должно быть, называя ее этим прозвищем, он хотел отомстить за то, что его самого часто именовали «обезьяной» из-за темных густых волос, покрывавших его тело вплоть до кончиков пальцев, лишь в Англии ему перестали говорить «обезьяна». Даже врачи, работавшие в Карлсхорсте, посылали Ломи своих пациентов, которых она лечила заговорами, наложением рук и колдовскими зельями, но делала это лишь в полнолуние, потому что днем

обычно топила печь и добывала дрова и уголь для всего дома, в котором мы занимали четыре комнаты на первом этаже.

В том доме моя мать оказалась единственной женщиной, которая не была вдовой, при том что она трижды разводилась, в последний раз — с моим отцом, теперь же, после развода, жила с мужчиной, которого я называла дядя Вито. Таким образом он был единственным мужчиной в нашем доме, да и то лишь в рабочие дни, поскольку конец каждой недели проводил, как правило, со своей прежней семьей в Каролиненхофе, и тогда нас в Карлхорсте навещал мой отец. В этом доме матерей и дочерей я была самой молодой, и пока матери говорили о беженцах и бомбах, дочери со всей серьезностью посвящали меня в свои любовные переживания, в то же время снисходительно просвещая меня, что было совершенно излишним, поскольку я, подобно «восточным девушкам», как любил выражаться отец, очень рано созрела и вместе с моей подругой, тоже «восточного склада», уже в первом классе приглашала мальчиков, которые нам нравились, в ближайший лесок, и там мы заманивали их на травку, в сопровождении таксы Польди, бросавшейся или хотя бы огрызавшейся на других мальчиков, следовавших за нами тайком, — тех, кому в списке желающих провести с нами часок в лесу отводились последние места.

Мама надеялась, что Ломи, Брауни и другие женщины нашего дома ничего не знают ни о ее происхождении, ни о том, где она провела годы войны, но они знали это совершенно точно, потому что в разговоре со мной у них проскальзывали порой какие-то намеки и реплики, только слово «еврейка» никогда не слетало с их языка, они никогда не произносили этого слова, как будто его и в природе не было, да и в школе его никогда не употребляли. Но когда однажды я зашла к ним наверх то ли что-то взять, то ли передать, Брауни вдруг сказала, а Ломи кивнула в знак согласия, что если, мол, «это опять случится, мы спрячем тебя где-нибудь здесь под крышей». Именно так они и сказали, и я до сих пор не могу избавиться от чувства стыда.

Ломи как раз протирала лестницу, Брауни прибирала в нашей квартире, а я, кажется, готовила уроки, когда тот мужчина с сильным английским акцентом, выглядевший по-западному, спросил о «миссис Ханнигмэн», и мы ответили, что ее нет дома. «А когда она вернется? Когда можно снова прийти?» Все это — с сильным английским акцентом. «Ведь миссис Ханнигмэн живет здесь, не так ли?» — «Да, она живет здесь». — «А может, ты ее дочь?» — «Да, я ее дочь».

Он снова явился на другой день к вечеру и проследовал за мамой в гостиную, она плотно закрыла за собой дверь, а потом он ушел, пробыв у нас, в общем-то, совсем недолго.

После этого Ломи, Брауни и я были созваны на экстренное совещание. Никому больше ничего не говорить. Никаких сведений. Ни слова тому, кто будет спрашивать миссис Ханнигмэн. Таковы были ее приказания, а мы даже не поняли, о чем нельзя говорить. Мама не спешила сообщить нам об этом.

В последующие недели приходили и другие мужчины, которые тоже выглядели по-западному и говорили с сильным английским акцентом, и все они спрашивали «миссис Ханнигмэн». Мама не хотела их принимать, тем же из них, кому удалось склонить ее к разговору, наотрез отказалась дать какие-либо разъяснения, так что в многочисленных статьях и книгах, впоследствии опубликованных этими господами, то и дело мелькает «домашняя работница», то есть Ломи и Брауни в едином образе, тогда как ни та ни другая вообще ничем не могли им помочь, поскольку совсем не знали английского. Не выискивая даже малейшего следа, способного указать на то, что им требовалось, а именно — на завязку некоей истории, как раз в то время выплывавшей на свет, большого скандала или громкой сенсации, к коим моя мать, по всей видимости, была причастна, они стали попросту выдумывать обстоятельства ее жизни, которые я позже находила в статьях и книгах, отец же говорил маме, что ей следует обратиться в суд по поводу этих публикаций, настолько они все бесстыдны и не-

приличны, кроме того, это может принести кучу денег. «Ты же знаешь, в Англии можно стать миллионером, если подать такую жалобу!»

Выставив за дверь господ, говорящих по-английски, мама, взбудораженная и одновременно замкнутая, так и не объяснила нам причин того беспокойства, что отныне вошло в наш дом. Лишь повторила прежние приказания: не говорить того, чего я все равно не знала.

Но прозвучало все-таки одно имя, не известное мне и в то же время знакомое: я знала лишь его начертание, но никогда не слышала, как оно произносится. Копаясь в маминой библиотеке, — не в поисках чтения, а для того, чтобы полюбоваться видом английских или французских книг, созданных, конечно же, в другую эпоху и в другой жизни, — я наткнулась на это имя. В двухтомнике Шелли на титульном листе рядом со словами Шелли: *Poets are the trumpets, which sing to battle. Poets are the unacknowledged legislators of the world,** — мелким бисерным почерком было написано: *H. A. R. Philby. Trinity.*** Это имя, написанное, правда, порывистым почерком моей мамы, который ни с каким другим не спутаешь, встречалось и в других книгах. *Litzy Philby*, это было мамино имя, во всяком случае, в первой своей части. Одно из имен, которыми ее называли, было Литци. Второй части имени я не знала и не могла догадаться, что оно означает, а потому я нередко разглядывала его начертание, словно ожидая, что в один прекрасный день оно заговорит и откроет мне свою тайну. В надежде, что книги однажды прервут свое молчание, я вновь и вновь снимала их с полки и не могла не заметить, что отдельные страницы, на которых некогда было написано это имя, оказались вырванными, но далеко не все, ибо мама ничего не умела делать систематически, что было видно и по ее почерку. «Почерк у нее прямо как у безумной», — говаривал порой мой отец.

Вопреки всем ее секретам у мамы был отнюдь не скрытный характер, она любила говорить подолгу и помногу и мастерски владела беседой, то есть искусством поворачивать разговор в ту или иную сторону. Так, она уходила и от моих вопросов о фотографиях, на которых был запечатлен интересный молодой человек с трубкой во рту, — одна из фотографий обнаружилась среди прочих в коробке из-под обуви, где она хранила их в невообразимом беспорядке, хотя такой способ хранения фотографий мог привести лишь к их гибели, во всяком случае, ничто в этой груди не свидетельствовало о лелеемой памяти и не указывало на происхождение фотографий, скажем, отсутствовала надпись на оборотной стороне, какую обычно делают аккуратные люди. Фотографии с изображением случайных знакомых или групповые портреты трудового коллектива на загородной прогулке — все это лежало вперемешку с фотографиями ее покойных родителей и старинных друзей, а также молодого человека с трубкой. Разумеется, я спрашивала у мамы: кто он? Один из ее давних друзей? Чем занимается? Но мимоходом, так что я этого даже не замечала, она умела перевести разговор на мои дела — на школу, моих подружек, занятия балетом, летнюю или зимнюю моду. Она всегда задавала много вопросов, но сама не давала никаких ответов.

2

Незадолго до появления английских журналистов дядя Вито уехал от нас. Несколько лет мы жили в Карлсхорсте вместе, под одной крышей и, как говорится, единой семьей. Мы хорошо ладили, дядя Вито и я, хотя не так уж и много говорили друг с другом, а отец отзывался о нем слегка пренебрежительно, — мол, пишет стихи о природе, потому и неразговорчив. Почти каждый вечер он

* Поэты — это трубы, играющие сигнал к битве. Поэты — непризнанные законодатели мира (англ.).

** Х. А. Р. Филби. Колледж «Тринити» (англ.).

возвращался домой с шоколадом и просил разрешения погладить мне шею и затылок, и в течение четверти часа он щекотал мне затылок и шею, а потом я получала от него шоколадку. Шоколад был западного происхождения, его дарила ему секретарша на работе, но он не любил шоколад и обменивал его на ласковое обхождение со мной. Иногда в выходные дни он брал меня и Атци с собой в Каролиненхоф, где жили его сыновья, или же приглашал нас всех на загородную прогулку, и тогда мне начинало казаться, что у меня есть старшие братья, потому что оба его сына были старше, чем я; старший обучал меня актерскому мастерству, а младший разрешал мне участвовать в его опытах с химическим конструктором. Из канистры дяди Вито, лежавшей в багажнике его машины, мы отливали немного бензина, и пламя наших экспериментов вздымалось порой на такую высоту, что нам едва удавалось погасить его с помощью диванных подушек.

Однажды, в последний день занятий, накануне летних каникул, я вернулась из школы раньше обычного, чего он, вероятно, не ожидал, да и я удивилась, застав его дома, ведь он, как и моя мама, обычно проводил весь день на работе, и, увидев его посреди большого развала, напоминавшего подготовку к отъезду, — дверцы всех шкафов были распахнуты настежь, все ящики выдвинуты, на столах и кровати разложены чемоданы и сумки, он явно укладывал свои вещи, — я спросила, в чем дело и что все это значит, и он ответил, что собирается на все лето уехать с сыновьями на каникулы и возьмет с собой нашего Атци, чтобы в этот раз он мог вволю побегать по настоящему лесу, а не по закрытой зоне русского полигона. Эти каникулы, я догадалась, задуманы как чисто мужское развлечение, ибо о моем участии или хотя бы посещении речи не заходило. Он казался смущенным, и я предпочла удалиться. Я взяла яблоко и отправилась, как обычно в послеобеденное время, к своей подружке Беттине. «Ну что ж, будь здоров, всего тебе доброго, увидимся после каникул, хорошенько следи за Атци!»

Собачку я никогда больше не видела, а ведь считалось, что это — моя собачка, да и спала она в моей комнате. Вечером того же дня, когда я уже лежала в постели, я услышала, как в гостиной, расположенной в другом конце коридора, рыдает мама, а отец, заглянувший к нам, видимо, совсем не случайно, пытается ее утешить, и тут я тоже расплакалась в своей постели, и они дружно направились через всю квартиру в мою комнату и сообщили мне новость: дядя Вито уехал от нас, покинув меня и маму, что я давно уже поняла и сама, ведь я своими глазами видела, как он готовился к отъезду, я застала его в тот момент, когда он укладывал свои вещи, а потом пожелал мне «радостного лета» и сказал, что мы увидимся после каникул.

Теперь мы плакали вместе, мама и я, а отец мягко успокаивал нас, и наконец, утирая слезы, мама сказала: «Ах, все обойдется, уж как-нибудь обойдется». Ведь это действительно случилось с ней не впервые.

С этого дня в нашей вилле не осталось ни одного мужчины и даже не осталось собаки; одни только женщины.

Говорили, что там, на своей новой родине в Кляйн Махнов, где дядя Вито жил теперь со своей секретаршей, всегда приносившей ему шоколад, Атци вскоре умер от отравления, лизнув свежеекрашенный забор, но я слабо этому верила, потому что Атци был не такой глупый пес, чтобы лизать свежеекрашенный забор, — ни одна собака не может быть такой глупой! А после его смерти у дяди Вито и секретарши родился ребенок — так рассказывали мне спустя много лет люди из того городка. Но я не сказала этого маме, хотя со временем она, как и я, наверняка обо всем узнала. Однако с того самого вечера, когда мы с ней плакали из-за отъезда дяди Вито и она сказала «Ах, все обойдется», мама никогда больше в разговорах со мной не упоминала о нем, она просто не произносила его имени. Оно было намертво вычеркнуто из памяти, как будто его никогда не существовало, и все остальные женщины в нашем доме, колдунья Ломи, Брауни и Вальтрауд, и другие вдовы со своими дочерьми из перегоро-

женной квартиры на втором этаже тоже никогда не упоминали его имени, а ведь он долгое время был в их глазах кем-то вроде «старшего» в нашем доме — точно так же избегали они произносить имена своих собственных мужей, которых мы никогда не видели.

Первые недели после своего отъезда дядя Вито, случалось, еще заезжал за мной и приглашал меня после урока балета пойти с ним полакомиться пирожными или мороженым; но в этих случаях мы оба не знали, о чем говорить: об Атци нельзя, о его сыновьях тоже, о Карлсхорсте и моей маме — тем более, и все эти многочисленные «нельзя» приводили к тому, что мы уже не знали, какими глазами смотреть друг на друга, да и вообще не получалось у нас подолгу сидеть друг против друга, поскольку ведь раньше мы общались самым естественным образом, живя бок о бок в одной квартире как члены одной семьи. Наверное, его новая жена в Кляйн Махнове терпеть не могла мою маму, а может, он сам боялся однажды с ней повстречаться, — ведь кафе-мороженое, куда он меня водил, находилось не слишком далеко, хотя и не очень близко от нашего дома.

Вскоре он прекратил наши свидания; первое время после уроков балета я, направляясь к трамвайной остановке, еще, бывало, оглядывалась, ища глазами его голубой «вартбург», но вскоре поняла, что мне больше незачем его ждать, да и занятия балетом пришлось вскоре бросить, потому что руководительница балетного кружка, которая некогда училась у Палуччи и потому преподавала нам и классический балет, и современный танец, не раз давала мне понять, что я в сущности не гожусь для танцев, хотя бы и современных, ибо ноги у меня слишком короткие, а подъем невысокий, и во всех спектаклях использовала меня исключительно в роли дерева, что обескураживало меня — мне казалось, что мои балетные способности постоянно недооцениваются.

Почти одновременно с отъездом дяди Вито исчезли из нашего дома и собачьи вещички Атци: его миска, игрушка, попонка; я выбросила и мои балетные принадлежности — юбочку, тапочки, шапочку и перестала ходить в городскую оперу на «Лебединое озеро», и не пошла даже на «Весну священную» Мориса Бежара, который приехал в Берлин на гастроли и произвел настоящий фурор.

Мама никогда мне об этом не говорила, но я думаю, что это она — после того как открылся его роман с шоколадной секретаршей, терпеть которую или мирно с ней уживаться она не была готова, — предложила ему упаковать вещи и навсегда исчезнуть. Вот почему, укладывая чемодан, он так смутился, когда я застала его за этим занятием, и не только потому, что собирался скрыться тайком, а, вероятнее всего, потому, что вовсе не предполагал столь драматического поворота своей маленькой интрижки, но моя мама, очевидно, сказала ему: либо я, либо она, либо Карлсхорст, либо Кляйн Махнов. Договоренность, компромисс или выжидание, как, мол, пойдут дальше дела, — все это не укладывалось в ее голове, это был последний эпизод ее совместной жизни с мужчиной; теперь она осталась одна. Все осколки, из которых слагалась жизнь моей мамы, имели острые края.

Помню как-то раз, когда дядя Вито еще жил с нами и они вместе с мамой вернулись домой с работы из студии, где дублировались иностранные фильмы, я, как обычно, услышала шум машины, заезжавшей в гараж; но через несколько минут, когда никто из них не появился в квартире, я удивилась, где же они, и, решив пойти им навстречу, открыла дверь в вестибюль: там они и стояли, дядя Вито и мама, стояли обнявшись и целовались в темном вестибюле, а потом они заметили меня, и мама, смущенная и немного сконфуженная, высвободилась из объятий дяди Вито, а тот лишь громко засмеялся и легонько ее шлепнул, и весело подтолкнул к ступеням, ведущим в нашу квартиру, но меня встревожила не интимная поза, в которой я их застала, а именно состояние мамино испуга и смущения, как будто не я, а она была дочерью, и как будто

дядя Вито вовсе не ее муж, а наш с ней дядя, который начнет сейчас разбираться со своими маленькими племянницами. Мне было мучительно видеть маму такой маленькой, и мне кажется, между ними всегда стояло какое-то чувство стыда. Дядя Вито был моложе ее, и после развода моих родителей он возник возле моей матери так же неожиданно, как и новая жена возле моего отца. Он был чистокровный немец, то есть не еврей, но я так никогда и не узнала, откуда он родом, он ни о чем не рассказывал, как Ломи или Брауни про Восточную Пруссию и беженцев, у него не было раскатистого «ррр», и он никогда, в отличие от отцов моих школьных подруг с их рассказами о русском или датском фронте, ничего не говорил даже о бомбах, хотя был, несомненно, солдатом вермахта, иначе просто не могло быть, ведь в то время он находился в самом подходящем призывном возрасте, но об этом он ни разу даже не обмолвился, во всяком случае, я ничего такого не слышала, хотя, конечно, не могу знать, о чем говорили между собой или что утаивали друг от друга эти двое, дяди Вито и моя мама. Теперь они оба состояли в партии, в СЕПГ, дядя Вито занимал даже какую-то должность в парткоме их предприятия, и когда в понедельник вечером они вместе возвращались домой, они были как бойцы одного фронта, взволнованно беседующие на пламенном языке марксизма-ленинизма, как соратники в деле преобразования прежней нацистской Германии и строительства нового, прекрасного, мирного социалистического государства.

Но когда к нам в гости приходили прежние друзья моей матери, прожившие вместе с ней несколько лет в эмиграции, дядя Вито исчезал из дома, отправлялся к своим сыновьям в Каролиненхоф и сочинял там, наверное, стихи о природе, над коими так любил посмеяться мой отец. Я никогда не видела и не читала ни одного сочиненного им стихотворения, но иногда наблюдала, как он стоит, задумавшись, в нашем садике и глядит вдаль — это и были минуты, когда он, по-моему, сочинял стихи. Не знаю, довелось ли друзьям моей мамы хоть однажды увидеть дядю Вито в лицо, а может, ей самой не хотелось знакомить своих товарищей по эмиграции с бывшим солдатом вермахта и представлять его как спутника ее нынешней жизни, но, так или иначе, он явно не соответствовал эмигрантской компании. Наверное, она чувствовала свою раздвоенность между этими по-разному настроенными людьми, между старыми друзьями и новым возлюбленным, возможно, она даже стыдилась того влияния, которое оказывал на нее этот немец, и поэтому для нее было так важно, что их политические взгляды совпадают, пусть даже, со своей стороны, он проникся ими совсем недавно.

3

Мама и дядя Вито расстались недругами, тогда как отец продолжал дружить с ней до конца жизни, несмотря на несколько своих новых браков. Однажды он даже сказал мне, что его привязанность к маме коренилась с самого начала скорее в его дружеском чувстве к ней, нежели в любовной страсти, и потому развод оказался у них более удачным, чем супружеская связь, ибо только после разрыва их дружба смогла обрести настоящую форму. Отец вообще полагал, что счастье в любви для него недоступно. Все его жены и любовницы оставались ему чужими — таков был его неутешительный вывод. Отец часто беседовал со мной о своих женах и любовницах, и я чувствовала, что не могу этого до конца понять, точно так же, как и молчаливость мамы касательно вещей, которые она называла «деликатными». И, вероятно, желая спасти хоть что-то из этих любовных неудач и несоответствий, моему отцу было важно, нет, ему требовалось, чтобы все его жены и любовницы дружили друг с другом и оставались друзьями или, по крайней мере, старались ладить друг с другом, и того же он требовал от меня. И получилось так, что именно от родителей третьей жены моего отца, с которой он, впрочем, тогда как раз разводился, я впервые услышала имя, знакомое мне только по начертанию. Нередко я проводила вы-

ходные дни у этой супружеской четы, искренне полагая, что они для меня своего рода «бабушка-мачеха» и «дедушка-отчим», ведь родных-то бабушек и дедушек у меня не было, и они легко приняли меня в свою семью, поскольку своих внуков у них тоже не было. Кэте и Фердинанд представляли собой старую актерскую пару, еще сохранившую в себе что-то от авангардистского духа двадцатых и начала тридцатых годов — поры их наивысшего успеха. Они продолжали жить не по-бюргерски, а весьма свободно, с налетом эксцентризма. Любовника Кэте казнили нацисты, а до этого, ходили слухи, у них был *ménage à trois** или даже *à quatre***. Благодаря таким либеральным воззрениям им было нетрудно принять как должное довольно большую разницу в возрасте между их дочерью и моим отцом, с которым они имели возможность делиться воспоминаниями о годах странствий и общей их родине, земле Гессен; беседуя, они часто переходили на гессенский диалект, так что я почти ни слова не понимала. В период их брака «втроем» и «вчетвером» они поддерживали контакты с «Красной капеллой»,*** по этой причине и был казнен любовник Кэте. Фердинанд и Кэте чттили его память точно так же, как чттили память своего сына, погибшего в те же годы на русском фронте. Как истинные актеры, они держались достойно, понимая, что должны до конца играть свои роли, пока не опустится занавес и не завершится спектакль. С того времени, как они были связаны с «Красной капеллой», Фердинанд проявлял интерес к шпионажу, конспирации и секретным службам — он как раз вынашивал замысел написать биографию генерала Канариса, но однажды, именно в те самые выходные, когда я гостила у них, на свет божий выплыла вся история Кима Филби. Слово пелена упала с моих глаз, когда я, сидя перед телевизором Фердинанда, услышала это имя, которое столько раз видела написанным, а по всем программам, с утра до вечера, передавалось одно и то же, от чего Фердинанд приходил в невероятное возбуждение. «Ты только представь себе! Двойной агент! Супер-агент! Величайший шпион всех времен! Тридцать лет водил весь мир за нос! Всех обманул и перехитрил! Да еще — английский джентльмен. находка высшего класса для КГБ!» Фердинанд никак не мог решить: то ли ему восхищаться Кимом Филби, то ли его презирать. Восхищаться его удачным обманом, умением менять маски и ни разу не ошибиться, его сверхчеловеческой способностью притворяться или же презирать за предательство, за тайное использование рычагов власти, за которым могли скрываться лишь фантастические грезы, навеянные манией величия, — такими словами объяснял мне все это Фердинанд, отец третьей жены моего отца, чуть-чуть прикоснувшийся за свою жизнь к тому, что называется конспирацией. В отличие от меня. Я еще никогда не прибегала к конспирации и не совершила ни одного предательства. Мама наказала мне помнить две заповеди, на первый взгляд совершенно противоположные: 1) *Не лги*; 2) *Если лжешь, делай это как можно правдоподобнее*. Вторая была, собственно, лишь прагматическим толкованием высокой нравственной нормы, впрочем, довольно разумным. Я не могла сказать Фердинанду того, что имела сказать, я не могла даже произнести это имя, которое слышала теперь повсюду. Да и что я могла сказать — ведь я не ведала ни правды, ни лжи.

Когда я вернулась в Карлсхорст, у нашей двери уже толпились английские журналисты, но мама сообщила мне не намного больше, чем им. С ними, то есть английскими журналистами, я находилась приблизительно на одном уровне осведомленности, мы пользовались одними и теми же источниками — последними известиями, проникшими из Москвы в Великобританию, а отсюда распространившимися по всему миру, в руках у них были разоблачения, исходящие от агентства «Reuters», у меня же — от Фердинанда.

Уже не помню, когда именно мама стала рассказывать о некоторых обсто-

* Брак втроем (фр.).

** Вчетвером (фр.).

*** Агентурная сеть советской разведки в Берлине накануне и во время Второй мировой войны. — *Здесь и далее примеч. переводчика.*

яательствах ее супружества с Кимом Филби, многое дошло до моих ушей от посторонних, увлеченных, как и Фердинанд, шпионскими историями, маме же и до самого конца ее жизни, и даже после, присылали статьи, журналы и книги, в них попадались те самые пассажи, о которых мой отец говорил, что маме следует обратиться в суд с жалобой и хотя бы «подзаработать». Но мама, полистав то одну из них, то другую, ставила их, не читая, на книжную полку. А то и выбрасывала.

Если позднее мама и просветила меня самую малость насчет этой, как она выражалась «главы ее жизни», то вовсе не для того, чтобы каким-то образом поделиться со мною этой «главой», поскольку и делиться-то уже было нечем, ибо время секретности миновало, а лишь для того, чтобы ее дочьбыла, по меньшей мере, *up to date*,* раз уж дело зашло так далеко, что переддверью толпятся посторонние люди, желающие задавать вопросы. Или, пожалуй, для того, чтобы я могла лгать как можно правдоподобнее, — не знаю.

Твоя мать — такой человек, понять которого на самом деле непросто, — говорил мне иногда отец, — она либо намного наивнее, либо намного хитрее, чем большинство людей. То она слишком много говорит, то, наоборот, все скрывает, то неистово бурлит, то впадает в апатию и уходит в себя, то всю ночь бодрствует, то ложится спать в девять. Она довольствуется самым необходимым и одновременно швыряет деньги на ветер, она раздает и раздаривает все подряд, но сообщить что-либо о себе другим — этого она никогда не умела.

А ее нечувствительность к боли. Когда я жаловалась на головную боль, она говорила, будто вообще не знает, что это такое, а если у меня болел живот, говорила, что живот не болел у нее ни разу в жизни. «Я сегодня не в настроении» — такой фразы от нее нельзя было услышать, поскольку мама не поддавалась никаким «настроениям» и никогда не распускалась — ни в горе, ни в болезни, ни даже при плохом настроении. *Countenance*** — вот что было всего важнее в ее жизни, важнее даже, чем марксизм-ленинизм и философы, которые лишь по-разному объясняли мир, вместо того чтобы его переделать. Выше всего она ставила самообладание и умение держаться, и поэтому к ней можно было зайти в любое время суток, она никогда не позволяла себе ни малейшей небрежности или неряшливости, никогда не оставалась до полудня в халате или пижаме, и за ней вовсе не водилось такого, чтобы дома разгуливать как приведется, а прихорашиваться лишь перед тем, как выйти на улицу, она всегда выходила к завтраку, причесавшись, и губы у нее были ежедневно подкрашены, а ногти покрыты лаком.

Так держала она себя и теперь, когда дядя Вито ее оставил, а перед дверью толпились английские журналисты, и одна глава ее прошлой жизни вдруг снова стала ее настоящим. Голова у нее никогда не болела, живот тоже, и когда она произносила эту фразу — «одна глава моей жизни», — я не могла понять, что в ней слышалось: стыд или гордость?

4

Моя мать умерла. Отец тоже. Умер и дядя Вито. Так же, как Фердинанд и Кэте, Ломи и Брауни и другие вдовы в Карлсхорсте. Давно нет на свете Филби, а Розенберги погибли раньше других.

Теперь, когда открылись архивы КГБ, слова моей мамы «их казнили не безвинно» полностью подтвердились. Значит, она это знала. Кто знает, какое она сама принимала в этом участие. Писали, будто слова «атомная энергия» Филби впервые услышал в 1938 году из уст моей матери. Это воистину удивительно — ведь мама не знала даже простейших законов классической механики и за всю свою жизнь так и не научилась водить машину.

* В курсе дела (англ.).

** Спокойствие, самообладание, выдержка (англ.).

Страна, во имя которой Розенберги, Филби и моя мама вели шпионскую деятельность, рухнула и распалась, а от идей и теорий, служению которым посвятили себя мои родители и их друзья, Филби и супруги Розенберги, ради которых они попрали все другие законы, порушили связи с семьей и родиной и которым были самозабвенно преданы, тоже почти ничего не осталось.

Бесконечно много написано с тех пор о супругах Розенбергах, бесконечно много написано и о Киме Филби, десятки книг и сотни статей, создано немало радиопередач и телесериалов. На моей книжной полке стоят шесть книжек, две из них я прочла, две пролистала, а две последние бегло просмотрела и поставила обратно на полку, примерно так, как делала мама. Мое любопытство вскоре угасло, ибо то, чего я не понимала в этой «главе ее жизни», в книгах тоже не объяснялось. Самой интересной оказалась последняя по времени книга: за несколько месяцев до смерти Филби один русский журналист долго беседовал с ним на его даче, а потом сопоставил его воспоминания с отчетами и документами из архивов КГБ, а также с краткими биографиями офицеров-чекистов, в том числе биографией моей матери, относившимися к тому времени, когда она якобы произнесла слова «атомная энергия». Все биографии советских чекистов оканчиваются одинаково: расстрелян, расстрелян, расстрелян. Разумеется, как вражеский шпион.

Я унаследовала от мамы, словно дворянский титул, гордость и стыд, которые так трудно было отличить друг от друга, когда она рассказывала об этой «главе своей жизни». Как и все наследственные титулы, он свидетельствует лишь о былом величии — анахронизм, способный вызвать улыбку.

5

Венгерская жилка в характере моей матери нравилась мне, наверное, больше всего, но я любовалась ею без всякой зависти, в отличие от английских черт ее характера, которых мне и самой хотелось бы иметь побольше. Когда мама начинала говорить по-венгерски, то есть на языке, в котором со временем появилось для меня что-то знакомое, хотя понимать его или говорить на нем так и не научилась как следует, она становилась мне как-то приятнее и роднее, но в то же время и отчужденней, и этим снималось и чувство неловкости, вызванное постоянной близостью друг к другу, и то напряжение, с которым после ухода дяди Вито нам еле-еле удавалось скрывать друг от друга горечь и ощущение потери. Казалось, что венгерский язык служил моей маме своего рода «скрытым резервом», она использовала его как некий «вспомогательный язык», из которого можно черпать жизнерадостность и веселье, — их-то я замечала в ней теперь все реже и реже.

Хотя мама и родилась в Вене, вплоть до поступления в венскую школу она жила у своих родителей в юго-западной Венгрии, в небольшой деревушке недалеко от границы с Хорватией, а в последующие годы проводила все летние месяцы в имении, принадлежащем ее бабушке и дедушке, в деревне Керка св. Миклоша, где были коровы, лошади, куры, гуси, огороды, виноградники, кукурузные поля, абрикосовые и персиковые плантации, а также кучер, кухарка и прислуга. Там она играла с деревенскими ребятами и ходила купаться на речку Керка — от нее и пошло название деревни. Однажды какой-то мальчик упал с дерева и разбился насмерть. Хозяйский дом, дорога, по которой сновали работники, хлев и стойло, винный погреб и смутное воспоминание о том, как все семейство пряталось в подвалах, когда сначала «красные», а потом «белые» галопом неслись по деревне. Иногда она говорила, что играла с деревенскими ребятами, а иногда говорила, что никогда не играла с деревенскими ребятами, а лишь с многочисленными кузинами и кузенами, которые тоже проводили лето в усадьбе. Иногда она говорила, что ее дедушка с бабушкой были единственными евреями-помещиками в деревне, а иногда — что в деревне было еще две семьи таких же евреев-помещиков. Она всегда употребляла

именно слово «помещики», но куда вероятней, что это были арендаторы или управляющие, как и многие другие венгерские евреи. Она, так страстно увлеченная позднее идеями социального равенства и справедливого распределения, хотя никогда впрямую и не гордилась своим помещичьим происхождением, но вспоминала об этом с блаженной ностальгической улыбкой, пусть даже детали были не более достоверны, чем природный цвет ее волос. Но один факт она не уставала повторять, причем всегда теми же словами. Речь шла о разнице между «нами и венграми, деревенскими жителями»; венгры, по ее словам, были все неграмотные и пьяницы, они напивались до потери сознания, потом шли домой и избивали своих жен и детей. Причем каждое воскресенье. Евреи же никогда не напивались и уж, во всяком случае, не били своих жен и детей. Ибо евреи вообще не пьют и никого не бьют. В общем, венгры в деревне жили, как скоты, говорила мне мама.

Несмотря на то что мы часто проводили в Венгрии каникулы, мы так ни разу и не выбрались из Будапешта в тот треугольник между Венгрией, Австрией и Хорватией. Лишь однажды мама сама съездила в Керка св. Миклоша и не узнала деревню — ее «укрупнили», и теперь она стала частью села, носившего другое название. Обо всем этом мама рассказала мне безо всякого сожаления и впоследствии также не делала из этого трагедии.

При этом венгерское ее начало было для нее, вероятно, наиболее естественным, в него она уходила всеми своими корнями, независимо от того, существует ли еще Керка св. Миклоша или нет. В венгерском языке она чувствовала себя совершенно свободно, в то время как в Берлине ее сразу же выдавал венский акцент, в Вене из-за долгого отсутствия ее считали бывшей венкой, не говоря уже о французах или англичанах, которые моментально — из-за раскатистого «ррр» — узнавали в ней иностранку.

Венгерская родня моей матери, в отличие от большинства еврейских семей в ее окружении, вовлеченных в процесс мадьяризации, не изменила своей германской по звучанию фамилии Кольман — от легендарного Калонимуса, первого еврея, поселившегося по эту сторону Альп и создавшего, так сказать, ашкеназский ареал, в котором венгерские евреи, благодаря своим ярко выраженным противоречиям, займут позднее особое место; такова, во всяком случае, их репутация: между благочестием и законопослушанием, с одной стороны, и полной ассимиляцией и венгерским патриотизмом — с другой. «А кроме того, были еще евреи из Надъканижа», — таинственно сообщил мне однажды еврейский раввин, не пояснив, правда, в чем заключается их особенность. Надъканиж — это маленький, никому не известный городишко, ближайший к Керка св. Миклоша, входивший в общину из пяти еврейских местечек в Бургенланде, где граф Батиани в XVIII веке разрешил селиться евреям.

Когда семейство Кольман покидало Вену, отправляясь на лето в свое венгерское поместье, то поначалу они попадали в Надъканижу, где их встречал кучер, и потом, рассказывала моя мама, ехали еще несколько часов и сворачивали в большую тополиную аллею, в конце которой высился хозяйский дом, а там уже их встречала прислуга. В этих ее рассказах еще появлялись кухни и кузены; в более поздние времена о них не упоминалось вовсе.

Маминому отцу дали при рождении имя Израиль, хотя большинство евреев его поколения именовались в Австро-Венгрии Сигизмундами, Леопольдами или Адольфами, или же, если их родители попали в волну мадьяризации, — Тиборами, Матиасами или Габорами. Отец ее отца, которого звали Захария, не поменял его на Шандор или хотя бы Захариас, и это означает, что легендарный мир венгерского благочестия в те времена еще существовал, хотя позже мама решительно от него отвернулась и порвала с его духовным укладом, потому, вероятно, что сочла его тесным, невежественным и мелкобуржуазным. Но так резко она не высказывалась; другое дело, мой отец, родившийся уже в пору ассимиляции. Он вполне осознанно именовал себя ассимилированным евреем, в сущности — не-евреем, поскольку все его еврейство ограничивалось

лишь внешностью, к сожалению, явно семитской, и манией преследования со стороны нацистов, то есть совершенно не зависело от его воли или принадлежности к иудейской вере. О себе же мама этого не могла сказать, а потому ничего подобного и не утверждала, а просто предпочитала молчать о том еврейском мирке, из которого она вышла. Однако говорила, ничуть не смущаясь, как о чем-то само собой разумеющемся, о евреях-землевладельцах и еврейских традициях, что несколько противоречило любимым ею марксистско-ленинским теориям, но находило естественное выражение в ее дружелюбной и слегка снисходительной отстраненности от Лони, Брауни и других, кто временно обслуживал нашу виллу. Она от души желала добра всем «простым людям», как она их называла, лишь бы они держались от нее подальше.

Приезжая из ГДР в Венгрию, я сразу же ощущала дыхание юга, дыхание эпохи Габсбургов и даже дыхание Запада, потому что там можно было посмотреть все фильмы Антониони, Пазолини или Висконти, никогда не появлявшиеся на экранах ГДР. Кроме того, в отличие от Берлина, Будапешт был городом элегантно задуманным и привольно раскинувшимся, а жили мы у друзей моей мамы в самых лучших районах города — на «Холме Роз» или на «Горе Свободы». Все эти друзья занимали теперь высокие или же высшие должности в государственном аппарате, и все они были евреями, разумеется, коммунистами, бывшими беженцами и борцами Сопротивления, партизанами, узниками концлагерей, а иногда всем этим — в одном лице. Антифашистская элита. Мама знала большинство из них еще со времен подполья. Дюри, например, она прятала в своей венской квартире еще в 1933 году, когда он бежал из Венгрии от режима Хорти. Дюри походил на еврея не больше, чем мой отец, но казался скорее индусом — низкорослый, худой и почти темнокожий. Из Вены через Париж он перебрался в Америку, а после войны привез оттуда жену, которую звали Микки — ее настоящего имени я так и не узнала; прежде она жила в Берлине, ростом была вдвое выше него, так что выглядели они довольно забавной парой: берлинская великанша и индийский карлик. Чтобы попасть в их дом на «Горе Свободы», надо было воспользоваться зубчатой трамвайной линией, вероятно, автобус не поднимался на такую высоту, зато потом мы сидели на балконе, откуда открывался вид на весь Будапешт, и лакомились венгерскими фруктами, персиками и абрикосами, ели пирожные от Жербо, пили черный эспрессо, о котором хозяева с гордостью говорили, будто он чернее и сильнее итальянского, а Дюри рассуждал при этом о временных трудностях социалистического планового хозяйства. Он служил в Министерстве экономики и одновременно преподавал в университете, где читал «Основные политико-экономические проблемы монополистического капитализма», — живя эмигрантом в Соединенных Штатах, он имел достаточно возможностей освоить эти проблемы. В то же время он очень тосковал по Америке. Ах, и ему, и Микки так недоставало порой Америки, в особенности — Нью-Йорка! Мои робкие вопросы, касавшиеся этого противоречия, он сразу же отметал, тогда как мама, слушая мои вопросы и его обтекаемые ответы, бросала на меня взгляды, в которых сквозило отчаяние, — она старалась избежать политических споров со старыми сподвижниками, часть которых, однако не Дюри, повернулась, подобно ей самой, лицом к «еврокоммунизму», ожидая от него, коль скоро он зародился в Италии, больше открытости и меньше мещанства, тем более что даже такие художники, как Антониони и Пазолини, тоже в конце концов ощущали свою близость к этому движению.

У мамы был еще один друг, тоже Дюри, чья принадлежность к антифашистской элите объяснялась его страданиями, которые ему пришлось претерпеть в нескольких концлагерях — последним оказался Бухенвальд, где он, врач по профессии, задержался после освобождения на несколько недель, выхаживая тяжелобольных и полумертвых. Он был и оставался коммунистом и теперь работал главным врачом в правительственной больнице, но о бухенвальдских

коммунистах и о созданном ими мифе, будто они освободились собственными силами, с ним было лучше не заговаривать. Возвращаясь с очередной встречи бывших узников Бухенвальда, он каждый раз навещал нас в Берлине и за ужином изливал свой гнев по поводу этой легенды, никогда не забывая с горечью подчеркнуть, что многократно воспетая солидарность тех, кто сидел тогда в лагере, распространялась только лишь на единомышленников. И хотя сам входил в их число, он и десятилетия спустя возмущался таким подходом. Его супруга, с которой он вступил в брак после войны, не была еврейкой, но этот недостаток компенсировался ее партизанским прошлым, и как говорили, она была самой молодой партизанкой, отличавшейся особым мужеством. Истории и события партизанской жизни, о которых она рассказывала, действительно подходили на то, что описывалось в советских детских книжках, — я брала их иногда почитать в нашей библиотеке в Карлсхорсте. Теперь же эта партизанка сидела в зимнем саду своей виллы на «Холме Роз» и красила ногти на руках и ногах, повествуя о приключениях и опасностях, пережитых ею в партизанскую бытность. Потом мы шли купаться в бассейн Геллерт.

Все бывшие партизаны, беженцы и узники концлагерей — круг друзей моей мамы состоял исключительно из них — были выходцами из состоятельных буржуазных семейств, то есть из той среды, в которой теперь они сызнова укоренились, хотя в юности, много лет тому назад, отреклись от нее, подчас весьма драматически. Теперь же, пользуясь своим прочным положением в социалистическом государстве, они создали совершенно новый тип буржуазного существования: хорошо устроенные, имеющие поддержку, обладающие привилегиями, но все же сломленные бесконечными гонениями, ограничениями и преследованиями за еврейское происхождение и приверженность к коммунизму, оторванные от семейных традиций, от того фона буржуазной образованности, который до сих пор проступал в них. Ведь некогда они все учились в гуманитарных гимназиях и читали произведения мировой классики на языке оригинала.

Когда мой отец, случалось, помогал мне с переводом «Анабасиса», заданного в школе к следующему уроку, он не мог удержаться от насмешек по поводу моих жалких познаний в древнегреческом: «В оденвальдской школе мы читали Софокла, понимаешь? Не переводили, а читали!»

И если теперь эти ее друзья и спорили друг с другом в Будапеште или Берлине — сдержанно или даже резко — о политике стран, в которых они оказались, то главным образом с одной целью: выразить свое недовольство безвкусицей и безликостью той народной власти, которой они сами помогли утвердиться и которой все еще чувствовали себя обязанными. Обвинять эти страны, называвшие себя к тому же «народными демократиями» и превосходившие этой явной тавтологией даже мой неумелый перевод «Анабасиса», в уродливости, пошлости и унижительности было, так сказать, разрешенным приемом, позволявшим уличить их в присущей им пустоте и лживости. Эстетика моей мамы сводилась, собственно, к тезису о том, что красота возникает лишь из гармонического единства и возможна даже в неблагоприятной форме, но никогда — в постыдной. Противоположностью красоты, как думала моя мама, является не уродство, а мелочность и унижительность.

6

Мой отец любил пить кофе, а мама — чай; как и у большинства немецких евреев, у отца была немецкая романтическая душа, поэтому он и осуждал дядю Вито за писание стихов. Отец любил подолгу бродить в одиночестве, наблюдать за лунной в скользящих облаках и искать душевное родство преимущественно с вымышленными персонажами, другими словами, он был в немалой степени мизантропом. Все это не встречало у моей мамы ни малейшего понимания, она не умела найти ничего привлекательного ни в самой природе, ни в ее созерцании, ни тем более в одиночестве, зато часами, а то и днями охотно вела разговоры с другими

людьми, за что отец называл ее «кофетерийной еврейкой», которой нравится целый день сидеть и судачить о политике. При этом именно политика и объединяла их, пожалуй, всего сильнее — как в молодости, во время их бурного увлечения коммунизмом, так и в зрелые годы — в пору постепенного их отхода от коммунизма.

«Чем лучше я знаю твою маму, тем меньше я понимаю ее», — часто говаривал мой отец, когда его вдруг охватывало желание завести со мной разговор о маме. «Может, ты понимаешь ее лучше? После всех лет нашей совместной жизни я стал понимать ее еще меньше»; и затем он рассказывал мне какой-нибудь эпизод из того времени, когда они еще были мужем и женой, — чего я совсем не помнила, потому что была тогда ребенком. Он жаловался на ее чрезмерную жажду общения: «Вечно приходили к нам какие-то гости, непрерывный поток гостей, постоянные вечеринки. Поднявшись утром с постели, я наталкивался в каждой комнате на гостей, расположившихся там с прошлого, а то и с позапрошлого вечера, либо вообще никогда не покидавших нашей квартиры». Так, по его словам, выглядел их брак в те годы. Потом, конечно, ничего подобного уже не происходило, но и в ту пору, когда с нами был дядя Вито, и позже, когда мы с мамой жили вдвоем в Карлсхорсте, и еще позже, когда после моего отъезда она осталась совсем одна, ее всегда окружало множество друзей, которых она навещала или принимала у себя. Но все-таки она изредка теперь нуждалась в покое, чего, если верить моему отцу, с ней раньше никогда не бывало, и она попросту избегала уединения. Возможно, отец, говоря о маме, все слегка преувеличивал, но в том, что касается ее загадочности, я вынуждена была с ним согласиться; простоты ради он часто объяснял это мамино свойство ее происхождением «с Балкан», как он выражался. Под «Балканами» он понимал все, что расположено к юго-востоку от Франкфурта-на-Майне и что было в его представлении хаотическим, непредсказуемым и переменчивым.

О, как она была хаотична, непредсказуема и переменчива! А ее почерк! Словно дикие, огромные и неразборчивые закорючки, не ведающие никаких преград и правил, вырвались на волю. Так, видимо, объятые свободолюбивой мечтой, блуждали каноэ ее юности по бурным альпийским рекам, о чем она иногда мне рассказывала, хотя я, говоря по совести, с трудом могла себе представить ее в столь спортивной и романтической обстановке, потому что во время нашей совместной жизни она вовсе не занималась спортом, да и вообще не следила за своим телом, редко отваживаясь на что-либо большее, чем недолгая прогулка, и, в отличие от отца, предпочитала не созерцать луну, а смотреть по телевизору вечерние новости. Хаотической и непредсказуемой, то есть гениальной, была моя мать и в своих портновских творениях, которые создавала для меня. Она выскивала какую-нибудь материю, кроила ее на глаз, набрасывала мне на плечи, а потом принималась закалывать булавками, подрезать, сметывать, пришивать и подшивать прямо на мне до тех пор, пока платье не будет готово. Она утверждала, что именно так поступают парижские кутюрье, разумеется, из салонов Высокой моды, и платье на самом деле получалось у нее необычным и неповторимым, единственным в своем роде, не подражающим никакой моде, а ее создающим, воистину гениальным, чуть-чуть кривоватым, неровным, не слишком прочным, зато единым гармоническим целым. Эти ее творения отец называл «ручная работа Литци». Примерки перед зеркалом — вот лучшие часы, проведенные нами вместе. Она даже переставала говорить о политике, целиком отдаваясь своим эстетическим исканиям, или силилась вспомнить, когда она видела нечто похожее на то, что ей сейчас примерещилось. Она приходила в состояние эйфории и творческого опьянения, в то время как у меня уже подкашивались ноги от долгого топтания на одном месте, и полагала, что имеет право рассчитывать на какой-то минимум самопожертвования с моей стороны. Она действительно уже не могла сдерживаться, желая подчинить все вокруг своей неистовой созидательной энергии, и это продолжалось до тех пор, пока она, убедившись в том, что все хорошо, не отпускала меня, облаченную в продукт ее творчества, на все четыре стороны. Но поскольку

ку для своих творений она пользовалась не бесконечной материей, то они — после нескольких лет юности и красоты — были обречены на гибель и тлен: швы расходились, появлялись пятна и дыры, и однажды наступал миг, когда они становились похожими на вчерашний день. Тогда, достигшее возрастного предела и с блеском отслужившее свой век платье откладывалось в сторону, а потом убиралось с глаз долой и предавалось забвению в одном из шкафов. Вдохновение для своих произведений она черпала в журнале «Vogue», который ей ежемесячно присылали друзья из Англии, а также в журнале «House and Garden»* того же издательства; эти два иллюстрированных журнала выглядели столь экстравагантно, что таможня ГДР отнесла их, по-видимому, к разряду безвредных и легко пропускала. Поэтому каждый месяц в один и тот же день журналы прибывали в Карлсхорст, а в силу того, что своей толщиной и шириной они превышали размеры почтового ящика, их забирали к себе Ломи или Брауни, чей восточно-прусский вкус, очевидно, не вполне удовлетворялся этими журналами, поскольку, почтительно вручая их потом моей маме, обе не могли скрыть своего удивления.

Маме, наверное, очень хотелось овладеть профессией кутюрье или декоратора, а может, и тесно связанной с ними специальностью художника по интерьеру, поскольку придумывать, оформлять, вымерять, переставлять, чертить, меблировать, а значит, и переезжать с места на место было ее истинным призванием. Начинать заново и создавать новое, творить нечто из ничего, расставаться со всем, что было, и все опять начинать заново. Ибо образ вырастает из пустоты, а посему самое важное и прекрасное, что есть в пространстве, — это как раз пустота. Красивый паркет, благородный ковер, светлые гардины да лишь самые необходимые предметы мебели: кресла, обтянутые пестрой узорной тканью, правильный свет, стеллаж с книгами и одна-две картины, естественно, только оригиналы, ибо репродукции, говорила мама, — всего лишь фальшивые слепки, умаляющие художественные достоинства произведений.

Самым уродливым предметом на свете моя мама считала шкаф, который в Австрии называют «ящиком». Нечто неуклюжее, существующее лишь для того, чтобы в него складывать — в кучу или стопками — и хранить в нем разные вещи. Только ничего не складывать, не копить, не хранить! Словно балласт, сбрасываемый в море при шторме, мама всю свою жизнь избавлялась от вещей, которые не использовались каждодневно и не приносили практической пользы, — от всего, что, по ее мнению, лишь напрасно перегружало корабль. Даже журналы «Vogue» и «House and Garden» отправлялись после основательного изучения в мусорное ведро, а вовсе не сохранялись, как и все многочисленные письма, на которые она, как только их получала, немедленно писала ответ. Она сожалела лишь о двух ценных вещах, утраченных и уничтоженных без ее ведома. Во-первых, очень старый арабский коврик, предназначенный для молитвы, владельцем которого был некогда старик Джон Филби; этот коврик, сотканный крупным орнаментом, весь в ярких красках, украшал нашу гостиную, но однажды Брауни взяла и попросту разрежала его пополам, обшила обе части по краю грубой коричневой тесьмой и положила их на пол по отдельности, посчитав, что две половинки лучше заполняют пространство гостиной. Мама чуть в обморок не упала, когда увидела эти обрезки. А еще она часто рассказывала о рисунках Модильяни, которые она, по ее словам, купила в Париже в тридцатые годы, потому что тогда они стоили дешево, и которые были ей очень дороги. И несмотря на то, что рисунки погибли при бомбежках Лондона, когда ей часто приходилось переезжать с одной квартиры на другую, она еще долго надеялась их где-нибудь обнаружить, что было, разумеется, полнейшей иллюзией.

Теперь на стенах нашей квартиры в Карлсхорсте висели рисунки и акварели Роджера Лёвига, купленные у него мамой после того, как он отсидел год в тюрьме по обвинению в «антигосударственной пропаганде». Я даже не знаю, каким обра-

* «Дом и сад» (англ.).

зом мама познакомилась с его работами, но она была убеждена в их высоких достоинствах и поддерживала художника: рекомендовала его другим и нередко отправляла меня с сумкой, полной еды, и конвертом с деньгами в Кёпеник, где он жил в крохотной квартирке, занимаясь живописью. Должно быть, именно в это время ее эстетические принципы стали брать верх над политическими.

7

У моей мамы было несколько имен, — она не раз выходила замуж, а кроме того, в разные периоды жизни сама называла себя по-разному. Родители дали ей имя Алиса, а какими шутивными прозвищами и уменьшительными венгерскими или немецкими именами они называли ее, она мне не рассказывала; в письмах, доставшихся мне после ее кончины, ее мать обращается к ней Драга Суегекем, то есть дорогое дитя, ведь со своей матерью она общалась только по-венгерски. Позже она стала называть себя Литци, а может, кто-то назвал ее этим именем и оно к ней приклеилось, причем — во всевозможных вариантах: Литци, Лиззи и Лици. Однако после войны, уже в Германии, ее вдруг стали называть Лизой — то ли она сама так решила, то ли снова кто-то назвал ее таким именем, так что ее друзья и знакомые четко делились на разные группы, в зависимости от того, каким именем они ее называли: те, кого она знала еще до войны и с кем встречалась в эмиграции (в большинстве своем это были евреи), звали ее Литци, а те, с кем она познакомилась лишь на своей новой родине, в Германии, звали ее Лиза. Дядя Вито звал ее Лиза, иногда Лизавета, иногда Елизавета, при этом он брал ее за подбородок и смеялся — так пионервожатый смеется над маленькой пионеркой, пойманной на какой-нибудь глупой шалости или буржуазной провинности. И только мой отец называл ее обоими именами.

Этой двойственностью и приблизительностью, то есть — правдоподобной ложью, отмечены и другие обстоятельства ее жизни, ибо наряду с вариантами имен существуют и варианты дат, даже в таких непреложных случаях, как даты ее рождения и смерти. Согласно свидетельству о рождении, она родилась 2 мая, но уверяла всех и вся, что день ее рождения — 1 мая. А поскольку 1 мая все равно было праздничным днем, мама приглашала всех своих друзей к нам после демонстрации. Из гостиной выставлялась почти вся мебель, мама устраивала там фуршет, и ее друзья, собравшись группками, говорили об утренней демонстрации так, словно, шествуя в колоннах, овеваемых знаменами, они действительно испытали радостное праздничное чувство и сейчас, на дне рождения моей мамы, пытаются его продлить. Тут собирались приятельницы моей мамы; почти все, как будто случайно, еврейки, они звали ее Лизой, поскольку познакомилась с ней лишь после войны в Берлине. Хильда родилась где-то в Польше, получив при рождении имя Брунхильда, но за долгие годы эмиграции, скитаясь по разным странам, сократила его до Хильды. Несмотря на свои коммунистические убеждения, она оставалась тайной сионисткой, ибо победу над теми, кто уничтожил ее семью в Польше, видела лишь в создании государства Израиль и поэтому любила Израиль и волновалась за него во время «шестидневной войны», хотя газеты, которые она читала и в которых порою сама сотрудничала, обвиняли и осуждали Израиль как «прислужника американских империалистов». Она втайне торжествовала и упивалась его блестящей победой, и порой посещала пасхальный «седер» в еврейской общине — это были робкие акции протеста, а может, попытки спасти хоть частицу своей еврейской души. Джетти была родом из Голландии и во время гражданской войны в Испании работала там сестрой милосердия. Мамино же восхищение вызывали главным образом ее лучистые голубые глаза. Берта была писательница и состояла в бывшем Союзе пролетарских писателей. Коренная берлинская жительница, она провела несколько лет в тюрьме, а потом подпольно оставалась в Берлине вплоть до окончания войны; теперь она ездила каждый год к своей сестре в Израиль, так же, как и Тони, которой удалось выжить в Освенциме; но свои поездки в Израиль они обе обсуждали впол-

голоса — не то что первомайские демонстрации. Ольга и ее семья тоже бежали от нацистов, но они бежали в Советский Союз, и тамошние товарищи сразу же, как только они приехали, расстреляли ее отца и брата — то ли как врагов народа, то ли как иностранных шпионов. Должно быть, именно по этой причине Ольге приходилось защищать Советский Союз, ГДР и социализм с тем же энтузиазмом, с каким во время фуршета она пила русскую водку или венгерский «Ёсибарацк». Мой отец, чьей любовницей она была, поддерживал ее в этом пристрастии, а мама поглядывала неодобрительно. Ибо известно: евреи не пьют, разве что самую малость. Все это происходило много лет спустя после развода моих родителей, а значит, я не могла винить Ольгу за то, что она обманывает свою лучшую подругу с ее бывшим мужем.

Все даты своей жизни, как и свой день рождения, мама указывала весьма неточно. В различных автобиографиях или заявлениях, которые ей приходилось подавать, нет ни одной одинаковой даты, все даты регистрации браков или разводов она указывала неверно, а кроме того, искажала все фамилии, и не было ни одного населенного пункта, название которого она бы не переименовала, — казалось, независимо от собственной воли она скрывает все достоверные названия и даты. А отправляясь раз в году на родительское собрание, она никак не могла сообразить, в каком же я учусь классе, и на всякий случай предоставляла выполнять эту обязанность моему отцу.

Порой она рассказывала мне о том, что училась целый год в Гренобле, поэтому я, случайно оказавшись в этом городе через несколько лет после ее смерти, просмотрела в университетском архиве регистрационные книги ее курса и среди записей о приеме моментально узнала ее имя и почерк — как у безумной! — а рядом со своей подписью она поставила дату своего рождения, явно взятую с потолка.

Выходя замуж за моего отца, она, по всей видимости, полностью скрыла факт своего второго, нерасторгнутого брака (с Филби) и предъявила лишь свидетельство о разводе с первым мужем. Она доказала тем самым свою «брачную правоспособность», хотя все-таки солгала. Даже дату своей смерти она ухитрилась оставить непроясненной; мама скончалась в Вене в ночь с 18 на 19 мая в доме для престарелых в комнате, где жила одна, — говорят, сердечники часто умирают во сне, так умер, по слухам, и Ким Филби, но неизвестно в точности, наступила ли ее смерть 18 или 19 мая. Выбрать одну из этих дат для свидетельства о смерти она предоставила моему разумению. Лишь по еврейскому исчислению день ее кончины определяется однозначно, поскольку сутки по еврейскому календарю не завершаются в полночь.

8

ТРИ СТРАНИЦЫ ИЗ ПАПКИ ЕЕ ВЕНСКОГО АДВОКАТА

*Центральный Комитет Коммунистической партии Австрии
(сверху — австрийский флаг с серпом и молотом)
28.10.1980.*

Настоящим подтверждается, что госпожа Алиса Хонигман, родившаяся 2.4.1910, в 1933 — 1934 гг. нелегально сотрудничала с Коммунистической партией Австрии, за что подвергалась аресту. С тем чтобы избежать нового ареста, была вынуждена выехать в 1934 г. за границу.

*Без даты
Кепеш Имре
1024 Бугапешт*

Настоящим подтверждаю, что в 1932 году в течение нескольких месяцев нелегально проживал у госпожи Литци Фридман по адресу: Вена, Лачкагас-

се, 9. В Вену я приехал как политический беженец, так как в Венгрии был приговорен к 2 годам тюрьмы. Адрес госпожи Фридман, урожд. Кольман, я получил в организации «Красной взаимопомощи», Вена, Лерхенгассе, 13.

9. 2. 1979

Георг К.

Берлин, Грюнау

Госпожу Литци Х. (тогда она носила фамилию Фридман) я знаю с 1931 г. по нашей совместной деятельности в рабочем движении. Подтверждаю, что она работала в МОПР, в «Красной взаимопомощи» и позже — в Коммунистической партии Австрии. В рамках МОПР она заботилась в первую очередь о беженцах из балканских стран, которые были вынуждены нелегально проживать в Австрии.

В ее квартире регулярно проходили совещания по организации нелегальной политической деятельности.

С помощью этих заявлений, данных под присягой, и при поддержке одного венского адвоката, которую он, не желая вызывать подозрений у официальных инстанций ГДР, оказывал ей секретно, моя мама уже в 1970-е годы пыталась добиться восстановления своего австрийского гражданства, чтобы в качестве лица, подвергшегося политическим преследованиям, получить разрешение на возвращение в Австрию после отсутствия, длившегося несколько десятилетий. Окончательно это возвращение состоялось только в 1984 году, то есть ровно через 50 лет после ее отъезда из Вены. Она сняла квартиру в 4-м районе, неподалеку от Бельведера, и жила там почти до самой кончины.

На двери ее квартиры, на почтовом ящике и внизу, на дощечке со звонками, прикрепленной возле входной двери, значилось: доктор Йон. Не потому, что она жила под чужим именем, — она просто не заменила табличку прежнего жильца. Это не было настоящей ложью, но не было и правдой.

Вся одежда, которую я носила в детстве и юности, и еще много позже, будучи уже молодой женщиной, — если не была создана руками моей мамы и не приобретена в Лондоне в магазине «Маркс и Спенсер», — привозилась из Вены. Колготки и нижнее белье от «Пальмерса», пуловеры от «Альтмана», платья в основном от «Шёпса», обувь — от «Хуманик». Много было куплено и в бутике на Плёсльгассе, магазинчике особого рода, не похожем на лавки, выставляющие свой товар прямо на улице. Постоянным покупательницам следовало, как в XIX веке, подняться в зал на третьем этаже, представлявший собой нечто среднее между складом и салоном, где они выбирали и примеряли платья, костюмы, юбки и аксессуары — все, так сказать, мануфактурного производства. Одной из таких покупательниц была Лотти, самая давняя приятельница моей мамы, с которой они еще в Вене вместе учились в школе, ее тень, ее подружка-двойняшка, чья семья переехала в Вену в начале столетия — однако не из Венгрии, а из Львова. Лотти всегда говорила «из Львова», чтобы не затруднять людей непроизносимым названием польской деревушки, откуда она была родом. Однако в тот период, когда я ее знала, в ней уже ничто не напоминало о польской провинции: теперь она превратилась в очень элегантную даму, предпочитавшую солидные, индивидуального пошива костюмы и платья с Плёсльгассе гениальным творениям моей мамы. Лотти была лишь одной — правда, лучшей — из множества старинных приятельниц, с которыми моя мама дружила еще с незапамятных времен: и в революционные тридцатые, и в период эмиграции сороковых. И с ними со всеми мама поддерживала тесные дружеские отношения и в послевоенные годы, и живя в Берлине; это были те, кто называл ее Литци. Иногда мы встречались со всеми сразу — и с теми, что из Вены, и с теми, что из Будапешта, — на полпути из Будапешта в Вену, где-нибудь на

излучине Дуная. Венские подруги привозили всякие платья, пуловеры, туфли, колготки и бюстгалтеры и одаривали меня этими вещами в таком количестве, что я могла снабдить ими еще и нескольких моих берлинских подружек. В моде тогда были шерстяные трикотажные «двойки», которые подруги моей мамы, да и она сама, находили чрезвычайно практичными, и всех моих берлинских подружек легко можно было вычислить по светло-голубым, темно-красным и антрацитово-черным «двойкам», которых в ГДР никто не носил.

Итак, к концу жизни моя мама вернулась в Вену и оказалась в кругу своих прежних старинных друзей. Многое случилось за минувшие годы, но образ жизни этих бывших венских коммунисток удивительно напоминал образ жизни их родителей, от которых они некогда с таким пафосом отреклись. Впрочем, обуржуазилась сама революция, обрела государственный вид, и некоторые из тех, кто нелегально жил в свое время в Вене, заседали теперь в ЦК или Политбюро социалистических стран. Так, Роза еще долго, кажется, даже из Англии, отправляла — неясно лишь, по какому адресу, — посылки одному из своих жильцов, которого звали тогда Осип Броз, и получила в 1947 году извещение о том, что посылки уже не нужны, большое спасибо за все, и подпись: «Маршал Тито, премьер-министр».

Конечно, эта история принадлежала к числу самых любимых легенд и сказаний о давно прошедших временах. Совсем немного ей уступает еще одна. В ней повествуется о том, как в спокойную Англию приехал эмигрант из Австрии и остановился на первую ночь у каких-то гостеприимных хозяев, которые, однако, отлучились из дома. И когда в полночь зазвонил телефон, эмигрант схватил трубку и произнес, запинаясь: «Oh, I am sorry, I am only the ghost in this house».*

Все мое детство, получая множество венских подарков, составлявших едва ли не весь мой гардероб, я была вынуждена писать благодарственные письма — как все красиво и точно по размеру, и практично, и как мне нравятся подарки, и к этому я немного добавляла о школьных уроках или о занятиях балетом. Эти письма я всегда показывала маме. Обычно она бегло просматривала их, иногда предлагала кое-что подправить или изложить поподробнее — ведь наверняка это будет приятно нашим друзьям. Потом я обычно вкладывала письмо в конверт и надписывала адрес. Но однажды, взглянув на адрес, мама пришла в неопишемую ярость. Никогда за всю жизнь она больше не устраивала мне такого скандала, как в тот день, когда увидела, что слово «Österreich» («Австрия») я пишу с одним «г». Доказательства вины Розенбергов, разоблачение Филби и даже отъезд дяди Вито она перенесла с куда большим самообладанием, нежели мою орфографическую ошибку в слове «Österreich». До сих пор не могу взять в толк, какое я совершила предательство, сделав эту ошибку: мама порвала конверт с письмом на мелкие клочки и назвала меня глупой и примитивной. От волнения она даже стала — на венгерский манер — делать ударение на первом слоге; тут я еще и засмеялась. Тогда она хлопнула дверью и три дня со мной не разговаривала.

Из этого происшествия я поняла лишь одно: австрийская часть души была у моей мамы очень чувствительной, намного сложнее и противоречивей, чем венгерская — ясно и четко выраженная. Ибо с мадьярами у моей мамы не было ничего общего, кроме языка и территориальных претензий к Румынии. В ее представлении венгры были пьющими и драчливыми крестьянами, к тому же еще и неграмотными, — на их-то культурный уровень я, очевидно, и опустилась, написав Österreich с одним «г». Чувство ее принадлежности к Австрии не уступало по силе чувству ее оторванности от нее. И эту-то Австрию между Альпами, австро-фашизмом и «красной» Веной мне полагалось, по закодированному понятиям моей матери, одновременно и любить, и ненавидеть, считать ее

* «О, простите, я всего лишь призрак в этом доме» (англ.). Игра, основанная на звуковой близости слов «guest» (гость) и «ghost» (призрак).

и родной, и враждебной, об Австрии я все должна была знать и понимать, даже научиться ходить на лыжах; мне следовало полюбить ее природу, горы, кухню, культуру, литературу и даже ее безвкусицу; но самих австрийцев я обязана была презирать. Не за то, что они были такими же пьяницами и невеждами, как венгры, а за то, что они были образованными антисемитами. Для выражения этих противоречивых чувств и требовались, очевидно, два «г» в слове «Österreich».

Каждый год, в осенние и пасхальные каникулы, мы ездили то в Будапешт, то в Австрию, во всяком случае, вплоть до моего совершеннолетия, но и после возведения Берлинской стены мама еще доставала необходимую визу благодаря своим связям в каких-то — я никогда не могла сообразить, каких именно, — официальных инстанциях. Вероятно, немалую помощь ей всякий раз оказывало личное приглашение председателя Австрийской компартии, приходившее на два имени — мамино и мое; правда, я никогда этого председателя не видела, забыла, как его звали, но думаю, что вместе с немецкими товарищами он был одно время эмигрантом в Советском Союзе. С этим письмом председателя австрийской компартии мама куда-то ходила, беседовала с каким-то товарищем, и, получив визу, мы отправлялись в Вену на поезде «Виндобона».

Вена была Западом, она и выглядела, и пахла по-западному, ярко освещенная фонарями и огнями реклам, изобилующая красивыми и практичными вещами, которыми меня задаривали сверх всякой меры, причем я никогда не задавалась вопросом, нравятся ли мне эти подарки, как не осмеливалась явиться непричесанной к завтраку с мамой и ее друзьями. В Вене, где маму все называли Литци, а не Лиза, она, как и в Венгрии, становилась какой-то более беззаботной, хотя и более отчужденной, именно потому, что двигалась по этому городу уверенно и привычно, совсем как рыба в воде, в противоположность Берлину — там она постоянно давала нам понять, что чувствует себя как рыба на суше. Дядя Вито не сопровождал нас ни в Вену, ни в Будапешт. Не знаю, сам ли он уклонялся от этих поездок, или мама его не приглашала, наверное, само собой получалось так, что ему, называвшему маму Лизой, просто не находилось места среди тех, для кого она была Литци. Вероятно, она считала, что не нужно и не уместно устраивать встречу участников ее разных жизней. Я думаю, никто из ее давних друзей и в глаза не видел дядю Вито, — а ведь она прожила с ним вместе так много лет.

Напротив, о моем отце здесь часто спрашивали, поскольку он принадлежал к английской сфере их воспоминаний, все они знали его еще по Англии, к тому же именно с ним произошла анекдотическая история, которую они охотно пересказывали, заливаясь смехом. Поселившись в Лондоне, он повесил около дверного звонка табличку со своей фамилией, предварив ее словом «доктор», а потом удивлялся, когда его будили среди ночи и просили оказать срочную медицинскую помощь, ведь «доктор» для англичан — это врач. Связи моего отца со старыми друзьями значительно ослабли за годы его последующих браков, а потом и почти совсем прервались, тогда как мама с течением времени все более их укрепляла. Она часто давала мне понять, что дружба надежнее любви и причиняет меньше страданий, чем любовь, в которой ей самой никогда, во всяком случае надолго, не везло по-настоящему. При этом в Вене у нее все еще были поклонники, и один из них в ее присутствии с упреком сказал мне, что очень бы хотел на ней жениться, как будто я этому мешала, — я ведь, наоборот, считала, что он стал бы для нее очень хорошей партией, поскольку был крупным коммунистическим промышленником, точнее сказать, наследником угольных шахт своего отца, так об этом, по крайней мере, рассказывали. Свое наследство, эти самые шахты, он передал в дар коммунистической партии, но сохранил за собой должность директора; так поступали и другие сыновья промышленников, по большей части евреи. Таким способом компартия Австрии приобрела огромную собственность, в том числе — земельные угодья и недвижимость, и стала благодаря этим дарам одной из самых богатых коммунистических партий в мире. Это я слышала от мамы — она расска-

звала мне об этом с явным удовлетворением, которое, как мне казалось, относилось не только к щедрости дарителей, но и к богатству и собственности как таковым. Когда ее поклонник в своем служебном кабинете говорил мне о том, как бы ему хотелось жениться на маме, он дружески обнимал и похлопывал и ее и меня, а мама хихикала, но не так смущенно и сконфуженно, как в объятиях дяди Вито, а весело и кокетливо; и затем нас снова заваливали подарками. Все это ей, по-видимому, нравилось — и объятия, и похлопывания, и подарки, и мне это тоже нравилось, как и ей, и я была очень довольна.

На ранний венский период маминой жизни приходится ее краткое увлечение сионизмом, она разделяла его со своим первым мужем. Наверняка они встретились в молодежном союзе бело-синих (то есть сионистов), в котором хаверим* отправлялись в пеший поход или в плаванье на каноэ по горным рекам. Обо всем этом она рассказывала мне чаще, чем о своем первом муже, который вскоре уехал в Палестину — без нее.

Мне кажется, от сионистских идей ее отвлекла Митци, ибо она первая привела ее к коммунистам.

В то время в воздухе Вены кроме сионизма носилась еще и революция. «Мы жили в постоянном напряжении, в возбуждении и неистовстве, и политические страсти выливались через край» — так мама описывала мне то время. Наверняка Митци объяснила ей четко и ясно, что Палестина далеко, а борьба венских рабочих и победа справедливости, правды и братства — близко. Чтобы еще больше приблизить победу, необходимы были все эти нелегальные встречи и собрания в квартире моей мамы, по слухам, там даже проходили заседания ЦК компартии. В результате она пережила несколько обысков, а в 1933 году провела несколько недель в тюрьме, — правда, это было лишь предварительное заключение, после которого ее без суда выпустили на свободу. В камере не было зеркала, а матери так недоставало видеть собственное лицо, что она, как Нарцисс, глядевший в родник, пыталась разглядеть себя в чашке кофе, и это ей удавалось, хотя отражение получалось расплывчатым. «В те времена полулегальное существование было для нас нормой жизни, мы чаще ходили на политические собрания, чем на концерты, и чаще на митинги, чем в музеи».

Когда в Вене мы с мамой отправлялись с визитами, она всегда начинала с Митци. Митци была значительно старше мамы, и во время визитов к ней мама принимала такой почтительный вид, что становилась похожей на испуганную школьницу, а я этого терпеть не могла, как недолюбливала и саму Митци, не из-за ее старости, а потому, что она держала себя как наставница, умудренная годами, и походила на иссохшую мумию. Однажды, о чем-то беседуя с моей мамой, она сунула мне в руку книжку издательства «Глобус». Дамы сумерничали у окна, а я сидела под единственным торшером, помирая со скуки над «прогрессивной» книжкой, и не могла дождаться, когда же окончится этот визит и мы покинем эту темноватую комнату, заставленную тяжелой мебелью. Выходя из квартиры, Митци гасила свет во всех комнатах и закрывала за собой все двери. Наверное, это был рефлекс, приобретенный за годы нелегальной жизни, у нас же, в Карлсхорсте, всегда горели все лампы, все двери стояли нараспашку, и даже на окнах не было никаких штор, поскольку мама отнесла их к разряду «мещанство» и ориентировалась на новый скандинавский дизайн, образцы которого она обнаружила в журнале «House and Garden» и весьма увлеченно популяризировала. Ее нынешняя приверженность к стильному дизайну, порядку и эстетическому оформлению пространства была теперь не менее сильной, чем ее прежняя революционная страсть к ниспровержению несправедливого и порочного мира, — страсть, которую Митци зажгла в ней еще тогда, в начале тридцатых годов. От родителей она не могла этого унаследовать, ибо ее отец был скромным служащим в ИКГ;** в те мятежные годы он прибли-

* Товарищи (*ивр.*).

** ИКГ (Israelitische Kultusgemeinde) — Израелитская религиозная община.

жался к пенсионному возрасту и спустя несколько лет, уже после аншлюсса, с точностью до пфеннига, как и требовалось, заносил все полученные им пенсионные суммы в декларацию, которую направлял в «Многоуважаемое имперское учреждение по контролю за имущественным состоянием граждан», прилагая к декларации письменное заявление с просьбой «не включать эти суммы в вычеты, изымаемые у евреев соответственно размерам имеющихся у них состояний».

9

«Именно Митци прислала ко мне Кима, он был на два года моложе меня, а я уже успела развестись с моим первым мужем и вступить в партию. Ким приехал из Кембриджа, где только что закончил курс обучения, он обладал прекрасной внешностью и держался как истинный джентльмен; к тому же он был марксистом — явление редкое. Он заикался, иногда сильнее, иногда слабее, и, подобно многим людям, имеющим какой-нибудь изъян, был обворожителен. Мы с ним мгновенно влюбились друг в друга».

Такими словами, более или менее связно, мама поведала мне однажды о том, как начиналась эта «глава». Случилось это почти что за год до ее смерти, 3 мая, ей было 80, мне — 40, и поскольку она, как правило, весьма вольно обращалась с датой своего рождения, то я беру на себя смелость сказать, что это был день ее восьмидесятилетия. В дверях моего ателье в Страсбурге, где я в то время жила, она появилась внезапно, без предупреждения, что было ей не свойственно — она всегда старалась не приходиться слишком рано, но и не опаздывать, вот почему я так перепугалась, увидев ее в дверях: я подумала, что случилось нечто из ряда вон выходящее; но она спокойно предложила мне выпить чашечку кофе или чая внизу, в кафе высотного дома, на восьмом этаже которого располагалось мое ателье. И пока мы сидели и пили, она — чай, я — свой кофе, она сказала, что хочет наконец сообщить мне кое-какие подробности из этой «главы» своей жизни — о том, как на самом деле она прожила эту «главу», мне же разрешалось спокойно записывать, ибо это будет версия, которую она просит меня сохранить, «но для этого лучше, когда ты допьешь свой кофе, опять подняться к тебе наверх — там нам будет спокойнее».

«У меня была трехкомнатная квартира в Девятом районе, и в одной из комнат всегда жил кто-нибудь, скрывавшийся от полиции, а иногда у меня проходили заседания ЦК или другие собрания австрийской компартии; и вот однажды Митци прислала ко мне Кима. Он, естественно, не был нелегалом, ведь он приехал из Великобритании и имел рекомендательное письмо к Эрику Геди, корреспонденту «Daily Telegraph», который сообщил из Вены о столкновениях между отрядами хайвера и шуцбундовцами* — к тому времени столкновения стали ожесточенными, а 12 февраля обернулись гражданской войной. Ким привез деньги, собранные в Кембридже им и его друзьями, чтобы поддержать борьбу рабочих «красной» Вены. Они полагали, что в Вене началась революция, так оно на самом деле и было. Мы — Ким, я и другие — поддерживали, как могли, восставших рабочих, а потому быстро оказались в самой гуще событий и оставались там до тех пор, пока не начался расстрел восстания; шуцбундовцы обратились в бегство и попрятались. Ким бросился к упомянутому Эрику Геди, опустошил его платяной шкаф, упаковал кучу костюмов, висевших на плечиках, и унес их, чтобы передать раненым и попрятавшимся шуцбундовцам. Мы все тогда разом бросились кто куда, еще пытаясь кого-то защитить, спасти, оказать кому-то первую помощь, а то и организовать пути отступления. Но мы уже были разгромлены.

* Хаймвер — отряды самообороны, руководимые Народной партией (то есть правительством); шуцбундовцы — отряды «красных рабочих», организованные социал-демократической партией.

Эпизод с костюмами Геди пересказывается во всех книжках про Кима Филби, и я могу — исключительный случай! — засвидетельствовать: все именно так и было. После провала восстания Ким, благодаря своему британскому паспорту, помог бежать некоторым из тех, кто скрывался. Вокруг меня тоже стали сгущаться тучи — ведь было известно, что я коммунистка и сидела в тюрьме. Поэтому мы с ним обвенчались еще в феврале, я получила британский паспорт, и мы сразу же покинули Австрию. Если б я тогда знала, как надолго!

А теперь я скажу тебе нечто важное: нет, это не я завербовала Кима в советскую разведку, да и вообще все это произошло не в Вене, хотя то, что он пережил в Вене, вероятно, стало для него политическим стимулом и очень сильно повлияло на его дальнейшие жизненные решения. Но завербован, в подлинном смысле этого слова, он был позже, уже в Лондоне. Все это готовилось загодя, то есть русские уже давно выискивали среди обучающихся в Кембридже сыновей английской элиты, симпатизировавших марксизму, тех, кого считали годными для карьеры секретного агента. В их число попала компания друзей — Дональд Маклин, Гай Берджес и сам Ким. В Англии я часто видела всех троих вместе, им всегда хотелось высказаться и многое обсудить друг с другом, поэтому они частенько уезжали за город, где матушка Кима жила с тремя дочерьми; отец же уехал в Аравию советником Ибн-Сауда. Поначалу мы жили в его квартире в Хэмпстеде на улице Акор Роуд, потом — в Мейда Вейл. Мне всегда казалось, что мать явно предпочитает Кима трем его сестрам, он просто был у нее любимчиком, меня же она вообще терпеть не могла. Наша женитьба привела ее в ужас, в ее глазах это был страшный мезальянс. Ее любимый и единственный сын женился на коммунистке и венской еврейке — кошмар!

Киму нужно было начинать профессиональную карьеру, и он подал заявление в Министерство иностранных дел, как это принято у выпускников Кембриджа, а главное — так желали «товарищи». Но ему требовалась рекомендация, которую бывший tutor* Кима отказался ему дать, потому что знал о его коммунистических взглядах. Так его первая попытка ступить на карьерную лестницу обернулась поначалу неудачей.

В 1935 году он впервые сказал мне прямо, что работает на советскую разведку и что все его жизненные планы отныне поставлены ей на службу. «Товарищ» будут указывать, к каким должностям ему следует стремиться и какие шаги, это касается и личной жизни, он должен предпринимать, — собственно, лишь такие шаги, которые принесут «делу» как можно больше пользы. Точно так же они завербовали Берджеса и Маклина. Все трое заключили с советской секретной службой пожизненный договор, — а им не было тогда и 25 лет».

Так рассказывала моя мама. О своей собственной роли и деятельности в советской разведке она сообщила меньше. В сущности, вообще ничего. Сколько времени она еще работала на КГБ, который тогда назывался ГПУ, в чем состояла ее работа — об этом во время нашей беседы в ателье она говорила весьма расплывчато, и лишь гораздо позже мне стало ясно, что она, многообещающе заявив о своем намерении посвятить меня в «подробности», на самом деле рассказала очень мало. Вероятно, умение профессионального агента внушить своему собеседнику уверенность в том, что они обмениваются мнениями на равных, но при этом не выдать никакой информации, стало ее второй натурой.

Она не сказала мне и никак не объяснила, на основании какой договоренности с КГБ ей разрешалось и после разрыва с Филби, и после брака с моим отцом, все то время, пока она жила в ГДР, свободно пересекать границы, тогда как Филби еще в течение 20 лет не был разоблачен как советский шпион. Ведь эта ситуация наверняка создавала для КГБ известный риск, притом постоянный. Ей стоило лишь проехать в Западный Берлин, зайти в британское посольство и заявить, что она может сообщить Ее Величеству нечто, представляющее чрезвычайный интерес. Либо просто-напросто написать письмо в посольство,

* Tutor (англ.) — наставник, воспитатель в университетах Англии.

а то и прямо в Министерство иностранных дел Англии, анонимно или от своего имени. Но этого она, разумеется, не сделала. Она тоже до самого конца соблюдала условия своего пожизненного договора, хотя ее еврейское происхождение и коммунистическое прошлое стали в скором времени создавать угрозу для инсценированного КГБ положения Филби в британской разведке и британской системе власти, и в этом тоже — одна из причин их разрыва. Спланированная стратегия карьерного взлета требовала поначалу политической переориентации в консервативную сторону, левые заблуждения, так сказать, шалости студенческих лет, должны были остаться в прошлом. В этом отношении советские товарищи считали возможным заходить так далеко, что стали внедрять молодую чету в пронемецкие объединения, дабы, получив там официальное приглашение, они могли принять участие в какой-либо британско-германской встрече и сфотографироваться на фоне свастики, украшавшей банкетных столов. Этот инсценированный политический кульбит обоих супругов наверняка привел в шок их левых и либеральных друзей, вызвал у них, естественно, возмущение и растерянность и привел к отчуждению и разрыву с этим кругом — в точном соответствии с планом, разработанным КГБ. В конечном итоге пришлось расстаться и с Литци, поскольку она, со своим коммунистическим прошлым, просто не смогла бы как следует вписаться в картину этого поворота. Ведь англичане были так наивны, сказала моя мама, так наивны! Давние левые и либеральные соратники студенческой поры отделились от Кима и, наверное, его презирали, но ни в чем никогда не подозревали! Ведь самые близкие его единомышленники времен Кембриджа играли в этой игре свои роли, а потому так и вышло: ядро группы не понесло потерь и осталось в заговоре.

Говоря о Филби, моя мама никогда не называла его «Филби», она именовала его как-то по-домашнему — просто Ким, и в этом я чувствовала не прошедшую за многие годы симпатию, но и обиду. После развода с нею Филби еще несколько раз вступал в брак, но и моя мама — вскоре после первых лондонских лет — поселилась в Париже с каким-то любовником, потом вышла замуж за моего отца, а еще позже жила с дядей Вито. Если судить о ее жизни по всем этим мужьям, любовникам и поклонникам, она может показаться весьма вольготной, тогда как в действительности все эти связи и следовавшие за ними расставания — кроме случая с моим отцом, который остался ее близким другом, — не приносили ей счастья и оставляли в ее душе боль и разочарование, о чем она, правда, говорила скупно, но скрыть этого не могла. Снисходительное презрение, с которым она произносила имя Кима, более чем ясно выражало эту раздвоенность.

Во всяком случае, за 25 лет, которые Филби прожил на своей «настоящей родине» (так он сам выражался, подразумевая Советский Союз), он не предпринял ни единой попытки каким-то образом с нею связаться.

Мне кажется, это очень ее обижало; вроде бы в 1984 году, когда он был в Берлине, у него мелькала мысль позвонить ей по телефону — об этом сообщает русский журналист в книге своих бесед с Филби. Журналист прямо спросил его о Литци, и почему он больше с ней не виделся. Тот ответил, что не мог решиться, не знал, что она в разводе. Ким не знал и того, что именно в том году, когда он находился в Берлине, Литци вернулась в Вену — город, в котором начиналась их общая история. Филби уже целых двадцать лет жил в Москве, а Литци, так сказать, подалась на Запад: по-видимому, он счел это своего рода дезертирством.

Однако все эти годы он следил за ней издали и не терял ее из виду, ибо в том же разговоре с русским журналистом весьма подробно говорит о Литци; ему было известно, что позже она вышла замуж за немца-эмигранта из Лондона, то есть за моего отца, и переехала с ним в Берлин, в ГДР. Он даже знал, что у нее есть дочь, не раз бывавшая в Москве, но со мной он ни разу не встретился.

8 мая, день безоговорочной капитуляции Германии, назывался в ГДР «Днем Освобождения» и по закону считался выходным; если людей не заставляли присутствовать на официальных мероприятиях, посвященных Освобождению, они отправлялись удить рыбу на одно из озер, коих в окрестностях Берлина множество, или проводили у себя дома весеннюю генеральную уборку, или что-то копали и сажали на своих дачных участках, либо находили себе еще какое-нибудь занятие. Во всяком случае, никто не считал себя обязанным выражать благодарность или признательность по отношению к «русским» — так они называли советскую армию-освободительницу. Напротив, судя по тому, что говорили Ломи и Брауни, да и другие наши соседи в Карлсхорсте, именно «русские» и ввергли Германию в беду, а если в «Нойес Дойчланд» писали нечто противоположное, так ведь эту газету, вообще говоря, использовали в основном как оберточную бумагу.

Западные немцы этот день попросту игнорировали, точно так же, как и победители, то есть англичане и американцы, — очевидно, их национальная гордость не нуждалась в праздновании 8 мая. В Москве же память об окончании войны отмечалась днем позже, 9 мая, и этот «Праздник победы» сопровождался многолюдными демонстрациями, награждением государственными орденами и медалями, военным парадом и всем прочим, чем страна может отпраздновать свою победу. Но были люди, которые безо всякого официального принуждения встречались в дружеском кругу, чтобы отметить этот день как важное и счастливое событие своей жизни. На такую праздничную встречу и взяла меня однажды с собой тетя Мишка. Она, конечно, не была настоящей моей тетей, а лишь подругой моей мамы и Хильды, тайной сионистки, которую знала еще со времен Коминтерна. В последние годы я виделась с ней довольно регулярно, а на этот раз приехала в Москву, чтобы заняться изучением творчества Всеволода Мейерхольда, театрального режиссера эпохи русского авангарда. После двадцати лет ГУЛага коммунистические убеждения Мишки сильно поубавились, о Второй мировой войне она узнала в Сибири по слухам, и также с большим опозданием дошли до нее известия об уничтожении евреев в Европе. Выйдя из лагеря, она пыталась отыскать в Риге своих родителей и родственников, но тщетно — они либо сгинули в Освенциме более десяти лет назад, либо их сразу расстреляли в Рамбуле, лесочке под Ригой, пока она в Сибири собирала клюкву из-под снега метровой толщины. Банки с клюквой и сейчас еще можно видеть на прилавках московских магазинов — Мишка их никогда не покупает. Теперь, в 1970-е годы, она играла роль «диссидентской матери». Ее квартира служила местом сборищ и чем-то вроде клуба, где читали вслух, обменивались мнениями, книгами и рукописями, а 5 марта, из года в год, необычайно весело отмечали день смерти Сталина, раздавая при этом лагерные пайки — каждому по числу проведенных на зоне лет.

Победу же над Гитлером праздновали у Шуры Бутурлина, вероятно, на том основании, что это — военная победа, а Шура был в высоких армейских чинах, во всяком случае, до недавнего времени. Он жил в районе новостроек, в семнадцатизэтажном доме, до которого нам с Мишкой от ее квартиры приходилось добираться целых полчаса.

Шуру уволили из армии и досрочно отправили на пенсию за то, что он неоднократно публично высказывался против ввода советских войск в Чехословакию. Он был убежден в незаконности этой военной акции — чем и оправдывал свою оппозиционность, — и, очевидно, верил, что память о длинной череде его предков, непрерывно доказывавших русским властителям свою преданность, дает ему право открыто и во весь голос выражать свои убеждения. Шура происходил из боярского рода Бутурлиных, наиболее известным его предком был Александр Борисович, фельдмаршал Петра Первого и московский губернатор, который изображен на знаменитом репинском полотне

сидящим в седле, рядом со своим повелителем. С тех пор, при всех русских царях, Бутыркины становились маршалами, губернаторами и генералами, а после революции — конечно, лишь те, кому удалось избежать расстрела, — отправились в эмиграцию, за исключением Шурино деда, который встал на сторону революции и доказал свою преданность новой власти. Так что Шура оказался первым, кто нарушил традицию этой преданности, за что и был досрочно отправлен в отставку. Однако, учитывая, вероятно, его фамилию, известную каждому русскому, Шурино имя не опорочили, самого его не лишили воинских званий и даже разрешили ему — в случае, если он пожелает, — продолжать и в статусе «пенсионера» носить мундир офицера советской армии со всеми орденами и знаками отличия; но такого желания у него не возникало. На все мои просьбы хотя бы раз надеть свой украшенный орденами мундир, дабы совершить в нем одну из наших многочисленных прогулок по Москве, он отвечал категорическим отказом. Свободного времени было много у нас обоих, ибо мой проект заняться в архиве изучением творчества Мейерхольда вскоре рухнул; несмотря на мои влиятельные связи и предлагаемые мной на выбор: театральные контрамарки, билеты до Ленинграда в спальном вагоне и наборы западной косметики, — все это, естественно, придумала Мишка, — у меня не было ни малейшего шанса получить нужные материалы, и это я поняла сразу же, едва вошла в кабинет архивной директрисы, которая восседала с видом Екатерины Великой и, даже не предложив мне сесть, избавилась от меня за две минуты: «Нет, нет и нет! Этот фонд закрыт. До свидания».

Другим досрочным — тоже почти сорокалетним — «пенсионером» в этой компании был Александр Некрич, которого недавно исключили из партии и отстранили от должности в Академии наук, после того как его книга «21 июня 1941 года», посвященная событиям первого года войны, сначала появилась в продаже, но вскоре была изъята из книжных магазинов и библиотек, а весь тираж уничтожен. В этой книге исследуются причины поражения в 1941 году, предшествовавшего победе в 1945-м, приводятся данные о непомерных и неоправданных потерях, описывается преступная халатность Сталина при подготовке к войне, объясняется — естественно, строго научным методом, — каким образом дилетанты, лишенные ума и умения, вели эту войну в самом начале, губя сотни тысяч солдатских жизней, и делается вывод о том, что победа в Великой Отечественной была одержана не благодаря Сталину, а вопреки его катастрофическому невежеству в военном деле и ценою миллионов человеческих жертв. За эти соображения автор книги и оказался досрочным «пенсионером», как и его друг Шура, но, в отличие от Шуры, его уволили не «с почетом», а наложив запрет на его публикации, подвергнув всевозможным унижениям и, конечно же, лишив права участвовать в каких-либо конгрессах и конференциях как внутри страны, так и за ее пределами. Он стал готовиться к эмиграции, поскольку не видел для себя возможности заняться какой-либо мало-мальски осмысленной работой, а кроме того, уже не верил в способность советской системы к изменениям — ее поддерживает, как ему казалось, развращенный, покорный и циничный народ, абсолютно равнодушный к человеческим и гражданским правам. Впрочем, диссидентские круги тоже не внушали ему доверия, потому что и здесь встречались личности, желавшие руководить, требовавшие единомыслия и враждовавшие между собой. Еще в Москве он начал писать воспоминания, потом эмигрировал в США — можно сказать, вместо своего друга, который жил по соседству в той же новостройке. Ибо третьим досрочным пенсионером в этой компании был человек, проделавший обратный путь: много лет назад его успели переправить из США в Советский Союз — незадолго до того момента, как раскрылась его шпионская деятельность в пользу СССР. Это был Дональд Маклин, один из кембриджских «апостолов» и, по словам моей матери, первый из тех, кого удалось завербовать советским спецслужбам, а он уже привлек к этой работе своих друзей Филби и Берджеса. Теперь же этот агент КГБ сидел рядом с московскими диссидента-

ми в квартире Шуры Бутурлина и праздновал вместе с ними День Победы над гитлеровской Германией. Он запомнился мне по одному жесту, который до этого я видела только у моего отца. Когда мы с Мишкой вошли в комнату, он встал со стула точно так же, как вставал мой отец, когда в помещение входила женщина, ничуть не рисуясь, а как человек, для которого вежливость — совершенно естественное поведение. Прежде чем я услышала его акцент, я поняла, что он не может быть русским, но и на еврея он тоже не был похож. Его скромная, совершенно ненавязчивая манера держать себя сразу же выдавала в нем английское воспитание, о котором мама так много говорила и которым так восхищалась. «Не слащавая угодливость, как у австрийцев, и не подбострастная подтянутость, как у пруссаков, а самые обыкновенные знаки внимания и взаимного уважения» — они-то, по мнению моей мамы, и создавали облик цивилизованного человека.

Итак, он встал, когда мы вошли, а Шура в это время накрывал на стол и доставал из стенового шкафа фарфоровый сервиз — единственное, что у него осталось от аристократических предков и не вполне вписывалось в обстановку квартиры-новостройки со встроенным стенным шкафом; каждый предмет этого сервиза был украшен фамильным гербом — простым, без завитушек, гербом Бутурлиных. Мишка представила меня Дональду Маклину и сказала: «А знаешь, кто это?» Он, конечно, ответил, что нет, не знает, ведь мы раньше никогда не встречались, и Мишка объяснила ему, что я — дочь Литци. «Боже мой, я видел Литци последний раз в Париже в 1938 году! — Он всплеснул руками, мне показалось, немного испуганно. — Что она подделывает, как ей живется?» Потом нам пришлось потесниться и переставить стулья, чтобы всем хватило места за столом. Он задал мне несколько вопросов о маме, о ее жизни, и прежде чем мы вернулись к общей беседе, сказал, хотя я ни о чем его и не спрашивала: «С Кимом у меня почти нет контактов, он живет совсем обособленно, на окраине Москвы». Правда, я уже не помню, как именно он выразился: «почти нет», «вовсе нет» или «давно нет» контактов. Сам он уже много лет ведет обычную московскую жизнь, вращается в диссидентских кругах — видимо, он и Филби все-таки далеко разошлись в том, что касается политики. Маклин жил в Советском Союзе с 1951 года, и у него было достаточно времени, чтобы изучить советскую действительность, которая, надо думать, избавила его от многих иллюзий. Он пытался порвать с КГБ еще до своего разоблачения, но когда все раскрылось и в Англии арестовали Клауса Фукса, у него не оставалось другого выхода, кроме как навсегда укрыться в незнакомой и, видимо, вскоре разочаровавшей его стране. Вот к чему привел пожизненный договор, который он заключил еще много лет назад, будучи блестящим студентом Кембриджского университета.

Шура, потомок аристократического рода Бутурлиных, подавал на стол закуски, а Саша Некрич, академик-расстрига, уже откупоривал бутылку шампанского, и за ужином, который продолжался много часов, мы чокались неслучайное число раз и пили за поражение Гитлера, за капитуляцию Германии, за победу Красной Армии, но также и за смерть Сталина, и не меньшее число раз проклинали, осуждали и обличали всех иных диктаторов и тиранов — и прошлых, и нынешних, и тех, которые еще, к сожалению, явятся на свет.

Когда я возвращалась из своих поездок в Москву, я бросалась к родителям, взволнованно рассказывала обо всем, что мне довелось услышать от тамошних диссидентов, не скрывая от них и своего знакомства с молодой женщиной, едва старше меня, которую как раз в то время выпустили из психиатрической клиники, куда она попала «за распространение запрещенной литературы» и где ее мучали всеми мыслимыми и немыслимыми способами психиатрического воздействия, но когда я встретилась с ней на кухне у Мишки, где она спокойно сидела и пила чай, она все так же продолжала распространять запрещенную литературу.

Конечно, я знала, что мои родители не любят слушать такие истории, пото-

му-то я и рассказывала им об этом: я должна была довести это до их сознания. Однако я не решалась упрекать их в пособничестве режиму и такие выражения, как «преступная система», употребляла лишь для того, чтобы проверить их реакцию. Мама в этих случаях говорила «ну-ну-ну», и отец тоже говорил «ну-ну-ну» и добавлял: «Ну чего ты так возмущаешься?» Я же усматривала в этом их «ну-ну-ну» попытку отмахнуться от всего, что там происходило и происходит, и, конечно же, возмущалась. Я ожидала, что они согласятся признать: там совершаются преступления, от которых не отмахнешься никакими «ну-ну-ну». Но их хватало только на то, чтобы, огорченно пожав плечами, иронически отдалиться на некоторую дистанцию. От радикальных суждений, которые позволял себе Саша Некрич, — нет, он больше не верит в возможность реформирования марксизма-ленинизма, ведь это учение, провозглашая изменение государства и общественного строя, на деле разрушает гражданское общество, ибо зиждется на культуре насилия, что и доказывают миллионы жертв, — мои родители содрогались, но сами никогда не посмели бы зайти так далеко в своих мыслях. Наверное, они испытывали смутное недовольство, возможно, даже ревновали меня к моим московским друзьям, приобщившим меня к идеям такого рода и познакомившим меня со своими окончательными выводами, которые оказались исключительно негативными. После моих возвращений из Москвы нам, пожалуй, вообще не следовало какое-то время видеться — мне и моим родителям.

11

Когда мама говорила со мной об этой «главе своей жизни», я не понимала, чего в ее рассказах больше — стыда или гордости, это была какая-то смесь из многозначительных намеков и умолчаний; таким образом она исключала меня из хода событий и превращала в сообщницу. Вряд ли я действительно что-либо поняла или узнала из ее рассказов; скорее мое воображение создавало мир зеркальных отражений, обманных маневров, невероятных совпадений и двойной игры. Мама же не допускала и сомнений в том, что все это вранье и предательство должно служить той великой, подлинной и единственной истине, которую открыли ей тогда в Вене Митци и ее соратники. Легкое чувство стыда, которое, как мне казалось, все же сквозило в ее рассказах, относилось в основном не к рухнувшим надеждам — в этом отношении, несмотря на все ее «ну-ну-ну», она не питала никаких иллюзий, хотя и отказывалась признать подлинный масштаб поражения, — скорее это был род смущения, которое испытывает человек, приоткрывший какие-то секреты, но не сумевший внести полной ясности. В известной степени причиной ее смущения были, возможно, мечты о власти и чрезмерное самомнение, что лежит в основе деятельности всех секретных агентов; гордость же объясняется риском и опасной игрой, на которые она отваживалась. Когда она упоминала порой о шифровках, связанных, тайниках в постоянно меняющихся местах, паролях и проглоченных документах, это и впрямь походило на шпионский роман. Собственно, это и был настоящий шпионский роман или, по крайней мере, глава из ее жизни, но мама подавала эту главу как фрагмент, хотя была по натуре, скорее, женщиной робкого десятка — во всяком случае, в той жизни, в которой я ее знала. Отец всегда называл ее «заговорщицей», при том что она была очень словоохотлива и, начав говорить, никак не могла остановиться. Как можно быть такой самоотверженной и в то же время такой сдержанной, как может быть человек соткан из таких противоречий — этого мой отец никак не мог взять в толк и всякий раз волновался, когда вновь заговаривал со мной о маме. Она была привлекательной и темпераментной женщиной, но иногда все же довольно робкой. Именно такой я помню ее в парадной нашего дома в Карлсхорсте, когда она стыдливо пыталась высвободиться из объятий дяди Вито. Порой мне даже казалось, что она сознательно принижает себя перед ним, дабы подчеркнуть, как

сильно она его любит. Вероятно, этот вид смирения в любви и был сродни ее преданности идеям коммунизма и верности советским секретным службам, ибо и в этой самоотверженной привязанности она чувствовала себя мелкой сошкой, играющей в то же время важную роль, — маленьким винтиком, но причастным к великому делу, а, может, и к будущему всего человечества.

Именно из-за ее скрытности и сдержанности ей было позднее очень неприятно видеть, что эта глава ее жизни получила огласку в бесчисленных книгах и статьях, где ей неизменно отводилась определенная роль — соблазнительницы, темпераментной еврейки, завлекшей пугливого выпускника Кембриджа в любовные сети, коммунизм и борьбу рабочего класса на улицах Вены. Странно, но именно мой отец особенно бурно реагировал на эти публикации, в частности, потому, что они — лживо или правдиво — но слишком уж явно тиражировали избитый стереотип. Маме же, напротив, боль причиняло то, что их с Кимом история — и любовные отношения, и брак — так широко освещались и обсуждались, в то время как сам он за все эти годы ни разу не дал о себе знать. Я думаю, ей очень хотелось увидеться с ним, чтобы объяснить и поговорить по душам.

Об этом ее желании и о том, что она разочарована столь молчаливым финалом, я догадывалась, когда она порой начинала откровенничать, по тону ее рассказов, но еще и по тому, как она произносила его имя.

Имя и история из давно прошедшего времени — все это существовало в воспоминаниях, сплетаясь с внутренним их осмыслением и, в конечном счете, с тенью воспоминаний, пока вдруг это давно прошедшее не возникло сызнова в газетах и книгах как невероятное настоящее — после того, как 3 января 1963 года Гарольд Адриан Рассел Филби, возвращаясь из Бейрута, пересек границу Советского Союза, а спустя месяц его бегство в Москву подтвердилось официально, и он был окончательно разоблачен как «третий участник группы», а затем английские журналисты нагрянули в мамин дом в Карлсхорсте, чтобы выспросить все об этих давно минувших днях ее жизни.

Если она и теперь иногда заговаривала со мной об «этой главе», то все равно в прежнем секретном тоне, — чтобы я никогда никому об этом не рассказывала, не вздумала проболтаться, а я не понимала почему — ведь об этом уже всюду писали, и все это обсуждалось по телевизору и по радио с утра до вечера. Но эта «глава моей прошлой жизни» была в ее сознании так прочно связана с требованием секретности, что даже я чувствовала себя скованной обетом молчания. Не из убеждения, что так нужно, а, скорее, из чувства смущения. Меня смущало, что я должна носить, как дворянский титул, это смехотворное отличие, смущало и беспокойство, с которым мама всякий раз встречала сообщение о том, что она тесно сотрудничала со спецслужбами.

Однако за год до смерти, в тот самый день, когда мама появилась в дверях ателье и пригласила меня в кафетерий на чашечку кофе, она вдруг предложила мне записать «эту историю», чтобы сохранить «главу ее прошлого». Может быть, в виде статьи. Для «Times» или «New York Times». «Ты могла бы потребовать высокий гонорар. Даже очень высокий». Я и сегодня не совсем понимаю, что она имела в виду. Возможно, она хотела, чтобы эта история, в конце концов, принесла хоть какую-нибудь пользу ее дочери, пусть даже финансовую.

Я должна написать, что ее звали Литци. Литци Кольман, Фридман, Филби, Хонигман. Что она все знала, и хотя началось это в Вене, но только в Лондоне приобрело по-настоящему реальные очертания, — вербовка и советская агентура. Затеяли же все это их общие венские друзья или друзья друзей, а вовсе не она сама, как везде утверждают. Потом они переехали в Лондон, а когда началась гражданская война в Испании, Ким отправился туда в качестве корреспондента. Он был единственным английским журналистом в лагере Франко, посылавшим репортажи с той стороны, и, конечно, это было всего лишь маскировкой, чтобы иметь возможность передавать информацию русским. Это

было его первое настоящее задание, полученное от советской разведки, мама же в этом испанском эпизоде была его связным, поэтому и сняла квартиру в Париже, а жила на жалованье, которое выплачивала ему «Times». Просто потому, что из Франции было легче поддерживать связь. Они встречались, сказала мама, в отелях в Биаррице или Перпиньяне, а то и в Гибралтаре, он доставлял ей туда информацию, которую она потом передавала офицеру-связному в Париже. Естественно, бывали и трудности. Во время сражения под Терузелем Ким находился в штабе Франко, вскоре началась перестрелка, и его ранило в голову; он спрятал информацию в головной повязке. Вероятно, именно тогда ему и пришлось проглотить «маляву».

В 1939 году началась война, и мама вернулась в Лондон. В нашем разговоре она сказала, что связь ее с советской разведкой, таким образом, прервалась. Это звучит весьма неправдоподобно, ведь именно те годы стали в Советском Союзе временем наивысшей политической подозрительности; шли судебные процессы, в которых совершенно невинных граждан объявляли врагами и вражескими шпионами. Даже в том случае, если их не расстреливали сразу после суда или не отправляли в лагерь, все равно никому не удавалось легко отделаться.

Моя мать никак не объяснила мне этой несообразности. Каким образом она смогла избежать подозрений и, зная то, что она знала, расстаться — без потерь и последствий — с советскими секретными службами? Мне кажется, что, умолчав об этом, она более солгала, нежели сказала правду.

Воспоминания Филби об Испании и Париже, как он изложил это все тому же русскому журналисту за год до смерти, целиком расходятся с маминим рассказом. Впрочем, русский журналист мог что-либо перепутать или неправильно понять. Если сравнить обе версии, все становится еще запутанней. Но в мире нет ничего более несуразного, чем воспоминания. К тому же все это было очень давно. Вероятно, им просто не стоило и стараться припомнить все в точности, а может, один из них солгал нарочно или оба в своих воспоминаниях исказили прошлое. А может, даже самые важные тайны секретных служб, в конечном счете, так скучны и пусты, что с течением времени теряется смысл тщательно хранить их в памяти.

12

«Ну и натанцевалась же я! Ночи напролет! Почти каждый вечер я устраивала вечеринки в своей мастерской на набережной д'Орсэ — там я и жила. Часто я даже не знала тех, кто пришел ко мне повеселиться: случалось, чуть ли не четверть компании состояла из незнакомых людей. Однажды, танцуя с одним из них, я спросила, как он, собственно, попал на мою вечеринку, и он ответил, что на пароме из Дувра в Кале познакомился с одним пассажиром, который пригласил на вечеринку половину парома, и все они, прямо с пристани, отправились на набережную д'Орсэ. Он спросил, не знакома ли я с хозяйкой дома, о которой на пароме много говорили, ему, наверное, надо бы ей представиться; тут я, конечно, рассмеялась и сказала: «Ну что ж, вот и представьтесь мне!» Даже не помню, на каком языке мы с ним разговаривали.

Вскоре по приезде в Париж я собрала вокруг себя группу живописцев и скульпторов, учеников Майоля, большей частью это были венгры или голландцы; венгры были ужасно бедные, а голландцы довольно состоятельные. В то время я тоже была богата, потому что каждый месяц получала чек у «Ллойда» — жалованье Кима из «Times». На эти деньги я содержала квартиру — никогда больше я не жила на такую широкую ногу, раздавая деньги или просто швыряя их на ветер, что доставляло мне огромное удовольствие! Я покупала туалеты и шляпы, — ты ведь знаешь мою страсть к шляпам, — большие, с широкими полями, украшенные перьями, — *dernier cri, nouvelle collection!** Мои

* Последний крик моды, новые модели (фр.).

друзья-художники дарили мне картины, графику, рисунки, тогда я и купила два рисунка Модильяни, они пропали вместе с другими рисунками в Лондоне; позже, уже не помню при каких обстоятельствах, когда нам, во время «блиц-крига», пришлось бесконечно переезжать. Когда началась война, Ким решил, что для меня следует найти более безопасное место, потому что мне как еврейке в случае немецкой оккупации угрожала бы в Париже большая опасность, тогда как в Англии это маловероятно. Мы все почему-то были уверены, что Франция не сможет долго сопротивляться. В панике, возникшей в начале войны, почти никто из гражданских лиц не сумел перебраться в Англию, но Киму, через Министерство иностранных дел, удалось достать мне билет на паром. Ведь мы еще состояли в браке, и по документам я считалась англичанкой миссис Филби. Правда, в Париже я жила уже с Питером, и у Кима тоже были свои романы. Питер был одним из тех голландских скульпторов, которые посещали мои вечеринки, мы с ним неожиданно влюбились друг в друга, возможно, это была самая счастливая моя любовь, а время, проведенное с Питером, — самое счастливое в моей жизни. Мне кажется, я любила его, но он любил меня все же немного сильнее, вообще-то с моими мужчинами всегда бывало наоборот, а может, мне просто кажется, что я отдавала им больше, чем они мне, но в конце концов эти мужчины покидали меня, как твой отец. Да и любовь с Питером тоже как-то погасла, я даже не помню точно, где и когда все закончилось. Когда началась война, ему пришлось вернуться в Голландию, и только спустя много лет мы обменялись весточками, но я была уже замужем за твоим отцом, а может быть, даже успела с ним развестись. Эту любовь с Питером я вспоминаю как счастливое время, возможно, именно потому, что нашему счастью помешали внешние, политические обстоятельства, и нам не пришлось разочароваться друг в друге, прожив долгую совместную жизнь. Мы еще успели снять домик в Грорувре, в часе езды от Парижа, и жили как бы наполовину в городе, наполовину в деревне, и у нас всегда гостило много друзей, а вскоре к нам из Англии стали приезжать и первые венцы, оказавшиеся за это время в эмиграции. В Грорувре мы провели вместе последние безоблачные месяцы, — старые друзья из Вены и новые друзья из Парижа, голландцы и венгры. Думаю, в нашем домике никогда не было меньше двенадцати гостей. Мы были сторонниками испанской республики, Леона Блюма и Народного фронта и, конечно же, ненавидели нацистов. С приближением войны настроение ухудшалось, нарастала тревога, но жизнь тем не менее бурлила все яростнее. Эти годы в Париже, несмотря ни на что, — самые счастливые в моей жизни. Все было именно так, как писал Хемингуэй: «Париж — это праздник, который всегда с тобой». Конечно, у меня и тогда был пес, я взяла его из собачьего питомника, такой огромный — его никто не хотел брать, а он так грустно глядел из своей клетки, что я не выдержала и взяла. В Париже и в нашем большом саду в Грорувре он еще года два-три наслаждался жизнью, многочисленные гости его не беспокоили, совсем наоборот, он был очень ласковый и всем доверял, но потом я разрушила его веру в людей, потому что не смогла взять с собой в Англию, мне пришлось вернуть его в питомник, я нашла для него хороший и дорогой и заплатила за много лет вперед. Если я когда-нибудь напишу книгу, это будет книга о нем. Я все еще тоскую по этому псу. Естественно, после войны я не сумела отыскать этот парижский питомник. И Питера. И никого из голландских и венгерских художников я тоже больше не видела.

После войны я ездила в Париж один-единственный раз, и это действительно разбило мое сердце. Я знала: этот приезд будет последним. Чтобы как-то утешиться, я снова купила себе большую шляпу. Носила ее, пока была в Париже, но потом больше не надевала ни разу в жизни».

Эта последняя парижская шляпа относилась к тем немногим ненужным вещам, а может, была единственной вещью, которую мама — несмотря на всю ее бесполезность — хранила все эти годы, даже в Берлине, но я потом ее потеряла, когда взяла в школу как реквизит для костюмированного спектакля; она

пропала в хаотическом нагромождении других украшений, и мне не удалось ее найти, хотя я долго искала.

Из всех «глав ее жизни» парижская была самой любимой. Именно о Париже моя мать охотнее и чаще всего рассказывала, каждый раз вспоминая одни и те же эпизоды и впечатления, так что ее воспоминания облекались в застывшие выражения, которые она повторяла с особой интонацией — взволнованно и грустно, восторженно и тоскливо; в свою речь она то и дело вставляла французские словечки, которые, благодаря ее раскатистому «р», звучали немного «по-балкански» — по этому признаку мой отец и определил ее происхождение. При этом его собственный немецкий акцент точно так же был узнаваем и в английском, и во французском. Пожалуй, он немного ревновал ее к этому периоду ее жизни, когда они еще не были знакомы, хотя он в те годы тоже жил в Париже и даже пытался работать продавцом в книжной лавке, — ведь в 1933 году после захвата власти Гитлером отца уволили из газеты «Фоссише цайтунг», а вскоре и сама газета прекратила свое существование. Карьеры книгопродавца он, правда, не сделал, и жил, точнее сказать, ютился, где-то в Бельвиле, в негрятинском квартале, вдалеке от набережной д'Орсэ, где миссис Филби устраивала свои праздники.

Парижская «глава ее жизни» оказалась по времени самой короткой и походила более на роман. В натуре моей мамы не было истинно французской жилки, в отличие от венской, венгерской, английской, а позже еще и берлинской. Она слишком часто цитировала чьи-то слова: «У каждого человека есть две родины — его собственная и Франция», так что я не могла не догадаться: Францию она считала неосуществленным проектом своей жизни и с неиссякаемым энтузиазмом продолжала его расцвечивать в своих рассказах, описывая жизнь меценатши или музы, жизнь, в которой она могла бы создавать шляпы и интерьеры, отдыхать на Корсике и проводить время в обществе крупных буржуа и богемы — между Парижем и Санари-сюр-Мер. Советские секретные службы в этом проекте не фигурировали.

Это была Франция Леона Блюма, о котором она часто рассказывала, Франция Народного фронта, гражданской войны, которая шла в соседней стране, — ведь на фоне вечеринок, танцев ночи напролет и примерок шляп эта война и была настоящей причиной ее пребывания в Париже. В действительности — или, по крайней мере, параллельно со всем остальным — это было время конспирации, встреч со связными, шифровок и передачи сведений. И все же эта параллельная жизнь тайного агента была для мамы именно «главой», в то время как наружная часть походила на роман, в который она так хотела обратить свою жизнь. Эта жизнь — во всяком случае, если оценивать ее ретроспективно — подошла бы ей, наверное, куда больше — жизнь в центре космополитического круга, состоящего из людей искусства, жизнь с мужчиной, который любит ее немного сильнее, чем она его. В этом романе Леону Блюму не пришлось бы подавать в отставку, Франция дала бы отпор Гитлеру, республиканская Испания одержала бы победу, Мюнхенское соглашение и «аншлюс» Австрии никогда бы не состоялись, а уж массовые казни и показательные судебные процессы в Советском Союзе — и подавно.

После смерти матери я решила, что должна известить об этом Питера — человека, любившего мою мать немного сильнее, чем она его. Я знала наизусть его амстердамский адрес, так как, сколько себя помню, видела адрес отправителя на его письмах, приходивших регулярно. Через несколько лет после войны Питер и моя мама разыскали друг друга, они стали переписываться, но он ни разу не приезжал к нам, по всей видимости, они никогда не договаривались о встрече, словно не хотели видеть друг друга за рамками их парижского романа. Когда я приехала к нему в Амстердам, он рассказал, что однажды после войны, встретившись с Кимом Филби по его инициативе, надеялся повидаться и с Литци. Однако надежда не оправдалась — на условленную встречу Филби при-

шел один, и Питер не осмелился спросить его о Литци. «Я вообще его терпеть не мог, — сказал Питер, — ничего удивительного, ведь он был моим соперником». А еще он добавил, что был посвящен во все или, по крайней мере, в некоторые подробности; уже якобы «на второй раз», так он выразился, Литци сразу призналась, что работает на советскую разведку. Это случилось в конце 1937 года, он очень хорошо помнит, англичане и русские были союзниками, поэтому в тот момент она не очень боялась разоблачения. «Я очень любил твою маму, я просто не могу выразить, что она для меня значила и все еще значит» — вот первые слова, которые я от него услышала еще по дороге с вокзала, где он меня встретил и мы узнали друг друга по приметам, которые предварительно обговорили; мы оба носили береты, да и вообще он выглядел как должен выглядеть художник. Мама никогда не описывала мне его внешность, зато неоднократно упоминала о том, что после войны у него были две постоянные женщины — жена и приятельница, но ни с одной из них он не проживал совместно, все они имели собственные квартиры, а в качестве нейтральной территории он оставил за собой мастерскую. Туда он и пригласил меня, и потом мы сидели среди его скульптур, несколько из них я уже видела на снимках, которые он регулярно присылал в письмах, а мама показывала мне с гордостью, — вероятно, была убеждена, что является источником его вдохновения, а значит, в его искусстве есть и ее доля. В этих письмах, открыто лежавших повсюду, так что я тоже могла их прочесть, он много писал о скульптурах, о произведениях искусства, которые видел, о музеях и выставках, которые посетил, и, к маминому неудовольствию, частенько предавался подробным описаниям расцветающей и увядающей природы — со страстью истинного ботаника; читая, мама лишь головой качала, поскольку в этом мире ее ничто не занимало меньше, чем расцветающая и увядающая природа.

В мастерской, среди стоящих, сидящих и лежащих фигур, Питер жаловался — точно так же, как обычно жаловался мой отец, — на скрытность Литци; да, он знает, что все эти годы она, по-своему, хранила ему верность в любви и дружбе, так же, как и он ей. Но стоит ему спросить самого себя, что же он узнал из ее многочисленных писем, оказывается, что очень мало, в сущности, ничего, во всяком случае, совсем не то, что могло бы его интересовать: как она живет, с кем и что в действительности у нее на душе. В этой переписке, длившейся десятилетия, она ни разу не обмолвилась о браке с моим отцом или о разводе с ним, не написала ни слова о совместной жизни с Вито, даже о смерти моего отца она ему не сообщила. «Почему она скрывала от меня свою жизнь?» — как нарочно, он спрашивал об этом меня, а я на самом деле не знала, что ему ответить. Как и мой отец, он противился ее скрытности и отчужденности и искал во мне союзницу; как и мой отец, он любил ее, восхищался ею, но в то же время его смущала ее безудержная щедрость и шумная, беспорядочная жизнь. В отличие от отца — он называл эти свойства ее природы не «балканскими», а «венскими». Мы трое — мой отец, Питер и я — могли бы образовать союз людей, которые очень ее любили, но все же чувствовали, что исключены из ее жизни или, по крайней мере, постоянно оказываемся за дверью.

«Ровно год в Париже мы были счастливой парой, — рассказывал Питер, — с февраля 1937 года до весны 1938-го. После «аншлюсса» Литци погрузилась в заботы, ее мучили тревоги и страхи. В течение первого, счастливого года она очень много рассказывала о Вене, случилось, говорила о Венгрии, но почти никогда не упоминала о родителях и своем еврейском происхождении. Иногда приходили письма от ее родителей и посылки от мамы, тогда она надолго впадала в беспокойство, огрызалась — к ней было не подступиться. Но в конце концов не я был виноват в «аншлюссе». Конечно, все это ужасно, но почему из-за этого мы не могли и дальше жить вместе и быть счастливы? Я не понимал этого тогда, по-настоящему не понимаю и теперь. С тех пор нам уже больше не

удавалось побыть вдвоем, потому что в любом свободном уголке квартиры спал какой-нибудь беженец, а в нашей большой квартире было много свободных углов. Я ревновал и обижался, потому что эти беженцы отняли у меня Литци — своим возбуждением, беспокойством и бесконечными дискуссиями об «аншлюссе», испанской войне, о Франко, Муссолини и Гитлере и о том, что нам всем еще предстоит и что с нами станется. Когда началась война, наше совместное существование закончилось большой паникой, тогда мы и потеряли друг друга, как впоследствии выяснилось, навсегда. Мне очень ее не хватало, твоей мамы, но после войны каждый из нас стал жить своей жизнью, я — в Амстердаме, она — в Берлине, мы писали друг другу письма, но не вдавались в подробности и не откровенничали друг с другом о новой жизни, в которой каждый из нас в конце концов каким-то образом нашел свое место. Я посылал ей луковицы тюльпанов, она мне — книги по искусству одного гэдээровского издательства, но мы уклонялись от свидания и даже не обсуждали такой возможности. Так мы сумели не потерять нашу близость в памяти и сохранить в душе образы друг друга; с годами их контуры становились все более расплывчатыми, но краски оставались яркими и сочными, не замутненными реальной жизнью. Мы были очень разными, я не знаю, как долго бы нас еще тянуло друг к другу или, скорее всего, мы окончательно разошлись бы. Ведь я никогда не был коммунистом, я не еврей и родился не в Австро-Венгрии, я — всего лишь скучный голландец. Во всяком случае, я любил в ней и тот совсем другой мир, который она мне открыла, которого я не знал и в котором мало что понимал.

Спустя несколько лет после бегства Филби в Советский Союз меня пригласили здесь, в Амстердаме, в одно официальное учреждение на беседу, продолжавшуюся двое суток; это можно назвать допросом, в ходе которого неожиданно выяснилось, что они довольно много знают о нашем знакомстве и о моем разрыве с миссис Филби: час за часом они расспрашивали меня, хотели узнать кто-где-когда-что-как-с кем, но я действительно не мог им помочь, потому что в этих делах я был, так сказать, сбоку припека — любовник супруги секретного агента».

Парижский «роман» и парижская «глава» совершенно не совпадали в рассказах моей матери. Тайные встречи с Филби в разных местах близ испанской границы и с офицерами-связниками в Париже происходили, казалось, совсем в другой жизни, в которой она впервые услышала словосочетание «атомная энергия» и потом передала его дальше — «один друг хотел бы проинформировать об этом русских». Очевидно, в этой информационной цепи она была лишь мелким связующим звеном, но все же это как-то объясняет, почему она с такой уверенностью утверждала, что супругов Розенбергов нельзя назвать невиновными. Впрочем, так далеко ее объяснения не заходили, — глава «Париж» была краткой и лаконичной, безо всяких излишеств. Напротив, роман «Париж», в котором речь шла о праздниках, друзьях, шляпах и о ее голландском возлюбленном, составлял несколько томов; здесь большую роль играл фоторепортаж о ее квартире на набережной д'Орсэ, якобы опубликованный в одном из журналов под заголовком «Appartement de Madame Philby»,* о чем она рассказывала с гордостью. К сожалению, она не сообщила мне названия журнала, а может быть, я его забыла, — должно быть, что-то вроде «House and Garden» на французском языке. Мне очень хотелось увидеть этот фоторепортаж, я примерно вычислила, в каких номерах и за какие годы это могло быть, отправилась в Bibliothèque du Musée de l'art décoratif** и заказала в читальном зале комплекты нескольких подобных журналов за 1936 — 1939 годы. Мир, в котором жила моя мать в те парижские годы, обрел зримый образ в «Art et décoration», «Plaisir de France», «Mobilier et décoration»***. Неожиданно этот мир оказался

* «Квартира мадам Филби» (фр.).

** Библиотека Музея декоративного искусства (фр.).

*** «Искусство и оформление интерьера», «Французский мир развлечений», «Мебель и оформление интерьера» (фр.).

благополучным и беззаботным; его заботило лишь: *Où posez votre chapeau? Savez-vous choisir un tapis? Voiture et personnalité.** Здесь, в точном соответствии с маминими рассказами, были во всевозможных ракурсах изображены и описаны несколько квартир, которые казались издателям образцами оригинальности и хорошего вкуса: большие квартиры, маленькие квартиры, рабочие кабинеты, мастерские парижских художников и загородные дома. У меня голова кружилась от всех этих садов, домов и мебелировок, но квартиры мадам Филби так и не удалось найти.

«Ах, боже мой, — сказала библиотекаря, — сколько всего случилось за эти годы, все выглядит по-другому, не так, как прежде, почему же сохранились именно эти дурацкие журналы по интерьеру?»

13

В тот день, когда я получила свидетельство о окончании пятого класса, мама зашла за мной в школу. Это было непривычно и никогда не случалось — ни ранее, ни потом. Вместо того чтобы вернуться домой по Трабервег, мы с ней направились на станцию городской железной дороги; мама шла своей стремительной, летящей походкой впереди, а я, чертыхаясь, — сзади. Ведь она оторвала меня от моих подружек, с которыми мне надо было обсудить еще уйму вещей. Потом мы с ней сели в вагон поезда и поехали к центру города, но не вышли на остановке Фридрихштрассе, а поехали дальше, в Западный Берлин. Это тоже было весьма непривычно: такого еще никогда не случилось, чтобы мама вместе со мной отправилась в Западный Берлин. Но я знала, что с дядей Вито они иногда ездят туда, чтобы посмотреть кино, — правда, только лишь в Далем, в кинотеатр «Капитоль», своего рода «Синематеку», которую открыл Гершом Кляйн, бывший эмигрант из Палестины. Я же иногда ездила «на ту сторону» с моими подружками, мы покупали там жевательную резинку и журнальчики с Микки-Маусом и шли в кино у остановки «Зоологический сад» на дневной сеанс. В этих поездках я целиком зависела от щедрости моих подруг, — мне приходилось принимать их приглашения, потому что их западные бабушки и тетушки всегда снабжали их марками, а у меня не было ни бабушки, ни тетушки, ни западных марок.

Мама повела меня напрямиком в консульство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и пока мы сидели в приемной, я все еще не могла понять, что, собственно, происходит, и только потом догадалась, что мама просит выдать мне так называемый Traveller Pass,** а поскольку она захватила с собой две мои фотографии нужного размера, мы сразу его и получили. Этот Traveller Pass был введен британскими властями для граждан ГДР, а возможно, и для граждан других государств, чьи паспорта больше нигде не признавались. А этот паспорт давал им возможность ездить по всему миру. Он был действителен в течение трех месяцев и в ГДР считался нелегальным, незаконным — его запрещалось иметь.

Во время этого посещения консульского отдела британского посольства мама впервые после 1946 года ступила на британскую территорию: вероятно, бывшая миссис Филби подвергала себя тем самым некоторому риску.

Спустя несколько дней я села в самолет польской авиакомпании «ЛОТ», летевший по маршруту Варшава — Лондон с посадкой на берлинском аэродроме Шёнефельде, — там надо было взять несколько пассажиров из ГДР. «Ты проведешь каникулы в Англии» — это она сообщила мне за два дня до отлета. После посещения британского консульства в Западном Берлине я уже понял, что она хочет отправить меня в страну, о которой я уже тысячу раз слышала, — видимо, для того, чтобы у меня сложилось собственное представление: нагляд-

* Куда положить вашу шляпу? Сумеете ли вы выбрать ковер? Машина и личность (фр.).

** Туристический загранпаспорт (англ.).

ное подтверждение ее рассказам. Но она, конечно, не стала ничего объяснять, даже не сказала, почему мы не летим вместе, как летали в Вену или Будапешт. В то время я и понятия не имела о предательстве, которое она совершила по отношению к своей любимой Англии, и о том, что, опасаясь ареста, она никогда больше не сможет ее посетить. «Англичане восхитительно терпимы, но за это ожидают лояльности. Предавая их, ты нарушаешь пределы их терпимости, и тогда они теряют свое знаменитое чувство юмора, — пояснил однажды отец. — Англичане могут быть очень жесткими». Конечно, этими словами он признал за ними их легендарную справедливость. Он знал, о чем говорит, ибо тоже водил англичан за нос, хотя и по-другому. «Розенбергам просто не повезло, потому что их судил американский, а не английский суд, — уточняла мама ход его мыслей. — Ведь вот Клаус Фукс, который отплатил англичанам шпионажем и государственной изменой за то, что они предоставили ему убежище от преследований нацистов, все же отделался четырнадцатью годами тюрьмы и уже спустя девять лет вышел на свободу, в то время как Розенбергов казнили за гораздо меньшее участие в атомном шпионаже».

Моей соседкой в самолете случайно оказалась Дженни Райхман, не принадлежавшая к ближайшему кругу друзей моих родителей; в 1938 году она, лишившись родителей, прибыла в Англию с группой детей. После войны она вернулась в Берлин через Палестину, но мой отец ни в малейшей степени не сочувствовал ее тяжелой судьбе и говорил, что она «соответственно истерична и ненормальна». На самом деле она была всего лишь немного эксцентричной и именно этим очень мне нравилась. Обликом, поведением, манерой одеваться она отличалась от большинства жителей Берлина. В самолете она меня опекала как могла, и это было совсем не лишним, потому что я в первый раз летела на самолете и впервые направлялась в Англию; я была и горда, и напугана тем, что мне, как настоящей исследовательнице, придется самой открывать этот мифический остров, о котором у меня дома говорили с утра и до вечера. В лондонском аэропорту Дженни Райхман передала меня с рук на руки друзьям моих родителей, которые меня приютили, а потом передали меня другим друзьям, потом еще и третьим, и так продолжалось целых шесть недель и в Лондоне, и в графстве Херфордшир — из одного дома в другой, от одних друзей к другим.

Все, что я увидела и пережила в Лондоне, меня невероятно потрясло. Не только Берлин и Будапешт, но даже Вена в сравнении с Лондоном могли показаться «захолустьем»; здесь было множество людей всех цветов кожи, все они двигались по левой стороне улицы, и при этом никто из них не кричал, не гудел и не ругался, когда как-то раз наш автомобиль стал разворачиваться посреди оживленной улицы, но все терпеливо ждали, пока мы завершим маневр. Вероятно, именно вежливость и приветливость лондонцев производят наибольшее впечатление как прямая противоположность вечным берлинским перебранкам. Ну и, конечно, цирк на Пикадилли, мерцающий, вспыхивающий, сверкающий всеми огнями, да вдобавок еще и сотни сортов корнфлекса.

Все это не имело ни малейшего отношения к историям, эпизодам и событиям, о которых упоминали мои родители, рассказывая о той легендарной поре, когда они жили в Лондоне, — я тогда еще не родилась, а они провели в этом городе, может быть, самую важную часть своей жизни. Рассказы об Англии были не просто воспоминаниями, как венгерские, венские или даже парижские, они были вторым настоящим, параллелью к нашей берлинской жизни, хотя многое производилось лишь намеками или сокращалось до загадочных сентенций, а то и обрывочных фраз. «Когда мы присматривали за домом Стефана Цвейга...» — один из таких обрывков, вокруг которого создалась некая аура задолго до того, как я узнала, кто такой Стефан Цвейг.

С семейством, встретившим меня в лондонском аэропорту, я была хорошо знакома, потому что каждый год в сентябре они навещали нас. Они, как, впрочем, и все остальные, передававшие меня друг другу в последующие недели, были австрийцами, евреями и бывшими коммунистами. Правда, они казались

мне настоящими англичанами, поскольку свободно ориентировались в Лондоне и чувствовали себя сопричастными этому поразительному миру, который они мне показывали: знаменитым достопримечательностям и обычным бытовым сценкам, столичному Лондону и его предместьям, тогда как мои родители всегда сторонились Пруссии и постылого Бранденбургского маркграфства — именно так они обычно и выражались, не переставая жаловаться на все, чего им там недоставало.

То и дело я знакомилась с новыми людьми: у одних жила, к другим заходила только на чашку чая, третьих встречала, гуляя по городу вместе с моими спутниками.

«It's Litzzy's daughter»* — так меня представляли.

«Oh, Litzzy's daughter, really!»**

«From East Germany!»***

«Oh, from East Germany, really!»****

«East Germany» явно не укладывалось в их головах, вызывая одновременно и ужас, и восхищение.

Однажды, поднимаясь по ступеням Музея Виктории и Альберта, мы встретили пожилую супружескую пару, которой меня представили; они заговорили со мной на языке, который показался мне немного знакомым, хотя и непонятным. Так я впервые услышала идиш и первый раз в жизни встретила людей, которые ясно давали понять, что они евреи, безо всяких объяснений и извинений.

Тони, лучшая подруга моей бабушки, жила в районе «Святой Джонс Вуд»; она оказалась единственным человеком, кто горевал по прошлому и его утратам, в том числе и по своей лучшей подруге, и жаловалась на жестокую судьбу: почему именно евреев всегда преследуют, почему ей не позволили и дальше спокойно жить в Вене — ведь она не только никому не причинила зла в этом городе, но и помогала, как могла, бедным через различные благотворительные союзы и общества помощи. Конечно, Тони не была коммунисткой и в знак скорби по безвременной кончине своей лучшей подруги, моей бабушки, сохранила ее молитвенник — «Праздничные молитвы израелитов согласно распорядку венского молитвенного дома» в переводе раввина Маннхаймера, издание 1904 года, в стиле модерн — красная кожа с перламутровыми застежками. Здесь содержалась и молитва за здравие главы отечества, коим был тогда еще император Франц Иосиф. Этот молитвенник Тони сунула мне почти тайком, понимая, что Литци, которую она вообще-то очень любила, равнодушно отнесется к этому подарку. Мама и в самом деле даже не взглянула на книгу, когда по возвращении в Берлин я передала ей молитвенник. Правда, и не выбросила.

Мой английский немного улучшился, потому что я играла с детьми наших друзей, а они не знали ни слова по-немецки: их родители, говорившие по-английски с явным акцентом, полагали, что детей следует избавить от немецкого языка.

Матери этих семейств одели меня с ног до головы в магазинах «Маркс и Спенсер», а отцы — в выходные дни — возили меня в Виндзорский дворец или в Оксфорд, к мадам Тюссо или в Тауэр. Я жевала жвачку и каждый день пробовала новый сорт корнфлекса, ехала, куда меня везли, все осматривала, всем восхищалась, всему удивлялась и вознаграждала моих благодетелей балетными вечерами, которые устраивала у них дома, — юбочку и балетные тапочки я, конечно, взяла с собой из Берлина.

На последнюю неделю меня «сдали» в семью, с которой я еще не была знакома, — эта супружеская пара была моложе всех остальных чуть ли не на поколение, с маленькими детьми и большой собакой; а еще они владели огромным садом, примыкавшим к советскому посольству, — по-видимому, это же

* Это дочь Литци (англ.).

** О, дочь Литци, неужели? (англ.).

*** Из Восточной Германии (англ.).

**** О, из Восточной Германии, неужели? (англ.).

здание служило и лондонской резиденцией советского посла. Эта необычная близость к советским мундирам и русскому языку, которой препятствовала высокая, как положено, ограда, — единственное, что напоминало мне о Карлсхорсте. Однако эта ограда была такой высокой и прочной, что даже большая английская собака не имела никакой возможности пробраться к русским, в отличие от Атци в Карлсхорсте, который своими выходками вынуждал хозяев вступать в переговоры с «товарищами».

В этой семье меня тоже приняли сердечно и великодушно, к чему я уже привыкла, хотя до самого конца так и не разобралась, кем эти люди приходятся моей маме, потому что они были слишком молоды, чтобы быть ее венскими друзьями, а кроме того, Ева — так звали хозяйку дома — говорила по-немецки с некоторым трудом и явным английским акцентом, а ее муж вообще не говорил по-немецки.

Позже мама разъяснила мне, что Ева была племянницей Лотты Альтман, последней жены Стефана Цвейга, — они вместе покончили с жизнью в Бразилии; некогда, еще в Вене, она, ее брат Манфред и его жена Ханна были мамиными друзьями. Но вскоре после войны Манфред и Ханна погибли в автокатастрофе, и с тех пор мама перенесла свои дружеские чувства на их дочь, которая стала наследницей Стефана Цвейга, поэтому и жила в таком огромном доме, где было множество ванных комнат и телевизоров, а стены были увешаны картинами.

У нас дома о Стефане Цвейге упоминалось часто, но лишь одной фразой: «Когда мы присматривали за домом Стефана Цвейга». Очевидно, дело происходило в Бате уже после того, как Цвейг уехал в Америку. В память об этом остались несколько томов «Человеческой комедии» Бальзака, на форзаце которых сохранился экслибрис: «Стефан Цвейг, Линкоум Хилл, Бат».

Один из этих томов я нашла, роаясь в маминой библиотеке; он стоял среди других надписанных книг, которые, как древние письма, могли показаться — без углубленных исследований и некоторой доли фантазии — загадочными и бессодержательными. На той же полке, неподалеку от томика Бальзака, стояла книжка «Опасные связи» Лакло в переводе Генриха Манна, подаренная, судя по надписи, «Доктору Стефану Цвейгу в ожидании ответного дара. 26 июля 1920. Генрих Манн».

Мой отец недолго чувствовал угрызения совести относительно происхождения этих книг и, рассуждая на эту тему, бывало, сетовал: «Жаль, что я не взял их с собой побольше. Например, один из тех многочисленных автографов, что всякий раз попадались на глаза, стоило лишь наугад снять с полки какую-нибудь книгу и пролистать ее. Я ведь мог прихватить с собой и несколько нотных записей, сделанных рукой Моцарта! Какая разница, осталась бы она у меня или попала бы в Британскую библиотеку!» Мама находила такие речи неподобающими и возводила глаза к небу, но издание Шекспира 1783 года (которым, возможно, пользовались Шлегель или Тик, работая над немецкими переводами) она все-таки увезла с собой. Мама всегда с большим уважением говорила о Стефане Цвейге и его произведениях, отец же посмеивался над его страстью коллекционера: он собирал, мол, не только автографы и старинные книги, но еще и самопишущие ручки, карандаши, стирательные резинки, конверты, почтовую бумагу и разноцветные ленты для пишущих машинок. Отец и сам не мог понять, что произвело на него большее впечатление: листки, исписанные рукой Моцарта, заложенные меж книжных страниц, или склад канцелярских принадлежностей, который Стефан Цвейг устроил в подвале своего дома в Бате, — по всей видимости, про запас, на случай войны. «Немыслимо!» — часто повторял мой отец, потому что и сам обожал разного рода канцелярские товары, а порой у него случались даже приступы kleptomании. Когда дело касалось рукописей и книг, он мог еще сохранять стойкость, но при виде самопишущей или особенно красивой шариковой ручки часто не мог устоять. «Он же все равно покончил с собой», — рассуждал отец, как будто тем самым коллекции утрачивали свою ценность. «Твой отец никого не уважает», — сердилась мама или урезонивала: «Георг, не говори таких кощунственных слов».

Я так и не узнала, встречались ли когда-нибудь мои родители со Стефаном Цвейгом или только присматривали за его домом, и долго ли они там прожили, и зачем, в сущности, это было надо, и что в конце концов произошло с этим домом в Бате.

14

В моем представлении о странах есть такие, которые я видела на картах или в атласах, а иногда и воочию, когда путешествовала, но есть еще Англия, которую я, несмотря на то, что бывала там неоднократно, в сущности, так и не видела, а всегда только слышала о ней. Еще и сегодня я слышу Англию, созданную голосами моих родителей и их друзей, — великий эпос, состоящий из описаний, суждений, эпизодов и рассказов, которые повторяются снова и снова, но всякий раз в ином освещении. В этой саге Англия предстает как единство произнесенного и умалчиваемого, которое, подобно самому острову, остается загадочным для людей, живущих на другом берегу.

Кроме того, у каждого из моих родителей было свое собственное видение Англии, и лишь несколько лет спустя все это сложилось в их общую историю, которая стала моей предысторией, и сам эпос расширился на несколько имен, событий и мест.

После того как моего отца уволили с должности штатного корреспондента газеты «Фоссише цайтунг», он, когда подворачивалась возможность, писал для немецких, австрийских, швейцарских и чешских газет, но после короткой и неудачной парижской авантюры с Петером де Мендельсоном устроился в «Exchange Telegraph» — тогда это издание только что начало выходить. С Питером они были знакомы еще по работе в «Фоссише цайтунг», и именно отец — во всяком случае, по его словам — придумал добавить к его фамилии «де». В то время отец был еще женат на Рут, происходившей, как и он сам, из состоятельных еврейских кругов Франкфурта; она не проявляла особого интереса к его мало-помалу левевшим взглядам, тем более — к его коммунистической ориентации; к тому же она не хотела иметь детей. Эти две причины, утверждал мой отец, и привели их к разрыву; он и маму мою долго уговаривал родить ребенка, то есть меня, и поэтому изображал себя передо мной не только родителем, но еще и творцом-изобретателем.

В первые английские годы, когда мой отец был женат на Рут, мама в качестве миссис Филби жила в Мейда-Вейл и по заданию советской разведки вращалась в правоконсервативных, пронемецких и даже нацистских кругах, о чем всегда вспоминала с нескрываемым отвращением. Ее друзьям эта метаморфоза наверняка казалась необъяснимой, и дружба была подвергнута весьма суровому испытанию. Или же, что мне кажется более правдоподобным, все ее друзья из «венской когорты», во всяком случае, многие из них, оказались втянутыми — кто больше, кто меньше — в ту же самую орбиту советских секретных служб — или, по меньшей мере, были в курсе дела. Об этом мама не говорила мне прямо, лишь намекала, зато отец, который всегда очень плохо думал о людях, готов был подтвердить мою версию.

Рассказ о том, как мои родители стали «любобной парой», не начинается, как у большинства, с первой встречи, первого взгляда, первого свидания или первых слов; он начинается с расставания. Однажды, солнечным утром, мой отец, неожиданно и без предупреждения, был арестован в редакции «Exchange Telegraph» и сразу же интернирован как египетский alien,* так что у него не было ни времени, ни возможности известить об этом мою маму, которая как раз сидела у парикмахера и, наверное, красила волосы в один из своих многих цветов. «Она лишь недавно стала моей любимой», — рассказывая о своем аресте, отец всегда повторял именно эту фразу, и слово «любимая», которым он называл мою маму, звучало для меня странно и немного обидно, потому что своих родителей я помнила только разведенными, и это слово никак не вязалось с ровным дружеским тоном, в каком они обычно общались.

* Подданный вражеской страны (англ.).

Он вернулся к своей «любимой» лишь год спустя из Канады, куда через океан интернировали вражеских агентов. «В Канаде я стал коммунистом, — часто говаривал отец. — Я могу утверждать это вполне определенно; тягостные лагерные будни, бессмысленная рубка леса в течение года, — мне просто необходимо было примкнуть к каким-нибудь интеллигентным людям, а выбор был только один: религиозные евреи или коммунисты. Молитвам и изучению Торы отец предпочел занятия историей КПСС, которые проводила группа немецких и австрийских коммунистов. Каждый раз, рассказывая об этом памятном выборе, он смеялся, но было не вполне ясно, над кем именно он смеется. Коммунистическая ячейка даже выдвинула его в качестве кандидата от своей группы на выборах в лагерную администрацию, — англичане и здесь старались не нарушать демократию; и вот подавляющим большинством голосов отца выбрали представителем от коммунистов, чем он гордился всю оставшуюся жизнь. Вернувшись в Лондон, он стал работать в информационном агентстве «Reuters», где каждое утро с пяти до шести должен был давать обзор иностранной прессы, и впоследствии, много лет спустя, отец буквально захлебывался от восторга, рассказывая о том, как по утрам изучал содержание газет.

В это время мама устроилась на завод, производивший оружие, стала работать «для фронта» в качестве *tool trainee** и даже получила «Диплом мастера инструментального производства», оставшийся единственным дипломом в ее жизни. Тем временем в Лондоне каждую ночь выли сирены, оповещающая о воздушных налетах, и эти ночные бомбежки стали центральным событием эпоса, в котором речь теперь шла о трагических событиях, пылающих улицах, падающих домах, о бесстрашии, дисциплинированности, даже героизме лондонцев, примером для которых служила мужественная королевская чета, появлявшаяся с двумя маленькими дочерьми всюду, где только возможно. Тогда же вышел в свет новый перевод Пруста, и мой отец рассказывал, как они, сидя в бомбоубежище, каждую ночь обсуждали эту книгу, ведь там всегда собирались одни и те же люди. Среди них нашелся хвостун, к тому же выскочка и литературный всезнайка, распускавший перед мамой павлиний хвост и, похоже, влюбленный в нее; отец так приревновал ее к нему, что вообще перестал ходить в бомбоубежище, лишь бы не видеть этого прустоведа.

Эта история о несостоявшемся любовнике явно принадлежала к любимым темам моего отца, уж очень часто он ее рассказывал, а мама подтверждала немного смущенно. Я ни разу не задавалась вопросом, какой перевод Пруста имеется в виду, поскольку все сочинения Пруста на английском к тому времени давно уже вышли, а кроме того, маловероятно, чтобы мои родители настолько хорошо владели французским и английским, чтобы принимать участие в таких дискуссиях. Отец начал по-настоящему изучать английский язык только в Лондоне, и я вполне допускаю, что его знаний хватало на то, чтобы представлять группу людей в лагерной администрации, — ведь все эти люди были иностранцами, к тому же в большинстве своем они приехали в Англию значительно позже него. Но то, что он мог обсуждать тонкости перевода Пруста на английский, — в это, по зрелом размышлении, мне трудно поверить. Полагаю, что эти приукрашенные рассказы о разных событиях эмигрантской жизни служили, как и любые рассказы, более высокой правде и более глубокой мудрости, где такие частности мало что значат.

Иногда отец рассказывал мне о Гизеле, матери Литци, моей бабушке, о которой мама сама говорила мало; он познакомился с ней еще в Лондоне, когда приходил в гости к Литци в качестве нового «жениха». Она общалась с дочерью только по-венгерски, опекала ее и заботилась о ней — все это, очевидно, страшно раздражало Литци. Видимо, она говорила по-немецки с ужасным венгерским акцентом и поэтому всегда называла его Гйоррррг, минимум через

* Ученик инструментального мастера (англ.).

четыре «р», так что со временем его имя все равно начинало звучать как Дёрдь. Однако из этих воспоминаний отец вынес стойкую симпатию к венгерскому языку, и порой, желая поддразнить маму, он ласково называл ее «Эсбэстэк».*

«Твой дедушка и бабушка похоронены в Лондоне» — еще одна строка из английского эпоса. А поскольку я никогда их не видела и не знала, «твой дедушка и бабушка» звучало для меня так же нереально, как и «моя любимая». Это звучало нереально еще и потому, что между их венгерским поместьем и лондонскими могилами лежала жизнь, о которой мало что было известно. В Вене, я полагаю, они оставались добропорядочной чиновничьей четой, вне каких бы то ни было революционных соблазнов, вдалеке от «красной» Вены, и старались обеспечить себе по возможности безмятежное существование, пока этот злосчастный «аншлюсс» раз и навсегда не пресек их старания. Моя мама, ушедшая в революцию, вероятно, считала жизнь своих родителей мещанской, мелкобуржуазной и до отвращения благополучной, ей было, пожалуй, даже стыдно за них перед Митци, товарищами из «Красной взаимопомощи» и австрийской компартии, которые намеревались переделать мир, вместо того чтобы печь ванильные рогалики и работать в конторе какой-нибудь еврейской общины, занимаясь ее нуждами и заботами.

Но может быть, она стыдилась их совсем по другой причине. Возможно, ей было стыдно за то, что она так никогда и не поставила им памятник на лондонском кладбище. Когда после окончания пятого класса мама послала меня с Traveller Pass в Лондон, она рассказала обо всех своих венских друзьях и старинных знакомых и отправила меня к ним, но сходить на кладбище, где похоронены ее родители, она мне не предложила. Неприметные песочные холмики, под которыми они покоятся, я разыскала лишь через пятьдесят лет после их смерти, и кладбищенский сторож, ни о чем не спрашивая и ничему не удивляясь, без труда и за несколько минут отыскал в своих книгах записи о захоронениях Израйля и Гизелы Кольман и даже пытался меня успокоить, когда я разволновалась при виде записей, и найти разумную причину этому необъяснимому, даже шокирующему обстоятельству: «Понимаете, шла война, наверное, на кладбище не хватало персонала, мужчин всех забрали в армию, тогда все время бомбили, это ж был «блицкриг», мадам!»

Однако в мае 1939 года, когда моего дедушку, вскоре после его приезда в Лондон, хоронили на кладбище, никакой войны еще не было и ничьи бомбы не падали на Лондон, а мама еще жила в Париже на набережной д'Орсэ. О последней «главе» жизни своих родителей она почти ничего не рассказывала и ни словом не обмолвилась о безымянных забытых могилах, над которыми нет надгробий. Она никогда не упоминала и о письмах своей матери, в которых за боязливой жалобой угадывается робкое возмущение несправедливой судьбой: «Прости, что я все время жалуясь, но я без конца плачу, даже теперь, когда пишу это письмо. Да поможет тебе Бог, дитя мое, и если на мои похороны придет мало людей, тем лучше». И затем — настоятельная просьба о «пристойной могиле, рядом с папой, если возможно».

Почему она не привела их могилы в порядок перед отъездом из Англии? Почему она так поступила со своими родителями? Почему ничего мне об этом не сказала?

Если для нее ничего не значили кладбища, могилы и надгробья, почему она не кремировала тела родителей и не развеяла их прах по ветру, как делают некоторые?

Однако всю жизнь, как тайное сокровище, она хранила письма своей матери и оба кладбищенских плана, на которых обозначено место заброшенных могил. После ее смерти мне пришлось разыскивать все это в куче каких-то ненужных счетов, писем, газетных вырезок и фотографий моих детей. Письма и планы я смогла найти, объяснение — нет.

* Искаженное на венгерский манер немецкое слово «Essbesteck» (столовый прибор).

Вероятно, моя мама относилась к тем людям, которые обязательно предадут то, что любят, и именно в этом проявляется их привязанность и приверженность. Ведь и по отношению к возлюбленной Англии она поступила так же. Она любила ее, почитала, восхваляла, даже превозносила — и предавала. Силе и стойкости этой страны она была обязана тем, что все они выжили: она сама, ее родители и многочисленные друзья. А она обманывала и предавала ее, вела двойную игру — так бывает порой, когда великие и опасные страсти возгораются из потаенных глубин, которые надо скрывать от остального мира.

Она предавала любимую Англию ради могущества далекой страны, о которой знала лишь понаслышке, и ничего не хотела слышать о творимых в ней беззакониях; страны, куда не ступала ее нога и где жили люди, ни одного из которых она, вероятно, и в глаза не видела, — в отличие от англичан: среди них она жила годами, не устая восхищаться их тактом, умом и юмором, но в своей параллельной жизни она постоянно их предавала и отвергала. Толи из страха перед арестом и допросами, то ли потому, что не могла справиться с противоречиями в самой себе, она никогда больше не ступала на английскую землю.

15

Теперь ей исполнилось 80 лет, и она сидела в моем ателье, намереваясь что-то рассказать о своей жизни. Ни с того ни с сего, после многолетних туманных намеков, она внезапно почувствовала порыв хоть как-то упорядочить отдельные эпизоды своей жизни и воспользовалась мною как очевидцем своей ослабевшей памяти. Филби недавно умер, мой отец тоже, а она вернулась в Вену, где родилась. Вскоре после того, как она снова там поселилась, об этом пронюхал какой-то биограф Филби, который, естественно, пожелал посвятить ей несколько страниц в своей книге. Автор даже прислал ей на отзыв те странички, где он пишет про love affair* Кима и Литци и о роли, которую она якобы сыграла, когда его вербовал КГБ, а также о том, как сложилась ее жизнь в дальнейшем.

Эти страницы она не смогла просто выбросить, она их прочла, пришла в сильное волнение и попыталась уговорить автора не упоминать, по меньшей мере, ее полного имени.

«I am very much afraid, if in your book my name appears; reporters start hounding me. I had a very difficult year with various serious illnesses, so I feel rather weak and exhausted and would not be up to the questioning of newspapermen.

Of course, you will say, that I could refuse all interviews, but this is harder than you might think. Would it be possible for you to leave out my full name, just saying, I was married and then divorced...

I have read some of your interviews with Kim — I am sure that your book will be, as you say, a generally sympathetic treatment and I am glad about this.

Yours sincerely». **

* Любовная история (англ.).

** Я очень боюсь, что в Вашей книге появится мое имя; журналисты начнут меня преследовать. У меня был очень трудный год, я перенесла несколько серьезных заболеваний, поэтому чувствую себя очень слабой и измученной и не смогу отвечать на вопросы газетчиков.

Конечно, Вы скажете, что я могла бы отказаться от всех интервью, но сделать это труднее, чем Вам, возможно, кажется. Не могли бы Вы не упоминать моего полного имени, а ограничиться тем, что я была замужем за ним, а потом развелась...

Я читала некоторые из Ваших интервью с Кимом. Я уверена, что в целом Ваша книга будет, как Вы выразились, выдержана в доброжелательном тоне, и это меня радует.

Искренне Ваша.

Понемногу она принялась хозяйничать в моем ателье и давать мне советы, как лучше его обустроить и в то же время сделать красивее и удобнее: прежде всего следует повесить симпатичные занавески, ибо именно занавески и окна придают помещению неповторимый стиль.

«Для пола ты могла бы купить себе келим* и положить его поверх этого отвратительного коврового покрытия, келим можно просто стирать в машине, он очень практичен, право. И красив.

Я развелась с Кимом, кажется в 1942 году, а может, в 1944-м или 45-м, но, возможно, это был и 1946-й. Теперь я даже не помню, когда мы виделись в последний раз».

«Ну, мамочка, должна же ты помнить, когда состоялся ваш развод?»

«Даже не могу вспомнить, когда мы разошлись с твоим отцом».

Естественно, я тоже ничего не знала, потому что никогда не относилась к своим родителям как к супругам, в моих глазах они были просто близкими друзьями, регулярно навещали друг друга, советовались и обсуждали важные и второстепенные жизненные дела.

«Мамуля, ну, пожалуйста, ты же можешь хоть что-нибудь вспомнить!»

Ей совсем не нравилось, когда я называла ее «мамулей», хотя именно так я всегда ее и называла; так называли своих мам и мои подружки из Карлсхорста. Мама же находила слово «мамуля» мещанским и прусским — эти две категории безоговорочно свидетельствовали, по ее мнению, об отсутствии каких бы то ни было достоинств: к примеру, берлинский диалект отвратителен, а сами берлинцы — необаятельны, неприветливы и заурядны. Она так и не смогла свыкнуться с городом, в котором прожила как-никак около сорока лет, постоянно путалась и терялась, даже в Карлсхорсте, этом вполне обозримом районе вилл, в котором была единственная торговая улица и одна линия городской железной дороги, делившая его на две части — «за станцией» и «перед станцией»; для нас, детей, это была граница между мирами, помогавшая легко ориентироваться в пространстве, причем не только географическом, если не учитывать русскую «заградзону», четко отгороженную от всего остального и находящуюся для жителей Карлсхорста как бы за горизонтом. Своей наигранной беспомощностью она выражала нежелание признавать Берлин своим родным городом, и в этом была заодно с отцом, который каждый божий день предавался тоске по холмистым пейзажам земли Гессен. Еще одним способом выразить свое пренебрежение было то, что она отказывалась запоминать имена своих новых сограждан. Это уже походило на причуду — она искажала любое имя, Крюгер превращался в Крамера, господина Шмидта она называла господином Шнайдером, как будто эти имена действительно казались ей экзотическими и непроизносимыми, да и моих подружек она тоже называла вымышленными именами, которые им, вообще-то, очень нравились, потому что звучали красиво, по-иностранному.

Мне же это ее пренебрежительное отношение к Берлину всегда казалось несправедливым и неискренним. Ведь мама родила меня в этом городе, позволила в нем вырасти, и он стал мне родным, потому что здесь я ходила в школу, а по соседству жили мои подружки, говорившие на берлинском диалекте, на котором, само собой, говорила и я — иногда как раз для того, чтобы позлить маму; в таких случаях она возводила глаза к небу и делала вид, что мое произношение причиняет ей физические страдания. «Пожалуйста, не говори по-берлински!» — я слышала не реже, чем: «Пожалуйста, причешися, прежде чем выйти к завтраку!» Во время наших совместных поездок в Вену мой берлинский диалект был, в глазах мамы, страшным моим изъяном, приводившим ее в замешательство, хотя в остальном я вела себя безупречно и никогда не выходила к завтраку непричесанной.

* Восточный настенной коврик, имеющий с обеих сторон одинаковый вид.

Однако вовсе не я, а мои родители по каким-то причинам сами выбрали для жизни этот прусский Берлин. Во всяком случае, у них не было никаких оснований обвинять меня в каком-то «коллаборационизме», так мне казалось.

«Я уехала из Лондона весной 1946 года», — рассказывала мне мама, и это, как всегда, было отнюдь не точно, потому что сначала отец приехал один, а ее вызвал уже потом, когда нашел квартиру и прояснил, как он выражался, ситуацию с «товарищами». Собственно, отец не просто «приехал» или «вернулся», а был командирован в Гамбург агентством «Рейтер» — репортером в британскую оккупационную зону. Однако он просто взял и исчез, буквально растворился в воздухе, чем поверг в страх и трепет своих коллег по лондонскому бюро, вдруг потерявших его из виду; чуть позже он появился в советском секторе и предложил русской военной администрации свои услуги, которые были с удовольствием приняты, поскольку он, работая в Англии на «Reuters» и «Exchange Telegraph», набрался профессионального опыта, и это могло очень пригодиться русским теперь, когда они приступили к созданию антифашистской прессы, так они это называли. И тут он сразу же столкнулся с ее «границами», как неизменно добавлял отец, рассказывая об этом эпизоде. В Англии отец вступил в коммунистическую партию, и «партия отправила меня обратно, поскольку нуждалась в кадрах» — такова была формулировка, исключавшая дальнейшие расспросы. В устах моего отца слово «кадры» звучало смешно; он был человеком остроумным, повидавшим мир, знал языки и обычно действительно производил хорошее впечатление — такого «кадра» поискать надо!

Впечатления о первых берлинских днях отец кратко изложил на нескольких страницах в своем дневнике, где он описывает первые визиты и встречи, но не комментирует своего решения и не объясняет, почему он предложил свои услуги русским.

«Чувствую себя счастливым, потому что решение принято, и сплю теперь мертвецким сном». Затем сообщает, как обговаривал все с неким «Францем». «Обращается сначала на «вы», потом на «ты». Анализирует мое положение. Можно поехать в Гамбург и делать важную работу для англичан. Это может быть и для нас очень важно. Но как потом, спустя месяцы, скрыться? Будет в высшей степени подозрительно. Особенно англичане не будут спускать с меня глаз. Русские тоже перестанут доверять. Если порвать сейчас, это будет почестному, и англичане скоро все забудут. Значит, так и поступим. Франц сам распорядился, чтобы меня пристроили. Потом — к секретарше Пика, получаю талоны на еду и кровать в общежитии. Затем возвращаюсь в отель, портье раньше служил в «Эспланаде», узнает меня «по прежнему времени», похудел на 45 килограммов, очень растрогался. Плачет».

Через несколько дней, получив благословение «Франца», он написал своему английскому шефу прощальное письмо.

«Подробно расспрашивает меня о моей партийной карьере, затребовал бумаги, все записывает».

Вечером собрались у Курта, рассказывает о нелегальной борьбе, как все они тогда измучались, о своем аресте. Потом очень тепло говорит мне: как хорошо, что ты здесь. Ведь душою ты с нами. Пьем за хорошую и долгую дружбу».

В это время мама в последний раз съездила в Париж. «Париж, я так его любила и так люблю! — сказала она, сидя на тахте у меня в ателье. — Ведь я не знала, увижу ли его снова, я была счастлива и мне было грустно, и я купила те две шляпы, о которых уже много раз тебе рассказывала; я надевала их в Париже, а в Берлине уже не решилась».

Но и без этих шляп в Берлине к ней относились настороженно: именно внешний вид моих родителей, их манера держаться, по-видимому, вызвали неприязнь их новых соседей, во всяком случае, в агентурных донесениях, которые

позже мне довелось прочесть, шпики обращают внимание, главным образом, на эти внешние признаки: «Их откровенно западные туалеты», «Их заносчивость», «Их высокомерное поведение», «С товарищами, проживающими по соседству, держатся абсолютно замкнуто, всех вообще сторонятся, люди в целом заносчивые и надменные».

В 1951 году, когда отец еще был главным редактором газеты «Берлинер цайтунг» (вечерний выпуск), против него было затеяно «дело», в котором содержится следующее: «В 1934 году Х. добровольно уехал за границу, работал в информационном агентстве «Рейтер», все сотрудники которого состоят на службе в американской разведке. Поскольку Х. играет в коллективе странную и непонятную роль и ничего не рассказывает о своей прошлой деятельности, можно предположить, что в агентстве «Рейтер» Х. и сам был агентом и, судя по его странному поведению, вероятно, до сих пор поддерживает связи с американскими секретными службами».

В архивах Штази* нет никаких упоминаний о моей матери. И хотя она никогда не говорила об этом прямо, но из того, что она рассказала, сидя у меня в ателье, следует думать, что она просто не входила в компетенцию Штази, поскольку «числилась» непосредственно за КГБ. «Когда я возвращалась из Парижа в Берлин, мне пришлось ехать через Прагу, и русские меня свободно пропустили, и не надо было сидеть в карантине, как всем остальным, например судетским немцам, с которыми мы вместе ехали в поезде из Праги в Дрезден». В Праге она успела повидать Лотти, свою подругу-двойняшку, которая за эти годы перебралась в Вену, но Прага находится близко от Вены, а Лотти, кроме того, понадобилось еще купить в Праге совок для мусора и швабру — в Вене в 1946 году их было, по-видимому, не достать. «В Дрездене мне помог устроиться главный русский комендант», — добавила она. Историю о поездке Лотти за совком и шваброй я слышала уже много раз, а вот о главном русском коменданте узнала впервые; оказывается, он даже подвез ее на своей машине до Берлина, где уже ждал отец. Кончилось тем, что в первые послевоенные годы мои родители работали в советском информационном агентстве; отец — главным редактором, мама — цензором. Она отвечала за правильную политическую направленность публикуемых статей, поскольку трудно было предположить, что за столь короткий срок немецкие журналисты сумеют преодолеть в себе идеологическое наследие нацизма.

Почти все эти русские были евреями, так говорили мои родители, по большей части — германистами; в отделы пропаганды Красной Армии их направили потому, что они знали немецкий язык. Их начальника Беспалова, — эту фамилию я слышала много раз в своей жизни, — мои родители вспоминали как человека, обладавшего исключительно положительными качествами: он был интеллигентен, прекрасно образован, к тому же тактичен и обладал чувством юмора. Поэтому нет ничего удивительного в том, что позже, прямо с поста руководителя берлинского советского информбюро, его отправили в ГУЛаг, в Сибирь. Об этом обстоятельстве мои родители узнали лишь много лет спустя — после того как он вернулся из лагеря. В разговоре со мной они упоминали об этом весьма неохотно, а я, случайно встретив в Москве его вдову, из первых уст узнала о том, что, выйдя из лагеря, он прожил совсем недолго; когда, возвратившись из Москвы, я спорила с родителями, а они отделялись своим неизменным «ну-ну-ну», я, желая уличить их, рассказывала о судьбе этого человека, бросала им в лицо его имя, но потом и сама поняла, что им действительно больно об этом слышать, ведь они всегда говорили о нем с таким восхищением и доброжелательностью.

О немецкой семье, в которой мои родители жили в Панкове первые недели, мама, наоборот, говорила с нескрываемым презрением: «Эти всегда

* Сокращенное название бывшего ведомства государственной безопасности в ГДР.

сочувствовали только самим себе, с утра до вечера жаловались и стенали, — ах, сколько постельного белья украли у них русские! За все военные годы и ночи бомбежек я никогда не слышала, чтобы англичане жаловались». И это было лишь началом ее постоянных сравнений немцев с англичанами, в которых англичане всегда выглядели привлекательно, а немцы — жалко. Кроме того факта, что они были нацистами и полмира обратили в пепел и развалины, а потом еще и жалели самих себя, мама обвиняла немцев еще во многом, чего она им вообще не могла простить. «Пригласишь их в гости, а они сидят и не замечают, что пора уходить. Англичане же посидят часа полтора, потом встают и уходят. Одно слово — цивилизованный народ. Кому охота часами вести беседу!»

Русские реквизировали бывший Берлинский дворец на Луизенштрассе, превратили его в Дом искусств и назвали «Чайка» — в честь Чехова. Антифашистская творческая элита — люди, по большей части вернувшиеся из эмиграции — могла проводить здесь время в своем кругу, как это обычно бывает в английских клубах. Мои родители были членами этого клуба, где, по крайней мере, не надо было подозревать в каждом бывшего нациста. Там они подружились с людьми, которые впоследствии составили ядро их дружеского круга: все мамины подруги, называвшие ее Лизой, которые 1 мая после демонстрации приходили к нам в Карлсхорсте на ее день рождения, — тайная сионистка Хильда, голубоглазая Джетти, сестра милосердия во время гражданской войны в Испании, Берта из Союза пролетарских писателей и Ольга, у которой был роман с моим отцом. Если погода позволяла, они располагались в садике за нашим домом; он принадлежал исключительно нам, жителям первого этажа, но ухаживали за ним Ломи и Брауни — только тюльпаны мама высаживала сама. В садике росли яблоня, груша и слива, которые, к нашему удовольствию, зацветали последовательно, друг за другом, и потом приносили плоды, которые мы собирали, раздавали всем женщинам, живущим в доме, и ели сами, а из остатков Ломи и Брауни заготавливали — по восточнопруссским рецептам — консервированные компоты и конфитюр на зиму.

Если наши друзья не приходили, мы сами отправлялись к ним — в Нидершёнхаузен или в Грюнау, к Раппопортам, Каганам, Кнеплерам или Катценштайнам, а также к Герхарду и Хильде Эйслер, у которых не было детей, и, наверное, поэтому они относились ко мне внимательнее, чем остальные взрослые. Герхард любил порассуждать сам, хотя и делал вид, что хочет слышать мое мнение, но если я его все же высказывала — очень осторожно — оно, как правило, оказывалось неправильным, хотя мои слова должны были звучать для него как «глас народа». Герхарда, как и венскую Митци, но его в особенности, окружала своеобразная аура коммунистических отцов-основателей, и в ее лучах моя мама становилась похожей на школьницу, даже на слегка провинившуюся школьницу — такое же выражение искажало ее черты и в подъезде, когда я неожиданно появилась и она стала вырываться из объятий дяди Вито. Мне она нравилась гораздо больше, когда рассказывала о своих парижских праздниках и шляпах.

Все еще весело и даже немного насмешливо она рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась по приезду в Берлин, когда там начали устанавливать ее личность. «Русские или, по крайней мере, некоторые из них знали, кто я такая. Но, вообще-то, никто этого не знал. В VVN* поднялась целая буча, они не хотели принимать меня в свое Объединение, потому что я не могла документально подтвердить тот факт, что я подвергалась преследованиям, — ведь все годы нацизма я провела в Англии, имела английское гражданство, была женой корреспондента «Таймс» и никогда прежде не жила в Германии. Тут я

* VVN (Verein der Verfolgten des Naziregimes) — Объединение лиц, пострадавших при нацизме (нем.).

посоветовала им справиться в Москве относительно моей личности и политической биографии». В тоне, каким она мне это рассказывала, все еще звучало пренебрежение. В общем, после того как «товарищи» из Контрольной комиссии навели справки, они — безо всяких обычных тогда многократных собеседований — признали за ней статус «пострадавшей от нацистского режима», а также ее членство в коммунистической партии с 1933 года. Многолетнему членству в партии мама придавала большое значение: мол, она не какая-то новенькая, а старый товарищ.

Ее статус «пострадавшей от нацистского режима» принес и мне некоторые выгоды, ибо этот вид «возмещения ущерба» распространялся также на детей лиц, подвергшихся нацистскому преследованию; этот статус гарантировал им — независимо от материального положения — повышенную стипендию и обеспечивал право на получение жилья. Но не телефона.

Мои родители неохотно соглашались с тем, что статус «пострадавшего от нацистского режима» предоставляется за политическую деятельность, а не дается раз и навсегда и тем более не зависит от степени страданий и преследований, ибо в принятой иерархии ценностей «борцы» стояли выше, чем «жертвы», то есть преследовавшиеся по политическим мотивам имели более высокий статус и получали более высокую пенсию, нежели те, кто был «всего-навсего» депортирован в Освенцим, как, например, евреи. Собственно, об Освенциме мои родители старались не слушать и не говорить точно так же, как и о советских лагерях.

В 1951 году начались многочисленные кампании против социал-демократов, космополитов и сионистов, и евреи-коммунисты были поставлены перед выбором: либо остаться в еврейской общине, либо сохранить свое членство в партии; одно исключало другое. В общем, им следовало принять решение. А поскольку мама не хотела подпасть под подозрение в принадлежности к сионистской агентуре, она, как и большинство ее друзей, — в том числе и Хильда, которой пришлось отныне замкнуть в своем сердце любовь к Израилю, — вышла из еврейской общины. Достоинство удивления, в сущности, уже то обстоятельство, что после войны мама вообще в нее вступила. Моему отцу такое и во сне не могло присниться. Этот «выбор» между еврейской общиной и СЕПГ был лишь одним из многочисленных доказательств покорности, которые требовались от членов партии, в особенности вернувшихся из западной эмиграции. Судьбы товарищей Меркера, Шрекера, Зигберта Кана, в кругу которых вращались мои родители, должны были внушить им страх и напомнить, сколь непрочно их собственное положение. Я не знаю точно, какая кара постигла этих попавших в немилость боевых соратников, но уже сам тон, в котором мои родители о них говорили, свидетельствовал о их злосчастной судьбе, и, желая избежать той же участи, мои родители прибегали ко всевозможным ухищрениям и обходным маневрам.

А может, то, что происходило в ГДР в 1950-е годы, все эти унижения, ущемления и постоянные подозрения, поводом для которых служило еврейское и буржуазное происхождение, не говоря уж об эмигрантской жизни на Западе, все эти годы нескончаемых проверок и чисток казались им — все еще или именно теперь? — залогом близкой победы коммунизма; ради этой победы и грядущего счастья они должны были пройти через тяжкие земные испытания. Вероятно, они чувствовали себя солдатами великой армии и, несмотря на муштру, тяготы, и грозящие опасности, гордились тем, что являются частью этого воинства, и надеялись, что рано или поздно их мужество, отвага и самоотверженность будут вознаграждены. Вероятно, нечто похожее чувствовали и Розенберги, когда — на электрическом стуле — прощались с жизнью. Это отличало их от братьев по вере в социалистических странах: те из них, что не сгнили в лагерях и ссылках и кому не был вынесен смертный приговор на показательном судебном процессе, обречены были вести унижительную жизнь, полную бесчестия и покорности; за это им полагались места мучени-

ков в пантеоне борцов за светлое будущее человечества. Райк, Костов, Сланский и их сподвижники, которых казнили приблизительно в это время, не удостоились подобного вознесения, и казнь их не вызвала негодования у «борцов за мир». Когда моя мама убежденно говорила о том, что Розенбергов «нельзя назвать невиновными», в ее словах сквозила смутная зависть: их жертва была принята богами, тогда как другие оказались осмеянными и отвергнутыми.

Когда страшные 1950-е годы, с их показательными процессами и проработками, наконец закончились, мои родители и их друзья обрели надежду на более открытый и интеллигентный социализм, чей просвещенный облик они угадывали в еврокоммунизме, а позже — в событиях «пражской весны».

После разочарований, утрат и переживаний, связанных с дядей Вито, Аτσι и Кимом Филби, я еще некоторое время жила вместе с мамой в Карлсхорсте, но потом, получив аттестат зрелости, переехала из пригородного «вдовьего дома» в центр города — туда, где селились студенты. Однажды я заявила маме, что хочу жить одна. Я постаралась сообщить ей об этом как можно деликатнее, но она восприняла мое заявление с энтузиазмом — ведь перед ней открывалась возможность нового переезда; словом, она принялась все обдумывать и претворять в жизнь. Ее увлекла идея переехать в маленькую квартирку в центре города, и вскоре мы обменяли первый этаж нашей карлсхорстской виллы на две небольшие квартиры в центре Берлина. Двухкомнатную — для нее, и комнату под крышей — для меня. Воодушевившись, мама организовала переезд в свойственном ей бешеном темпе; я чувствовала, что меня буквально выбрасывают из прежнего дома. Спустя считанные недели после того, как я выразила желание переехать, у дверей уже стоял мебельный фургон, который увез мамины вещи на Карл-Маркс-Алле. Теперь у нее было новое жилье, преимущество которого состояло в том, что прямо напротив находился отель «Беролина», где мама селила своих английских и венских друзей, приезжавших в гости, так что они могли сразу же явиться к ней завтракать, им стоило лишь перейти через улицу.

Пока грузчики транспортной фирмы выносили мебель из нашей квартиры в Карлсхорсте, мои друзья сообща погрузили коробки и ящики с моими вещами в нанятую машину и отвезли их в район парка Фридрихсхайн; отныне этот парк, словно небольшой зеленый океан, разделял и соединял обе наши квартиры; всякий раз, когда мы шли друг к другу в гости, нам приходилось его пересекать. Уже совсем скоро новая мамина квартира стала похожей на нашу прежнюю — по стилю и организации жилого пространства; добиться того, чтобы небольшая квартирка выглядела просторной, — вот высшее искусство.

Моя мама, так, собственно, и не получившая никакого свидетельства о специальном образовании, за исключением «Диплома мастера инструментального производства», много лет проработала режиссером синхронного перевода на студии дублирования. Сдав экзамен на аттестат зрелости, она в течение года изучала французский язык в Гренобле, но не окончила курса, и вот теперь, после работы у русских в советском информационном агентстве, устроилась на должность пресс-секретаря новообразованной киностудии ДЕФА — ее взяли, видимо, потому, что она свободно владела иностранными языками и даже, невесть откуда, вполне прилично знала итальянский. В общем, оказавшись в сфере кинопроизводства, она поняла, что ей это нравится, и тогда, подучившись у себя на студии, стала режиссером дублирования. Эта профессия пришлась ей по душе еще и потому, что в тесном и весьма провинциальном мирке, в который она попала, она нашла хоть какую-то возможность свободно и безнаказанно выражать свой космополитический дух. Когда она дублировала английские, французские или итальянские фильмы:

«Красное и черное» с Жераром Филиппом, или «Салемские ведьмы» с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре, или «Угловую комнату» с Лесли Карон, она могла, по крайней мере, поддерживать воображаемую связь с этими культурами. Из венгерских, чешских и русских фильмов, которые в обиходе назывались одним словом — «советские», она всегда ухитрялась выбрать самое интересное — Милоша Формана или Миклоша Янчо. Пока я была ребенком, она приглашала меня на все детские роли от двух до четырнадцати лет, потому что так ей было проще; для школы она придумывала мне какую-нибудь правдоподобную уважительную причину, и я могла, к своему удовольствию, целыми днями сидеть рядом с мамой в темноте просмотрового зала, в то время как там дублировали на немецкий язык венгерские или французские фильмы, — на профессиональном языке переводчиков-синхронистов это называлось переводом «баш на баш». Мне кажется, что в этой необычной атмосфере — наполовину кино, наполовину реальность — мама чувствовала себя как рыба в воде; нечто подобное я улавливала и в ее довольно тесных отношениях с сотрудниками отдела, в котором она как режиссер считалась начальницей, а поскольку здесь много лет работали одни и те же люди, то они все более становились одной семьей, в которой каждый занимал свое место, играл определенную роль, имел ласкательное имя или прозвище, и если другие сотрудники уважительно и не без симпатии называли маму «госпожой графиней», за этим угадывалось, при всей уважительности и симпатии, еще и какое-то отчуждение — прежде всего, из-за венского акцента, но еще и потому, что мама отличалась от них своим происхождением и биографией, подробности которой никогда не обсуждала, хотя и не делала из этого тайны. «Графский титул» помогал ей легко заводить дружеские знакомства, но и обеспечивал приличную и безопасную дистанцию. Из этой роли ей удавалось извлекать немалую выгоду: с «венским шармом» и наигранной беспомощностью она доставала книги и заказывала места в ресторанах, в общем, получала все, что пользовалось в ГДР спросом, но представляло собой дефицит. Познакомившись с таксисткой, своей соседкой по дому на Карл-Маркс-Алле, она возвела ее в ранг своего личного шофера, поскольку сама никогда не умела водить машину, — и обе были весьма довольны.

Время от времени маму приглашали студии Лейпцига или Веймара, и тогда вся ее бригада две-три недели жила в гостинице, — все вместе ходили завтракать, потом работали, а по вечерам ужинали в ресторане. Иногда, в выходные дни, я ездила ее навестить, и она казалась мне естественной и раскрепощенной, как будто сбросившей с себя груз жизненных обстоятельств; казалось, все прочие «главы ее жизни» отдаляются от нее и теряют свое значение. Вероятно, это и был ее самый главный дар — умение целиком отдаваться моменту и жить одним настоящим.

Работая на студии дублирования, она была просто «коллегой», хотя и имела статус «графини», а в первые годы была еще и членом партийного бюро студии, позже — просто членом партии. На студии, или, как говорила мама, «на предприятии», собралось в те годы большое количество людей, желавших укрыться «на периферии культуры» и обрести место, где от них не требовалось излишне унижаться и постоянно доказывать свою политическую безгрешность; здесь можно было существовать, не привлекая к себе внимания. Мало-помалу мама прорилась симпатией к этим осмотрительным «бунтарям» и даже подружилась с ними, постепенно отдаляясь в то же самое время от некоторых прежних друзей — тех, что изо всех сил цеплялись за старые лозунги и не хотели или не могли признать их лживыми. Пути прежних единомышленников постепенно расходились, и поскольку особенно близкие из ее старых друзей жили в Вене, а она — «несмотря на австрийцев» — любила этот город или, по крайней мере, убеждала себя в этом, я же к тому времени, успела уехать из Берлина, — все получилось как-то само собой: просто однажды она взяла и вернулась в Вену. Когда ее спрашивали, почему она это сделала, мама отвечала

стандартно — мол, ради дочери и внуков, но это не совсем верно, хотя и нельзя сказать, что она лгала; она готовилась к возвращению в Вену задолго до того, как я сама стала подумывать об отъезде. На протяжении нескольких лет она переправляла из ГДР через своих друзей различные документы, необходимые для восстановления ее австрийского гражданства, и, дабы ускорить дело, поручила вести его одному венскому адвокату.

Свой отъезд она обставила на обычный лад. «Как всегда у Литци, — сказал бы отец, — ручная работа: широкий покрой и мало швов». В один прекрасный июльский день, не тратя времени на долгие процедуры, предваряющие выезд из страны, мама упаковала — словно собираясь в обычное ежегодное путешествие, полагавшееся ей как пенсионерке, — два своих чемодана, заперла за собой дверь, села на Восточном вокзале в поезд «Виндобона» и вышла в Вене на Западном вокзале; некоторое время, пока искала квартиру, она пожила у своей подруги-двойняшки Лотти и больше не вернулась в Берлин. Ей было 74 года, и она опять сожгла за собой мосты. Чтобы не возникло никаких недопониманий, она послала соседям по дому на Карл-Маркс-Алле письмо, в которое вложила ключи и записку о том, что не надо рассчитывать на ее возвращение, а кроме того сообщила, что отказывается от вещей, оставшихся в квартире, и от денег, хранящихся в сберкассе, номер счета такой-то. Шекспир в издании 1784 года, томик «Человеческой комедии», выпущенный «Плеядой», из библиотеки Стефана Цвейга, «Опасные связи» в переводе Генриха Манна с его автографом и меховую шубку она подарила мне заранее; эти ценные вещи я забрала с собой, когда переезжала. После 37 лет, прожитых в Берлине, в ее квартире не осталось ничего, что заслуживало ее прощального вздоха. Кроме ключей и записки соседям — все они практически сотрудничали со Штази — она вложила в конверт и свой партбилет.

16

В посольство ГДР
1013 Вена
Фримбергерштрассе, 6

Прошу лишить меня гражданства ГДР, так как я намереваюсь принять австрийское подданство. Прошу подтвердить получение моего письма.

С уважением

Алиса Хонигман

Получение письма подтверждено не было, и уж тем более она не получила ответа. Потом она обратилась в консульство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, но так и не получила письменного свидетельства о том, что лишена британского подданства (этого требовали от нее австрийские власти), на том основании, что факт ее прежнего британского гражданства «в настоящее время невозможно проверить»; однако Австрийская республика без особых бюрократических проволочек предоставила ей австрийское гражданство в виде похожей на диплом официальной грамоты, которая этот факт удостоверяла, а также — паспорта для поездок за границу, удостоверения личности и справки о том, что она является «жертвой нацизма», а значит, *с подателем сего следует обращаться особенно деликатно*. Во всех этих документах в качестве места рождения было, естественно, указано «Вена», а бумаги, подтверждающие ее австрийское происхождение, позволяли предположить, что она не покидала Вены со дня рождения.

Мама поселилась в переулке Терезианумгассе, 4-й район, за дверью с таб-

личкой «доктор Йон», и принялась усердно изучать все актуальные проблемы австрийской жизни — политической, культурной и общественной; за последние сорок лет она несколько упустила их из виду. Поэтому она ежедневно прочитывала по несколько газет и не пропускала ни одного вечернего выпуска новостей по австрийскому радио и телевидению, — конечно, если ей не надо было идти в театр на интересный спектакль. Она изо всех сил старалась походить на жительницу Вены, во всяком случае, не хотела, чтобы ее принимали за иностранку, хотя для этого, на самом деле, не было ни малейшего основания, что и подтверждали ее документы и справки. Она заново изучала «краеведение» и даже вырезала откуда-то карту Австрии, на которой все земли были окрашены разными цветами и поэтому выделялись отчетливо, но виден был и небольшой кусочек Венгрии, причем именно Надьканижа — ведь этот городок расположен совсем близко от границы. Вырезанную карту она наклеила на картон, так, чтобы поставить ее на письменный стол рядом с фотографиями внуков; там же стояла и пишущая машинка, за которой она писала мне письма, стуча по клавишам. «Стучать по клавишам» — вот самая точная характеристика скорострельной манеры, в которой она печатала на машинке. С тех пор как ее почерк окончательно превратился в тайнопись, которую она сама не могла прочесть, она писала исключительно на машинке. Эту машинку, равно как и другие вещи и предметы обстановки, начиная от постельного белья и кончая телевизором, принесли ее друзья, они же вносили арендную плату за квартиру, поскольку маленькой пенсии, которую назначило моей матери австрийское государство, на это никак не хватало. Друзья говорили, что всего лишь отдают долги, накопившиеся за годы многолетней дружбы, и что, дескать, «все мое время» и «каждому свой черед», и «все это в сущности такая малость», потому что в другие времена, в Париже и Лондоне, именно Литци в роли миссис Филби поддерживала и содержала целые полчища друзей и знакомых и даже дарила им жемчужные ожерелья.

Письма, которые она мне писала, глядя на карту Австрии и фотографии внуков, которые стояли перед машинкой, прислоненные к стене, сообщали о ее буднях, рассказывали о том, кого она встретила, с кем беседовала, что купила и что видела по телевизору, а вперемешку шли ее наблюдения и комментарии, касающиеся текущей австрийской политики, — их я понимала едва ли наполовину.

В этих письмах, однако, мама никогда не возвращалась к событиям своей прежней жизни, которая когда-то, давным-давно, протекала в этом городе. Она отгоняла от себя эти воспоминания или просто не желала об этом вспоминать, даже не пытаясь воссоздать в памяти свою прежнюю жизнь с родителями, или с первым мужем, или с Кимом Филби, или с Митци, — здесь, на этих улицах, либо в каком-нибудь другом районе. Обо всех этих людях она никогда не упоминала.

Теперь она воспринимала Австрию такой, какая она есть, то есть относилась к ней с доверием, несмотря на два раскатистых «рр» в середине, и каким-то образом сумела избавиться от многолетнего идеологического гнета, который некогда сама на себя взвалила. В кругу ее старых венских друзей, где все отдали дань одной и той же мифологии, не было нужды постоянно говорить о прошлом, — разве что рассказывать анекдоты, над которыми они уже столько лет смеялись, а потому готовы были их слушать без конца. Только одна из ее подружек чувствовала себя обязанной — ей казалось, что мир знает об этом недостаточно, — вновь и вновь повторять, по крайней мере в их кругу, свой рассказ о том, что уже после 1933 года, когда она изучала медицину в Берлине, актер Густав Грюндгенс регулярно жертвовал очень крупные суммы в пользу запрещенной к тому времени германской компартии. По ее словам, он передавал деньги прямо в ее руки, и она хотела — хотя бы задним числом, — восстановить его честное имя, поскольку оно было незаслуженно опорочено.

Почти все венские друзья моей матери медленно и незаметно покинули за истекшее время стан революционеров, к их рассказам о «движении» — если об этом вообще шла речь — примешивалось все больше иронии. Один за дру-

гим они выходили из партии, которую теперь сокращенно именовали VV или OVV,* зато снова вступили в еврейскую общину или «упорядочили» свою принадлежность к ней, чему прежде не уделяли внимания. Мама тоже восстановила свое членство в Израелитской религиозной общине, в которой ее отец служил вплоть до самого «аншлюсса».

Это восстановление членства было, пожалуй, не столько возвратом к еврейским корням, сколько выражением недовольства и неблагополучия, которые проявлялись в ней с возрастом, запоздалого смущения, а может, и стыда за свой решительный разрыв с семьей и родными, за презрение, с каким она и ее друзья взирали на тех, кто не верил, подобно им, в окончательное освобождение всех классов и рас при коммунизме. Но главное: восстанавливаясь в Израелитской религиозной общине, мамыны друзья хотели обеспечить себе место на еврейском кладбище, ибо — бог знает почему — этим законренным материалистам, как они себя всегда называли, хотелось и по окончании земного пути быть рядом друг с другом.

Семь последних лет своей жизни мать прожила в Вене, с прежним воодушевлением обустранивая свою маленькую квартирку, вероятно, самую маленькую из всех, в которых ей когда-либо доводилось жить, — но эта трудность лишь вдохновляла несостоявшегося оформителя интерьеров. Каждый день, едва проснувшись, она первым делом звонила своей неразлучной подруге Лотти, с которой потом где-нибудь встречалась, чтобы с ней вместе выпить чашечку чаю или что-нибудь купить, или посетить только что открывшуюся художественную выставку, а раз в неделю всю первую половину дня они вдвоем помогали разбирать архив австрийского Сопротивления, потому что там не хватало сотрудников.

С остальными друзьями она тоже много раз на дню разговаривала по телефону, регулярно встречалась с ними и вообще вела оживленную светскую жизнь; от ее рассказов об этой жизни, от множества имен и названий спектаклей и выставок, а порой и от подробностей «дипломатических конфликтов», например, между зятями и остальными членами семьи, у меня голова шла кругом. Литци и Лотти всерьез обсуждали план совместной поездки в Амстердам к Питеру и уже готовились к этой поездке, но Литци в последний момент отказалась, и Лотти отправилась в Амстердам одна. Наверное, мать боялась встретиться со своим бывшим любовником, с которым переписывалась почти пятьдесят лет и который все эти годы неизменно присылал ей луковицы голландских тюльпанов, а теперь, конечно, стал стариком. Сама же она все еще оставалась красивой, хотя и пожилой, женщиной «балканского типа», как говорил отец, который множество раз с гордостью рассказывал о том, как в Англии они с мамой разговаривали по какой-то надобности с важным чиновником и, проговорив полчаса, но ничего не добившись, собрались уходить, а когда отец стал извиняться за то, что они отняли много времени, этот чиновник — в ответ на отцовские извинения — сказал: «Ах, сэр, вы не представляете, какое я получил удовольствие, имея возможность целых полчаса любоваться прекрасными руками вашей супруги».

Вероятно, в память об этих лестных словах мама дважды в месяц ходила к маникюрше и педикюрше и, конечно же, к парикмахеру, чтобы покрасить свои волосы, естественного цвета которых уже не помнила, во все возможные тона, от иссиня-черного до огненно-рыжего, — за истекшие годы они, разумеется, поседели.

В то время как мама с прежним воодушевлением, начиная нечто вроде новой жизни, в очередной раз обустранивала свою венскую квартиру, Ким Филби дал длинное, последнее интервью газете «Sandy Times», в котором изложил свое

* VV или OVV (Verdummungsverein или Oberverdummungsverein) — Объединение оболванивания или Главное объединение оболванивания (нем.).

понимание событий и признался, что ни о чем не жалеет. Ни о чем. Вскоре после этого, в мае 1988 года, он умер, на три года раньше Литци.

И опять в печати появились статьи и рассуждения на тему «шпион века», я же получила от матери письмо, в котором на этот раз не было ни слова о ее австрийских гостях, покупках и новостях дня.

Дорогая доченька!

Вчера вечером мне позвонили из Лондона, из газеты «Sandy Times», но до этого мне уже звонил их представитель в Австрии. Дело в том, что у них выходит серия статей о Киме, включающая в себя интервью, первое за десятки лет, которое он дал одному из их корреспондентов.

В первой же статье, конечно, упомянута и я, и они непременно хотят получить от меня интервью. Я категорически отказалась. Конечно, я не хотела вести себя грубо и не стала бросать трубку, на это я, увы, не способна. Теперь в любом случае они что-то обо мне напишут, в том числе — об этом телефонном разговоре и моем отказе. А сегодня мне позвонила из Лондона молодая и необычайно милая журналистка. И я ей сказала, что, к сожалению, уже десятки лет отказываюсь давать интервью и не хочу менять свои привычки. Мы разговаривали то по-английски, то по-немецки, и бог знает, что они теперь напечатают и не поручат ли одной из здешних газет, например «Kronenzeitung», что-либо обо мне разузнать. Молю Бога, чтобы австрийская пресса не стала ко мне приставать, потому что австрийцы не столь деликатны, как англичане, они не станут сначала звонить по телефону — а сразу явятся в дом. К моему большому сожалению, я снова в «новостях».

Милой журналистке из Лондона я сказала, что уже несколько лет живу в Вене, что я на пенсии, счастлива и не хочу, чтобы нарушали мой покой.

На вопрос, состою ли я в партии, ответила отрицательно.

Я, правда, не думаю и не предполагаю, что кто-нибудь явится и к тебе, но если это случится, очень прошу тебя ограничиться следующим: конечно, ты знаешь, что когда-то я была замужем за Кимом, но, кроме этого, ты ничего больше не знаешь, абсолютно ничего. Тем более, что это соответствует истине.

Все же меня ужасно огорчает, что прошлое не остается в прошлом.

Это письмо предназначено только тебе.

Lots of love.

*Mum.**

17

Тем более что это соответствует истине. Я ничего не знаю, абсолютно ничего.

После смерти матери я забрала папку с документами и коробку из-под обуви, в которой она хранила фотографии. Коробку я долгие годы не открывала, а из папки время от времени доставала какой-нибудь документ, когда надо было что-то оформить. Таким образом, я очень скоро наткнулась на планы захоронений ее родителей в Лондоне, — на их могилах все еще не было надгробий. Беспорядочную кипубумаг в этой папке мама уложила таким образом, чтобы я сразу обнаружила эти свидетельства. Но я никогда не узнаю, что на самом деле означает ее послание ко мне. Выполнить то, чего она не сделала?

Коробку из-под обуви я открыла лишь несколько лет спустя и не обнаружила в ней всех тех фотографий, глядя на которые — тогда, в Карлсхорсте, —

* С любовью. Мама (англ.).

мама так ловко уклонилась от ответов на мои вопросы; их репродукции я позже обнаружила в книгах. Правда, из собрания фотографий исчез не только молодой Филби, но и дядя Вито, появившийся в ее жизни позднее. Вместо них там хранилось множество снимков ее друзей, мои и моей семьи, моих сыновей, в младенчестве и в детстве, — в квартире, на пляже, в горах, а также фотографии ее родителей. Среди них была одна — на ней изображен солдат в мундире Первой мировой войны; мама говорила, что это ее отец Израель Кольман. Однако мой отец утверждал, что этот человек не имеет ничего общего с Израелем Кольманом, с которым он еще успел познакомиться в Лондоне в 1939 году, что вообще-то звучит неправдоподобно, но в принципе возможно. Оба этих свидетельства нельзя ни доказать, ни опровергнуть: так что правды я никогда не узнаю. Когда я пристально вглядываюсь в лицо этого человека, мне кажется, я улавливаю его сходство с дочерью, то есть с моей мамой, но еще и со мной и моими сыновьями. Но я не уверена, есть ли это сходство на фотографии или я просто его воображаю.

Может быть, это мой дедушка. А может быть, нет.

Мама родила меня, когда ей было сорок, я осталась ее единственным ребенком, она едва не умерла от родильной горячки из-за того, что врач (так еще долго шутил отец), сделав кесарево сечение, забыл у нее в животе ножницы. Она выжила только благодаря тому, что работала в Советской военной администрации: товарищи достали для нее драгоценный пенициллин, который в те годы был большой редкостью.

Она родила меня, и вот теперь я возвращаю ее в мир — как легенду. Близко к правде, но еще ближе — ко лжи; таким и было ее жизненное credo.

Иногда отец говорил мне: «Знаешь, принимая эти политические решения, подчас в драматических обстоятельствах, мы полагали, что действуем совершенно свободно; в конце концов, каждый из нас выбрал для себя ту роль, к которой был предназначен, и поэтому именно здесь мог проявить свои врожденные качества. Твоя мама выбрала для себя именно секретную службу, и это подходило ей как нельзя лучше. И то, что юноша из высшего общества, такой как Ким Филби, встав на сторону мирового пролетариата, избрал для себя элитарную, более того, аристократическую карьеру разведчика, тоже не случайно». Видимо, мой отец терпеть не мог Кима — как и Питера.

Когда моя мама говорила об «этой главе своей жизни», в ее тоне порой сквозила досада, но, бывало, звучала и гордость, а порой и смущение, как будто она признавалась в своей тайной страсти.

Моя мама никогда не пыталась собрать воедино отдельные фрагменты своей жизни. Такими были и ее гениальные платья: благодаря ее «ручной работе» куски ткани какое-то время держались, но потом все расплзлось на части. Она никогда не предавалась воспоминаниям и ненавидела всякую романтику, в особенности романтику воспоминаний. Мемориальный обряд лишь приводил ее в смущение, потому что глубоко проникшие в нее, как будто путем осмоса, элементы разных периодов ее жизни, а также стран, городов, языков проявлялись по-разному: как венгерская, венская или английская жилка. Значительно позже, после возвращения в Вену, она попала однажды в компанию бывших интербригадовцев и их жен, а те в какой-то момент вдруг запели свои старые песни. Она немедленно встала и ушла, а потом с отвращением говорила об этой «встрече боевых товарищей», добавляя: «Петь песни! Да это же *Gojím Naches!*»,* тем самым низводя интербригадовцев чуть ли не до уровня крестьян из своей венгерской деревни.

Теперь я могла бы проехать путями моей матери через всю Европу, заехать в деревню Керка Св. Миклоша, исчезнувшую с географических карт, в Надькани-

* Гойские радости! (*ugjsh*).

жа, Вену, Париж, поискать *maison de campagne** в Грорувре или съездить в Лондон. Я могла бы постоять на чужих улицах перед чужими домами, побывать в местах, о которых ничего не знаю и поэтому не могу их узнать; там и понятия не имеют ни обо мне, ни о моей маме, и никто не сможет мне ничего рассказать.

Ну где мне искать, к примеру, ту Корсику, о которой она иногда говорила: «Ах, Корсика, этого ты и представить себе не можешь!» Иногда я смотрю на фотографию, где она сидит на белой каменной скамье, на спинке которой — как, наверное, и должно быть на Корсике — написан какой-то боевой лозунг, наверное, призыв к независимости, с большими восклицательными знаками. Эта скамья, на которой сидит моя мама, расположена наверху, под пиниями, а внизу раскинулся большой город, может быть, Бастия, а может быть, Аяччо; мама выглядит очень молодо, на ней легкое платье, белые спортивные туфли и, кажется, яркое ожерелье из крупных бусин — на глубоком декольте; ее темные, коротко стриженные волосы свободно вьются, и, конечно, она бы не вспомнила, естественный ли это цвет.

Но такие расследования и поездки по ее следам слишком уж напоминают мне шпионство, игру и присвоение чужой жизни, даже если это жизнь моей матери и я — единственное ее дитя, а значит, имею, по-видимому, какое-то право на эту историю.

После смерти родителей ребенок может взглянуть на их жизнь свободнее, поскольку его взгляд больше не зависит от их величия или ничтожности, и эта смена перспективы приводит к некоторой переоценке ценностей. Но ничего не открылось. Моя мама и после смерти осталась для меня такой же непонятной и противоречивой; на это жаловался еще мой отец и, простоты ради, объяснял это тем, что она «с Балкан».

Что же мне теперь — сводить с ней счеты, разнохивать, расследовать, изучать разные дела и анкеты, объехать пол-Европы, посещая загсы в разных городах, расспрашивать людей, выискивать и соединять воедино обрывки ее жизни, которые она, совершенно очевидно, разорвала сама; отчасти потому, что такова была ее воля, отчасти же потому, что все случилось именно так, как случилось!

Я никуда не ездила, не ходила и не стремилась.

Не искала, не находила и не видела никаких документов.

Ни с кем не разговаривала и никого ни о чем не расспрашивала.

Я могла это сделать, но не сделала.

Перевод Елены Михелевич

* Деревенский домик (фр.).

АЛЕКСАНДР КЛЮГЕ

ИЗ КНИГИ «ЧЕРТ ОСТАВЛЯЕТ ЛАЗЕЙКУ»

«ДИАЛЕКТИКА ПРИРОДЫ»

В российской «диалектике природы» есть скачки через шесть тысяч лет. Некоторые идеи, например религиозные представления, ритуалы, связанные с погребением покойников, восходящие к глубокой древности, сегодня существуют, не имея видимой опоры в современной жизни. Возможно, одной из подобных «незримых причин» объясняется то, что восточная часть евразийского континента, Южная Сибирь, край, располагающий богатейшими сырьевыми ресурсами, населением не осваивается. Что было бы, если бы на «диком Востоке» удалось вызвать новую «золотую лихорадку»? Вот это и решил выснить товарищ Андропов.

Витающие в стране призраки, а именно: планы, высотные здания, дороги, железнодорожная сеть, аэропорты, географические карты, а также штрафы с наказаниями — меняются быстро. Если же что-то из них исчезает, скажем, зарастает бурьяном, то потом все равно возрождается на старом месте, там, где появилось на свет.

Станным образом все это не соответствует учению исторического материализма, — ничего похожего на классические отношения между базисом и надстройкой! Силы природы (интеллектуальные, физические возможности людей, особенности географического ландшафта) в великой России не желают подчиняться учительской указке.

Осенней порой, когда над ночной Москвой шумит ветер, Андропов видит (или слышит, чувствует до мозга костей): души по собственному усмотрению командуют телами, а ведь надзирать за телами — задача КГБ.

Перевод выполнен по изд.: Alexander Kluge. Die Lücke, die der Teufel lässt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 2003.

Александр К्लюге (род. в 1932 г.) — прозаик, один из крупнейших кинорежиссеров нового немецкого кино, сценарист, продюсер. Автор нескольких книг. Использует в своей прозе приемы литературного коллажа, соединяя вымысел и документ, смешивая жанры, обыгрывая реальные события (в частности — из советской и российской истории). Лауреат премии Г. Бюхнера (2003). В 2004 г. на русском языке опубликован его роман «Хроника чувств».

МОЖЕТ ЛИ КОЛЛЕКТИВНОЕ ЦЕЛОЕ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ «Я»?

— Можно ли утверждать, что обществу, населяющему сегодня огромный континент, иначе говоря, сверхдержаве, помимо правительства и политического руководства, нужен еще и некий мозг?

— Несомненно.

— Может ли КГБ быть таким мозгом?

— В первую очередь, он — память. Это орган долговременной памяти.

— Память хранится в архивах, документах?

— Да, вот уже 64 года.

— Это означает, что существуют весьма различные способы вести дела, фиксировать воспоминания?

— Самая новая информация сохранена на довольно больших кассетах, в США такие носители информации уже давно не производятся.

— КГБ пытался функционировать, так сказать, в качестве мозга страны?

— Были такие попытки при Андропове. Из этих мельчайших спор родилась гласность.

— То есть гласность была запланирована?

— Да. Сверху.

— Разве история знает примеры успешного просвещения народа сверху?

— Один такой пример известен.

— Был создан коллективный орган, некий мозг?

— Да, при цезаре Диоклетиане.

— И опыт прошел с успехом?

— Нет.

— Соответственно, метод имплантации обществу мозга, которая производится «сверху», следует отвергнуть?

— Нет.

— И таким методом, «сверху», действовали Андропов и его сотрудники, в том числе Горбачев?

— Движение «сверху» должно было на полпути встретиться с процессом, идущим «снизу».

— Это тоже было запланировано?

— Нет, это был процесс. Он соответствовал данным наблюдений.

СТЫД — ЯД ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

В те дни в распоряжении Российских Вооруженных сил еще имелось восемнадцать десантных катеров, они были в полном порядке и находились под Калининградом. Эти катера предназначались для высадки десанта, производящего на суше впечатляющие операции, которые столь популярны у журналистов США. Но прибыла съемочная группа одной частной итальянской телекомпании. Для четырнадцати катеров (из восемнадцати) не нашлось бензина.

В соответствии с инструкциями о режиме секретности весь опыт, каковым располагают отдельные воинские части, разбит на изолированные друг от друга сегменты. Девятого мая 2001 года транспортировка людей и боевой техники по морю и высадка на незнакомый берег состоялась, согласно приказу, с помощью переоборудованных грузовых судов и барж. На Балтике подобная десантная операция отнимает массу времени и сил, если проводить ее без привлечения десантных катеров. В конце концов отчасти удалось разместить технику и людей на берегу, а затем направить к ближайшему населенному пункту. Все это выглядело далеко не реалистично, вдобавок и противник бездействовал. Мероприятие еще можно было спасти — состоялась острая политическая дискуссия между двумя группами офицеров, одни отстаивали приоритет техники, другие — главенствующую роль человеческого фактора. Все боевые объекты, говорили офицеры, приводятся в действие только усилиями людей, то есть

благодаря субъективному фактору. Эти упражнения в элоквенции состоялись к полному удовлетворению наблюдателей из Милана, хотя дискуссия проходила на русском языке и в целом затрагивала темы, которые зрителям итальянского телеканала еще не были представлены. Понятно, что сделать из такого материала телепередачу было невозможно. Военные — участники событий — глубоко стыдились того, как прошел этот день.

РАСКОПКИ КАРФАГЕНА

В семидесятых годах под патронатом ЮНЕСКО проводились раскопки на территории древнего Карфагена. Цель — сохранение памятников древней культуры. На побережье Северной Африки шла спекуляция земельными участками, собственники земли часто сменяли друг друга, началось новое строительство. Еще два года — и археологический памятник погибнет.

Французы провели топографическую съемку холма Бирса, откуда берет начало древний Карфаген, британцы вели раскопки в районе бывшего военного порта, немцы — вдоль стен, обращенных к морю, американцы — вблизи «тофета».

Советский Союз был исключен. Группа московских ученых из Академии наук разбила палатки на ливийской земле, за тунисской границей. У москвичей было оборудование и аппаратура новейшего образца. Корабли американского ВМФ патрулировали в пограничных водах Туниса, следя за тем, чтобы русские не нарушили границу.

Уже в то время американцы ожидали краха своего заклятого врага. Советский Союз не должен был получить идеологический козырь — возможность идентифицировать себя с древним Карфагеном. Нельзя было допустить, чтобы СССР, используя археологические находки, разбил аргументы пропаганды, использовавшиеся идеологами в Древнем Риме, — те самые, на которых основаны наши знания о трех Пунических войнах. США открыто идентифицировали себя с Римской империей.

Чем был «тофет» — гробницей или алтарем, на котором приносились жертвы Мелькарту? Были ли у карфагенян в критические периоды их истории человеческие жертвоприношения этому богу войны, чье имя — Баал Хаммон, или Мелькарт? Приносились ли в жертву дети? Археологи систематизировали находки, атрибутировали и надписывали их, указывая место обнаружения. Вырвать тайну у камней оказалось непростой задачей.

Уже снабженные надписями камни воровали местные туареги, потом, перейдя границу, за хорошие деньги сбывали добычу русским. А у тех в палатках были микроскоп, приборы для спектрального анализа, рентгеновская установка и прочее оборудование, позволяющее датировать находки. Здесь формулировали научные заключения. Нет, «тофет» вовсе не был жертвенником. На всем белом свете не найти ни единого текста, который подтверждал бы, что в древнем Карфагене детей приносили в жертву богу войны. А значит, подобное утверждение — лишь новый пример гнусной римской пропаганды.

Отделение для несения внутренней службы американского флота перешло границу, нарушив нормы международного права, и некоторую часть похищенных камней удалось вернуть. При этом сшибли и кое-какие палатки советских исследователей.

Но границу в идеологии к этому моменту, когда начался уже распад СССР, успели сдвинуть. Сообщения римлян о кровожадности карфагенян, о столь любимых ими человеческих жертвоприношениях недолго оставались достоянием только лишь научных кругов. В этом смысле экспедиция московских ученых, которых не допустили на место раскопок, была делом стоящим. Центральная ревизионная комиссия, однако, завысила сумму расходов. Это пусть немного, но поспособствовало росту противоречий между республиками, входившими в СССР, и центральной властью.

ДЕТЕКТИВЫ НАШЕГО БЕССИЛИЯ

От западных проверяющих мы отличаемся тем, что прошли выучку в спецслужбах и, являясь разведчиками-патриотами, занимаемся не только подсчетами рентабельности. Мы похожи, скорее, на детективов, тайных агентов, правнуков «граждан первого часа», появившихся после революции 1789 года. Мы работаем тайно.

А вчера опять наша Россия опозорилась. С космодрома П. стартовала ракета-носитель «Циклон-3», которая должна была доставить на орбиту три шпионских спутника и три спутника связи. Вес ракеты — 90 тонн, длина — 40 метров, оборудование — самое надежное. «По не установленным причинам» третья ступень ракеты отделилась сразу после старта.

Мы пролетели на АН 500 километров, направляясь на северо-восток. Здесь, над Баренцовым морем упали обломки ракеты, разлетевшиеся по обширной территории. Следы нужно искать на участке площадью в 20 квадратных километров. Посадить АН не удалось. В бинокли можно было различить обломки размером не менее двух метров. Мы восстановили картину случившегося. Потом приземлились за 120 километров и вернулись на санях к месту падения обломков. Наши подозрения подтвердились.

Они над нами издеваются. У них есть возможности с безопасного расстояния разваливать наши технологии. У них полно баз на севере Канады. Они, точно шотландские ведьмы, могут, когда заблагорассудится, нарушать работу нашей электроники.

Страховая компания Ллойда возмещения не выплатила, так как причина катастрофы осталась не установленной. В конце зимы нам удалось разговаривать одного коллегу, представлявшего сторону противника. Этого коллегу мы сбили над Сибирью.

Я: Вы разговариваете с людьми, которым больше нечего терять. И этим мы опасны. Не рассчитывайте уйти отсюда живым.

Коллега: Не рассчитываю.

Я: Сейчас в вашей стране — время между двумя президентами. Я не верю, что вам было дано конкретное задание с целью причинить нам вред.

Коллега: Когда я выйду отсюда?

Я: Вы вообще отсюда не выйдете. Нам некуда спешить. В нашем распоряжении не только эта зима.

Коллега: В таком случае у меня нет необходимости разговаривать с вами.

Я: Придется. Говорить интереснее, чем ждать, если ждать нечего.

Коллега: Это верно.

Я: Три шпионских спутника и три спутника связи — такой заказ был получен от вашей страны. Мы согласились выполнить этот заказ. Вы сделали исполнение договорных обязательств невозможным. Откуда у империалистов такая разобщенность? Вы тоже потерпели урон — не получили трех шпионских спутников. А мы только несем расходы.

Коллега: Меня это не интересует. Я же не участвовал в проекте как проверяющий. У меня были поручения по нанесению урона вашей стороне.

Я: Поэтому мы можем поговорить откровенно.

Коллега: И тогда я раньше вернусь домой?

Я: Вы вообще не вернетесь домой.

Коллега: Почему?

Я: Потому что у нас есть шанс нанести вашей стороне такой урон, против которого она беззащитна.

Коллега: И вы этим гордитесь?

Я: Чем-то ведь и детективу надо гордиться.

Коллега: Что меня заинтриговало в этом деле, и даже здесь, в этом месте, продолжает интриговать, — отсутствие координации в действиях нашей сто-

роны. Рентабельность наших деструктивных электронных акций действительно вызывает сомнения.

Я: Вы готовы письменно изложить эти соображения?

Коллега: Надо подумать. Изложение таких мыслей в письменной форме может иметь негативные последствия. На моей карьере контролера это может отразиться нежелательным образом.

Я: В таком случае правильно будет, если мы оставим вас зимовать здесь?

Коллега: На сколько зим?

Я: На все зимы, какие еще будут в вашей жизни.

Коллега: Что-то иррациональное в этой войне...

Я: Но войны нет.

Коллега: А что же это?

Я: Зима.

КАК ПАРТИЯ ОБВИНИЛА ТОВАРИЩА СТАЛИНА В УБИЙСТВЕ

Когда генсеком был Хрущев, седьмому заместителю генерального прокурора при Верховном суде СССР поступил документ, в котором партия обвиняла бывшего товарища — товарища Сталина — в убийстве. Суть в том, что в ноябре 1932 года Сталин в приступе ярости убил свою вторую жену Надю Алилуеву. Выстрелив из револьвера и увидев, что Алилуева еще жива, Сталин ее задушил. Выяснилось, что обвинение — на бланке Центрального комитета КПСС — написал некий мелкий чиновник-делопроизводитель. Ни один из органов КПСС никогда не выносил каких-либо решений, направленных против товарища Сталина. Автор предлагал исключить Сталина из партии, дабы впредь никому не повадно было...

Юрист, введенный в аппарат Верховного суда еще при Берии, усмотрел в этом деле отголоски закрытого доклада Хрущева, с которого в 1956 году началась эра десталинизации страны. Юрист счел, что неприметный делопроизводитель просто решил таким вот способом привлечь внимание к своей особе.

— Вы вообще верите, товарищ Шарнишевский, что все это произошло в действительности?

— О смерти второй жены Сталина и ее похоронах в середине ноября писала «Правда».

— И о том, что она была застрелена?

— Там об этом сообщалось.

— Но все прочее — слухи?

— Слухов — целый рой. Говорят, преступление совершено при свидетелях. В живых никого из них не осталось.

— А каково ваше личное мнение, товарищ Шарнишевский?

— По-моему, подчиненная партийная инстанция пытается раздуть собственную значительность.

— Вы собираетесь расследовать дело?

— Каким же образом я могу организовать расследование?

— То есть вы не считаете Сталина способным совершить убийство?

— Против кого я должен возбуждать дело? Какой приговор я должен вынести? Что же мне, взять под стражу памятник и привести в исполнение приговор, отрубив каменную руку?

— Не иронизируйте, товарищ! Какие практические шаги вы намерены предпринять?

— Сохранить дело. Зарегистрировать как входящее.

— И ждать, не появятся ли новые показания?

— Возможно, поступит что-нибудь новенькое.

ПРОЕКТ-ПРИЗРАК

В «оттепель», то есть в начале деятельности Хрущева, известный кинорежиссер Соболев задумал поставить на ленинградской киностудии художественный фильм об Иисусе Христе.

— Фильм-эпопею?

— Да, грандиозный кинороман. Предполагалось сосредоточить внимание на второстепенном — показать римлян, фарисеев, всю предысторию вплоть до Исхода из Египта и свадьбы царя Соломона. События земного бытия Сына Божия, напротив, хотели представить попроще, так сказать, в камерном варианте.

— И думали, что такой фильм будет иметь успех?

— Этот вопрос не рассматривался. Да и знали разве в то время, какой фильм может иметь успех в великой России?

— Вы полагаете, режиссер Соболев, заручившись поддержкой своей съемочной группы и в какой-то момент даже снискавший благоволение партии, намеревался апеллировать к религиозным чувствам соотечественников?

— Он имел в виду что-то в таком роде.

— Но ведь у власти все еще были материалисты?

— Да, но изголодавшиеся по успеху.

— И они думали, что успех придет, если будет снят идеалистический фильм об Иисусе?

— Они все испробовали, пытаюсь спасти Советскую власть.

— Ее уже тогда надо было спасать?

— Некоторые считали — да.

На главную роль режиссер нашел исполнителя — тридцатилетнего человека, в прошлом фронтовика, окончившего после войны актерские курсы. В сорок первом он отличился в сражениях на Волоколамском шоссе, обороняя Москву. Бил фашистов, отморозил руки и ноги. История бойца обошла все пропагандистские издания Красной Армии.

— И Соболев хотел сделать исполнителем роли Иисуса Христа героя, обогатившего кровью, снайпера, который убивал врагов с воодушевлением?

— Сказано: покайся, каждый может стать Христом.

— Вот, значит, каков итог коммунистической уравниловки! Каждый может стать Сыном Божиим? Но это же не реалистично.

— Вы хотите сказать, у Бога появилось бы слишком много сынов? Пересмотрите-ка свои представления о реализме. Почему бы всемогущему Богу, властителю Руси, не иметь столько сынов, сколько Ему угодно?

— Да потому, что не каждый может принять смерть на кресте и не о каждом можно снять фильм-эпопею с бюджетом, который в мечтах режиссера достигал двадцати миллионов рублей. Киноиндустрия обанкротилась бы.

— Вот в этом-то и состояла особенность «оттепели» 1959 года: Советская власть может погибнуть, но не обанкротиться, — так считали. В стране вообще не было судов, которые занимаются делами о банкротстве.

— Почему же не был реализован грандиозный проект?

— «Оттепели» пришел конец уже осенью 1959 года.

— Почему?

— Дело ведь было не только в проекте Соболева. Всюду в стране вдруг пронулся интерес к эзотерическому знанию. Властям внушала страх религиозность, которая обнаруживается, стоит лишь поскрести русского человека.

— Как вы думаете, в России действительно существует потребность в создании грандиозных киноэпопей, наподобие той, о которой мечтал Соболев?

— И раньше, и теперь этот проект — лишь исключение. Все решает рынок.

— А какое название хотели дать фильму?

— «Душа моря». Был даже перевод на итальянский язык — «Anima del mare».

— Перевод на итальянский?

— Фильм должен был пойти на экспорт. Предполагалось также совместное советско-итальянское производство.

— И Христа мог бы играть не русский герой Отечественной войны, а Марчелло Мастроянни? А в чем смысл названия?

— Никто не знает. Соболев на этот счет не высказывался. Я думаю, название должно было звучать иначе: «Душа любви».

— Так же, как у Достоевского говорится о «Душе моря»?

— Несомненно.

— Какой образ моря существует в сознании русских? Это северное море, как в Архангельске? Или Черное море с его синевой?

— Черное море не синее, оно серое.

— А Иисус как-то связан с морем?

— С водой — да, разумеется. С морем мало.

— А в сценарии Соболева на странице 463 описывается, как воды расступились и Иисус повел народ Израиля по дну морскому.

— Ну, это только в сценарии. На самом деле Иисус в то время еще не жил на свете.

— Но разве Христос не живет вечно?

— Не в смысле реалистического действия, которое можно отобразить средствами кинематографа. Прежде он должен родиться.

— Выходит, Соболев — реалист?

— В справочнике Союза кинематографистов сказано, что он представитель социалистического реализма.

— И зрителю предлагают поверить в то, что человек может ходить по морю?

— То, о чем вы говорите, происходило на море с высокой соленостью воды. Может быть, по нему и в самом деле можно ходить. Как бы то ни было, говорит Соболев, море русских религиозных чувств прочно, как бетонный мост.

— Вы полагаете, что империя рухнула бы, если бы снималось большое количество фильмов такого рода?

— Вероятно, нет.

Перевод Галины Снежинской

МАРСЕЛЬ БАЙЕР

FUNKY SABBATH*

I

Медленно, как в кино, машут здесь руки,
самозабвенно, до одури, то ли прощаясь,
то ли клеим «Момент» блаженный момент

продлевая. Между пальцами — белесое небо;
старик-инвалид по субботам перед отелем
машет протезной рукой, в нем пропал джазмен;

нет, кроме шуток, и сразу ясно: всякий,
кто покидает сей город, уже не вернется.
Черная кожа протеза, кожа руки, только не надо

горестных жестов, тоски расставанья, покуда
взмахи руки не закроет проезжий трамвай,
что ищет трамвая-собрата. Кабинка водителя

замурована обоями под желтый кирпич.
Не надо прощанья. Ты помнишь место, я помню час.

II

Не будет ни прощанья, ни печенья. Афиши. По обочинам
счищают снег и лед. Заборы FUNKY SABBATH
сулят нам на сегодня, вечер свинга,

но для богатых: блейзер, фейс-контроль.
Под памятником Ленину подростки, втроем,
продрогшие в курточках, под синюшным

Перевод выполнен по изд.: Marcel Beyer. Falsches Futter («Неправильный корм»), Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 1997; Erdkunde («Землеописание»). Du Mont Literatur und Kunst Verlag, Köln, 2002

* Кайф по субботам (англ.).

Марсель Байер (род. в 1965 г.) — немецкий поэт и прозаик. Приобрел известность благодаря романам «Плоть человеческая» (1991) и «Летучие псы» (1995). Автор поэтических сборников «Неправильный корм» (1997) и «Землеописание» (2002). Живет в Дрездене.

© Suhrkamp Verlag, 1997
© Du Mont Literatur und Kunst Verlag, 2002
© S. Fischer Stiftung (перевод), 2004

расщельем губ (вместо зубов — пустоты)
пакетик с клеем ходит по рукам.
Над ними исполина многопудье,

в руке, прикрывшей печень, недостает стакана.
Причем тут музыка. Я рук своих не чую.

III

В бездельный час заката, под плакатом
поволжских немцев смур Калининград:
«MEI HEIMATLAND, MEI WOLGALAND»*.

Значенья слова «FUNKY»** познаешь ты мигом
доходчиво и точно, прямо в рожу аккордеоном.
Ни пения, ни пляски, ни братков подгазом. Только

сиротский взмах руки и пожеланье СЧАСТЛИВОГО ПУТИ
от нюхачей, их смурый взгляд, их бледность отморозков.

ПОСЛЕ МОЛНИИ

После молнии цокот металла по мостовой
кажется звонче, задолго до утренних сумерек
и много прежде, чем они, не глядя, неспешной рысцой
вывернут из-за поворота, конные стражи порядка.
Взгляд в пустоту, никого не замечая — ни этой вспышки
над козырьком подземки, ни этой, лишь слегка заросшей,
пробоины в бетоне, ни дыма из створа ворот,
поначалу тоненькой стружкой,
ни брызнувших осколков и щебня,
ни трещин, молнией зазмеившихся по стене.
И тишина (может, они все еще там, замерли в шахтах,
может, на крышах все еще дежурят дозорные,
рука на жерле прожектора, все еще теплого?)
у окна, в четвертом этаже, где перед тобой
мечутся вспышки молний как разрывы,
и этот неведомый скрежет металла по мостовой.

ДИКИЕ СТЕПИ ВОСТОКА

Степи Востока, про сок в упаковках и смрад городов
можешь забыть, глядя на мою прокопченную руку,
о, ты, погода моей души. Где-то вдали
в клубах пыли и памяти увидишь хмель,
перемахивающий через плетень. Ты, онемение
моей затекшей руки, ты поразишься,
когда мы встанем там, на краю простора,

* «Отечество мое, мое Поволжье» (нем., гуал.).

** Игра значениями английского слова «funk»: «вонючий», «грубо-материальный», но и «медленный», «блюзово-свингующий» — в музыке.

под тополями. И этот дурманный запах,
пусть не такой, как вчера, но ты удивишься
сколько всего я способен тебе навеять
там, на насыпи, над восточной степью,
ранним вечером, в лучах заката.

РАПС

Пустынный проселок, полдень, ты за рулем,
в приемнике две польские программы попеременно,
а в тебе тишина, и кажется вскоре: ты вырос
вовсе без слов, и вдруг прямо перед тобой —

поле рапса, ясно очерченное, густой посевной работы,
оно наплывает, оно заполняет собою все до краев,
и тебя, до корней волос, и лоб, и глаза, и всю душу;

то, что когда-то станет растительным маслом,
сейчас шелестит пред тобою рапса солнечным морем...

ГРЯДУЩАЯ СИНЕВА

Она черпает из бочки синеву, русскую
краску на заброшенном военном объекте.
За стеной бумага в масляных пятнах,
тавот, пленка, открытки, плакаты —
«Оказание первой помощи»,
инструкции голубоватым шрифтом.
Мы не читаем, мы бродим как в трюме,
по щиколотку в синеве, по машинному залу,
совковой лопатой черпаем синюю краску
и засыпаем в ведро. Воротник дыбом,
небо в проеме расплывчато, здесь, в зоне,
в запретном лесу, небо совсем морское.
Свежие пласты синевы, отслаиваясь, опадают со стен.
Я собираю старые вахтенные журналы,
пока ты за стеной все черпаешь ядовитую краску,
синие руки, фосфоресцирующие башмаки.

СНЕГ

Иль ты про чаек, про наши ботинки на пирсе
ночью в снегу? Триест или Турку,
Турку, Триест — где эти хлопья, фигуры,
наши подошвы, на что наступают они?

Иль ты про этот свет на краю, про глубины и бездны,
про этот взгляд, открытый, как море? Нет того снега,
хотя вокруг только снег, грязное месиво, лед, жвачка, но нет того
снега. Тот снегопад — это все, что я помню,
синий свет на ладонях, прошлого синий сугроб.

XX ВЕК. ДНЕВНИКИ

ГАРРИ ГРАФ КЕСЛЕР

ИЗ «ДНЕВНИКОВ»

Среди видных деятелей немецкой культуры первых десятилетий прошлого века вряд ли хоть один заслуживает определения «гражданин мира» или «космополит» в такой степени, как граф Гарри Кеслер (1868—1937), меценат, издатель, писатель, дипломат, общественный деятель, любитель живописи и балета, коллекционер. Его жизнь и деятельность, связанная прежде всего с Германией, Францией, Англией, его огромная посредническая роль в общественно-культурных событиях той эпохи — увлекательная и во многом еще неизвестная глава новейшей европейской истории.

«Космополит» Гарри Кеслер был далеко не «безродный». Отец, Адольф Вильгельм, преуспевающий финансист и промышленник, чья деятельность охватывала и Старый, и Новый Свет, пользовался покровительством германского кайзера и был возведен в дворянское звание в 1879 году; мать, британская подданная ирландского происхождения, — урожденная баронесса. Графский титул нераздельно соединился и с именем их сына, став после падения монархии частью фамилии: Harry Graf Kessler.

Детство Кеслера, описанное им в мемуарной книге «Лица и времена» (1935), протекало по преимуществу в аристократических пансионах — английских, французских и немецких. Позднее он учился в Боннском и Лейпцигском университетах, слушал лекции по теории права, но также — по философии, филологии, экономике. Увлечение историей искусства побуждает его к путешествиям по Италии, Испании, Франции, Англии. Впрочем, о будущей своей профессии Гарри Кеслер в то время не слишком задумывался: немалое состояние, унаследованное после смерти отца, позволяло ему вести свободный образ жизни. Тем не менее, юный граф, отличаясь немалой любознательностью, жадно впитывал в себя разнообразные знания и пытался найти собственное место в жизни. Более всего ему мечталось стать дипломатом, и впоследствии он не раз — и не без успеха — сумел проявить себя на этом поприще.

Среди современников, которые решающим образом повлияли на юного Кеслера, надлежит в первую очередь назвать Ницше. Подобно многим образованным европейцам, Кеслер пережил в 1890-е годы сильнейшее увлечение его «освободительными» идеями. Он навещал больного философа в его веймарском доме, поддерживал тесные отношения с его сестрой. Преклонение перед Ницше и верность его памяти Кеслер сохранил до конца своей жизни.

Веймар в течение многих лет оставался основным местожительством Кеслера. Сюда он любил возвращаться после долгих странствий по европейским странам, дипломатических миссий, военной службы (в годы Первой мировой войны); здесь он пытался осуществить ряд своих замыслов, связанных с пропагандой «нового искусства». В 1903 году, возглавив «кураториум» Веймарского Художественного музея, Кеслер развивает поистине кипучую деятельность: приглашает в Веймар европейских художников,

устраивает в музее выставки современных, в основном — французских и немецких, мастеров (Макс Клингер, Людвиг фон Хофман, Маркус Бемер, Одилон Редон, символисты, импрессионисты, постимпрессионисты, «набиды» и др.). Отдельным художникам Кеслер посвящает статьи; пишет вступления к выставочным каталогам. Опираясь на собственный безупречный вкус, Кеслер пытался приобщить немцев к новым художественным течениям, уже утвердившимся во Франции. К сожалению, это не всегда получалось: некоторые из его веймарских начинаний (например, выставки произведений Огюста Родена или Поля Гогена) вызвали в Германии всплеск негодования.

На рубеже XIX—XX веков граф Кеслер — фигура, весьма заметная в Западной Европе. Круг его знакомств был чрезвычайно широк. Кто только не посещал Веймар в начале XX века по приглашению Кеслера, с кем только не поддерживал общительный граф тесные, приятельские отношения! Среди друзей Кеслера — Гуго фон Гофмансталь, Андре Жид, Герхарт Гауптман, Рихард Штраус... Что касается европейских художников, достаточно назвать бельгийца Ван де Вельде, одного из создателей европейского югендстиля и главного сподвижника Кеслера в Веймаре 1900-х годов, французского скульптора Аристиды Майоля и норвежца Эдварда Мунка, выполнившего несколько портретов Кеслера.

Выставки в музее продолжались до середины 1906 года: сложные отношения с веймарским двором побуждают Кеслера подать в отставку. Его устремления и замыслы переносятся из области музейной в область книгоиздательскую; желая воплотить в жизнь свои эстетические пристрастия, Кеслер создает частное издательство «Кранах-прессе» (1913), цель которого — выпускать книги высочайшего художественного стиля и уровня. (Свое название издательство получило по имени улицы, на которой жил Кеслер — неподалеку от «Архива Ницше».) В созданной им веймарской типографии Кеслеру удалось осуществить — в содружестве с передовым лейпцигским издательством «Инзель» — целый ряд изящных, во многом новаторских изданий: от античных авторов до Рильке и Валери. «Кранах», естественно, готовил к печати и то, что писал сам Кеслер. (В середине 1930-х годов издательство прекратило свое существование.)

Таковы лишь отдельные аспекты разнообразной и неутомимой деятельности графа Кеслера. Композитор Николай Набоков, племянник знаменитого русского писателя, познакомившийся с ним в начале 1920-х годов, рассказывает в мемуарной книге «Багаж. Мемуары русского космополита»:

«В ту пору вокруг имени графа Гарри Кеслера уже ходили легенды. Он был известен не только как утонченный знаток искусств, меценат, друг Гофманстала, Рихарда Штрауса, Макса Рейнхардта, но и как либерально настроенный политик, занимавший видный пост в Министерстве иностранных дел. Хотя участие его в работе правительства было недолгим, в первые годы существования Веймарской республики он сыграл там важную роль. Я знал, что Кеслер является верным и щедрым другом людей искусства. Значительное состояние, которым он располагал, давало ему возможность поддерживать нуждавшихся, он способствовал многим артистическим карьерам».

Набоков сообщает, что Гарри Кеслер «всерьез» интересовался русской культурой. Действительно: дневник Кеслера обнаруживает не поверхностное знакомство с русской классической литературой и музыкой. Живя в 1920-е годы то в Берлине, то в Париже, Кеслер не раз оказывался в кругу русских эмигрантов. Но всего теснее Кеслер был связан — начиная с первого «сезона» в 1909 году — с Сергеем Дягилевым и его труппой. «Самое замечательное и драгоценное художественное явление нашего времени» — так охарактеризовал он в дневниковой записи от 4 июня 1909 года «Русский балет». Завсегдагатай дягилевских спектаклей, Кеслер общался с Нижинским, Лифарем, Идой Рубинштейн и другими выдающимися артистами. Для «сезона» 1914 года Кеслер сочинил (совместно с Гуго фон Гофмансталем) либретто на библейский сюжет — «Легенда об Иосифе»; музыку к «Легенде» написал Рихард Штраус; декорации выполнил Хосе-Мария Серт, костюмы — Л. С. Бакст. Л. Ф. Мясин (исполнитель роли Иосифа) вспоминает в книге «Моя жизнь в балете» о долгих спорах, которые вели в его присутствии Гофмансталь, Кеслер и Дягилев; последний, по словам Мясина, «был твердо намерен обеспечить балету громкую славу. Он тратил много сил на освещение того факта, что это первый балет Штрауса, и устроил так, что композитор сам дирижировал балетом в день первого представления 14 мая 1914 года».

Дневники Гарри Кеслера — должно быть, главное произведение его жизни — долгое время оставались под спудом. Несколько десятков тетрадей, обтянутых красной кожей, охватывают пятьдесят семь лет его жизни. Первая запись относится к 16 июня 1880 года; последняя сделана 30 сентября 1937 года (за два месяца до смерти). Пятнадцать тысяч страниц, исписанных убористым почерком... Политическая и культурная жизнь За-

падной Европы первых десятилетий XX века представлена в этих тетрадах с исключительной полнотой. При этом Кеслер не просто фиксирует события, встречи, слова — он постоянно комментирует их, анализирует, обобщает. Огромное источниковедческое значение «Дневников» сочетается с обилием рассыпанных по их страницам суждений самого Кеслера — мыслящего, просвещенного, культурного европейца.

Дневник Кеслера дает представление и о других сторонах его личности, казалось бы, трудно совместимых с меценатством и любовью к изящному. Аристократ и бывший прусский офицер, Кеслер приветствовал падение монархии и Веймарскую конституцию 1919 года. Характерно, что Кеслер стремится поддерживать в эти годы «революционных» писателей (Йоганнеса Р. Бехера, Виланда Херцфельде). Пацифист и либерал, «красный граф» (некоторые считали его чуть ли не «спартаковцем»), Кеслер публично призывает к созданию мирного Союза народов (Лиги Наций). Ему близка политика Вальтера Ратенау, в то время — министра иностранных дел, убитого правыми в июне 1922 года (впоследствии Кеслер напишет о нем книгу). Себя же он называет «здоровым демократом». Не случайно осенью 1924 года на выборах в рейхстаг Кеслер балотируется в одном из избирательных округов как кандидат от Немецкой демократической партии (безуспешно). Закономерно, что «здоровый демократ», чуждый любым националистическим доктринам, Кеслер решительно отвернулся и от германского фашизма; весной 1933 года он навсегда расстался с Германией.

Последние годы жизни Гарри граф Кеслер провел в относительно одиночестве. Он умер в лионской клинике 30 ноября 1937 года и погребен в семейной усыпальнице на парижском кладбище Пер-Лашез. Андре Жид — один из тех, кто пришел на похороны — отметил в своем дневнике, что группа друзей и близких, провожавших «гражданина мира» в последний путь, была на удивление малочисленной: «...никого из тех художников и скульпторов, которых Кеслер столь щедро поддерживал в течение всей своей жизни».

Не подлежит сомнению: подлинная известность Кеслера еще впереди. Его легендарная фигура раскроется во всей своей уникальности, когда будет опубликован полностью его многотомный дневник. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В Марбахском Литературном архиве (Германия), где хранится ныне основная часть наследия Кеслера, работает группа специалистов, занятая подготовкой к печати этого выдающегося памятника европейской культуры XX века. Первый том намеченного издания, охватывающий 1892—1897 годы, только что вышел в свет (*Harry Graf Kessler. Das Tagebuch 1880—1937. Hrsg. von Roland S. Kamzelak und Ulrich Ott. Bd. 2. 1892—1897. Hrsg. von Günther Riederer und Jörg Schuster. Stuttgart, 2004*) и получил уже немало откликов в западноевропейской печати.

Публикуемые ниже дневниковые записи заимствованы большей частью из книги, впервые изданной в 1961 году и содержащей лишь отдельные фрагменты «Дневников» (*Harry Graf Kessler. Tagebücher 1918—1937. Hrsg. von W. Pfeiffer-Belli. Frankfurt a. M. — Leipzig, 1996*); запись от 10 марта 1906 года публикуется впервые с любезного разрешения Отдела рукописей Марбахского Литературного архива. Пользуюсь случаем выразить особую благодарность д-ру Йоргу Шустеру за помощь в работе и ряд конкретных сведений.

13 января 1894. Воистину справедливо оценить Ницше может лишь тот, кто воспринимает его произведения в лирическом ключе, то есть как откровения одного из наиболее характерных, а потому и самых обаятельных умов второй половины XIX столетия, как историю души гениального человека, испытывающего редкостные страдания от могучих нравственных коллизий своего времени. Тот, кто пытается разложить по полочкам его догмы или, напротив, увлекается волшебством его языка, всегда будет в нем ошибаться, точнее, подходить к нему с неверным, не соответствующим ему масштабом. Главное в Ницше — не его философия и даже не его поэтическая сила, а человек, который в своих симпатиях и антипатиях, в своих устремлениях и грезах выражает новое мироотношение, олицетворяя собой духовный тип личности, исполненный благородства, но расшатавший свою нервную систему в борьбе с нарастающей демократией.

Веймар, 3 октября 1897. Как и в прошлый раз, он <Ницше> лежал на софе, но бодрствуя и внимательно наблюдая за тем, что происходит. Он сам подал мне руку, когда я протянул свою. У него поразительно длинные и тонкие пальцы; кожа — почти мертвенной белизны. Он долго и пристально разглядывает посетителя; никакого безумия во взгляде, выражающем, скорее, верность и какое-то недопонимание: состояние безрезультатного духовного поиска. Так смотрит порой большой и красивый пес, какой-нибудь сенбернар. Сходство усугубляется густыми, слегка взъерошенными бровями, нависающими над веками глаз. В какой-то момент он вдруг схватился за голову — словно чувствуя боль; так делают обычно, впадая в раздумье. В целом же — впечатление глубоко болезненное, но не ужасающее и не отталкивающее.

Берлин, 10 марта 1906. Вечером — выступление Горького в Немецком театре. Театр полон, среди гостей — юный принц Август Вильгельм в затемненной аванложе. Горький — богатырь. Светлые усы и большая, могучая фигура, облаченная, словно в некую униформу, в темно-синюю русскую рубаху и высокие сапоги с голенищами, напоминают о Петре Великом и немного — о Ницше, с которым его сближают массивные челюстно-черепные кости, изящные очертания обтягивающей их кожи и пронизательный взгляд. Он читает тихим, мягким, несколько монотонным голосом; изображая Луку из пьесы «На дне», он полон лукавства, но когда затем улыбается, выражение его лица становится по-детски чистым, неопытным, невинным. В самом конце, когда начались бурные аплодисменты, он вновь улыбался как ребенок, не умеющий скрыть своей радости. После выступления Рейнгардт устроил для Горького и Андреевой небольшой ужин у Борхардта; приглашены были также Ведекин, Ван де Вельде, Эльза Хаймс и несколько драматургов. Горький говорит и понимает только по-русски; Андреевой приходится для него все переводить. Она держится просто и с достоинством — видно, что из хорошей семьи; красивая, глаза темно-коричневые, кожа — с молочно-белым оттенком, овал лица — изящный, но резко очерченный. Все, что она говорит, неизменно отличается — при всей ее славянской мягкости — остротой и выразительностью. Таковы истории, которые она рассказывала, например, о том, как русский офицер на войне посылает казака убить японского часового, которого им удалось объехать стороной. Возвращаясь обратно, офицер видит, что японец еще жив и отползает прочь. Он спрашивает казака, в чем дело. «Ах, господин лейтенант, — отвечает казак, — только я собрался его убить, как он заговорил по-русски! Не мог же я его убить!» Горький принимает живейшее участие во всем, что она говорит и что ему говорят. При этом кажется, что он самозабвенно погружается в своего собеседника, пронзая его глубоким доброжелательным взглядом. Создается впечатление, что он обладает бесконечным запасом любви, подобно многоопытному врачу, видевшему так много страданий. Тщеславие и актерство здесь, как и у врача, совершенно исключены благодаря силе соучастия. Но когда Горький говорит, он непроизвольно совершает торжественные жесты — не то верховный жрец, не то крестьянин на картине Милле. У него, вообще, высочайшее чувство стиля — настолько, что он способен придавать стиль вещам и событиям вокруг себя. Когда Ведекин обратился к нему с речью и завершил свой тост словом *счастье*, Горький поднялся так мощно, серьезно и торжественно, что никто не проронил ни слова, и бокалы, встретившись в беззвучной тишине, зазвучали словно колокола в пасхальное утро. Казалось, что этот звон благовестит о воскресении России, — то был миг сильнейшего духовного потрясения, которое, исходя от Горького, обретает реальность вокруг него. Самое главное в нем — *сердце*. Он очаровывает силой своего сочувствия. Эта сила в нем так велика, что может увлечь другого на смерть. Меня никогда не охватывало в такой степени чувство сверхчеловека. Он бесконечно выше, чем его произведения. Да, это человек, который и своим существованием, и тем впечатлением, которое он произвел на меня, позволил мне увидеть все этические

ценности в новом свете. Глядя на него, понимаешь, что человек, то есть выдающийся человек, куда больше всего, что он пытается из себя изобразить; даже больше, чем искусство. Конечной целью должен быть все-таки великий, сильный человек, а не великий шедевр. *Великий* человек превосходит *l'Art pour l'Art**. Горький и сам весьма пренебрежительно говорит о своих произведениях: мол, до сих пор он не написал *ни одной* хорошей пьесы. Нам, немцам, у которых был Ницше, не следует якобы говорить о Горьком. Он ожидает в будущем величайших достижений от русского народа, русского искусства и русской культуры. Все, что он делает, устремлено, по его словам, к этому *будущему*. Мне следовало бы, он полагает, узнать, что такое русский *народ*. Говорит, что как раз теперь пишет «Письма о русском народе» и возлагает на них большие надежды. Если ему удастся утвердить в Германии мнение о том, что русский народ призван к великим свершениям в искусстве, — его миссия будет выполнена. Тост, им произнесенный, гласил (в переводе Андреевой): «За искусство, которое есть сердце мира».

Париж, 27 мая 1912. <...> Сначала — прелюдия из «Дафниса и Хлои» Равеля, затем — «Послеполуденный отдых фавна» с Нижинским: архаически стилизованные движения, сопровождаемые музыкой Дебюсси. Нижинский так ярко умеет передать своим юным телом полужвериное, полусентиментальное сладострастие, что это производит чуть ли не трагическое впечатление; взгляд то испуганно, то восхищенно проникает в чувственные истоки трагедии. Во всяком случае, мощное искусство Нижинского подавляет нежную усложненную музыку Дебюсси, а безвкусные декорации Бакста — просто мешают. Но, вопреки этой дисгармонии, остается впечатление воскресшего античного язычества: словно грек эпохи тиранов изображает дионисийского фавна, после того как он в более завуалированной форме уже показал нам в «Видении Розы» античный эрос. Роден вышел на сцену и представился Нижинскому.

Берлин, 18 января 1919. Суббота. Сегодня во второй половине дня меня посетил Виланд Херцфельде. Совершенно открыто заявляет, что он — коммунист и сторонник союза «Спартак». И вовсе не по сентиментальным или нравственным мотивам, как Либкнехт, а потому, что коммунизм, по его словам, эффективнее в экономическом отношении, нежели наша нынешняя модель производства, и при обнищании Европы окажется более действенным. Считает, что и террор необходим, ибо человеческая натура несовершенна, а потому без принуждения не обойтись. Впрочем, не обязательно прибегать к кровавому террору; формой террора видится ему бойкот. Сказал, что восстание спартаковцев совсем не готовилось и было дилетантски организовано. Разговоры о русской «руке» и русских деньгах — вздор. Восстание началось вопреки желанию и ожиданию вождей «Спартака».

Я обсудил с Херцфельде вопрос о создании нового литературно-художественного, частью политического журнала, который мог бы занять место «*Aktion*» Пфемферта — нерегулярного, дешевого (не более пятидесяти пфеннигов за выпуск) издания, соответствующего типографско-издательским представлениям Херцфельде и предназначенного в первую очередь для продажи на улице. На мой вопрос, кто из молодых писателей и художников придерживается спартаковско-большевистских взглядов, Херцфельде ответил: Дойблер, Гросс, он сам и много других, весь круг издательства «Малик». Они поддержали бы новый журнал своим участием.

Веймар, 13 мая 1920. День Вознесения. Вечером навестил госпожу Фёрстер-Ницше. Создана премия за работы на тему «Индивидуализм и социализм».

* Искусство для Искусства (фр.).

Госпожа Фёрстер подчеркивает, что она — «националистка». А ведь ее брат не хотел, чтобы его даже считали немцем! Лучше — поляком! Старые графини и всякие высочества совсем вскружили ей голову.

Амстердам, 15 февраля 1921. Вторник. С утра вместе с Эйнштейном в Музее. Сперва разочарован, потом поражен «Ночным дозором»; от волнения не мог говорить. Эта близость сказки и чуда в повседневном — такое бывает только у Достоевского.

Берлин, 28 марта 1922. Вторник. Вечером сидел на Курфюрстендамм в старорежимном русском кабаке «Ванька-встанька». В высшей степени современная обстановка и такое же представление: облагороженные, в стиле кабаке, сетования о гибели старой Руси, контрастирующие с неколебимой верой в будущее России. Приторность и легковесность способны придать любому националистическому пафосу человеческого оттенок!

В самый разгар вечера — ужасающая новость: Милюков и Владимир Набоков убиты в Филармонии во время выступления Милюкова. Этот слух, подобно огромной волне, выплеснул из кабаке на улицу большую часть русских посетителей.

Через несколько минут мы остались совсем одни в помещении, еще недавно переполненном. Лишь за соседним столиком сидело трое элегантных русских (один из русских великих князей поет здесь в хоре). Когда я спросил одного из них, насколько справедлив этот слух, он ответил: «Да, правда, Милюкова убили! Жаль, что этого негодяя не прикончили еще раньше. Жаль Набокова. А Милюков — предатель; он вместе с Керенским предал царя, давно пора было его прикончить. Как ужасно, что пятнадцать тысяч русских офицеров позволили, как бараны, уничтожить себя во время революции; даже не защищались! Почему не вели себя, как, например, немцы, убившие Розу Люксембург, так что от нее и следа не осталось?» При этом он улыбался с таким самодовольством, что нельзя было не почувствовать: сам-то он не способен на убийство. Лишь подогретый музыкой кабаке и затаенной обидой, его страх перерастал в неприязнь к другим. Tableau!*

С другой стороны, не ослабевает творческая сила русской культуры и русского искусства. Да будет позволительно воспользоваться аморальной формулировкой: убивать имеет право лишь тот, кто способен созидать; лишь тот, кто настолько убежден в неповторимости женщины или идеи, что только в ней видит будущее. Убийство и созидание *дополняют* друг друга: только тот, кто способен убить во имя своего чувственного или духовного кредо, имеет право на созидание. У моего старорежимного русского соседа отсутствуют оба эти момента. Оттого и проистекает, конечно, посредственность современного мира, что у нас нет воли ни к созиданию, ни к убийству! Поэтому все покрывается какой-то гнилью и плесенью разного рода компромиссов и промежуточных состояний.

Завтра вечером я должен был вместе с Милюковыми идти к Георгу Бернхарду на обычный ужин; и вот сегодня один из гостей убит.

Мы живем в эпоху, сходную с эллинистической или эпохой римских гражданских войн, когда политическое убийство уже *ничего не значит*. Для того чтобы политическое убийство действовало подобно сигналу, имело силу политического озарения, необходим нравственный, сугубо моральный фон. В аморальные времена оно столь же бессмысленно в политическом плане, как и любая естественная форма смерти.

Берлин, 2 августа 1922. Среда. Отправился вечером — вместе с Максом Гёртцем и Гузеком — на премьеру московской «Студии» в театре «Аполлон».

* Картина! (фр.)

Инсценировка диккенсовского «Сверчка на печи». Невероятно живая и правдоподобная игра, хотя и сильно стилизованная. Но все кукольное, что так мешает у наших экспрессионистов, здесь полностью преодолено. Впечатление абсолютной естественности. Поразительны также маски, лица — подлинны произведения живописи и лепки, хотя пантомима не скрыта. Актер Чехов в роли Калеба — незабываемая фигура.

Кельн — Гаага, 7 декабря 1922. Четверг. Читал в дороге посмертно изданные произведения Толстого. «Фальшивый купон». Грандиозный замысел. Весь русский мир, развертывающийся из одной мелкой подлости. Можно было бы сопоставить с «Карамазовыми». Возможно, замысел оказался слишком могучим для того, чтобы его когда-либо можно было осуществить. Во всей этой истории о том, как незначительная гимназическая подлость, подобно отравленной опаре, пронизывает весь этот мир от нищего до царя, — такая полнота фантазии и такая сила, что прямо удивительно. Примечательно, что три великие попытки отобразить русский мир, «Мертвые души» Гоголя, «Карамазовы» Достоевского и «Фальшивый купон» Толстого, — все они остались незавершенными. У нас в немецкой литературе, за исключением, может быть, «Вильгельма Мейстера», так и не было подобной попытки. Во Франции — Бальзак, который, возможно, и подтолкнул трех великих русских писателей к их начинаниям. У Толстого в «Купоне»: предметом изображения становится мир, понятый как *этическая* взаимозависимость.

Берлин, 28 декабря 1925. Понедельник. Вечером вместе с Максом на русском балете. Потом — ужин у Фёрстера: Дягилев, Лифарь, Нувель, Борис Кохно и мы с Максом. Буланже играла на рояле. Дягилев рассказал жуткую историю про одного испанского танцора. Однажды ему показалось, что он нашел нового Нижинского, молодого испанца по имени Гарсия. Уже в Барселоне, где Дягилев навещал его, старуха, у которой жил испанец, называла его «el loco» («сумасшедший»). Не придав этому значения, Дягилев взял его с собой в Лондон (в 1916 году, во время войны). Однажды Гарсия вышел из дому и, увидев красный фонарь, горевший перед церковью св. Мартина на Трафальгарской площади, спросил у старухи-нищенки перед входом в храм, не бордель ли это. Затем он якобы отдал ей все свои деньги и сказал: «А все-таки забавно, что в Лондоне сам господь бог живет в борделе». Потом он пытался проникнуть в «бордель» и в конце концов взломал дверь. Вечером, когда он не явился на спектакль, Дягилев бросился его искать и, полагая, что случилось несчастье, сообщил в полицию. Поздней ночью полиция обнаружила его в церкви, обнаженного, перед алтарем; он совсем помешался. Его доставили в сумасшедший дом, где он, говорят, вскоре и умер.

Веймар, 11 февраля 1926. Четверг. Вечером — у госпожи Фёрстер-Ницше. Она выпалила мне прямо в лицо: известно ли мне о ее новом великом друге — Муссолини? Я ответил, что да, слышал, конечно, и сожалею об этом, ибо Муссолини компрометирует ее брата. Муссолини — большая опасность для Европы, той самой Европы, какой ее желал видеть Ницше: Европы хороших европейцев. Бедная старая дама была прямо-таки «agitated»*, однако свернула на другую тему, и дальнейший разговор протекал мирно. Скоро ей исполнится восемьдесят, и это весьма заметно.

Париж, 27 мая 1926. Четверг. Русский балет. «Ромео и Джульетта». Лифарь и Никитина — любовная пара; их движения очень красивы. Слабая музыка какого-то английского композитора. В антракте Мися Серт знакомит меня с Пикассо и его женой.

* Вволнована (англ.).

Париж, 6 июня 1926. Воскресенье. Елена отправилась в Медон к Жаку Маритену, желающему непременно с ней познакомиться. <...> Я поехал домой, забрал Вильму на воскресный прием к мадам Клемансо. <...> Пенлеве назначил мне там свидание, но я не мог ждать, потому что обещал навестить Набокова. Я нашел его в жалком пансионе на задворках Пантеона, Эстрапад, 6; грязная вонючая лестница, крошечная комнатка, в ней — рояль, неубранный диван, на котором он, очевидно, спит, стул и несколько фотографий на стенах. Впечатление ужасающей нищеты, которую трудно себе представить по его холеному виду и манерам гран-сеньора, — так он держит себя, появляясь в свете. Он принял меня, однако, без малейшего смущения, словно гостя в собственном замке. А потом исполнил кантату, сочинённую им на стихи Ломоносова, и глубоко потряс меня: контраст между гениальным произведением и нищенской обстановкой был поразителен; нечто подобное я видел однажды в Берлине у Мунка.

Потом мы с ним разговаривали, причем Набоков вновь высказал свое презрение ко всей французской музыке, а в дальнейшем обрушился на ориентализм, этнографические и народно-песенные элементы (*l'exotisme dans la musique**) и даже на джаз. «*Si vous me demandez pourquoi je déteste l'exotisme en musique, je vous répondrai: parce que j'aime Bach*»**. Эта ненависть распространяется и на русскую музыку в той степени, в какой она этнографична: Римский-Корсаков и т. д. Одному лишь Бородину удалось, по его словам, немного воспарить над этим ориентализмом в область чистой музыки. Сказал, что хочет непременно познакомиться с Маритеном, который сейчас — самая интересная личность во Франции.

Видимо, Набоков тоже глубоко затронут «томизмом». С видимым удовольствием цитировал довольно глупую фразу Стравинского: «*D'un côté il y a Luther, le Protestantisme, Kant et cette vieille vache de Sand*** (произносит это слово как немецкое Sand****), de l'autre, le Catholicisme et le bon vin*».***** Несмотря на свой незрелый и чрезмерный католический радикализм, Набоков все же производит впечатление воистину гениального молодого дарования.

Париж, 15 сентября 1927. Четверг. Погибла несчастная Айседора Дункан, задушенная вчера собственной шалью, которая запуталась в заднем колесе автомобиля. Трагическая роковая смерть: шаль — столь важная составная часть в ее искусстве танца — унесла ее жизнь. Ее реквизит и раб отомстил ей. Редко случается, чтобы какую-либо артистку так подстерегали несчастья и чтобы собственная ее судьба завершилась столь трагическим образом: оба ее маленьких ребенка погибли в автокатастрофе, ее муж, Есенин, покончил с собой, а с ней самой расправился, как будто из мести, ее собственный реквизит.

Накануне того дня, как погибли ее дети, я был на Русском балете и зашел к ней в ложу. Она приглашала меня позавтракать с ней на другое утро в Нёйи, но мне пришлось отказаться — я уже договорился о встрече с Германом Кайзерлингом, сидевшим в зале. После завтрака детишки должны были исполнить передо мной танцы. Меня до сих пор не покидает чувство, что дети, согласись я тогда позавтракать вместе с ней, могли бы остаться в живых.

Бедная Айседора! Я не слишком ценил ее; когда она начинала, я находил в ней неуклюжесть, дилетантство, мещанское воспитание. Крэг помог ей понять это. Позднее, пригласив меня однажды в Нёйи, она исполнила передо мной несколько танцев и, когда я стал искренне восхищаться, сказала на своем аме-

* Экзотическое в музыке (*фр.*).

** Если вы меня спросите, почему я ненавижу экзотическое в музыке, я отвечу: потому что люблю Баха (*фр.*).

*** С одной стороны, есть Лютер, протестантизм, Кант и эта старая корова <Жорж> Санд (*фр.*).

**** Песок (*нем.*).

***** С другой — католицизм и доброе вино (*фр.*).

риканско-французском (в котором угадывалось формальное сходство с ее калифорнийским представлением о греческом искусстве): «*Oui, quand vous m'avez vue (у нее получалось vous) avant j'étais vertueuse (у нее — vörtouöse), je ne savais pas danser: mais maintenant!..*»*

В Париже она явилась однажды на журфикс к госпоже Мечниковой, жене знаменитого ученого. Старик Мечников сидел в окружении дам такого же возраста, как и он сам. Госпожа Мечникова не знала Айседору в лицо и, когда в салоне объявили о ее прибытии, вышла к ней навстречу с вопросом: «*Que puis-je faire pour vous, Mademoiselle?*»** На что Айседора выпалила, точно из пистолета: «*Je voulais vous demander, Madame, si vous permettriez que Monsieur Metschnikow me fasse un enfant?*»*** Картина. Госпожа Мечникова в обмороке, вокруг нее хлопочут старые дамы. Наконец госпожа Мечникова пришла в чувство и спрашивает, еще в полубморочном состоянии: «*Mais pourquoi, Mademoiselle: connaissez-vous le Professeur Metschnikow?*»**** — «*Oh, non, Madame! Mais je pensais que si le Professeur Metschnikow me faisait un enfant, celui-ci aurait la tête du Professeur et les jambes de moi, et que ce serait très bien.*»*****

Когда-то, еще в самом начале ее карьеры, я встретил ее в Берлине у Луизы Бегас. На улице был снег с оттепелью. Мы столкнулись в передней: я уже уходил, когда она пришла. Кажется, я видел ее тогда впервые. На ней было просторное лиловое пальто, спадавшее, наподобие рясы, с плеч до самого пола, а под ним — босые ноги, правда, обутые в галоши. В передней она сняла их и вошла босиком (тогда это было внове) в гостиную.

Позднее ей покровительствовала графиня Гаррах, самая красивая женщина при дворе и подруга крайне чопорной императрицы, которая вызвала к себе старуху Шпитцемберг и спросила, приличествует ли дамам ходить босиком. Шпитцемберг, рассказавшая мне об этом на другой день, успокоила ее, и тогда был создан своего рода христианский женский союз в поддержку Айседоры, и он процветал до тех пор, пока однажды не стало очевидно, что весталка в скором времени ожидает ребенка. Союз развалился с треском и грохотом, Айседоре же пришлось покинуть Берлин.

Бедная Айседора! Ей так и не удалось освободиться от какой-то мещанской назидательности, сколько ни старалась она путем свободной любви и выбора отцов для своих детей преодолеть в своем искусстве ограниченность американского пуританизма. И все же она была артисткой: искусство и трагизм столь же неумолимо сплелись с ее общественной судьбой, как и ее калифорнийская косность. Танец, насколько мы считаем его сегодня большим искусством, да и русский балет были бы без нее невозможны. То, что ею посеяно, дало всходы. Ее смерть могла бы служить упреком гольбейновскому «Танцу мертвых».

Париж, 27 декабря 1928. Четверг. Вечером — дягилевский балет в «Опере»: «Соловей» и «Петрушка» Стравинского. Потом, в коридоре за кулисами, где я ждал Дягилева, он подошел ко мне с каким-то невысоким худощавым юношей в изношенном пальто и говорит: «Вы не знакомы?» — «Нет, — отвечаю, — совершенно не могу вспомнить». Дягилев: «Да ведь это Нижинский!» Нижинский! Меня словно громом ударило. Его лицо, так часто сиявшее как лицо бога, незабываемое переживание для многих тысяч, было серое, пустое и дряблое; лишь на миг оно озарилось понимающей улыбкой, будто короткой вспышкой

* Да, вы видели меня до того, как я овладела техникой, я тогда не умела танцевать: но сейчас!.. (фр.)

** Чем могу служить, мадемуазель? (фр.)

*** Я хотела спросить, мадам, не позволите ли, чтобы господин Мечников сделал мне ребенка? (фр.)

**** В чем дело, мадемуазель: разве вы знакомы с господином Мечниковым? (фр.)

***** Совсе нет, мадам! Но я подумала: если бы профессор Мечников сделал мне ребенка и оказалось бы, что у него голова профессора и мои ноги, — вот было бы здорово! (фр.)

гаснущего пламени. Ни слова не сорвалось с его уст. Дягилев взял его под руку; желая помочь ему спуститься по лестнице с третьего этажа, он попросил меня взять его под другую руку. Ибо Нижинский, который раньше, казалось, мог прыжком перелетать через дома, делал шаг со ступеньки на ступеньку неуверенно, боязливо, ощупью. Я обхватил его, сжал его тонкие пальцы, пытался подбодрить его дружескими словами; не понимая, но очень расстроганно, он смотрел на меня большими глазами, как больное животное.

Медленно, с огромным трудом спустились мы втроем по лестнице; он ступал тяжело, опираясь на нас обоих. Мы подвели его к машине, в которую его буквально втащили; он уселся, не говоря ни слова, между двумя дамами, которые о нем, по-видимому, заботятся, и уехал. Сознал ли он, что видел сегодня Петрушку, свою коронную роль, — непонятно. Правда, Дягилев сказал, что Нижинский, подобно ребенку, ни за что не хотел покидать театр. Прощаясь, Дягилев поцеловал его в лоб. Потом я отправился вместе с Дягилевым в Кафе де ла Пэ, где мы допоздна сидели с Карсавиной, Мисей Серт, Крэгом и Альфредом Савуаром. Но мне было не по себе — я не мог избавиться от впечатления, произведенного этой встречей с Нижинским.

Догорающий человек... Непостижимо! Должно быть, еще непостижимей и трагичней, чем догорающая привязанность или страсть одного человека к другому, — еще одна робкая мимолетная вспышка, озаряющая обреченный труп.

Париж, 9 января 1932. Суббота. В поисках материала для моей драмы о Каляеве отправился с Шифриным в русскую читальню на углу улиц Валь де Грас и Николь (Тургеневская библиотека). Там, в переполненном читальном зале, Шифрин обратил мое внимание на невысокого пожилого господина с седой бородкой, который быстро вошел в зал и исчез в задних комнатах. Это был Бурцев, знаменитый социалист и революционер, ставший чуть ли не мифической фигурой, разоблачитель Азефа. Я настоял на том, чтобы меня немедленно познакомили с ним.

Шифрин поговорил с одной из сотрудниц, и тотчас же появился Бурцев, стоя в дверном проеме и как-то боязливо оглядываясь по сторонам; он согласился со мной познакомиться. Он дал мне несколько ценных советов насчет того, где и как я могу найти материал, рекомендовал русский книжный магазин Родштейна (рю Кюжас) и, заглянув еще в какие-то каталоги и сообщив мне названия книг, снова исчез. На вид он меньше всего напоминает великого революционера со столь славной биографией. Его можно принять за мелкого, аккуратного в мелочах чиновника, этакого *rond de cuir**.

Париж, 10 января 1932. Воскресенье. По совету госпожи Родштейн, которая также принадлежит к социалистам-революционерам, встретился с Бурцевым в его излюбленном Кафе Мон Сен-Мишель. Он и в самом деле сидел там с каким-то другим русским, носившим круглый офицерский значок Почетного легиона. Войдя вместе с Шифриным, я поздоровался с Бурцевым; тот немедленно простился со своим русским знакомым и предложил нам сесть. Я разъяснил ему, о чем идет речь, и спросил, не согласится ли он записать для меня свои воспоминания о Каляеве (разумеется, за приличное вознаграждение). Он поспешно (как мне показалось) ухватился за мое предложение и сказал, что может снабдить меня самыми точными сведениями о суде особого присутствия Сената (и кажется, открытом), речах защитников, беседе Каляева с великой княгиней, вдовой Сергея Александровича, и т. д. Мы условились встретиться на другое утро в двенадцать снова в том же кафе.

Веймар, 7 августа 1932. Пятница. Вечером — визит к госпоже Фёрстер-Ницше. Архив Ницше оказался, как она сама говорит, «в гуще политики». Ру-

* Канцелярская крыса (фр.).

ководителем Архива назначен Эмге, профессор теории права, нацист, которому прочат даже портфель министра в тюрингском правительстве. Все в архиве, от служебного персонала до управителя, — нацисты. Лишь она осталась, по ее выражению, немецкой националисткой.

Рассказывала о визите Гитлера, который посетил ее после премьеры пьесы Муссолини в Национальном театре. В тот момент у нее как раз сидели итальянские корреспонденты. Он велел доложить о себе и появился с гигантским букетом и в сопровождении своего штаба. У него завязалась с итальянцами живая политическая беседа, в ходе которой Гитлер неосторожно, на ее взгляд, высказался насчет Австрии и аншлюса. Он подчеркнул, что не желает аншлюса, поскольку Вена не чисто немецкий город. Ей показалось неправильным, что он говорит такие вещи иностранцам. Среди других в его свите был также и Шульце-Наумбург.

Я спросил, какое впечатление произвел на нее Гитлер в человеческом плане. Почувствовала ли она в нем масштаб? Она сказала: «Мне запомнились в первую очередь его глаза — они очаровывают и насквозь пронизывают собеседника». Но он произвел на нее впечатление, скорее, религиозного человека, нежели крупного политика. У нее не сложилось мнения, что он — большой политик.

Винифред Вагнер, которая вместе с итальянским послом Орсини-Барони посетила ее во время празднования юбилея Гете, тоже якобы близка к нацистам. Короче говоря, весь этот интеллектуальный слой Германии, корни которого уходят всего более в гетевский романтический период, глубоко заражен нацизмом и сам не ведает почему. Архив Ницше имеет от своей близости к нацизму по меньшей мере материальную выгоду: в конце прошлого года, сообщила госпожа Фёрстер-Ницше, Муссолини перевел ей двадцать тысяч лир. В ближайший четверг к ней на чай пожалует «императрица» Гермина; это будет, по ее словам, «поэтический чай». Свои стихи прочтет Бёррис Мюнхгаузен, а Вальтер Блём почтит собрание своим присутствием. Хочется плакать, когда видишь, где оказались Ницше и его «Архив»!

И еще одно: почести, что оказывают этой старой, восьмидесятишестилетней женщине и самый влиятельный человек в Германии, и жена бывшего кайзера. Последнее кажется почти гротеском, если вспомнить об отношении Его Величества к Ницше перед войной! Вдобавок, как рассказывает госпожа Фёрстер-Ницше, офицеры рейхсвера из дивизионного штаба, после того как их гарнизон перевели в Веймар, явились к ней представляться. А как было в дни моей юности в Потсдаме, когда я с Бернгардом Штольбергом читал в своем кругу Ницше? Отец Штольберга забрал его из Потсдама и отдал на шесть месяцев под надзор священника. Тогда Ницше считался революционером и был почти такой же, как социалисты, — без роду и племени.

Наш разговор, протекавший в маленькой уютной комнатке на втором этаже, в то время как через открытую дверь была видна стоящая в углу софа, на которой я в последний раз видел Ницше, сидевшего на ней подобно больному орлу, произвел на меня глубокое впечатление. Таинственная, непостижимая Германия!

Париж, 30 октября 1936. Пятница. О моей книге появились статьи: Жана Шлюмберже в «Нуэль литерэр» и Габриэля Марсея в «Жур». Завтракал у мадам Риссельберг с Андре Жидом и Жаном Шлюмберже. Кажется, Жид вернулся из России весьма разочарованным. Возмущен «процессом шестнадцати». Говорит, что духовная свобода в России, на его взгляд, еще более угнетена, чем в гитлеровской Германии; подавление духовной свободы в этой стране для него невыносимо. Опасается нового процесса, который будет проходить столь же возмутительно, как и первый, и в который будут вовлечены Радек, Бухарин и др. Говорит, что процесс очень повредил репутации Сталина в массах. Чтобы укрепить свою популярность, он будет теперь без оглядки поддерживать испанское правительство оружием и техническим оборудованием, и

ничто его не сможет остановить. *Il ira jusqu'au bout**. Лучшие советские летчики уже якобы в Испании.

Впрочем, с точки зрения Жида, советская авиация во многом превосходит немецкую. Немецкие военные самолеты способны летать лишь двести километров в час, русские — четыреста километров. Начавшееся позавчера наступление мадридских отрядов против повстанцев уже происходит, кажется, не без поддержки русской техники и русских истребителей. Я спросил, что случится, если одно из русских судов в Средиземном море будет торпедировано. Жид ответил: «Война». Я сказал, что Франция, по-моему, вряд ли поспешит на помощь России, ибо во Франции невозможно провести с этой целью мобилизацию. Что же тогда? «Гражданская война», — сказал Жид. Явно верит в возможность войны, и даже гражданской. <...>

Я спросил Жида, когда появятся его путевые впечатления о России. В ближайшие дни, ответил он и добавил, что многие его друзья пытались отговорить его от этого шага, советуя ему не выпускать книгу (наверное, его друзья-коммунисты, которым стало известно, что эта книга содержит недоброжелательные высказывания о сталинской России). В подтверждение того, насколько оживилась в России буржуазная реакция, Жид привел пример: в России опять отливают колокола. В стране складывается иерархический общественный порядок, с новой аристократией, буржуазией и т. д. Вот почему Сталин, желая что-то дать массам, вынужден быть тем более непримиримым в испанском вопросе. Впрочем, эта испанская затея, полагает Жид, — настоящий троцкизм (мировая революция).

В ближайшее время Жид отправится в Барселону и, возможно, в Мадрид. Очень восхищался Кафкой, особенно «Процессом». И еще — «Мелким бесом» Сологуба.

Париж, 16 января 1937. Суббота. Завтракал сегодня в Кафе де ла Пэ и случайно встретил Гордона Крэга. Он совсем поседел, но его могучая седая грива вполне подходит к его большой красивой голове. Подсев ко мне, рассказал, что был недавно в Москве, а кроме того, имел двадцатиминутный частный разговор с Муссолини. Последний поразил его пустым и глупым выражением лица: «Quite the Italian waiter! What can I do for you, Sir?»** Крэг, по его словам, никогда не видел лучшей труппы и режиссуры, чем Еврейский государственный театр в Москве. «Король Лир» — грандиозный, потрясающий спектакль. Крэг собирается пригласить их в Европу.

Список упомянутых имен

Широко известные имена в данный список не включены.

Август Вильгельм (1882—1949) — прусский принц.

Андреева (урожд. *Юрковская*; в первом браке — *Желябужская*) Мария Федоровна (1868—1953) — артистка Московского Художественного театра. Член РСДРП (с 1904 г.). После 1917 г. — на административно-партийной работе. Гражданская жена М. Горького (с 1903 г.).

Бегас (*Бегас-Пармантье*) Луиза фон (1850—1920) — художница, жена немецкого живописца Альберта Бегаса; в ее берлинском салоне собирались на рубеже XIX—XX вв. известные писатели, музыканты, актеры.

Бернхард Георг (1875—1944) — известный берлинский публицист и журналист, в 1920—1930 гг. — главный редактор газеты «Фоссише цайтунг». В 1933 г. эмигрировал во Францию; в 1941 г. — в США.

Блём Вальтер (1868—1951) — немецкий романист, весьма популярный в 1930-е гг.

Брион де Мишель-Дю Рок (урожд. графиня *Кеслер*) Вильгельмина (Вильма) — маркиза (1877—1963), сестра Гарри Кеслера.

* Он пойдет до конца (фр.).

** Прямо-таки итальянский официант. Что прикажете, господин? (англ.)

Буланже Надя (1887—1979) — французская пианистка, дирижер, композитор, педагог. Из известной семьи французских музыкантов.

Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — общественный и политический деятель, публицист. С 1906 г. занимался разоблачением провокаторов в русском революционном движении (раскрыл, среди прочих, Е. Ф. Азефа). В 1885 г. был арестован, бежал из ссылки, эмигрировал; в 1905 г. вернулся в Россию, в 1907 г. снова эмигрировал. После 1917 г. выступал против большевиков; был арестован, затем освобожден; бежал за границу. В 1920—1930-е гг. жил в Париже, пытаясь вести борьбу с советской агентурой в среде русских эмигрантов.

Вагнер (урожд. Клингворт) Винифред (1897—1980) — невестка Рихарда Вагнера, жена его сына Зигфрида. Руководила ежегодными Байрейтскими фестивалями. Близкий друг Гитлера, который был частым гостем в байрейтском доме Вагнеров.

Ван де Вельде (Вандевельде) Генри (1863—1957) — бельгийский архитектор и живописец; в 1900-е гг. жил в Веймаре и был связан с Кеслером дружескими и творческими отношениями (в частности, оформил интерьеры его веймарской и берлинской квартир, квартиру его сестры в Париже и др.).

Ведекинг Франк (1864—1918) — немецкий прозаик и драматург.

Вильма — см. Брион.

Гаррах (урожд. графиня Пурталес) Елена фон, графиня (1849—1940) — жена немецкого художника графа Фердинанда фон Гарраха (1832—1915).

Гарсия Феликс Фернандес — испанский танцовщик, приглашенный Дягилевым в «Русский балет».

Гермина (урожд. принцесса фон Ройс цу Грейц, по первому браку — Шёнйих-Каролат; 1887—1947) — вторая жена Вильгельма II, последнего германского кайзера, женившегося на ней в 1922 г. в Нидерландах, куда он эмигрировал после своего отречения в 1918 г.

Гёртц Макс (1899—1975) — поэт; сотрудник Кеслера по издательству «Кранах-прессе».

Гросс Георг (1893—1959) — живописец и график, один из ярчайших представителей немецкого экспрессионизма.

Гузек Фритц (1901—?) — личный секретарь Кеслера в 1918—1932 гг.

Дойблер Теодор (1876—1934) — немецкий поэт, романист, эссеист.

Елена — см. Ностиц.

Кайзерлинг Герман фон, граф (1880—1946) — немецкий философ, основатель «Школы мудрости» в Дармштадте.

Карсавина Тамара Платоновна (1885—1978) — балерина. С 1909 по 1929 г. — в труппе Дягилева (с перерывами). Оставила сцену в 1931 г. Умерла в Лондоне.

Клемансо (урожд. Цукеркандль) Берта — невестка Жоржа Клемансо, известного политического деятеля Франции.

Кохно Борис Евгеньевич (1904—1990) — деятель балетного театра, балетный критик, автор балетных сценариев. В 1922—1929 гг. — секретарь Дягилева; после его смерти сотрудничал с Баланчиным, затем, до 1937 г., — с «Русским балетом» Монте-Карло. Умер в Париже.

Крэг (Крэгг) Эдвард Гордон (1872—1966) — английский режиссер и теоретик театра. В 1935 г. посетил СССР.

Лифарь Сергей Михайлович (1905—1986) — танцовщик, хореограф, педагог. В 1923—1929 гг. — ведущий артист «Русского балета»; в 1929 г. возглавил балет Парижской Оперы, где в течение 30 лет был премьером и балетмейстером. Автор книг о балете и мемуаров. Умер в Лозанне.

Маритен Жак (1882—1973) — французский религиозный философ, видный представитель неотолизма.

Марсель Габриэль Оноре (1889—1973) — французский философ, драматург и критик; основоположник «католического экзистенциализма».

Мечникова (урожд. Белокопытова) Ольга Николаевна (1858—1944) — жена И. И. Мечникова.

Милоков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк, публицист, лидер кадетской партии, министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В эмиграции с 1918 г.

Мюнхаузен Бёррис фон, барон (1874—1945) — немецкий поэт, автор баллад и песен, прославляющих средневековое рыцарство, благородные «идеалы» и т. п. В 1934 г. подписал, наряду со многими другими немецкими писателями, «присягу на верность Гитлеру». Кончил жизнь самоубийством.

Орсини-Барони Лука — итальянский посол в Германии в 1920-х гг.

Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922) — юрист, публицист, один из лидеров кадетской партии, член Первой Государственной думы, управляющий делами Временного правительства. Отец писателя В. В. Набокова. Погиб 28 марта 1922 г. в Берлине от пули русского монархиста, заслонив собою П. Н. Милюкова.

Набоков Николай Дмитриевич (1903—1978) — композитор, музыковед, педагог. Двоюродный брат писателя В. В. Набокова. С 1923 г. — в Париже. Писал музыку для «Русского балета». В 1933 г. переехал в США. Автор книги о Стравинском (1964), книги «Багаж. Мемуары русского космополита» (1975; русск. изд. — 2003) и др.

Нижинский Вацлав Фомич (1889—1950) — танцовщик, балетмейстер. В 1909—1913 гг. — в дягилевской антрепризе. Последние выступления на сцене — в 1917 г. В последние десятилетия жизни страдал психическим расстройством.

Никитина Алисия (1909—1983) — артистка балета, педагог; певица. В 1919 г. выехала с семьей за границу. Вступив в «Русский балет» Дягилева (1923), стала первой партнершей Лифаря. В 1940-х гг., оставив балет, училась пению в Милане и Риме и начала новую карьеру в итальянских театрах как колоратурное сопрано.

Ностиц (Ностиц-Вальвитц; урожд. фон Бенекендорф и фон Гинденбург) Елена фон (1878—1944) — жена дипломата Альфреда фон Ностиц-Вальвитца; близкая приятельница Кеслера, Гофмансталия, Рильке и др.

Нувель Вальтер Федорович (1871—1949) — музыкант; сотрудник журнала «Мир искусства». После 1917 г. — в эмиграции. Близкий приятель и сотрудник Дягилева.

Пенлеве Поль (1863—1933) — французский политический деятель. По образованию — математик. Неоднократно занимал министерские посты. В 1917—1919 и 1925—1929 гг. — военный министр.

Пфемферт Франц (1879—1954) — немецкий литератор, журналист, издатель. В 1911—1932 гг. издавал журнал «Die Aktion» («Действие»), поддерживавший левые и революционные устремления в немецкой литературе и немецком искусстве. Горячий сторонник Октябрьской революции, Пфемферт стал впоследствии убежденным противником коммунизма. В 1933 г. покинул Германию. Жил в Париже, Лиссабоне, Нью-Йорке; в 1941 г. обосновался в Мексике, где и умер.

Рейнгардт Макс (наст. фамилия — *Гольдман*; 1873—1943) — режиссер, педагог, театральная деятель.

Риссельбергван Мария (1866—1959) — жена бельгийского художника Тео ван Риссельберга (1862—1926). Супруги ван Риссельберг были дружны с Андре Жидом.

Родштейн Л. З. — владелец русско-французского книжного магазина в Париже в 1920-х гг.

Савуар Альфред (1883—1934) — французский драматург, автор пьес, имевших громадный успех в 1920-е гг.

Серт (Эгвардс-Серт) Мися — музыкант; родом из Польши; жена испанского художника Х.-М. Серта (1876—1945). Была дружна с Дягилевым, Жаном Кокто, Андре Жидом и др.

Фёрстер-Ницше (урожд. *Ницше*) Элизабет (1846—1935) — сестра Ницше; после смерти брата создала в Веймаре (в доме, где он провел свои последние годы) «Архив Ницше» — своего рода центр по изучению и пропаганде его наследия и одновременно литературно-художественный салон.

Хаймс Эльза (1878—1958) — немецкая актриса; первая жена М. Рейнгардта.

Херцфельде (Герцфельде) Виланд (наст. фамилия — *Херцфельд*; 1896—1988) — писатель, издатель; основал в 1917 г. издательство «Малик», в котором широко печатались произведения советских писателей.

Шифрин Жак (1894—1950) — французский журналист; выходец из России (родился в Баку); основатель издательства «Плеяды». Друг Андре Жида (вместе с ним приезжал в СССР в 1936 г.). В 1940 г. эмигрировал в США. Вместе с Эллен и Куртом Вольфами руководил нью-йоркским издательством «Пантеон букс».

Шлюмберже Жан (1877—1968) — романист, драматург, эссеист; один из основателей журнала «Нувель ревью франсэз» (вместе с Ж. Копо и А. Жидом).

Шпитцемберг (урожд. *фон Фарнбюлер*) Хильдегард фон, баронесса (1843—1914).

Штольберг-Штольберг Бернхард цу, граф (1872—1951) — майор.

Шульце-Наумбург Пауль (1869—1949) — художник, архитектор, искусствовед.

Эмге Карл Август (1886—1970) — юрист, правовед.

ВАЛЬТЕР КЕМПОВСКИ

ИЗ КНИГИ «АЛКОР. ДНЕВНИК 1989 ГОДА»

Нартум. Воскресенье, 1 января 1989, Новый год

«*Вельт ам Зоннтаг*»: Сообщения о сталинском терроре: 30 миллионов. Один из палачей: «Мужчины молчали, женщины плакали».

«*Зоннтаг*»: «Роте фане» — история революционной газеты.

8 часов. Сон:¹ не могу найти свое купе первого класса, и «ФАЦ»² уже закончилась.

1989: Великий год памяти задирает юбки, соблазняет: 50 лет с момента начала войны, 40 лет существования Федеративной Республики и ГДР. — А мне исполняется 60! Двадцать лет с момента выхода первой книги.

Двухсотлетний юбилей французской революции. Ницше называет ее грандиозным кровавым знахарем. Я против революций. Что хорошего приносят такие встряски? Ничего! Не говоря уже об огромном количестве жертв! За первые 16 месяцев после Октябрьской революции было убито 16 000 человек.

А «национальная революция» нацистов? Эта узаконенная резня...

Наступление нового года меня мало интересует, просто выскочила новая цифра на календаре, все равно что прокрутился счетчик на спидометре. Переход в новое тысячелетие куда интереснее, он рождает в голове всевозможные сравнения и мысли.

У каждого человека, правда, свое летосчисление. Для меня, например, особое значение имеют годы "42, "48 и "56.

После Рождества снова начал играть на клавикордах. Только педаль, к сожалению, не работает. Сегодня по старой традиции сыграл замечательный баховский хорал «Nun lasst uns gehn und treten...».³

Перевод выполнен по изд.: Walter Kempowski. Alkor. Tagebuch 1989. Albrecht Knaus. München, 2001

Вальтер Кемповски (род. в 1929 г.) — прозаик. Родился в Ростоке. В 1948 г. приговорен к 25 годам заключения по обвинению в шпионаже и нелегальном переходе границы. Освобожден досрочно в 1956 г.; после этого — в ФРГ. Автор цикла социально-критических романов-хроник, посвященных истории одной семьи. Создатель своеобразной техники «литературного коллажа». Живет в Нартуме (поселок на северо-западе Германии между Гамбургом и Бременом).

Положил перед собой раскрытый песенник и пропел текст Пауля Герхардта⁴ 1653 года, все пятнадцать строф.

Всю жизнь мы пытаемся избавиться от старика с бородой. Кальвинисты, те знали, зачем убрали лики святых из церкви. Бог — дух, он в нас самих...

Вот уж поистине изнурительная погода. Изо дня в день серое небо, хмулость, да еще эта морось «сопливая». Не хватило бы даже на приличный мыс Горн. Слезы и только. При удачном стечении обстоятельств из такого дождичка мог бы выйти приятный пушистый снежок.

«Не видать нам больше снега», — любила повторять мама. Обычные разговоры о прошлом. Раньше, мол, снегу было больше. Но, похоже, так оно и есть.

В октябре разговаривал с Юргеном Кольбе⁵ об «Эхолоте»,⁶ моем новом большом проекте. Он считает, что это *археология*. Моя идея сделать все на дорогой бумаге, с французской брошюровкой ему очень понравилась, подзаголовок «Коллективный дневник» — гораздо меньше. Он согласился выплатить аванс. В этот момент мы ехали по Штахусу,⁷ на светофоре загорелся красный свет. Дурной знак?

Подведение итогов, 1988 год: «Жаркие дни»,⁸ 90 чтений, различные семинары, поездка в США. Приобретение компьютера и начало работы над «Эхолотом».

О «Жарких днях»: издательство довольно книгой, как мне сказали. Феминистки ее саботируют.

В апреле начал «До мозга костей»⁹ и «Сириус»¹⁰. К последнему проекту, как и к работе над «Эхолотом», меня подтолкнуло приобретение компьютера.

Немного прогулялся в последних лучах полыхающего заката.

Ночью встал и спустился вниз, чтобы размяться. Два часа просидел в библиотеке, глядя в окно. Над фонарем в саду струился падающий снежок, словно дым из трубы, необычное зрелище, превратившее мою депрессию в подобие благодарственной молитвы.

Прокофьев: Соната для флейты. Не понимаю, зачем столько ужаса.

Нартум. Среда, 29 марта 1989

«Бильд»: Жительница Берлина задушила насильника своей дочери.

«НД»¹¹: В ходе предвыборной кампании прошло 12 777 демократических прений.

Целый день работал над «Эхолотом». Воспоминания Жанин Люкас, французки, которую в 1942 году из-за пары ботинок приговорили к расстрелу (в Ростоке!). Ее спасла немка, директор тюрьмы. Этот случай снова представляет собой своего рода «горизонталь», за которой вот уже несколько месяцев подряд следует текст. Я думал, ее записи будут подробнее. Когда пришли русские освободители, в 1945-м, они первым делом ее изнасиловали.

Сельская идиллия: ласковое солнышко, я около часа просидел на улице, наблюдая за курами, которые тоже наслаждаются теплой погодой и моим обществом. Может, они радуются, что избавились от петуха? Я бы с удовольствием ласково почесал их за ушком, совсем как Франциск Ассизский? Но они не позволят. — Да и где, собственно, у куру уши? А пенис у петуха? Где? Где, ради всего святого, где?

Нартум. Среда, 5 апреля 1989

«Бильд»: Казначей нации. Пенсионер Бенке, пенсионер Хелленбройх, пенсионер Шляйфер, пенсионер Кольбе. В супермаркете. Берлинский полицейский совершает акт самосожжения.

«НД»: Коллективы рапортуют: мы идем на выборы с выполненными планами.

Впервые снова позавтракал в студии. На небе своя жизнь: вороны над свежеспаханным полем, голубь. Потом еще одинокая цапля. Интересно: куда она летела? Когда я вышел на улицу, чтобы закончить прогулку, в нос тут же ударило inferнальным зловоньем выгребной ямы: навоз, который крестьяне «навозили» на поле, чтобы посева лучше всходили. У соседей тарахтел культиватор, которым рыхлили землю в саду. И под конец еще два реактивных истребителя, на бреющем полете охотятся друг за другом. Все, бежать домой, за работу.

Меня всегда удивляло, что Гитлер в своих речах обращался к слушателям вежливо и на «вы». Геббельс же, напротив, грубо орал: «Хотите тотальной войны?» Представляю себе, если бы он кричал: «Не угодно ли будет тотальной войны?»

То, что вчера никто не попросил надписать книгу, меня очень обрадовало. Надеюсь, они когда-нибудь об этом пожалеют.

Весь день работал над «Эхолотом». Мучают сомнения, смогу ли осилить.

Хильдегард¹² переживает из-за матери, стоило ли переселять ее к диаконисам. И напрасно: она там ни в чем не нуждается. У нее своя мебель, живет в доме настоятельницы, ее навещают подруги, с которыми они вместе читали в литературном кружке Бёлля, может приезжать к нам. Но, когда она здесь, ей хочется в Ротенбург. Когда она в Ротенбурге, тянет обратно сюда, это месть стариков своим детям, желание постоянно держать их за горло. И неугомонность тоже, вечные сборы в дорогу. Как сделать так, чтобы они не мучились? Даже те, что приняты в лоно семьи, мучаются и мучают сами. Бабушка — сложившийся общественный статус. Страшилки о стариках, которые по ночам бродят по дому. «Где же вы? Где же вы?»

Интересно, каким буду я, когда состарюсь. Буду относиться к молодым исключительно с пониманием. Буду тихонечко сидеть в уголке и мирно смотреть телевизор. Неужели стариков можно выносить, только когда они держат язык за зубами. От них пахнет — это правда.

В Ротенбурге накупил канцтоваров на 135 марок.

Хильдегард вымыла Мунтерхунда. Он лежит рядом с ней на диване, укрытый пледом, и смотрит страдальческим взглядом.

Готовясь к докладу в Гамбурге, я вдруг обнаружил, где скрыт тот источник, откуда я все это время черпаю свое вдохновение. Это тот случай с гладильной машиной в 1935 году.

Мама взяла меня с собой вместо брата. Я помогал ей расправлять простыню и случайно выпустил край из рук. «С твоим братом такого никогда не случилось!» — сказала она. До сих пор стучит в висках это унижительное, обидное сравнение и подгоняет карабкаться на пик совершенства. Гладильный каток, все перемальвающий в своих жерновах, зажим (здесь его можно трактовать по-другому), зной, потемки. Не дать прищемить себе пальцы. Вот, оказывается, откуда у меня это желание «втоптать в грязь семью» — это месть, месть матери? Простыня — удушающий покров, саван. В Баутцене над кроватью балдахин, расшитый звездами.

Нартум. Среда, 24 мая 1989

«Бильд»: 881 голос за Вайцзеккера¹³ / Рекорд / Поцелуй Марианны / Пощечина ХСС.

«НД»: Встреча Эриха Хонеккера¹⁴ с Военным советом Объединенных вооруженных сил.

Водопроводный кран сегодня утром четко и ясно изрек: «Проверка фактов». Будет теперь моим оракулом. Люди потянутся со всех концов, чтобы ус-

лышать пророческие слова. Тогда, чего доброго, вскоре из него пойдет алая вода. Это не суеверие, а повсеместно назревающее предчувствие. Суеверия проистекают из некоего магического центра, предчувствия же базируются на конкретном знании. Суеверия принимаются с добродушной улыбкой, предчувствия действуют на нервы, так как имеют обыкновение сбываться. Предчувствия, правда, тоже могут приобретать магический смысл. Например, когда мы намеренно говорим о предчувствии чего-то дурного именно для того, чтобы этого избежать.

В «Шпигеле» статья о Дюке Элингтоне. Он родился со мной в один день, только на тридцать лет раньше (ему исполняется девяносто, а мне — шестьдесят). Упоминается «Sophisticated Lady»,¹⁵ я сразу же вижу себя сидящим в мансарде, старая пластинка, граммофон, я слушаю музыку. Потом еще «Creole Love Call»,¹⁶ она мне тогда не нравилась, казалась слишком скучной. Ветераны джаза привлекали нас своими чарами до тех пор, пока оставались на экранах телевизоров. Каунт Бэйзи, например, смешные потуги быть не как все. Роберт подарил мне пленку с записью «Echos of Harlem» и «Clarinett Lament».¹⁷ Боже мой — как давно это было. В 1943-м или, может быть, в 1944-м.

Помню, как распахнулась дверь и в комнату вошел гитлерюгендовец, он должен был отвести меня на работу. Я в это время лежал на диване, курил и слушал джаз — вся стена увешана фотографиями великих джазистов. Но он промолчал. Я не знал тогда, что он был из числа сомневающихся, незадолго до конца войны бросился под поезд. Жаль, что теперь уже не вспомнить его имени. Написать историю о скрытом сопротивлении и его результатах. Пассивное сопротивление, ломающее энергию угнетателя. Ульбрихт-то¹⁸ знал, к чему приводят полосатые носки.

Из Федерального архива Кобленца пришел счет на 425 марок за 850 копий фотографий.

Стефания Вукович в «Новых венских письмах»¹⁹ задает вопрос: «Что такое «Жаркие дни» — ироничный портрет удачливого писателя, который, преисполненный гордости за самого себя, едет в «первом классе» нашего потребительского общества? ..»

Тщетные попытки читать Бальзака. Двенадцать томов в переводе Эрнста Зандера без толку пылятся в библиотеке. Но какова биография! Грандиозный замысел «Человеческой комедии»! Он запланировал 132 произведения, которые должны были стать частями единой системы. 49 из них, если не ошибаюсь, так и не увидели свет. С Хубертом Фихте²⁰ случилось то же самое. Вывод: не стоит преждевременно рассказывать о своих планах. Как-то неловко потом, если они остаются неосуществленными. Хотя строить планы порой бывает самое интересное. Может быть, в следующем году будет время заняться Бальзаком.

Нартум. Среда, 21 июня 1989

«Бильд»: Слава тебе, Господи! / Айсберг столкнулся с «Максимом Горьким» / Немецкие туристы спасены, все 563, в том числе 30 берлинцев / «Мы уже распрощались с жизнью».

«НД»: Соцсоревнование должно значительно сократить сроки строительства.

Жара. Новый почтальон тоже постоянно опаздывает, но ему прощается, потому что это несчастный человек с большими проблемами. Мы стараемся обращаться с ним как можно приветливее. Каждый раз думаем: «Накричишь на него, а он врежется в дерево или, еще чего доброго, повесится». Работа почтальона не для него.

Ночью было беспокойно. Собаки лаяли рядом с домом и по всей округе.

Утром на аллее нашел мертвого, выпотрошенного голубя. По нему уже ползали хлопотливые муравьи. Я его похоронил. Теперь ветер разгоняет остатки пуха по земле. Так жарко, что приходится постоянно мочить землю под ногами, я сижу как обычно со своим зверьем под источающим медовый нектар орешником и размышляю, какой бы еще «сюжет» пристроить в «До мозга костей». Решаю, что там опять должны появиться сварливые бабы. Петух купается в песке. Они опять повздорили с Мунтерхундом. Набросились друг на друга прямо на глазах у живого бога.

Как приятны эти часы в одиночестве. Я думаю о мужчине из Каульсдорфа, который постоянно переезжает со своим гардеробом. (Сквозной мотив в «Тадельёзер & Вольф»²¹). Работа над «Эхолодом» потому доставляет такое удовольствие, что не нужно работать над ним постоянно. Между делом можно посвятить себя чему-то еще. На каждый «Эхо-день» приходится три, четыре, иногда пять записей воспоминаний очевидцев. Такие дни я называю «скудными». Ведь бывает и по двадцать. По какому принципу появляются живые свидетельства человечества? Когда что-то происходит, у них нет времени, когда ничего не происходит — желания? В основном я вношу только то, что самому интересно. Сегодня пытался найти подходящую фотографию для каульсдорфца. Ничего не выходит. Физиономия и биография: физиономия — зеркало биографии. Возраст, образ — чудо, если все это совпадет. Читатель, не знающий, что ему подсунули фальшивку, конечно, ничего не заметит. Но на такие хитрости пускаться все же нельзя. Параллельно собирать статистику: когда и какие дневники велись? Мужчи́нами? Женщи́нами? Почему?

Письмо от читателя: интересуется, где можно приобрести «Дневник американского пилота»,²² — несмотря на все усилия никак не может его найти. Книга уже вышла. Достать ее теперь так же трудно, как для меня когда-то было раскопать его фотографию. Даже еще труднее. Но задача решаемая, отдельные экземпляры поступили в библиотеки.

Похоже, нашу планету погубит не загрязнение окружающей среды, а пустая болтовня.

После обеда приходила молчаливая группа учащихся из какого-то профессионального училища. Я задал несколько вопросов: как они представляют себе профессию писателя и что знают обо мне? Они ничего не знали. По-видимому, плановый культпоход. Мы долго молчали, глядя друг на друга. Вечером играл в детский бильярд и думал о Йонатане.²³ — Одна девушка из группы, приходившей после обеда, на мой вопрос, кем она хочет стать, ответила: коммерсанткой. Подумать только. Все равно что маникюршей. Аналогии образуются, чтобы запечатлеть искусственность слова. Кристиан Моргенштерн.²⁴

Читал дневники Шницлера.²⁵ Тезис о диктатуре пролетариата он считает омерзительным, его раздражает «разящая большевизмом позиция социал-демократии». Когда это было? В 1919-м. «Так называемую веру в человека» находит абсурдной. «Те, кто, рассматривая перспективу улучшения мира, рассчитывает на возможность этического улучшения человеческой массы, сродни математикам, которые пытаются решить задачу, исходя из уравнения $2 \times 2 = 5$ ». Его меткие замечания, его прозорливость — кому они помогли? Голосу разума никогда не внимали и не будут внимать. — Называет большевиков «шайкой разбойников с политическими амбициями». — «За любое преступление наступает возмездие, но обрушивается оно на головы невинных».

Надо видеть, как в наших газетных ток-шоу отстаивают одно-единственное, однажды канонизированное недоумками мнение. Любое инакомыслие тотчас же пресекается. Собственное мнение становится оружием против того, кто его выражает, а не поводом для дискуссии. Надо хоть раз увидеть, как они раздувают ноздри, как сидят наготове, ожидая, что собеседник вот-вот допустит ошибку. А стоит им разрешить, они тотчас же, если это не противоречит их основным принципам, развернут перед ним свой лагерь, пусть даже и с направленными койками.

На взаимосвязь 1919-го и 1933 годов нельзя даже намекнуть. — Идеологический террор ужесточился, того и гляди дойдет до физической расправы. Единственный выход — прикинуться глупцом.

Нартум. Понедельник, 11 сентября 1989

«Бильд»: Венгрия: долой беженцев / Хонеккер при смерти.

«НД»: 200 000 на массовом митинге в Берлине за укрепление дела социализма и мира во всем мире.

Утром, едва раскрыв глаза, заметил мекленбургский флаг перед домом, ночью было слышно, как хлопает его полотнище. Наш участок — экстерриториален. Поднять над домом черно-красно-желтый флаг я бы не рискнул, меня тут же обвинили бы в национализме. Или стали бы приходить люди, решив, что здесь почта.

Утром первые комментарии: они здесь! Дискуссия по поводу трабантов²⁶; бензин, который используется для них, у нас запрещен из-за превышения нормы выхлопных газов. Но им все равно дадут разрешение «во избежание социальной нужды».

Десятичасовые новости. Хонеккер все еще в больнице, утратил волю к выздоровлению. Он только сейчас узнал о масштабах эмиграции. (Только сейчас? Как это понимать?) К утру границу пересекли около 2000 автомашин; выходит, гораздо больше, чем ожидалось. Некоторые так и ехали до самой Баварии. В новообразованных лагерях пока еще тихо. (Думаю, самые ушлые отдыхающие просто остались в гостиницах и ждали момента, а потом взяли и рванули!)

Десятичасовые новости. Волна беженцев нарастает. Их уже более 10 000. С первой волной приехали 10 000 человек на 3000 автомобилях. Водители-проводники. Журналист на экране ждет появления колонны. Меня охватило чувство внутреннего ликования. У большинства родственники, они не хотят в лагерь. Это что-то невообразимое, грандиозное. Можно только сидеть с раскрытым ртом, наблюдая за тем, как на твоих глазах бурлит мировая история, сбрасывает панцирь и расправляет плечи. Евангелическая церковь на Востоке «скорбит» по поводу такого количества беженцев, покидающих страну. Вместо того чтобы пожелать им «доброе пути!» Епископ католической церкви Берлина изрек: «Господу это не угодно».

Одиннадцать часов. Самый большой поток беженцев со времен Второй мировой войны, тысячи и тысячи автомашин. Поезда стоят пустые. Большинство предпочитает вшестером тесниться в одном трабанте, они образуют «группки». ГДР говорит об организованной торговле людьми. «Наконец-то, вырвались!» — скажет один из беженцев.

Воспоминания Толстого. Описание ненависти, которую он испытывал к своему гувернеру. Себя описывает растрепанным, нескладным подростком. Я сразу же нашел массу его фотографий, в юности он не выглядел ни растрепанным, ни нескладным. Даже наоборот. Как и все святые, для домашних, наверное, был совершенно невыносим. Он был коротконог, то есть невысокого роста.

Брошюра под названием «Каракатица» 1971 года. О тех, кто участвовал в сумасшедшей, необузданной эйфории 1968 года.

Опять писал человеколюбивые письма, со стиснутыми от злобы зубами.

Сельская идиллия: куры поджидают меня у дверей. Кошки тоже прибегают со всех ног, когда выхожу кормить птицу. Петух уже так разъялся, что настил качается у него под ногами.

Последний летний денек. Нытье. На здоровье не жалуясь. Никаких болячек.

Нартум. Пятница, 10 ноября 1989

«Бильд»: Бундестаг поет германский гимн / Свершилось! Стена пала.

«НД»: Четвертая партийная конференция СЕПГ пройдет в Берлине с 15 по 17 декабря.

Почему никто не запел хорал «Nun danket alle Gott!»^{27?} — Потому что никто из них не помнит текста. Откуда же тогда они знают шлягер «So ein Tag...»^{28?}

8.30 утра

Болей²⁹ несла несусветную чушь. Пожелала западногерманским политикам трудиться до седьмого пота. / Мы никогда не теряли нашей веры, и граждане ГДР снова обрели веру в себя. / Бомбоубежища, госпитали, казармы. / Ожидается около миллиона беженцев. / Болей считает, нужно объявить особое положение, задействовать военных и т.д. / Коллеги проявляют «наивысшую заинтересованность». (Министр внутренних дел земли Нижняя Саксония). / «Мне кажется, я брежу». / «Ради этого я полтора года просидел в тюрьме!» / «Главное — можно посмотреть своими глазами!» / 100 восточных марок за 9 западных можно обменять на почте. / «Надеюсь, еще открыта какая-нибудь дискотека!»

В Хельмштедте то же самое. / Все это выглядит как фантастический фильм, кем-то срежиссированный. / Он здесь сегодня уже второй раз. / «Мы снова вместе, так и должно быть». / Диктор как пастор Зоммерауер.³⁰ / Эти крики радости предназначены, естественно, не только для микрофона. / «Грандиозно!» / Воссоединение народа — вот что это такое.

Ему не нужна роскошь, он готов жить очень скромно. / Один из контролеров: «На нас просто плюют». / Падение курса, 5 западных марок за 100 восточных. / Момпер³¹ изображает регулировщика движения, не думая о том, что это исторические кадры, дороги должны быть свободны.

«У нас там своя квартира, все нормально! Мы не собираемся здесь оставаться». / Некоторые приехали на велосипедах. / Штамп в паспорте останется на память о незабываемой ночи. / Мариенфельд, сотни каждый час. / Проводники — работы у них, как сто лет назад. «Я рад», — говорит комментатор. Мне слышится: «Виват!»

Люди карабкаются на стену. / В такт песням, которые распевают повсюду, мужчина работает молотом и ломом.

«Здесь все так здорово, так необычно».

Вот такой день, такой чудесный день. / Крымское шампанское и McDonald's символизируют объединение Востока и Запада. / Электрички. / Как на Рождество. / Прокатиться, сменить обстановку. / Трабанты, они напоминают машинки на детской карусели. / «Это словно расставание с прошлым!» / «На выходные снова, вместе с детьми». / «Сначала посмотреть, просто посмотреть...» / «Непривычно?» — «Еще как!» / «Это моя Германия, и точка!» (Такой вот ветеран-фронтовик.) / Вильмс³² говорит: «Добро пожаловать». / «Прекрасное осеннее утро...» (Журналистская лирика.)

Царрентин.³³

Полицейский получил в подарок торт, житель ГДР заплатил ему 10 марок за разрешение отвезти западногерманского кофе. Границы опять восстановлены.

Безумный шаг, вещает один гэдээровский философ, слово «безумие» употребляется чаще всего. / Много школьников. / Крохотный гэдээровский полицейский и огромный фээргешный коп. Трагедия! Неужели восточные люди не могут быть по крайней мере такого же роста? / Не преминули вспомнить и о могиле матери.

Спортзал для отдыха... / «История мчится с сумасшедшей скоростью, хва-

тайте ее за хвост, не дайте промчаться мимо» (Уильмс). / Воздух отравлен выхлопными газами трабантов, но одна жительница Западного Берлина заявляет, что постепенно привыкла, и теперь ей даже нравится. Эти машины, можно сказать, крестили в шампанском. / Согласование электронных систем. / Запрещен транзит через Темплин. Скандал. / Мекленбуржец: «Я считаю, это очередная провокация».

Берлин: Шёнебергская ратуша.³⁴

Коль³⁵ качает головой — Момпер слишком много болтает. / Брандта³⁶ почти не видно из-за микрофона. Лица не разглядеть. В речи ничего выдающегося! / Знамя «ФРГДР» на первом плане.

Брандт рассказывает истории из своей жизни. / Намеки, предназначенные для Коля, пропускаю мимо ушей. / Геншер³⁷: серьезная речь! / Коль почему-то кажется не в своей тарелке, этого я никак не могу понять. Брандт и Момпер успокаивают. Коль читает свой текст наизусть и очень достойно. С помощью подобного хаотичного бунта невозможно навязать гражданам ГДР демократию. Кто посеял эту смуту! Мы знаем. А потом национальный гимн! Фальшиво, как сапожники, просто ужас. Непонятно, почему не поставили докладчиков на балкон ратуши, и если заранее было известно, что будут петь гимн, почему не пригласили музыкантов? Недостойно, стыдно, противно.

«Это были все новости на сегодня!»

Я все еще смотрю телевизор, 20.15, он меня успокаивает и в то же время раздражает, они все какие-то дерганые! В некоторых враждебность! По «3 sat»³⁸ вполне квалифицированная беседа. Вичорек-Цойль.³⁹ Выступает как типичная западная верхивостка. Считает, что нет теперь никакого смысла разбираться, кто прав, кто виноват. Еще бы! Ведь в числе виноватых она сама. — Нет, хватит. Бросается в глаза, насколько плохо, неуклюже и непрофессионально задают вопросы журналисты и как плохо они умеют слушать. — Гэдээровский репортер утверждает, что граждане Восточной Германии, с высоко поднятыми головами и преисполненные уважения к самим себе, вернутся скоро обратно, в свою Республику. Представляю себе.

Как это глупо и как «чисто по-немецки». Обрушить все свои чувства на стену, наброситься на нее в припадке необузданной ярости, а потом еще распинаться в ток-шоу о феномене. Большой глупости даже представить себе невозможно! — Фольмер⁴⁰ предлагает основать у нас Восточный фонд, чтобы на эти деньги у них там что-нибудь построить! Восточных денег у нас тут, видит Бог, предостаточно.

В поезде на Бремен. Нартум. Суббота, 2 декабря 1989

«Бильд»: Херрхаузен⁴¹ / Полиция ищет подонков.

«НД»: Руководящая роль СЕПГ вычеркнута из конституции.

Солонка в форме карандаша.

Римляне строили добротнo, картезианцы довольствовались всякой дрянью. Это и сейчас видно по руинам (Трир). TV: Ликующие школьницы: нет, объединения они, конечно же, не хотят. Хонеккер просидел одиннадцать лет — значит, это ему зачтется. В Ольденбурге вдруг исчез плакат немецкой компартии, огромное полотно с четырехцветной печатью. Как будто его там и не было..

«Вы уже нашли издателя?» — спрашивают меня.

При этом присутствовала некая особа из восточного Фридрихельма, потом она с радостью делилась тайнами происходящего за кулисами средств массовой информации. Преследования прессы. Бойкот. Верю на слово. На эту тему и мне есть что рассказать. Но лучше все-таки оставить все это при себе.

Я все еще не могу осмыслить, что они там не хотят объединения. Что это, бедняцкая гордость? Или снова всеобщее обольванивание? Даже каменотес —

он недавно зашел к нам и принес изготовленное надгробие — и тот покрутил пальцем у виска.

По телевизору утром викторина: правда ли, что в Сан-Пауло каждый день возникает 4000 новых улиц? — Да! — «Правильно! Вы выиграли!»

Автономные⁴² освистали речь Коля в Берлине.

Нет, я не хочу, чтобы меня несли на плечах до Востока. Бирман⁴³ бьет себя розой по лбу. Разыгрывает смятение чувств, которое его якобы охватило. Они переправили за границу на безымянные номерные счета 100 миллионов марок. По-моему, не так уж и много. У Маркоса, например, были еще те аппетиты.⁴⁴

Кёльн. На перроне Копелев.⁴⁵ Только бы не подсел ко мне. Его жена тяжело больна раком, они путешествуют вместе, чтобы она напоследок смогла со всеми попрощаться.⁴⁶ Я поздоровался с ним как с «товарищем», он удивился: «С чего это?» — «Мне ведь тоже впаяли четвертак». — «Ну, это совсем другое, разве можно сравнивать мои двадцать пять и ваши...» <...>

Нартум, 23.00.

Сегодня, после обеда помчался в Плён, где в здании окружного парламента должно было состояться мое выступление, жаль, что не в великолепном замке. Дело дошло до дружеских братаний. Я честно высказал свое мнение. Передо мной в первом ряду сидел «гражданин ГДР» (он, правда, был против такого определения). Он немец, этого вполне достаточно, заявил он. Что я сегодня запишу в свой дневник, поинтересовалась молодая женщина.

Не выпить ли нам по кружке пива, спросил я одного нашего писателя, которого случайно встретил на улице. Нет, спасибо. С такими, как вы, порядочный человек не сядет за один стол.

Оба президента великих держав попадают в шторм на Мальте, крохотная моторная лодка доставляет Буша на корабль к Горбачеву. Могли бы устроиться и поудобнее.

Кренц⁴⁷ орет на своих соратников по СЕПГ.

Бирман по радио рассказывает дурацкие истории. Уровень — ниже нулевой отметки.

Стрельба на Филиппинах, танки, в Эль Сальвадоре то же самое. Такое впечатление, что все в этом мире достигло своего апогея, «мир трещит по всем швам», все меняется.

Нартум. Четверг, 7 декабря 1989

«Бильд»: Кренц свергнут / Его ждет тюрьма / Свобода всем политзаключенным / Хонеккер отстранен от власти.

«НД»: Правительство ГДР призывает к спокойствию и благоразумию.

Сон: Я иду по узкой песчаной косе, на которую накатывают волны, дальше придется идти по воде, но здесь глубже, чем казалось, мне не дойти до горы. Лучше повернуть назад. Приняв, в конце концов, решение повернуть, чувствую облегчение.

Теперь они жгут документы Штази.⁴⁸ По телевизору показывают печную трубу, из которой валит дым. Этого еще не хватало! Вряд ли это порадует тех, кто на той стороне. Еще, чего доброго, дойдет до судов Линча. Показывают дом, в котором жили агенты Штази. Женщины испуганно выглядывают из-за двери. На балконе развешено белье. Атмосфера крайне нервная.

Передача из Баутцена. Скольжу глазами по окнам зала заседаний, как бы хотелось залезть в телевизор, чтобы увидеть, что происходит там внутри, в «Радне», как называют «Родину» жители Рудных гор.

Если бы католическая церковь сохранила свои традиции, с мессой на латыни и всеми сакральными ритуалами, мне бы пришлось изменить веру. Наверняка это придало бы моей жизни особый поэтический лоск. Но у них там слишком много чужого, что пришлось бы проглотить и принять, например, почитание девы Марии. Или, может, я придумал бы новую интерпретацию? Имею в виду лоск жизни — что за чудесный мир! И как жаль, что они теперь пытаются разрушить все, что выстроено за века. Они думают, что народ к ним толпой повалит, стоит только отменить ладан. Совсем по-другому дело обстоит у православных, с этими шутки плохи. Церковь споткнулась на том, что хотела непременно объяснить все чудеса и тайны.

Потом подумал о самоубийцах: неудачные выстрелы. Генерал-полковник Бек⁴⁹ и Робеспьер. Они промахнулись. В Баутцене читал роман Фонтане «Штине»⁵⁰; в конце Вальдемар отшвыривает пистолет и растворяет в стакане снотворное. Но и это не гарантирует результата. Добрый совет неудачникам: проглотить цианистый калий, а потом застрелиться. Гитлер? — Эмпедокл, по преданию, бросился с Этны, а Вирджиния Вульф утопилась.

TV: Взволнованная толпа, собравшаяся перед штаб-квартирой Штази. Некоторых агентов выпускают, им свистят вслед. Они не реагируют. Вчера один из тех, кто пытался прикарманить деньги, повесился. В остальном никакого кровопролития, что меня поражает. Ни одна мало-мальски порядочная революция не обходится без крови. Какие из этого можно сделать выводы?

Длинный сюжет о Вилли Брандте из Ростока, жаль, что меня там не было. Он держал речь в Мариенкирхе. Неужели не нашлось никого из СДПГ, кто бы сказал: «Возьмите с собой Кемповски»? Неужели никто из них не читал «Тадельёзер & Вольф»?

70 миллионов марок получили в прошлом году западные коммунисты от своих восточных коллег, сообщает «Шпигель». Перевод денег остановлен.

Читать дополнительно газеты за последние дни не имеет смысла. Вот, к примеру, несколько строк из «Цайт»:

Все заporоли, говорит один из членов СЕПГ. (А что, если это правда!)

Стена по причине ее «товарной перспективности» была моментально разобрана. (Имеется в виду, по-видимому, что лучше было бы сделать это по идейным соображениям.)

Если СЕПГ получит голоса всех своих членов и помимо того еще 800 000, тогда у нее будет 25 процентов. (Весьма любопытное вычисление. По результатам позавчерашнего опроса, 30 процентов отдадут свои голоса за СЕПГ. Почти как при нацистах: пять процентов восторженно «за», пять процентов решительно «против», и в результате 90 процентов всех голосов. Многие уловки самореабилитации также напоминают о «наци»: «Мы ничего не могли поделать, нам приказали, мы только выполняли приказ». Фатальная зависимость от приказа при социализме — это что, оправдание?)

Упущения Хонеккера и его соратников называют «субъективными заблуждениями».

«Нойес Дойчланд» выходит общим тиражом в 1,1 миллиона, себестоимость каждого экземпляра составляет 50 пфеннигов, в продажу они поступят по 15 (ежегодная дотация составляет свыше 100 миллионов марок). Замечательное высказывание, содержащее много правды: «Присоединение — наилучший способ проведения реформ».

На перроне стоят две девчонки. Видимо, учатся в техникуме. Вспоминают, как прошел экзамен: «Уве ответил, что этика — это когда умеешь есть ножом и вилкой».

Обсуждал с плотником новый курятник. Оказывается, они понятия не имеют, как должен выглядеть приличный курятник. Хорошо, что нашлась какая-то книжица нацистских времен, вот ее-то и взяли за руководство.

Госпожа Дингворт-Нуссек⁵¹ недавно рассказала мне, как ее уборщица поврала и выбросила все ее личные записи, дневники и письма только потому, что они лежали на полу. Эйнштейн всегда все выбрасывал — до чего жалкой кажется мне моя привычка все собирать, даже как-то неловко. Чем больше коплю, тем тверже уверенность, что никто никогда не захочет заниматься моим наследием.

Хильдегард снова читает «Добро пожаловать». Я бы, не задумываясь, сделал из этого романа три, не меньше. Трехчастные фолианты должны завершать собой хронику, в отличие от романов, где счет идет на «главы».

Об Амвросии помнят сегодня разве что католики, да и те едва ли.

Амвросий был сыном Амвросия, префекта города Рима. Однажды, когда Амвросий, будучи еще ребенком, спокойно спал в своей колыбели во дворе дворца, налетел рой пчел и, опустившись ему на личико, покрыл его целиком, а некоторые из пчел даже заползли в рот младенца, словно это был их улей. Спустя некоторое время они взлетели и скрылись из глаз в небесной вышине. Отец, наблюдавший за этим, ужаснулся и изрек: «Раз дитя осталось в живых, значит, ему уготовано великое будущее».⁵²

¹ В дневнике В. Кемповски обозначено буквой «Т» (Traum — сон; нем.).

² Т. е. «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» — одна из ведущих немецких газет.

³ «Теперь пойдем отсюда...» (нем.).

⁴ Пауль Герхардт (1607 — 1676) — немецкий евангелистский священник, автор духовных песен.

⁵ Юрген Кольбе — журналист, литературный критик.

⁶ «Эхолот» («Das Echolot», 1993) — документальное произведение В. Кемповски (из четырех книг), посвященное событиям января-февраля 1943 г.

⁷ Штахус (Stachus) — местное название площади Карлсплатц в Мюнхене.

⁸ «Жаркие дни» («Hundetage»; 1988) — книга В. Кемповски.

⁹ «До мозга костей» («Mark und Bein», 1992) — роман Кемповски.

¹⁰ «Сириус. Наподобиедневника» («Sirius. Eine Art Tagebuch», 1990) — книга В. Кемповского, представляющая собой его дневниковые записи за 1983 г.

¹¹ Имеется в виду «Neues Deutschland» — орган СЕПГ (Социалистической Единой партии Германии), официальная партийная газета в бывшей ГДР.

¹² Дочь В. Кемповски.

¹³ Рихард фон Вайцеккер (р. 1920), барон — адвокат по профессии; политический деятель (ХДС). В 1981 — 1984 гг. — бургомистр Западного Берлина; в 1984 — 1994 гг. — Президент ФРГ.

¹⁴ Эрих Хонеккер (1912 — 1994) — политический и государственный деятель ГДР. Антифашист (с 1935 по 1945 г. провел в заключении). В 1971 — 1989 гг. — первый секретарь ЦК СЕПГ.

¹⁵ «Изошренная леди» (англ.).

¹⁶ «Креольский зов любви» (англ.).

¹⁷ «Эхо Гарлема» и «Жалоба кларнета» (англ.).

¹⁸ Имеется в виду Вальтер Ульбрихт (1893 — 1973) — политический и государственный деятель, в 1920 — 1930-е гг. — член ЦК КПГ; один из основателей СЕПГ (1946). В 1950 — 1971 гг. — первый секретарь ЦК СЕПГ (ГДР); с мая 1971 г. — председатель СЕПГ. Председатель созданного в 1960 г. Госсовета ГДР.

¹⁹ «Neue Wiener Bücherbriefe» — венский журнал, своего рода «Книжное обозрение» Австрии.

²⁰ Хуберт Фихте (1935 — 1986) — романист, автор «этнопоэтических» произведений. В последние годы жизни работал над многотомным циклом, составленным из собственных произведений, под общим названием «История чувствительности» (напечатано после смерти автора).

²¹ Роман В. Кемповски (1971).

²² «Дневник американского пилота» («Tagebuch eines amerikanischen Bombenpiloten», 1989) — книга Кемповски.

²³ Главный герой романа Кемповски «До мозга костей».

²⁴ Кристиан Моргенштерн (1871 — 1914) — поэт, переводчик, журналист; антропософ.

²⁵ Артур Шницлер (1862 — 1931) — известный австрийский драматург и новеллист.

²⁶ «Трабантами» (в буквальном переводе — «спутниками») назывались автомобили восточногерманского производства, которыми в основном пользовались граждане ГДР.

²⁷ «Возблагодарите же Господа» (нем.).

²⁸ «Ну и денек...» (нем.).

²⁹ Бербель Болей (р. 1945) — художница; правозащитница, подвергавшаяся в ГДР однократному тюремному заключению; одна из основателей Нового Форума в 1989 г.

³⁰ Популярная в Германии телевизионная передача под названием «Пастор Зоммерауэр отвечает» (прекратилась в 1978 г.).

³¹ Вальтер Момпер (р. 1945) — один из лидеров Социалистической партии Германии (СПГ). В 1989 — 1991 гг. — бургомистр Западного Берлина. С 2001 г. — президент Берлинского парламента.

³² Доротея Вильмс (р. 1929) — западногерманский политик (Христианско-демократический союз); в 1987 — 1991 гг. — министр внутригерманских отношений в правительстве ФРГ.

³³ Город на севере земли Мекленбург-Форпоммерн.

³⁴ Шёнеберг — один из районов Западного Берлина.

³⁵ Имеется в виду Гельмут Коль (р. 1930), председатель ХДС (с 1973 г.); в 1983 — 1998 гг. — канцлер ФРГ.

³⁶ Вилли Брандт (1913 — 1992) — политический деятель, один из руководителей Социалистической партии Германии. В 1957 — 1966 гг. — бургомистр Западного Берлина; в 1969 — 1974 гг. — канцлер ФРГ.

³⁷ Ганс-Дитрих Геншер (р. 1927) — вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ в 1974 — 1992 гг.

³⁸ Один из каналов немецкого телевидения.

³⁹ Хайдемари Вичорек-Цойль (р. 1942) — учительница по профессии; политический деятель (СПГ); в 1979 — 1987 гг. — член Европейского парламента; с 1998 г. — министр экономического сотрудничества и развития.

⁴⁰ Антье Фольмер (р. 1943) — политический деятель; публицистка; в 1990-е гг. — вице-президент Бундестага.

⁴¹ Альфред Херрхаузен — банковский служащий; убит террористами в 1989 г.

⁴² Члены лево-экстремистской организации, основанной в 1970-е гг.

⁴³ Вольф Бирман (р. 1936) — немецкий поэт-песенник; считал себя коммунистом, однако был противником социализма в той форме, в которой он был построен в ГДР. В 1963 г. исключен из СЕПГ; в 1976 г., во время пребывания на гастролях в ФРГ, лишен восточногерманского гражданства.

⁴⁴ Имеется в виду филиппинский диктатор Фердинанд Маркос (1917 — 1986), президент Филиппин (с 1965 г.). После бегства свергнутого диктатора и его жены выяснилось, что в западных банках на их счета положены огромные денежные суммы.

⁴⁵ Лев Зиновьевич Копелев (1912 — 1997) — писатель, публицист; германист. За свою правозащитную деятельность лишен в 1981 г. советского гражданства. Жил в Кельне.

⁴⁶ Раиса Давыдовна Орлова (1918 — 1989) — писательница, правозащитница. Жена Л.З. Копелева. С 1981 г. — вместе с мужем в Кельне.

⁴⁷ Эгон Кренц (р. 1937) — политический деятель; в 1989 г. сменил Э. Хонеккера на посту Генерального секретаря ЦК СЕПГ; тогда же избран Председателем Госсовета и Совета Национальной обороны ГДР. Занимал эти посты лишь в течение нескольких месяцев. В 1997 г. приговорен Федеральным судом Германии к шести с половиной годам тюремного заключения — в связи с разрешением вести огонь по гражданам ГДР, пытавшимся прорваться через Берлинскую стену (в результате погибло несколько человек).

⁴⁸ Штази (сокр. от Staatssicherheit) — Министерство государственной безопасности в ГДР.

⁴⁹ Имеется в виду Людвиг Бек (1880 — 1944), генерал-полковник вермахта. Участник Июльского заговора 1944 г. После провала покушения на Гитлера покончил жизнь самоубийством в здании Военного министерства.

⁵⁰ Роман Теодора Фонтане (1819 — 1898), опубликованный в 1890 г.

⁵¹ Юлия Дингворт-Нуссек — журналистка; в 1976 — 1988 гг. — председатель Центрального банка в г. Ганновер.

⁵² Имеется в виду Амвросий Медиоланский (ок. 340 — 397), епископ миланский, получивший известность как богослов, проповедник, реформатор церковного пения и т. д.

*Перевод и примечания
Людмилы Есаковой*

XX ВЕК. АРХИВЫ

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК

ИЗ ПЕРЕПИСКИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА С КУРТОМ ВОЛЬФОМ

Весной 1958 года Пастернак тяжело заболел. Мучительные боли в правой, сломанной еще в детстве ноге доводили до потери сознания. Заботами Корнея Ивановича Чуковского его удалось положить в больницу Московского комитета партии в Давыдове, недалеко от бывшей дачи Сталина. Мы с мамой навещали его там.

Однажды, когда ему уже стало лучше, провожая нас к выходу, он рассказал о том, что получил удивительное письмо от издателя Курта Вольфа, учившегося в Марбурге. Тот сообщал, что «Pantheon Books», которое возглавляют сам Курт и его жена Элен Вольф, собирается осуществить американское издание «Доктора Живаго» почти одновременно с английским издательством Коллинза. Его очень радовало и волновало знакомство с издателем — позже он при каждой нашей встрече рассказывал о планах и намерениях Вольфа, которыми тот широко делился с отцом. Его глубоко трогали прекрасные письма Вольфа — о том, например, что тот заранее заказал себе номер в стокгольмской гостинице, чтобы встретиться с ним, когда тот приедет получать Нобелевскую премию. Но отец решительно воспротивился сборнику отзывов и разборов «Доктора Живаго», которые Курт Вольф хотел объединить в книге под названием «Памятник Доктору Живаго».

После смерти отца его брат, Александр Леонидович, разбирая по просьбе вдовы отцовы бумаги, дал нам посмотреть письма Курта Вольфа и его жены Элен, действительно удивительно живые и непосредственные, полные подлинного интереса к жизни и нежности к своему корреспонденту. С ними обоими познакомилась, приехав в Америку, сестра отца, Лидия Леонидовна Слейтер. От нее мы узнали о гибели Курта Вольфа 21 сентября 1963 года в Марбахе под колесами грузовика. Элен Вольф прислала ей в Оксфорд копии нескольких писем Пастернака для собиравшейся ею книги и с готовностью взяла на себя издание подготовленных нами книг переписки моего отца — сначала с Ольгой Фрейденберг, потом — письма 1926 года — с Рильке и Мариной Цветаевой (составленной при участии К. М. Азадовского). Обе книги вышли в прекрасных изданиях в 1982 и 1983 годах.

Несколько писем Пастернака К. Вольфу вошли в том переписки Вольфа.¹ В этой книжке мы прочли его удивительную биографию.

Курт Вольф родился 3 марта 1887 года в Бонне, его отец был дирижером и профессором истории и теории музыки в университете. Он устраивал в своем доме прекрасные концерты, помнил Брамса, участвовал в похоронах Клары Шуман, был

Евгений Борисович Пастернак (род. в 1923 г.) — сын Б. Л. Пастернака, автор книг «Борис Пастернак: Материалы для биографии» (М., 1989), «Жизнь Бориса Пастернака» (СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2004, совм. с Еленой Пастернак) и ряда работ, посвященных биографии и творчеству отца. Живет в Москве.

близко знаком с Листом. Выросший в кругу известных имен немецкой культуры, Курт Вольф с ранних лет был увлечен литературой, впервые напечатал письма Тика к Жану-Полу Рихтеру, издал — со своим предисловием и комментарием — два тома трудов и писем Мерка, опубликовал свои находки и исследования в области литературы времен Гете и более поздних. В 1908 году он стал сотрудником издательства Ровольта в Лейпциге, в 1912 году открыл свое собственное. Его интерес и понимание литературы сделали его издателем Кафки; после смерти писателя Курт Вольф получил всемирное право на его произведения. Его внимание в первую очередь привлекала новая немецкая литература, он стал «издателем экспрессионистов» Георга Гейма и Франца Верфеля, потом — Генриха Манна. Уехав еще в 1929 году в Соединенные Штаты, он вновь вернулся к издательской деятельности в 1954 году, открыв издательство «Pantheon Books».

Передав после смерти мужа письма Пастернака к нему и себе в Литературный архив в Марбахе, Элен Вольф закрыла их для исследователей, опасаясь нанести вред памяти и изданиям Пастернака в России, где история публикации «Доктора Живаго» за границей в течение тридцати лет была запретной темой. Ксерокопии полного корпуса этих писем (40 единиц) мы получили в 1994 году от сотрудников архива, которым выражаем глубокую благодарность. Вместе с ответными письмами Курта и Элен Вольф получилась в высшей степени интересная книга, издателя которой мы до сих пор не можем найти.

Вот некоторые письма из этой книги в нашем переводе.

*Издательство Pantheon Books Inc.
333 Шестая Авеню Нью-Йорк
12 февраля 1958*

Глубокоуважаемый Мэтр, дорогой господин Пастернак — позвольте представиться Вам: я — издатель в Соединенных Штатах Америки. Мне сердечно необходимо сказать Вам, что «Пантеон» горд и счастлив, издавая Вашу великую книгу.

До сих пор я имел возможность прочесть ее целиком только в итальянском переводе; по-английски мы пока получили едва ли половинутекста. Достаточно будет сказать, что, по моему мнению, — это самый выдающийся роман, который я имею счастье и честь публиковать как издатель по призванию (с 1909-го до 1929 года в Германии; издательство «Курт Вольф»), — при том, что в ходе своей издательской деятельности я в числе многих авторов печатал в течение его жизни книги осчастливившего меня Франца Кафки (в 1929-м я покинул Германию и возобновил свою издательскую деятельность в Соединенных Штатах).

Я получил Ваш адрес благодаря любезности Романа Якобсона, который сделал и прокомментировал для нас английский перевод русских сказок (Афанасьева). Надеюсь, что до Вас дойдет мой привет. Мне живейшим образом хотелось написать Вам после того, как я прочел «Охранную грамоту» и узнал из этого автобиографического фрагмента, что Вы учились в Марбурге и полюбили этот город и Германа Когена. Я сам — примерно за год до Вас — был студентом в Марбурге и в течение незабываемого семестра читал Платона в семинаре Когена, — Ваши воспоминания о городе и университете вновь оживили мою память.

Для меня была бы огромной радостью возможность свидания с Вами. Каким счастьем было бы побеседовать с Вами о Когене, Наторпе и других (может быть, Вам что-то говорят имена латиниста Теодора Бирта, теолога и замечательного пианиста Иоганна Векса, профессора музыки Йеннера, ученика Брамса, и германистов Фогта и Эльстера). У меня были сердечные и близкие отношения со всеми ними не потому, что я был блестящим студентом (я ни в какой мере не был им), а потому, что приходил к ним со своей скрипкой под мышкой и был тогда единственным сносным любителем-скрипачом в Марбурге, — а

все они были музыкантами, и домашнее музицирование было частью их жизни. Мы могли бы также поговорить о Райнере Мария Рильке, которого я хорошо знал с 1914-го по 1927 год. Хорошо было бы поболтать об этом и многом другом устно, — может быть, в Стокгольме к концу 1958 года?

Можно ли Вам посылать книги?

С глубоким уважением, с лучшими намерениями,

Ваш Курт Вольф

Вот выдержка из нашего первого анонса Вашей книги:

«Никакое описание не может воздать должное этой великолепной книге. Это не только панорама страны, переживающей самую радикальную революцию в истории. В своем глубоком и страстном порыве она касается также основных ценностей человеческого существования. Гениально написанная, она вновь и вновь создает образы поразительной силы, оригинальности и красоты. Читать эту книгу только из политического интереса — значит идти ложным путем. Она заслуживает того, чтобы ее прочли как один из тех редких шедевров, которые возникают из страдания, любви и смелости великого духа».

В этом мы искренне уверены.

Пастернак ответил сразу по возвращении из больницы:

12 мая 1958 года, Переделкино

Дорогой, глубокоуважаемый господин Вольф, спешу воспользоваться неожиданной оказией и ответить, наконец, на Ваше милое, сердечное и содержательное письмо, которое мне доставило в свое время такую радость. Итак, прежде всего: спасибо, спасибо, спасибо, что Вы так просто, с такими живо ощутимыми подробностями написали о себе самом, об университетских годах в Марбурге (и еще кое о чем).

Мне передали письмо в середине марта в больнице, куда меня поместили вследствие нестерпимо болезненной невралгии в ноге и где мне пришлось пробыть почти три месяца. Поэтому я так непростительно опаздываю с ответом. Но сейчас я не могу отплатить за сердечность и тепло Вашего обращения ко мне тою же щедростью. Я останусь неоплатным должником дружелюбия и любезности, знаками которых Вы меня осыпали.

И задолженность эту я еще увеличу, обратившись к Вам с просьбой.

Идут слухи, что совсем скоро роман появится у Вас и у Коллинза. Я этому не верю. Вероятно, так думать еще рано. Если же это действительно правда, мне было бы большой радостью получить от Вас книгу! Вот Вам куча адресов на выбор. Через посредничество Союза писателей (для меня): Москва. Г-69, ул. Воровского, 52. На мой городской адрес: Москва, В-17, Лаврушинский пер. 17/19, кв. 72. На дачу (и это лучше всего): Переделкино под Москвой, мне. Или, если Герд Руге в Москве, пошлите ему для меня газетные вырезки и то, что имеется у Вас под рукой, касающееся меня, с указанием, что он может навесить меня в ближайшее воскресенье в 12 часов. Но больше всего меня обрадовало бы новое подробное письмо от Вас.

У меня ощущение, что я сказал Вам о моей горячей благодарности. А это было единственно необходимо. То, что Вы пишете о Стокгольме, никогда не произойдет, потому что наше правительство ни за что не даст согласия на то, чтобы меня наградили.

Это и многое другое тяжело и печально. Но Вы вряд ли поверите, как ничтожно место, которое занимают в моем существовании эти признаки времени. Ис другой стороны, именно непреодолимость этих трудностей придает моей

жизни силу, глубину и серьезность, наполняет ее счастьем и делает волшебной и реальной.

Желаю Вам счастья, здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях.

Ваш Б. Пастернак.

В письмах Пастернака 1912 года, посланных из Марбурга, нет многих имен преподавателей, перечисленных Вольфом, но с уверенностью можно сказать, что, кроме Когена и Наторпа, в семинарах у которых учился Пастернак, он знал и профессора музыки, органиста Йеннера — сразу по приезде в Марбург он записался к нему на курсы органной игры. Но потом он был вынужден отказаться от этого, видимо из-за недостатка времени и денег. Орган и музыка стали «допущенной стихией», как он писал, только в последние недели его пребывания в Марбурге, когда была оборвана его серьезная работа о модусах понятий и он «основательно занялся стихосложением».

Герд Руге, упоминаемый в этом письме как возможная передаточная инстанция, был в то время корреспондентом газеты «Die Zeit» в Москве; он взял у Пастернака несколько интервью для своей газеты и стал автором его иллюстрированной биографии.²

Несмотря на грозные события, связанные с присуждением Нобелевской премии, и на то, что желанная встреча в Стокгольме не состоялась, — отношения издателя со своим автором продолжали развиваться, перейдя в добрую дружбу и распространяясь на общих знакомых.

Следующее предлагаемое нами письмо Пастернака обращено к четырем лицам, двум издательским семействам — Вольфам и Фишерам. Первые опубликовали «Доктора Живаго» по-английски, вторые — Бригитте и Готфрид Берман-Фишер — по-немецки, и оба по переписке стали друзьями Пастернака.

Издание «Доктора Живаго» вызвало широкий поток писем читателей, желавших высказать Пастернаку свои чувства, — иногда их число доходило до пятидесяти в день. На большинство писем Пастернак отвечал. Радость общения с миром, открывшаяся в это время, переполняла его переписку, которая, однако, со стороны официальных органов оценивалась как преступление. 14 марта 1959 года Пастернак был насильно доставлен на допрос к Генеральному прокурору Р. А. Руденко, который под угрозой применения статьи об измене родине потребовал от него отказаться от приема приезжающих к нему иностранцев и прекратить переписку.

В письме к Вольфам Пастернак не упоминает этого запрета, не принимая его «всерьез», как он пишет об «угрозах истекшего года», но его собственное желание взяться за работу тоже требовало некоторого сокращения переписки. Настоящие испытания Пастернак видит в многочисленных откликах и трактовках своего произведения, и поэтому желание Вольфа собрать их в сборник страшит его. В первую очередь он пишет о статье не названного в письме американского литературного критика Эдмунда Уилсона «Миф и символ в романе "Доктор Живаго"» («Legend and Symbol in Doctor Zhivago»), напечатанной в апреле 1959 года в журнале «Encounter», где автор раскрывал увиденные им в романе символы в именах собственных и названиях (например, в рекламе сельскохозяйственных орудий «Моро и Ветчинкин»). Споря с критиками, которые искали в романе привычной определенности сюжета и характеров, изжитой новой литературой, Пастернак излагал в письме основные принципы своей поэтики.

Желание начать новую большую работу сказалось у Пастернака на первых шагах в интересе к археологии, и, воспользовавшись предложением Курта Вольфа присылать книги, он попросил его о книгах на эту тему. Присланное издание истории кумранских находок потрясло его. Отец рассказывал нам об удивительных рукописях и неожиданной близости Кумранской общины и раннего христианства. У нас тогда ничего не было известно об этих памятниках, открытие которых переживалось в Европе как огромное событие.

Из замысла будущей работы возникло вскоре желание написать пьесу из эпохи великих реформ в России.

Тем временем в «Pantheon Books» вышел автобиографический очерк Пастернака «Люди и положения», за который он благодарил Вольфа.

12 мая 1959, Переделкино

Дорогие друзья, милая госпожа Бригитте, милейшая и благороднейшая госпожа Элен, глубокоуважаемые господа Фишер и Вольф, — простите меня за это, не совсем настоящее письмо, за это соборное послание! Пусть каждый найдет в моих строках то, что относится лично к нему.

С чего начать? Я не знаю, в какой степени были велики и значительны давление и угрозы истекшего года. Я никогда не принимал их всерьез и не считал реальными и существенными. Настоящие тяготы и испытания только начинаются. Я оглушен своей заграничной судьбой, заокеанской любовью и признанием, книгами, подарками и письмами, идущими издалека от этого заморского чуда. Это надо преодолеть и победить, чтобы идти дальше. Но когда и как я этого достигну?

Дорогой мой, душевный и внимательный друг Курт Вольф, Вам кажется, что на пути Вашего намерения создать памятник («Доктору Ж<иваго>») стоят посторонние внешние препятствия? Внутреннее сопротивление этому — во мне самом. Не достаточно ли уже выпало на долю Доктора? Могу ли я позволить, чтобы в качестве некоторого насилия над идеей у этой дойной коровы оборвали вымя? Памятником может быть только одно: новая работа. И это могу выполнить только я один.

Я хочу написать пьесу в прозе для театра, нечто сконцентрированное из времен отмены крепостного права шестидесятых годов прошлого столетия в России. Это прекращает мою нужду в источниках и книгах. Благодарю Вас за обе книги о Кумране, которые я получил. Больше ничего такого не требуется. Но от получения словарей (греческого и латинского), если они уже в пути, я не откажусь. Удивительно, как эти послевоенные находки соответствуют носившемуся в воздухе настроению тех лет. Разные части взаимосвязанного могут даже ничего не знать друг о друге.

Дорогой господин Вольф, благодарю Вас за душевное понимание, выразившееся в восхитительно изданном и оформленном Автобиографическом очерке («Гетемберг»³), за миниатюру с Вашей, глубокоуважаемый господин Вольф, надписью на обороте, за память и внимание, за письмо и газетные вырезки. Только бы мне приняться за работу — каждую ночь я говорю себе, что завтра рано утром прекращу все и сяду работать, но как можно не ответить на некоторые письма! И все хотят осенью приехать сюда, чтобы меня навестить, тогда как я решил самым почтительным и решительным образом совершенно отказаться от радости общения.

Большая ошибка представлять роман свалкой отдельных символических достопримечательностей вплоть до имен собственных (Моро и Ветчинкин и т. д. и т. д.), как это встречается в некоторых статьях. Не чувствуется ли при этом, насколько это противоречит художественному подходу? Будь это так, как пытаются представить, — я был бы безвкусным дураком и тупицей. Что может быть неестественнее, чем сначала что-то старательно искать и потом, найдя, снова затемнять и терять это? Разве произведение искусства не глубже и благороднее, чем ребусы или игра в прятки? Этот прикладной аллегоризм всегда был нетворческой и отвратительной бессмыслицей, всегда необоснованной для меня, даже когда это выискивали у Ибсена. Если роман нуждается в построчном истолковании, то это неудача, не достойная даже минутных усилий и их не стоящая. Вместо того, чтобы толковать текст и строить догадки, лучше бы критики описали характер полученного впечатления (что и делают лучшие из них), тогда бы они могли приблизиться к правильному пониманию. О каком символизме может идти речь в моих работах?

То, что для французских импрессионистов значили воздух и свет, и то, как они писали увиденное, а не названное, — это для меня единый и всеобъемлющий принцип, или мое собственное устремление, противоположное неподвижной символике отдельной застывшей и законченной эмблемы. А именно: же-

лезная причинность Толстого и Флобера, логика жестко обрисованных ими характеров и т. д. — для меня любительски наивное и внушающее почтение суеверие. Моя цель, чтобы даже в единичном живо описать ход жизни как таковой, жизни в целом, жизни, как я ее видел и испытал. Какой же я ее увидел и пережил? Меня всегда удивляло, что данное, узаконенное, фактическое, принятое за истину не созданы раз навсегда, что жизнь постоянно переполняет все сосуды, что, помимо всех неисчислимых физических и душевных движений в пространстве и во времени, сама жизнь, как неделимое явление мира в целом, охвачена стремительным движением, что все присутствует и совершается так, будто это нескончаемое вдохновение, выбор и свобода. Стиль моего письма, моя поэтика посвящены усилению и передаче этой стороны действительности, ее общего потока, перед всеми мелкими подробностями. И по ошибке все (даже те, кто расточает похвалы) ищут у меня старой изжитой определенности классического романа — при том, что новизна этой прозы состоит именно в том, что я все время стараюсь обойти и избежать легко достижимой определенности очертаний.

Я не нахожу слов благодарности, госпожа Бригитте, за Вашу с мужем фотографию. Что сказать о Вашей поездке в Марбург?! Как это мило и любезно с Вашей стороны, как благородно! С какою живостью и меткостью Вы описываете госпожу Кете Беккер! И все то остроумное и пережитое, что Вы говорите по этому поводу! К этому добавлю, дорогой, глубокоуважаемый господин доктор Фишер, полную признательность за Ваши строки! Доктор Кайль прислал мне своего Шекспира, а на следующий день и мои стихотворения. У меня пока не было времени просмотреть все это добросовестнее и внимательнее, но в основном это замечательно, и именно тем, что хоть это переводной язык, но он остается человеческим языком, что является такою редкостью. «Образцовые переводы», как Шекспир, сделанный Георге, или Микеланджело — Рильке (наши русские символисты шли в том же направлении), казались мне чудовищно страшными. Перевод должен быть как раз обратным, объяснением оригинала, даже его упрощением. В стремлении к оригиналу перевод должен быть вторичной, подчиненной и зависимой формой, а не дублирующей (в сравнении с подлинным текстом), и обладать дополнительной свободой, чтобы быть подвижным и прозрачно понятным, как народный и обиходный язык. Всем этим, мне кажется, Кайль владеет. Ему следовало бы только совершенно отказаться от неполных рифм (ассонансов). Его рифмы хороши, часто блестящи, чувство ритма очень живое, бурное и свежее. Словарь насыщен красками и цветом. Не слишком ли велико его пристрастие к уменьшительным суффиксам? Не снижает ли это стиля? Я написал ему очень поспешно и поверхностно. Может быть, я это еще улучшу. Во всяком случае его абсолютно свободные переводы кажутся мне талантливыми и удачными.

Поскольку письмо получилось таким непривычно длинным, поскорее подтвердите мне, пожалуйста, его получение. И пишите мне свободно, все, что захотите.

Отец рассказывал нам о глубоко растрогавшей его владелице бензоколонки в Марбурге Кете Беккер, которая присылала ему подарки ко дню рождения и письма признательности. Он был рад описанию встречи с ней, полученному от Бригитте Фишер, специально ездившей в Марбург. Его очень обрадовали переводы Рольфа-Дитриха Кайля, составившие книгу «Когда разгуляется».⁴ Он рекомендовал ее многим своим друзьям и обращался в издательство Фишера с просьбой о дополнительных экземплярах для подарков. Он рассказывал нам, что Р.-Д. Кайль в своих переводах прошел тот же путь творческого развития, что и он сам: через Пушкина и Шекспира к поздним стихам Пастернака. Во время съезда гостей он любил задавать им загадки на переводах Кайля из Пушкина, читая какое-нибудь место из «Евгения Онегина» по-немецки, чтобы слушавшие, не зная языка, отгадывали место только по четкой передаче пушкинского ритма и формы синтаксиса (мы присут-

ствовали на одном из таких обедов).⁵ В написанном в тот же день письме (12 мая 1959 года) Пастернак благодарит Р.-Д. Кайля за присланный им сборник переводов шекспировских сонетов.⁶

Переписка с Куртом Вольфом длилась до самой смерти Бориса Пастернака. Хочется надеяться, что она будет издана полностью.

¹ *K. Wolff. Briefwechsel eines Verlegers. 1911—1963. Frankfurt a. M., 1980.*

² *G. Ruge. Boris Pasternak. Bildbiographie. München, 1958.*

³ «Я вспоминаю» (англ.). Под таким названием был выпущен в издательстве Курта и Элен Вольф автобиографический очерк Пастернака «Люди и положения».

⁴ *B. Pasternak. Wenn es aufklart. Deutsch von R.-D. Keil. Frankfurt a. M., 1959.*

⁵ Об этой «игре» Пастернак писал и Бригитте Фишер 16 февраля 1959 года (см.: *B. Fischer. Sie schreiben mir, oder was aus meinem Poesiealbum wurde. Zürich, 1978. S. 310.*)

⁶ *Shakespeare. Die Sonette. Deutsch von Rolf-Dietrich Keil. Düsseldorf—Köln, 1959.*

Письма Пастернака к Р.-Д. Кайлю опубликованы в книге: *Raissa Orlowa, Lew Kopelew. Boris Pasternak. Stuttgart, 1986.*

ТАТЬЯНА НИКОЛЬСКАЯ

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ ГРИГОЛА РОБАКИДЗЕ

Имя Григола Робакидзе, грузинского прозаика, поэта, драматурга и критика, писавшего, помимо своего родного, на русском и немецком языках, не принадлежит к числу наиболее известных в европейской литературе XX века. Между тем Робакидзе — фигура в высшей степени примечательная, в известном отношении — уникальная: трудно назвать другого писателя, который столь органически был бы связан с тремя различными культурами и столь глубоко ими пропитан.

В литературных кругах Грузии Робакидзе был известен еще до 1917 года. В 1920-е — 1930-е годы его мифопоэтические произведения выходили в Грузии и Германии, неизменно вызывая восхищенные отклики. Творчество грузинского писателя получило в разное время высокую оценку Тициана Табидзе, Андрея Белого, Стефана Цвейга, Никоса Казандзакиса. «В современных изданиях знаменитой немецкой энциклопедии Брокгауза, — подчеркивает английский исследователь Д. Рейфилд, — упоминаются всего два грузинских писателя — Руставели и Робакидзе»¹.

В 1930-е годы Робакидзе стал «невозвращенцем». В Советском Союзе его творчество на протяжении более полувека находилось под запретом. Лишь с 1988 года писателя начали печатать в Грузии, его пьесы появились в репертуаре грузинских театров. К настоящему времени в Грузии опубликовано большинство произведений Робакидзе, а также ряд ранее неизвестных материалов, дающих представление о разных гранях его яркого дарования. В конце 1980-х — начале 1990-х годов имя Робакидзе — среди других «репрессированных имен» — вернулось и к российским читателям: журналы «Литературная Грузия» и «Дружба народов» опубликовали несколько его сочинений в русском переводе.

Григол Титович Робакидзе родился 15/28 октября 1880 года² в селе Свири Кутаисского уезда. Его отец — Тите Георгиевич Робакидзе, пономарь и причетник; мать — крестьянка Кетеван Михайловна Бочоришвили. В шесть лет Григол поступил в Кутаисское духовное училище; затем, в 1895—1901 годах учился в Кутаисской духовной семинарии. В августе 1901 года Робакидзе становится студентом юридического факультета Юрьевского (ныне — Тартуского)

Татьяна Львовна Никольская (род. в 1947 г.) — историк литературы, автор книг «„Фантастический город“ : русская жизнь в Тбилиси (1917—1921)» (М., 2000), «Авангард и окрестности» (СПб., 2002) и ряда других работ, посвященных К. Вагинову, истории и теории русского авангарда, русско-грузинским литературным связям. Живет в С.-Петербурге.

университета, но уже в декабре его исключают — за неоплату обучения. Вскоре Робакидзе уезжает в Германию; с 1902-го по 1906 год он учится на философском факультете Лейпцигского университета. Курса обучения Робакидзе, однако, не закончил: во время поездки в Париж, где он слушал лекции в Сорбонне, Григол потерял свое диссертационное сочинение («Проблема истории по Гегелю»).

5 марта 1907 года Робакидзе присутствует на лекции Мережковского в парижском «Salle d' Orient» («Восточный зал»). Здесь он обратил на себя внимание Андрея Белого. «Раз слушал я лекцию Мережковского в русской колонии, — вспоминал Белый много лет спустя, — твердого вида мужчина, сложив свои руки крестом на груди, прислонясь плечами к стене, вздернув профиль, замраморел, стоя как статуя древняя. <...> Он не пошел возражать, грянув с места отчетливым голосом, тщательно вылепляя, как профиль, слова; и, умолкнув, сложил свои руки крестом, прислонясь к стене и не двигаясь с места. <...> ...с этим, виднейшим, писателем, классиком от символизма <...> которого книга поздней прогремела в Германии, встретился я — через двадцать три года: в Тифлисе»³.

После этого доклада Робакидзе познакомился, а затем и подружился с Мережковскими, стал вхож в их домашний кружок. «А этот Рыбакидзе (так. — Т. Н.) или Кабакидзе (так. — Т. Н.) оказался очень ничего, дельно говорил; называл себя индивидуалистом, идеалистом и учеником Риккерта», — отзывалась о нем З. Н. Гиппиус в письме к Андрею Белому от 21 марта 1907 года⁴. Несколькими годами позже Д. В. Философов положительно охарактеризовал Робакидзе в письме к Брюсову от 20 ноября 1910 года — эта рекомендация весьма пригодится молодому грузину для публикации в «Русской мысли», где Брюсов возглавлял в те годы литературно-критический отдел, статьи о малоизвестном тогда в России грузинском поэте Важа Пшавела⁵.

Вернувшись в 1908 году в Грузию, Робакидзе начинает выступать в Кутаиси и Тбилиси с публичными лекциями, посвященными грузинской и зарубежной (преимущественно немецкой) литературе: о творчестве Руставели, Н. Бараташвили, О. Вейнингера, Шпенглера, Ницше и других. Акакий Церетели, живой классик грузинской литературы, посетивший лекцию Робакидзе о Ницше, дал высокую оценку ораторскому искусству и эрудиции докладчика⁶.

На рубеже 1900-х — 1910-х годов Робакидзе наезжает и в Петербург, где завязывает ряд знакомств в символистских и околосимволистских кругах, в частности — с Вячеславом Ивановым. «Дорогой Вячеслав Иванович, — пишет Робакидзе в одном из сохранившихся писем (1938), — Вы помните меня, должно быть. Я познакомился с Вами в Петербурге: у Вас, на Таврической 24, если мне память не изменяет, в 1910 году. Встречался с Вами несколько раз на собраниях Религ<иозно>-Филос<офского> Общества. <...> В 1921 г. имел от Вас письмо из Баку»⁷. Позднее, в 1939 году, Робакидзе признавался Иванову: «Среди тех немногих, которые посвятили меня в тайны мира, одно из первых мест занимает Ваше имя»⁸.

В 1910 году Робакидзе вновь поступает на юридический факультет Тартуского университета и продолжает учебу до 1914 года. На заседаниях университетского грузинского землячества он выступает с чтением рефератов, в которых затрагивает круг идей, связанных главным образом с немецкой философией и русским символизмом. Так, 23 февраля 1913 года он прочел реферат «Эстетическое разрешение жизни», содержащий среди прочего такие тезисы: «Учение о музыке и трагедии: Шопенгауэр, Ницше, эллинизм. <...> О возрождении эллинизма. — Два мира: Орест и Гамлет»⁹. Эти проблемы обсуждаются в ряде статей Робакидзе, которые он публиковал в 1914—1915 годах в тбилисских газетах «Кавказ» (под псевдонимом Робакидзе-Кавказиели) и «Сакартвело» (под псевдонимом Гиви Голленд). Так, в статье «Латинский гений» («Кавказ» от 25 сентября 1914 года) он развивает тезис о возрождении эллинизма, исходя из дионисийской концепции Ницше. «Дионис и Аполлон, — пишет Робакидзе, —

два эстетических феномена эллинской стихии, в них полностью раскрывается душа эллина. Первый феномен — хмель, второй — сновидение, первый — оргийное самозабвение, второй — визионерное самообретение, первый — музыкальная струя, второй — скульптурная линия, первый — волна мелодии, второй — кусок мрамора. Такова в самых общих чертах эллинская стихия, поскольку раскрыта она нам Фридрихом Ницше, пророком всемирного обновления, и углублена Вячеславом Ивановым, предтечей славянского возрождения». А в статье «Меж мечей» («Кавказ» от 9 октября 1914 года) Робакидзе пишет об Оресте и Гамлете как носителях античного и современного сознания.

Феномен Диониса видел Робакидзе и в Достоевском, «хотя этот тайновидец не знал его настоящего имени» (из статьи «О природе вдохновенья», напечатанной в газете «Кавказ» 13 февраля 1915 года). Тема дионисизма, воспринятая сквозь призму Ницше, Достоевского и русской символистской критики, станет позднее одним из лейтмотивов в драматургии, прозе и поэзии Робакидзе. В автобиографии (1923) Робакидзе писал: «Я пережил Ницше и пережил Достоевского. Ницше дал мне Диониса, вне которого совершенно не мыслю поэзии. Достоевский дал мне того же Диониса, но только под другим именем, вне которого опять-таки не мыслю творчества»¹⁰.

Помимо лекционной и журналистской работы Робакидзе занимался преподавательской деятельностью: читал лекции о новейших течениях в русской философии и поэзии на Высших женских курсах в Тбилиси, а после открытия в 1918 году Тбилисского государственного университета был избран доцентом по кафедре грузинской литературы. В 1919 году он читал курс лекций по немецкому романтизму в Бакинском университете, а в 1920/21 году — цикл лекций «Немецкий романтизм и современная литература» в Тбилисском университете.

В 1915 году в Кутаиси формируется группа поэтов «Голубые роги»; в нее входят Т. Табидзе, П. Яшвили, В. Гаприндашвили, К. Надирадзе и др., стремящиеся к обновлению грузинского стиха и освоению на грузинской почве достижений западноевропейского и русского символизма. Своим вождем молодые поэты избирают Робакидзе. В первом номере журнала «Циспери канцеби» («Голубые роги») Тициан Табидзе посвящает Робакидзе восторженную статью, называя его первым, кто открыл для Грузии «евангелие модернизма» и попытался создать на грузинском символистские стихи. В качестве примера Табидзе приводит стихотворение «Костер». «В «Костре», — читаем в статье Табидзе, — впервые в грузинской литературе завопила «Менада», упоенная своими страстями. Инструментовка стиха здесь приближается к инструментовке русского поэта Вяч. Иванова, признанного лучшим мастером стиха в России»¹¹. Робакидзе, в свою очередь, посвятил новому направлению в грузинской поэзии статью «Грузинский модернизм», в которой приветствовал «голубороговцев» и обрисовывал их творческие профили¹².

Поэзией Робакидзе восхищались и другие грузинские поэты. Не удивительно. Понимавший лирику как своего рода «душевный подвиг», Робакидзе на самом деле во многом обновил родную поэзию, привнес в нее «дионисийские» мотивы: тему смерти и возрождения виноградной лозы, свадьбы Земли и Солнца и др. Позднее эти темы перейдут из его стихов в мистерию «Лонда» и в романы «Змеиная кожа» и «Фалестра»¹³.

В 1917 году в качестве представителя Союза городов Робакидзе проводит несколько месяцев на персидском фронте. После Октября, в период грузинской независимости (1918—1921), он поступает на службу в Управление государственными делами, где занимается литературной обработкой и редактурой постановлений правительства Ноя Жордания. В те годы в Тифлисе съехались, спасаясь от голода и ужасов гражданской войны, многие русские поэты, художники и артисты. Робакидзе принимал живое участие в дискуссиях, собраниях и вечерах, которые устраивала русская интеллигенция. Ближе всего он сошелся с поэтом Сергеем Рафаловичем, в издательстве которого «Кавказский

посредник» выходит в 1919 году первая книга Робакидзе, озаглавленная «Портреты» и содержащая очерки о Чаадаеве, Лермонтове, В. В. Розанове, Андрее Белом¹⁴. Превращение грузинской столицы в некий «остров интеллектуалов» посреди моря бушующей в России гражданской войны словно подтверждало веру Робакидзе в спасительную силу искусства. В одной из своих статей того времени он писал: «...Можно назвать много имен. <...> Всех их единит искусство. «Мир может быть оправдан только как художественный феномен» — слова Ницше. «Красота спасет мир» — слова Достоевского. Теперь мы понимаем, как был прав произнесший эти слова. Мир должен быть оправдан творчески. Во имя интернационала духа мы должны сомкнуться в единый крепкий круг»¹⁵.

К советской власти, установившейся в Грузии в конце февраля 1921 года, писатель относился достаточно лояльно. С 1921-го по 1925 год он заведовал Отделом искусства при Комиссариате просвещения, участвовал в спасении от уничтожения знаменитой Кашветской церкви в Тбилиси, занимал пост заместителя председателя правления Всегрузинского Союза писателей.

В 1923 году в Грузинском государственном театре им. Рушвители режиссером К. Марджанишвили была поставлена первая пьеса Робакидзе — «Лонда». Действие этой симфонической драмы протекает в древней стране, жители которой изнемогают от лучей беспощадно палящего кровавого солнца, требующего в жертву красивейшую девушку страны. Эта девушка — Лонда, страстно любящая сына гор Тамаза, идет на смерть ради спасения своего народа. Критика сравнивала «Лонду» с античной трагедией и с солнечной мистерией, заимствованной из персидской мифологии. Тициан Табидзе в газете «Рубикони» от 18 февраля 1923 года восхищался головокружительным ритмом произведения и сопоставлял язык драмы, в котором каждое слово обретает, по его мнению, первобытную энергию, с «Симфониями» Андрея Белого и эссе Малларме.

Через два года в том же театре была поставлена другая драма Робакидзе — «Мальштрем» (режиссеры — К. Марджанишвили и С. Ахметели). В основу пьесы положена описанная Тацитом история об иверийском царевиче, который по просьбе своей возлюбленной лишил ее жизни. Сюжет разворачивается в XX веке. В роли царевича выступал носитель рока — Неизвестный, а его возлюбленной была цыганка Морелла, «олицетворяющая землю в смысле Достоевского»¹⁶. Особую роль в пьесе играл Азеф — так же как и другие действующие лица, символическая фигура, служащая и добру и злу. Робакидзе вывел на сцену и группу дадаистов, продающих с аукциона планету Земля. Время от времени дадаисты надевали висящие на сцене маски Канта, Гете, Эйнштейна, Ницше и Достоевского и изрекали афоризмы. Так, Кант был представлен фразой «все феномен», а Эйнштейн — фразой «все относительно». Несвязанные, на первый взгляд, между собой сцены объединялись идеей «прилива и отлива воли жизни, от столкновения коих и происходит водоворот вечного движения — мальштрем — в нарицательном значении этого слова»¹⁷. Иными словами, все действие объединялось ницшеанским мотивом «вечного возвращения».

Венцом драматического творчества Робакидзе стала его пьеса «Ламара» (1925), написанная по мотивам известной поэмы Важа Пшавела «Змея» и народных преданий о Миндии. В этом произведении Робакидзе впервые обращается к грузинскому фольклору. Напряженная любовная интрига — любовь двух братьев хевсуров Миндии и Торговя к красавице кистинке Ламаре — разворачивается на фоне экзотического хевсурского быта. В кульминационной сцене Миндия приходит к Ичо, отцу Ламары, и выдает себя за своего брата, который похитил Ламару и убил в поединке вступившегося за честь сестры сына Ичо. Разгневанный отец заносит над Миндией меч, но, увидев, что ни один мускул не дрогнул на лице юноши, отказывается от кровной мести. Драма, написанная на хевсурском диалекте, лаконичными отрывистыми фразами, придающими речи экспрессивный ритм, была восторженно встречена зрителями и критикой.

В 1925—1926 годах в тбилисском журнале «Мнатоби» («Светоч») был опубли-

ликован первый роман Робакидзе — «Змеиная кожа»¹⁸, одно из самых значительных его произведений, получившее со временем известность не только в Грузии, но и в Западной Европе. «Змеиная кожа» — многоплановый роман, в котором нашли отражение сюжетные мотивы мифа об Эдипе, «Витязя в тигровой шкуре», «Петербурга» Андрея Белого; в нем «переплетены фольклор грузинских горцев-хевсуров <...> темы и приемы вагнеровских опер и пафос Ницше»¹⁹. Действие романа подвижно: из Персии и Месопотамии оно переносится в Западную Европу, с острова интеллектуалов, созданного американским миллионером Пергиусом Урвоором, — в Россию и Грузию. Герой книги — английский художник Арчибальд Мекеш — пытается разгадать тайну своего рождения. Чтобы узнать о судьбе своих предков, он три года странствует по свету и, в конце концов, выясняет, что он — потомок знатного рода Ирубакидзе Арчил Макашвили, что его мать умерла при родах, а его в четырехлетнем возрасте вывезли в Англию. Судьба stalkивает Арчибальда со сводным братом Вамехом Лашхи. Испытав множество приключений, герой женится на Матаси, сестре Вамеха, и остается в Грузии, возвращаясь таким образом к своим корням. Главным в романе Робакидзе, как отмечает один из исследователей, является «ницшеанская концепция Диониса и Аполлона, стихии которых ожили в главных героях произведения»²⁰. Вамех, брат Арчибальда, воплощает собой аполлоническую стихию. Найдя друг друга, братья обретают гармонию.

«Змеиная кожа» стала ярким явлением грузинской прозы. Робакидзе создал новый для грузинской литературы тип героя — сильной личности, с упорством и неиссякаемой настойчивостью стремящейся к восстановлению прерванной родовой связи. Примечательна, кроме того, языковая сторона романа. «Это — строго организованная, но в то же время глубоко поэтичная проза, — писал К. Имедашвили, — визуально-красочная, на слух — певучая, как музыка. Автор искал и зачастую находил в самом слове его сверхсущность, не отраженную в словарях»²¹.

В 1927 году Робакидзе отправился в длительную командировку в Германию. О причинах этой поездки он рассказывал в 1950 году в письме М. П. Кудашевой, вдове Романа Роллана. Оказывается, еще в 1925 году у него возникло желание познакомиться европейского читателя с грузинской литературой, существующей на протяжении полутора тысяч лет, о которой в Европе ничего не знают, в частности из-за необыкновенной трудности грузинского языка²².

В Германии Робакидзе пробыл с начала марта до середины октября, занимаясь в основном подготовкой немецкого издания «Змеиной кожи». Неоценимую помощь грузинскому писателю оказал Стефан Цвейг, которому Робакидзе отправил по почте черновой перевод романа. Поддержав замысел и устремления грузинского автора, Цвейг указал ему и на многочисленные литературные недостатки. Из публикуемых ниже писем Робакидзе к Цвейгу видно, в какой степени грузинский писатель дорожил советами и вниманием своего немецкого собрата. В течение полугода Робакидзе дорабатывал свой роман. Стефан Цвейг помог и с публикацией книги, связав Робакидзе с йенским издательством Ойгена Дидерихса; кроме того, Цвейг согласился написать предисловие к «Змеиной коже».

Из Германии — писатель жил почти все время в Берлине — Робакидзе регулярно посылал корреспонденции, озаглавленные «Листки из Европы», в тбилисскую газету «Заря Востока»; в них он рассказывал о наиболее значимых, с его точки зрения, событиях немецкой культурной жизни. «Листки...» отличаются широким диапазоном. Робакидзе пишет о премьере фильма Ф. Ланга «Метрополис», о вечере Франца Верфеля, о лекции кавказоведа Р. Мекелайна²³, посвященной яфетической теории, о докладе писателя-сюрреалиста Ф. Супо о французской литературе; излагает содержание книги Германа Кайзерлинга «Рождение нового мира», взгляды Мартина Бубера на еврейский вопрос; сообщает об исследованиях Юнга, сущности евразийства, о появлении нового романа Густава Мейринка «Ангел западного окна», о переводе на немецкий язык романа «Це-

мент» Ф. Гладкова; отдельную корреспонденцию посвящает творчеству Поля Валери.

В Берлине Робакидзе жилось трудно. В апреле и мае 1927 года правление Федерации грузинских писателей обращалось в Комиссариат финансов Грузии с просьбой о выделении денежной субсидии писателю, который, находясь в Германии, вынужден существовать лишь на нищенские гонорары, получаемые за фельетоны для газеты «Заря Востока» и статьи для журнала «Мнатоби»²⁴.

25 октября 1927 года Робакидзе вернулся в Грузию. Он надеялся в ближайшее время вновь посетить Германию, но на протяжении двух последующих лет ему отказывали в выдаче заграничного паспорта. В 1928—1929 годах он публикует в тбилисской периодике различные материалы, связанные с немецкой темой. Так, в 1928 году в журнале «Картули мцэрлоба» («Грузинская литература») печатает посвященный Цвейгу роман «Фалестра»²⁵, в котором отразились берлинские впечатления Робакидзе (публикация по неизвестным нам причинам оказалась прерванной на шестой главе). Там же (№ 12 за 1927 год и № 6/7 за 1928 год) были помещены переводы новелл Цвейга. В № 8/9 за 1929 год — рецензия на роман Ремарка «На западном фронте без перемен». А в журнале «Мнатоби» (№ 5/6 за 1928 год) — статья «Современная европейская литература» — обзор немецких и французских популярных романов, выпускаемых берлинским издательством «Roman der Welt».

В сентябре 1928 года в Москве праздновалось столетие Л. Н. Толстого. В юбилейных торжествах приняли участие и зарубежные писатели, среди них — Стефан Цвейг. Желая лично познакомиться с Цвейгом, Робакидзе приезжает в Москву; они видятся почти ежедневно. Об этом Робакидзе рассказал в очерке «Дни Толстого», в котором главное внимание уделено именно Цвейгу²⁶.

В конце 1920-х годов в Грузии, как и во всей стране, усиливается наступление на «попутчиков», к которым официальная критика традиционно относила и Робакидзе. Его новый мифопоэтический роман «Меги. Грузинская девушка» уже не может пробиться в печать. В Германии тем временем выходит (в конце 1928 года) «Змеиная кожа» (с предисловием Цвейга). Роман был посвящен Гете. В неопубликованном предисловии к роману Робакидзе писал:

«Я посвящаю мой роман Гете потому, что он — единственный западный поэт, в котором все сливается воедино, в том числе — Восток и Запад, и потому, что я еще в детстве угадал в его «Лесном короле» мою будущую тему — тему этого романа, а его «Западно-восточный диван» был моим постоянным спутником в Персии.

Это посвящение Гете должно одновременно служить выражением моей сердечной благодарности Германии за то образование, которое я получил в этой стране»²⁷.

Немецкая критика благосклонно, подчас восторженно приняла «Змеиную кожу» — экзотическое произведение, да еще с предисловием С. Цвейга не могло не вызвать к себе интереса (в СССР официальные критики объясняли успех этой книги тем, что она написана якобы не для советского читателя, а для буржуазной Европы²⁸). Робакидзе пытается «перестроиться» — обращается к жанру востребованного в те годы фототрагического очерка. Совершив в 1929 году поездки в Армению и Азербайджан, он пишет очерки «Айастан» и «Баку». Впрочем, основанный на примерах из «новой жизни» очерк «Баку» явно не получился (тогда как «Айастан», посвященный прошлому Армении, читается с интересом). Неудачу потерпела и пьеса «Удэга», поставленная в 1929 году в Тбилисском театре им. Руставели; действие в ней происходит на строительстве канала. Зато вторая постановка «Ламары», осуществленная в том же году С. Ахметели, произвела фурор не только в Грузии, но и на первой Олимпиаде национальных театров в Москве в июне 1930 года. Спектакль, на котором присутствовали Сталин и множество иностранных журналистов, по просьбам зрителей был повторен. Тбилисский театр получил из США и Европы приглашение на гастроли. В этой ситуации Робакидзе предпринимает новую попытку

выехать за границу. «Я, столько времени боровшийся за получение заграничного паспорта, — рассказывал он впоследствии греческому писателю Никосу Казандзакису, — не замедлил воспользоваться этим обстоятельством. В том же году, в ноябре я приехал в Москву, где еще не успел остыть успех «Лама-ры». После долгого ожидания мне удалось встретиться в Кремле с Енукидзе, весьма влиятельным в делах культуры. Он был антиподом Сталина. И много помогал. <...> Я сказал, что могу помочь организовать за границей гастроли театра. Благодаря ему я получил паспорт»²⁹.

В начале марта 1931 года Робакидзе с женой и племянницей выезжает в Берлин. В ноябре того же года его исключают из правления Федерации грузинских писателей. В 1932 году писатель стал получать от друзей и родственников письма с советами срочно вернуться в Грузию. Письма показались Робакидзе подозрительными (в письмах к Цвейгу он рассказывает о своих сомнениях). Писатель пребывал в раздумьях. Жизнь в Германии не была его главной целью — к так называемой «западной цивилизации» он относился, скорее, скептически. «На Западную Европу, — свидетельствует писатель Николаус Зомбарт, с семьей которого Робакидзе поддерживал в свое время тесные отношения, — он взирал свысока, с чувством превосходства, как человек, принадлежащий к другой, более древней и благородной расе, близкой к изначальному познанию. Европа для него была источником того неостановимого мирового распада, который он понимал как изгнание из мира богов»³⁰. Наконец, в 1933 году, приняв, по-видимому, окончательное решение, Робакидзе соглашается на издание в Германии своего нового романа «Убиенная душа»³¹. На примере своего героя, писателя Тамаза, Робакидзе показал в этой книге, как государственная карательная машина убивает волю и калечит душу человека. Сопоставляя систему ГПУ с организацией П. Верховенского в «Бесах», он стремился раскрыть механизм публичных покаяний на советских показательных процессах, а Сталина изобразил демоническим диктатором, присвоившим себе огромную власть. Публикация этой книги навсегда отрезала ему путь на родину. Его друзья были вынуждены публично от него отречься, да и сам Робакидзе не слишком удивился, увидев подписи некоторых из них под письмом в президиум Союза советских писателей с требованием лишить его советского гражданства (что и произошло в апреле 1935 года)³².

В Германии же его дела складывались, на первый взгляд, весьма удачно. Посвященные Грузии книги писателя («Меги. Грузинская девушка», 1932³³; «Кавказские новеллы», 1932; «Убиенная душа», 1933; «Зов богини», 1934; «Хранители Грааля», 1937³⁴) издавались в немецком переводе престижными издательствами Ойгена Дидерихса и Антона Киппенберга. Глубже овладев языком, Робакидзе начинает писать по-немецки³⁵. Романтическая экзотика и самобытный язык способствовали успеху его произведений, отзывы о которых нередко носили восторженный характер. В немецких журналах и газетах печатаются статьи Робакидзе о грузинской истории, этнографии, мифологии, а также — статьи, посвященные его творчеству, интервью с ним³⁶. Кажется, писатель достиг своей основной цели — познакомить западный мир с историей и культурой Грузии.

Однако мифопоэтическое жизневосприятие, сформировавшееся под воздействием модных неоромантических настроений начала века, тяготение — с опорой на понятия «раса», «почва» и т. п. — к древнему (идеальному!) человеческому типу, «языческий» культ солнца, земли и огня — все это сохранялось у Робакидзе и в 1930-е годы и закономерно вело его к сближению с идеологией Третьего Рейха. Уничтожение всего «божественного» и «живого», что происходило в России, побуждало Робакидзе (и не его одного) с надеждой обращать свой взор на Германию. Не удержался писатель и от апологетических выступлений. Особенно опрометчивым (и пагубным для его репутации) шагом было издание книги «Адольф Гитлер глазами иностранного поэта»³⁷, восторженно принятой в официальных кругах. Эту книгу, по трагической иронии судьбы, напечатало то же издательство Дидерихса в Йене, где в 1928 году Робакидзе — при поддержке Стефана Цвейга — начинал свой литературный путь в Германии.

Свидетельствует современник: «Геббельс включил эту книгу в список рекомендуемой партийной литературы. Были проданы сотни тысяч экземпляров. Ходили слухи, что Геббельс пригласил «писателя-иностранца» к себе в Министерство пропаганды и тот якобы был очарован большими глазами Йозефа Геббельса. Более того: получив заказ написать такую же книгу о Муссолини, он ответил согласием. Его пригласили в Рим на аудиенцию, и в самый разгар войны он неделями жил на Капри за счет итальянского правительства. Результат его медитаций на острове оказался такой: Муссолини — «солнечный человек»!³⁸ Эту книгу также включили в список партийной литературы. Робакидзе воистину добился успеха»³⁹.

Конечно, прославляя Гитлера и Муссолини, Робакидзе менее всего думал о почестях со стороны нацистского режима. Выпавший на его долю успех (о Гитлере в то время писали многие) был неожиданностью для него самого⁴⁰. Ни тогда, ни позднее Робакидзе не считал эти книги «фашистскими» (в чем и пытался убедить французского писателя М. Бриона в письме от 17 июля 1950 года⁴¹). Грузинский писатель стал заложником собственных романтических иллюзий. По мнению А. Гомартели, «фатальным для Робакидзе, переносившего на грузинскую действительность учение Ницше, эстетику символизма и миф, оказалось влияние ницшеанской концепции сверхчеловека-Заратустры. Воплощение сверхчеловеческой природы Григол Робакидзе видел в исторических личностях. <...> Поэтому он писал о Жордания и Ленине, Сталине, Гитлере и Муссолини. Для писателя не имели значения взгляды, идеи или национальные позиции этих личностей. Его очаровывали в них демонизм речи, неукротимая стихия огня»⁴². Соглашаясь в целом с этими словами, следует уточнить, что симпатии Робакидзе в 1930-е годы склонялись все же не в сторону советских вождей, а в сторону нацистского фюрера. Вероятно, Гитлер очаровывал его (как многих современников) своим «дионисийским» безумием, Сталин же безусловно отталкивал своим политическим цинизмом. Духовная драма Робакидзе — в его неспособности отделить Миф от Истории или сделать, по крайней мере, выводы из судьбы любимого им Стефана Цвейга и других немецких писателей, которым пришлось в 1930-е годы покинуть Германию, подобно тому как он сам вынужден был в свое время оставить родную Грузию⁴³.

Почти всю войну писатель провел с семьей в Берлине, откуда в апреле 1945 года перебрался в Швейцарию, где получил официальный статус «интеллектуального эмигранта». До конца жизни Робакидзе прожил в Женеве. Он продолжал работать — писал эссе и книги, так и оставшиеся неизданными: «Фридрих Ницше», «„Доктор Фаустус“ Томаса Манна», «Израиль как тайна и рок», «Грузинское мировосприятие»⁴⁴. Все эти годы он тосковал по Грузии, о чем свидетельствуют его статьи в парижском грузинском журнале «Беди картлиса» («Судьба Грузии») и письма к младшей сестре Лидии (после войны она разыскала брата через Красный Крест). Кроме того, писатель продолжал следить (в основном по эмигрантской прессе) за новинками и крупными явлениями в русской литературе⁴⁵. Робакидзе умер в своей женевской квартире в возрасте 82 лет. Он был похоронен на женевском кладбище, откуда его прах перенесен затем на грузинское кладбище в окрестностях Парижа.

Ниже публикуются три очерка Робакидзе, опубликованных в 1927 году в тбилисской газете «Заря Востока» под рубрикой «Листки из Европы» (№ 1440. 1 апреля. С. 5; № 1443. 5 апреля. С. 5; № 1452. 15 апреля. С. 5), а также часть его писем к Стефану Цвейгу за 1927 — 1934 годы (всего сохранилось около ста документов), оригиналы которых хранятся в Библиотеке Рид (Reed Library), Фредония, США.

¹ Д. Рейфилд. Григол Робакидзе. // Литературная Грузия. 1990. № 12. С. 206.

² Сам Робакидзе обычно называл в анкетах другую дату: 1884 г.; эта же дата приводится

с его слов и во всех энциклопедических справочниках. Однако в метрическом свидетельстве Робакидзе указан 1880 г. См.: А. Бакрадзе. Карду, или Жизнь и подвиг Г. Робакидзе: Тбилиси, 1999. С. 5–7 (на груз. яз.).

³ Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 171.

⁴ Цит. по: А. А. Соболев. Мережковские в Париже 1906 — 1908. // Лица. Биографический альманах. <Вып.> 1. М. — СПб., 1992. С. 355.

⁵ Там же. С. 356. Статья Робакидзе, озаглавленная «Из неизвестной грузинской поэзии. Поэт Важа-Пшавела», опубликована в № 8 «Русской мысли» за 1911 год.

⁶ См.: К. Имедашвили. «Ничего больше не прошу я у Грузии...» // Литературная Грузия. 1988. № 2. С. 117.

⁷ См.: Переписка Г. Робакидзе с Вяч. Ивановым / Публ. Т. Никольской. // Русско-итальянский архив П. Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Салерно, 2002. С. 175.

⁸ Там же. С. 179.

⁹ Цит. по: С. Исаков. Сквозь годы и расстояния. Таллин, 1969. С. 147. Председатель грузинского землячества в Тартуском университете Платон Квиркелия вспоминал о выступлении Робакидзе в обществе студентов-юристов на диспуте по поводу повреждения Баяшовым картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Квиркелия пишет, что рядом с Робакидзе «сидел также студент Розенберг, в будущем правая рука Гитлера, который впоследствии запятнал имя самого Робакидзе» (см.: Воспоминания доцента П. М. Квиркелия. // Русская страница. Приложение к газете «Tartu Riiklik Ülikool». 1970. № 7. 22 октября). Упоминается Альфред Розенберг (1893–1946), один из главных идеологов расизма, автор книги «Миф XX века» (1929), с 1941 г. — министр по делам оккупированных восточных территорий.

¹⁰ Г. Робакидзе. Pro domo sua. // Пламя (Тифлис). 1923. № 11. С. 19.

¹¹ Т. Табидзе. С «Голубыми рогами». // Циспери канцеби. 1916. № 1. С. 7 (на груз. яз.).

¹² Агс. Ежемесячник искусства и литературы (Тифлис). 1918. № 1.

¹³ Стихи Робакидзе переводились и на русский язык. См., например: Поэты Грузии. Тифлис, 1921 (пер. В. Гаприндашвили); Золотое руно. 1993. № 1. С. 5–8; и др.

¹⁴ Некоторые статьи (в частности, статья о Чаадаеве) перепечатывались в 1990-е годы. См.: Золотое руно. 1993. № 1. С. 80–101; П. Я. Чаадаев. Pro et contra. СПб., 1998. С. 423–429.

¹⁵ Г. Робакидзе. «Ладья аргонавтов». // Новый день (Тифлис). 1919. № 6. 2 июня. С. 2. Подробнее о деятельности Робакидзе в этот период см.: Т. Никольская. «Фантастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921). М., 2000 (по указ.).

¹⁶ В. Карели. «Мальштрем» Г. Робакидзе. // Заря Востока (Тифлис). 1926. № 1364. 25 декабря. С. 4.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Буквальный перевод названия — «Змеиная рубашка». В переводе на русский язык роман опубликован в журнале «Литературная Грузия» (1991. № 1. С. 7–54; № 2. С. 19–112; № 3. С. 8–77; № 4. С. 121–182; пер. с груз. К. Коринтели).

¹⁹ Д. Рейфилд. Григол Робакидзе. // Литературная Грузия. 1990. № 12. С. 206.

²⁰ А. Гомартели. Грузинская символистская проза. Автореферат на соискание степени доктора филологических наук. Тбилиси, 1997. С. 69.

²¹ К. Имедашвили. «Ничего больше не прошу я у Грузии...» // Литературная Грузия. 1988. № 2. С. 120.

²² См.: А. Бакрадзе. Карду, или Жизнь и подвиг Г. Робакидзе. С. 112–113.

²³ Между Робакидзе и Рихардом Мекелайном (1880–?) завязались и личные отношения; Мекелайн переводил произведения Робакидзе (в частности — роман «Змеиная кожа») на немецкий язык.

²⁴ Там же. С. 113.

²⁵ Фалестра (Европа глазами чужестранца). Роман. Письмо европейским писателям. // Картули мцэрлоба. 1928. № 1. С. 9–42; № 4. С. 59–78; № 5. С. 89–105; № 6–7. С. ? Роман посвящен «Стефану Цвейгу, поэту и человеку». На русском яз. опубликован в журн. «Литературная Грузия» (1991. № 7. С. 3–65; пер. В. Зининой).

²⁶ Мнатоби. 1928. № 8–9. С. 207–215; № 10. С. 184–188.

²⁷ Машинопись этого предисловия, посланного Цвейгу в марте 1927 г., сохранилась среди писем Робакидзе к австрийскому писателю.

²⁸ См., например: К. Буачигзе. Пути современной грузинской литературы. Тифлис, 1930. С. 26.

²⁹ Цит. по: А. Бакрадзе. Карду, или Жизнь и подвиг Г. Робакидзе. С. 117.

³⁰ N. Sombart. Jugend in Berlin. 1933–1943. Ein Bericht. Frankfurt a. M., 1991. S. 147.

³¹ На русском языке роман опубликован в журнале «Дружба народов» (1990. № 4. С. 80–156; пер. с нем. С. Окропиридзе). Позднее глава «Гороскоп Сталина» вошла — в дополненном виде — в книгу Робакидзе «Dämon und Mythos» (Jena, 1935, рус. пер. — Тбилиси, 2001); на рус. яз. под названием «Сталин как дух Аримана» — в журнале «Литературная Грузия» (1990. № 11. С. 157–188; пер. с нем. С. Окропиридзе).

³² См.: Мнатоби. 1935. № 4. С. 187–189.

³³ На русском языке роман опубликован в журнале «Дружба народов» (1993. № 1. С. 75–208; пер. с нем. С. Окропиридзе).

³⁴ На русском языке роман опубликован в журнале «Литературная Грузия» (1990. № 1. С. 3–45; № 2. С. 3–51; № 3. С. 3–60; № 4. С. 10–82; пер. с нем. С. Окропиридзе).

³⁵ Так, по-немецки была написана часть статей, составивших сборник «Dämon und Mythos».

³⁶ Подборка отзывов западной критики о творчестве Робакидзе приводится в посвященном ему некрологе. См.: К. Салиа. Григол Робакидзе. // Беди картлиса (Париж). 1964. № 47. С. 8—10 (на груз. яз.). См. также: А. Бакрадзе. Карду, или Жизнь и подвиг Григола Робакидзе. С. 240.

³⁷ G. Robakidse. Adolf Hitler, von einem fremden Dichter gesehen. Jena, 1940.

³⁸ В первом издании (1941) книга Робакидзе называлась: «Муссолини — человек, отмеченный Солнцем» («Mussolini, der Sonne gezeichnet»); во втором (1942) — «Муссолини. Каприйские видения» («Mussolini. Visionen auf Capri»).

³⁹ N. Sombart. Jugend in Berlin. 1933—1943. Ein Bericht. S. 153.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ См.: А. Бакрадзе. Карду, или Жизнь и подвиг Григола Робакидзе. С. 224—225.

⁴² А. Гомартели. Грузинская символистская проза. Тбилиси, 1997. С. 161 (на груз. яз).

⁴³ Впрочем, легально выехать из Германии в какую-либо другую страну (кроме Италии) Робакидзе, не будучи гражданином Рейха, все равно не мог. На все его просьбы о выдаче заграничного паспорта, поддержанные издательством Ойгена Дидерихса и грузинским земледельчеством в Берлине, фашистское правительство (как в свое время советское) отвечало отказом, что было обусловлено, скорее всего, формальными сложностями. Не помогло и письмо Робакидзе, направленное Гиммлеру осенью 1944 г.

⁴⁴ Фрагмент из этой работы напечатан по-русски в мюнхенском журнале «Литературный современник» (1954. № 4. С. 225—229).

⁴⁵ Так, в неопубликованных письмах конца 1950-х гг. к своему знакомому, писателю М. М. Корякову (1911—1977) Робакидзе, полемизируя с другими русскими критиками, подробно и сочувственно отзываясь о романе «Доктор Живаго» (см.: М. Коряков. К 90-летию Григола Робакидзе. // Русская мысль. 1973. № 2957. 26 июля).

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ

ЛИСТКИ ИЗ ЕВРОПЫ

1

«Metropolis». Ein Film von Fritz Lang.¹

На площади Ноллендорф только и видишь эти слова, писанные электрическими огнями.

Сюжет фильма необычно сложный. В плане урбанистической фантастики открывается фильм. Под землей — громадный город типа Нью-Йорка. Рабочие рождаются там и там же умирают. Солнца и земли они не видали, но утопают в электрическом свете. Рабочие превращены в «машины». Они — механизированные люди. И ритм их движений — ритм машин. Вместо «биологии» — «механика». Выход из города им неизвестен. Строят планы и догадки.

В подземном городе — девушка, которая воспитывает молодое поколение в духе Библии и смирения.

На земле — над городом — владетель города. Его власть — сталь. Земля цветет, и человек отдается чувственным наслаждениям. Конечно, женщины или, лучше, — женские тела. Этими «телами» окружен и юноша, сын владетеля. Ему удается попасть в город. Встречает на прогулке девушку города и сразу пламенеет. Видит нечеловеческую работу рабочих и сразу преисполняется жалости. Влюбленность ли, жалость ли, но юноша остается в городе: переодевается в костюм рабочего и работает.

На сцене появляется сыщик: он ищет сына владетеля.

В эту сеть вносится еще одна линия. Владетель города, на квартире своего бывшего друга, видит извояние своей умершей жены. У «друга» он ее отнял, но «друг» продолжает ее любить, и ему, физику-демонологу, удается оживить извояние. Владетель города потрясен.

Эта сцена наводит владетеля на мысль вызвать тайно девушку из города и вместе с нею и своего сына (сыщик работает не напрасно) и послать на место девушки механическую девушку, предварительно заказав ее извояние.

Так и сделано. Физик приготавливает механическую девушку — необыкновенно похожую на девушку из города. Но у него мысль иная — механическая девушка должна разрушить город: это будет мщением физика. Он превращает ее в апокалиптическую блудницу. Под землей она призывает к восстанию и разрушению города. На земле предается блуду и готовит гибель всем, бешено влюбленным в нее.

Восстание готово. Рабочие разрушают машины. Блудница торжествует. Девушка из города спасает детей. Владелец города узнает, что сын его еще под землей. Ужас. Рабочие выйти не могут. Ужас. Затем — гнев по отношению к девушке. Сжигают ее. Но она оказывается «не тою». Настоящая девушка жива. Ее преследует физик. Яростная схватка с сыном владельца. Владелец видит схватку (он уже в городе). Под конец, «конечно», побеждает сын, но, «разумеется», он — жених девушки, и — что важнее всего — отец через сына подает руку рабочим.

Мы нарочно остановились так долго на сюжете фильма. Он сложен своею путанностью, и строение его гипертрофировано перегруженностью. Тути «Ева грядущая» Виллье де Лиль Адана,² и «Обреченные» Клода Фаррера,³ и «Конь Блед» Валерия Брюсова,⁴ и сам Апокалипсис, и вся экспрессионистская техника «машинизирования». Очевидно, фильм задуман в ту пору, когда в германских художественных кругах господствовал экстремизм, своего рода Sturm und Drang* после катастрофического военного положения.

Немцы гордятся этим фильмом.

По «технике» можно признать эту претензию. Гигантский подземный город, фантастический межпланетный Нью-Йорк сделан безукоризненно. Гигантские небоскребы. Улицы над улицами. Квадраты и кубы, параллели и перпендикуляры. Виадук — как железобетонные радуги. Несущиеся по ним автобусы, омнибусы, поезда, трамваи, видные с птичьего полета, как муравьиные движущиеся точки. «Бред геометрии» и «малярия механики». Все это передано с немецкой основательностью.

Обращает внимание и самый ритм машин и ритм работающих у машин рабочих; они крепко слажены и согласованы. Прекрасно передана работа масс над сооружением башни. Очевидно, так работали египтяне над постройкой пирамиды. Хорошо сделан взрыв машин. Актерская игра на высоте и т. д. и т. п.

И все же художественно этот фильм неудачен (не говорю о спорных моментах его идеологического строения). Сюжет запутан: туда вплетено решительно все. В его строении нет четких ясных линий. В фильме попадаются «символические» места.

«Символика» удастся в лирическом восприятии вещей. Меньше удастся она в «прозе». Еще меньше — в театре. А в кино она совершенно недопустима. «Metropolis» портит перегруженность и, главное, недостаток вкуса. В Берлине, например, миллионы галстуков всех форм, всех цветов, всех линий и всех окрасок. И все же, нужно думать, Уайльд не мог бы тут выбрать галстук. Нет «вкуса».

Теперь об одной детали, касающейся всех кино Берлина. Фильм, как всегда, сопровождается музыкой. Оркестр прекрасен всюду. Дирижер «смыслов» подгоняет под ход фильма музыку (может быть, по готовой партитуре). В стране классической музыки забывают, что музыкальный образ многозначен и что он редко совпадает со зрительным образом. В комических местах это «совпадение» удается чаще, но в других — подчас вызывает ощущение диссонанса.

Но что уж совершенно недопустимо, это — когда хотят передать музыкой предполагаемый слуховой образ. В фильме часовой свистит — в оркестре свист. В фильме звонят в колокола — в оркестре звон колокола. Это создает впечатление «неловкости» и невыносимости.

Еще одна деталь: фильм идет без перерыва, без деления на части — и это, пожалуй, лучше.

2

«Die neuentstehende Welt» — книга Германа Кайзерлинга.⁵ Единственная в своем роде для характеристики современных европейских умонастроений. Кайзерлинг — не «отвлеченный» философ. Отвлеченная философия, став-

* Буря и натиск (нем.).

шая специальной наукой «думания о думании», в последнее время в Германии как будто идет на убыль. Философия потянулась в сторону конкретного, цельного знания. Появились отдельные философские базы наподобие Платоновской академии. Около мыслителей группируются их ученики и исследователи, входят в тесное общение друг с другом, издаются книги и журналы, устраивают публичные заседания и т. п. Имена этих мыслителей: Освальд Шпенглер, Мартин Бубер, Макс Шелер, Фробениус, Юнг, Зигмунд Фрейд.

В этом же ряду идет и Герман Кайзерлинг. Он возглавляет самую значительную философскую «общину» в Дармштадте. Книга его «Путевой дневник философа» — самое крупное явление после нашумевшего на всю Европу «Заката Европы» Шпенглера. Его «Школа» каждый год один-два раза устраивает в Дармштадте конгрессы с докладами, экскурсиями, сообщениями и т. п. На один из этих конгрессов был приглашен Рабиндранат Тагор. «Школа» издает ежегодник. В этом году публичные заседания будут устроены в конце апреля.

Итак, новая книга Кайзерлинга, единственная в своем роде.

О чем она трактует? Тема — новый мир, рождающийся перед нашими глазами.

Попытаемся схематически передать мысли автора, по возможности, его же словами и формулами.

Культура — жизненная форма непосредственного выражения духа. Культура — духовный организм. Как организм она подвержена становлению и исчезновению. Что характеризует современная культура? Момент «переносимости». В прежних культурах этого не было. Там доминировал момент «непереносимости». Культуры были в себе замкнутые монады, без окон и без дверей. От одной монады к другой не было перехода. Теперь же происходит нечто иное. Мир технизируется постепенно. Техника — вещь легкая и доступная. Она не требует «исключительности». Наоборот, она строится на моменте «само собой разумеющегося». Совершенно необразованный человек может понять структуру «auto». Радиоразговор скоро станет таким же легким умственным актом, как дважды два — четыре; и вот: развивающаяся техника разрушает все «двери» и все «окна». Она врывается в замкнутые монады и выводит их наружу. Сейчас господствует момент «переносимости».

Люди становятся свободными от всяких «традиций». «Сыновья» не понимают «отцов». Браман, который предпринял морское путешествие, уже порвал со своими корнями. «Органика» переходит в «механику». Новый ритм — новый танец. Современный танец говорит больше, чем целое социологическое исследование. «Джаз-банд» — знак эпохи. Танцуют — танцуют; парни и девушки. Молодежь едва ли знает «любовь». «Чувства» находят «несовершенными», потому что она их не имеет. Витализм молодежи в ее спортивности. Наши дети хотят быть шоферами (они говорят «инженеры», но думают — «шоферы»).

И это верно. Репрезентативный тип современной культуры — шофер. Прежде был «рыцарь», был «священник». Теперь — «шофер». «Шофер» — технизированный примитив. Чем современнее человек, тем сильнее действует на него «техническое», давая ему чувство свободы и чувство силы. Американец был шофером.

Техника не знает и не любит «глубин». Современность порвала с «глубинами». И потому она становится бессмысленной. Но в этом — ее исторический «смысл». Только новые типы могут найти сейчас жизнь осмысленной. Шофер принадлежит к действительному типу. Он жизненный тип. Случай вымирания не в этом типе, а в типах старой культуры. Умирает жизненная традиция — умирает ее «смысл». Умерла египетская культура, хотя современный феллах принадлежит к расе, которая когда-то рождала фараонов.

Репрезентативный тип шофера дает знать о новых людях, фашистах и большевиках. Фашист — итальянский шофер, большевик — русский шофер. Тип шофера правит в России, ибо он сильнее других (верит ли он в коммунизм или нет, как в эпоху Ренессанса правили папы, не веря в христианство). Что бы ни

говорили, историю сейчас творят эти новые люди: фашисты и большевики.⁶ Все «среднее» выметается как ненужное и отмирающее.

«Переносимость» — вот знак происходящего сейчас. Но в этом и знак «нового». Мы входим сейчас в новую универсалистскую эру. Новая универсальная действительность — основа универсалистских теорий и движений. Мы находимся в преддверии новой эпохи, «ойкуменической». Первый пример — Антанта. Она распалась. После Версаля образовались союзы неслыханной силы. Первый: англо-саксонский мир с двумя центрами (Лондон и Нью-Йорк). Второй: панславянский мир. Третий (и самый важный): Советский Союз.

В программу последнего входят: 1) освобождение Востока от империалистического Запада; 2) освобождение до того подвластных классов и народов; 3) идея технизирования без эксплуатации; 4) восприятие Востоком западного мироустройства. Первые два пункта понятны всем. Третий идет по большевистской методе. Четвертый (материализация Востока) означает поворот Востока к «мирскому» (Восток был всегда спиритуален). Коммунистическим не останется ни Восток, ни сам Советский Союз. Последний будет менять формы точно так же, как и христианство. После столетий Восток так же примет слово России, как мы, европейцы, в свое время приняли слово еврейское. В этом отношении Москва — исторический символ.

«Я против большевистского метода, — продолжает Кайзерлинг. — Я нахожу его сатаническим. Но не в этом суть. Я знаю, что самые благородные, самые культурные типы загнаны сейчас куда-то вовнутрь. Они, должно быть, думают и чувствуют иначе. Но они — в незначительном меньшинстве. А сейчас — ставка на массы. Сейчас — линия «больших чисел». Я знаю, что культура немыслима без религии и вне религии. Но сейчас массы атеистичны и даже антирелигиозны. Я знаю, что будущий «ойкуменический» человек не будет ни сыном, ни внуком «шофера». Но сейчас только представители этого типа готовят почву для «ойкуменического» мира. «Ойкуменическое» состояние будет страшно напряженным и, следовательно, полным взрыва. Но как раз потому его подготовителями являются не политики «выравнивания», а героические универсалисты, прототип которых представляют большевики».

Христос преобразил мир, но и Ленин преобразовал мир, хотя бы и в другую сторону.

«Не представлялось абсолютно никакой необходимости, чтобы Россия, несмотря на все течения современности, стала большевистской. Это случилось потому, что некий высший дух с высшим познанием необходимых психологических, логических и материальных средств, воплотил вполне последовательно и законченно ясно осознанную действительность именно так, а не иначе».

Все великие фигуры (Geister) были реалистами, как Ленин. Надо быть реалистом. Надо иметь чувство реальности. Надо глубоко осознать действительность. Надо иметь чувство глубочайшей ответственности. И только тогда можно активно войти в творческий поток истории.

О книге Кайзерлинга будут писать многие. Об этом — впереди.

Берлин, 17 марта

3. ВЕЧЕР ВЕРФЕЛЯ

В воскресенье, 20 марта, был объявлен доклад Франца Верфеля. Устроитель вечера — «Союз немецких повествователей». Место — пленарный зал рейхстага. Я направился туда. По дороге встречаю Переца⁷ (вездесущий, что ли?...). Когда я ему открыл, куда я иду, он вскипел:

— Не делайте, ради Бога, глупости... Экспрессионизм отцвел... Нашумел и отцвел... И это — в какие-нибудь 5—6 лет... Поразительно... Ни одна литературная школа не умирала так рано... Или вы хотите, чтобы я вам показал, до

чего выродилась экспрессионистская лирика? Вот вам «Берлинер Тагеблатт»... Вот стихотворение самого Верфеля... Читайте...

Я читаю (привожу в текстуальном переводе):

Он дает скрипкам цветок
И приглашает их шельмовым взором к танцу.
В отчаянии выпрашивает он у жести блеск
И осыпает детски флейт мякишем.
Глубоко гнет он колено перед святостью
Пианиссимуса, звукомонстранца*.
Все же его ласточкин хвост развязывают волны,
Когда он «Tutti» стегает плетью себе на славу.
Кулаком держит он конечный аккорд.
Затем удивляется он, окаменев на месте,
Вызванному звуку, как клоун,
Под конец, сухо благодаря за хлопки,
Показывает он вид обремененного спасителя,
Понуждая нас — поверить ему еще в большем.⁸

Мой приятель хохочет.

— Это называется «лирикой»!.. Да еще в сонетной форме?! Это — хроникерское описание циркового номера.

Я читаю:

«Перепечатка воспрещена»...

— Да какой же дурак перепечатает эту глупость?.. И вы хотите пойти на его вечер?..

— Видите ли, герр Перец... Мой друг, поэт Сандро Шаншиашвили,⁹ который перевел на грузинский язык «Шпигельменш» Верфеля...¹⁰

— Что?.. «Шпигельменша» перевел?..

— Да... И просил меня перед отъездом сюда передать ему братский привет.

— В таком случае идем... Но заранее сообщаю вам, что ничего интересного не будет.

— Посмотрим...

Поехали. Пленарный зал рейхстага почти полон. Много брюнетов (и это в Берлине). Три четверти женщин типа «курсисток» довоенного времени. Но мода берет свое: колени и у них оголены.

На кафедре появляется кто-то (тоже брюнет), говорит о Верфеле, говорит плохо, просто бездарно. Часто бросает фразу: «Поэт гениального дарования». Мой приятель в бешенстве. Он шепчет мне:

— Теперь все поэты «гениального дарования»... Да на что мне твое «дарование»?.. Ты мне творение дай... гениальное!..

— Тсс... — слышится в публике. Мой приятель прерывает монолог.

Появляется Верфель. Аплодисменты. Маленького роста. Чрезмерно тучный. Лицо жирное. Брюнет. Волосы растрепанные, уже поредевшие. Умный, крепкий лоб. Глаза чуть навывкате — и будто испуганные: в очках. Первое ощущение — тучность и круглость. Можете представить, как сидит на нем фрак.

Читает вторую половину повести «Смерть маленького буржуа». Повесть появилась давно.¹¹ Мой приятель опять в бешенстве:

— Он предполагает, должно быть, что мы читать не умеем... Ах ты...

— Тсс, — раздаётся в публике.

Верфель читает. Повесть сама по себе ничего особенного не представляет. Вообще, после «Шпигельменша» Верфель не давал ничего выдающегося. Читает повесть Верфель. Голос зычный и крепкий. Читает в совершенстве: артистически.

Мой приятель боится протеста публики. Берет программу и пишет на ней

* Monstranz — дароносица (нем.). — Примеч. автора.

свои афоризмы: «Чтобы быть оратором, нужно иметь голос... Этого недостаточно. Нужно моторно владеть голосом...»

Я читаю и приписываю: «Притом: не надо бояться нарушения правил логики и грамматики, особенно грамматики...»

Мой приятель в восторге. Пишет: «Именно, именно... как я забыл это, я, Кико Перец?!»

Верфель читает. Он моторно чувствует ритмику переходов. В чтении дает подлинную динамику... Если бы не фигура аполексического сложения... Восходя все выше и выше. Вдруг замечаешь, что с ним что-то неладное: кажется, будто давит и глотает отрыжку... Но это на один миг.

— Ему бы лучше на провинциальной сцене играть... Именно «маленького буржуа», хотя бы пивовара, а не...

— Тсс... — Мой приятель уже забыл, что афористические отзывы лучше заносить на края программ...

Кончает Верфель. Громкие аплодисменты. Я иду в кулуары. Хочу видеть Верфеля. Пока я добрался, уже второй звонок. Верфель растерянно встречает меня (накануне я оставил ему записку). Несколько отрывочных фраз. Но... устроитель зовет — и он выбегает на сцену. Читает стихи. Стихи читает хуже, чем прозу. Кончил читать. Опять аплодисменты, очень дружные и продолжительные.

Я стою на прежнем месте. Думаю: когда кончит кланяться — заговорим. Но Верфель не кончает. Он стоит у двери, наклонив голову. Прислушивается к хлопкам — кубарем выбегает. Выходит — и опять у двери — и опять в прежнем положении. Он ничего не замечает. Он прислушивается к хлопкам. Последние становятся все меньше и меньше. Но Верфель все же выходит. Ничего подобного я еще не видал. Человек должен быть глубоко «несчастливым», чтобы так быть счастливым от хлопков. Верфель дрожит от «счастья». Где-то еще кто-то аплодирует. Верфель опять летит...

Жалко стало человека. Ушел.

Так и не передал привет от моего Сандро.

Берлин — Шарлоттенбург

¹ «Метрополис». Фильм Фрица Ланга (нем.). Фриц Ланг (1890—1976) — немецкий режиссер. В начале 1920-х гг. создал такие шедевры мировой кинематографии, как «Усталая смерть» (1921), «Нибелунги» (1924) и экспрессионистский фильм «Доктор Мабузе — игрок» (1922). Фильм «Метрополис» вышел на экраны в 1926 г.

² Вилье де Лиль Адан (1838—1889) — французский писатель. В романе «L'Ève Future» (1886), который обычно переводится на русский язык как «Ева будущего», рассказывается об изобретении Эдисоном для своего друга, лорда Эвальда, искусственной женщины Андириды, неотличимой от возлюбленной лорда Алисии.

³ Клод Фаррер (1876—1957) — французский писатель. Роман «Обреченные» (1920) принадлежит к жанру антиутопий.

⁴ «Конь Блед» — стихотворение Брюсова (1903), проникнутое апокалиптическими настроениями.

⁵ «Новое рождение мира» (нем.). Герман Кайзерлинг, граф (1880—1946) — философ, оккультист, основавший в 1920 г. в Дармштадте «Школу мудрости». Автор широко известной книги «Путевой дневник философа» (1919). Ознакомившись с этой книгой летом 1926 г., Робакидзе воспринял ее как «откровение». «Интуитивное проникновение Кайзерлинга в глубину Востока, — писал он в неопубликованном предисловии к «Змеиной коже», — не знает границ». Книга «Новое рождение мира» появилась в 1926 г.

⁶ Тема большевизма и фашизма станет впоследствии важной для самого Робакидзе. Так, в книге «Убиенная душа» (1933), отталкиваясь от данного Кайзерлингом определения «шофера» как репрезентативного типа современной культуры, Робакидзе характеризует Тамаза, главного героя романа, как «смесь лорда с шофером». Имя Кайзерлинга также встречается на страницах «Убиенной души». А в романе «Хранители Грааля» (1937) граф Герман Кайзерлинг назван среди авторов книг, имеющих в библиотеке князя Георги, одного из героев романа.

⁷ Кико Перец — берлинский приятель Робакидзе, выведенный в романе «Фалестра» под именем Кико Петерец. Ему посвящена также предшествующая главка в «Листках из Европы», где, в частности, говорится: «Никто не знает его адреса. Никто не знает, чем он живет. Никто не знает его происхождения» (Заря Востока. 1927. № 1452. 15 апреля. С. 5).

⁸ Стихотворение «Дирижер» из сб. «День Страшного Суда» («Der Gerichtstag», 1919). Перевод Робакидзе грешит смысловыми неточностями и создает искаженное представление о поэтическом стиле Верфеля.

⁹ Сандро Шаншиашвили (1888 — 1979) — грузинский драматург и переводчик, поэт. Перу Робакидзе принадлежит рецензия на поэму Шаншиашвили «Чаровница» (см.: Г. Робакидзе-Кавкасиели. Она // Кавказ. 1915. № 3. 4 января. С. 3).

¹⁰ «Spiegelmensch» («Человек из зеркала») — драма Верфеля (1920; первая постановка — в 1921 г.). Русский перевод — 1922 г.

¹¹ «Der Tod des Kleinbürgers» — новелла Верфеля (1927). В русском переводе — «Смерть мещанина» (Л., 1927). Другие возможные переводы — «Смерть мелкого буржуа», «Смерть обывателя».

Примечания Татьяны Никольской

«Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ЗАЛЬЦБУРГ...»

Из писем к Стефану Цвейгу

1

[начало апреля 1927]

Многоуважаемый господин,
искренне благодарю за Ваше подробное письмо. Мне даже трудно оценить в данный момент, чту Вы для меня сделали. Ваш отзыв о моем романе нахожу справедливым. Мое «слово» имеет в оригинале ритмическую природу. Однако в буквальном переводе... Меня очень радует, что Вы почувствовали внутреннюю суть моего произведения. Это для меня все. Недавно я перечитал мою «Змеиную кожу», и сегодня мне тоже кажется, что в ней «таится ошибка»: отсутствует формальная завершенность. Как это мучительно — «оперировать» художественное произведение! Но если уж Вы собираетесь на целую треть сократить «Иеремию», наиболее значительную из Ваших книг,¹ — то я, без сомнения, должен «оперировать» и мою «Змеиную кожу», тем более что Вы советуете мне это сделать и как друг, и как писатель. Для меня незабываемы эти слова: «Не растрачивайте огромный капитал, который Вам дан, — ведь будучи призванным к тому, чтобы впервые представить грузинский мир европейскому,² Вы делаете это в несовершенной форме». Этих слов для меня достаточно для того, чтобы запастись терпением и добиваться «совершенной формы». Мне только хотелось бы, чтобы Вы — пока я буду заниматься этим «усовершенствованием» в моем берлинском уединении — вновь пришли мне на помощь. Я буду отделять мое произведение... Сердечное Вам спасибо за обещание написать о «Ламаре»...³ Я пробуду в Европе, по-видимому, до 1 января 1928.⁴ Можно ли мне пригласить Вас в Грузию? Как это было бы замечательно! И как рады будут видеть Вас в Тифлисе мои друзья! Вы напишете, знаю, «Грузинские истории».

Сердечный поклон от всецело Вам преданного

Григола Робакидзе

¹ Имеется в виду книга: S. Zweig. Jeremias. Eine dramatische Dichtung in neun Bildern. Leipzig, 1917. О том, что «эта пьеса слишком многословна и длинна» и что он готов сократить ее «по меньшей мере на четверть», Цвейг писал 10 мая 1926 г. в ленинградское издательство «Время» (см.: Стефан Цвейг. Письма в издательство «Время» / публ. К. М. Азадовского. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977. С. 228).

² Ср. со словами Робакидзе в предисловии к немецкому изданию романа «Меги. Грузинская девушка»: «В октябре 1928 г. вышел в свет мой роман «Змеиная рубаха» на немецком языке. Это событие имело для меня особо важное значение, ибо книга эта является первым литературным произведением, представляющим европейскому читателю более чем 1500-летнюю грузинскую культуру» (цит. по: Г. Робакидзе. Меги. Грузинская девушка: Роман / Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе. // Дружба народов. 1993. № 1. С. 75).

³ Это обещание Цвейг, насколько известно, не смог исполнить.

⁴ В оригинале ошибочно: 1927. В действительности Робакидзе возвратился в Грузию 25 октября 1927 г. См. сообщение в местной газете: «Вчера в Тифлис возвратился из Берлина грузинский писатель Григорий Робакидзе» (Заря Востока. 1927. № 1611. 26 октября. С. 6; раздел «Хроника искусства»).

2

22 апреля 1927

Многоуважаемый господин,
пожалуйста, простите меня за то, что тревожу Ваш покой моими бесконечными письмами. Один раз (даже много раз) человек имеет право на слабость. В эту минуту я слишком слаб; признаюсь Вам в этом открыто. Если Вам доведется когда-нибудь услышать мою биографию — а я убежден, что Вы ее однажды услышите, — тогда Вы извините меня за нынешнюю слабость духа. В данный момент я разбит морально... Господин Бубер¹ написал мне тогда: «Независимо от этой строгости тайных весов я считаю, что Ваша книга — разумеется, лишь после того как перевод будет полностью обновлен и исправлен, — безусловно заслуживает быть напечатанной, поскольку в ней содержится нечто о народной душе, достойной любви и знания. В этом смысле я написал господину Нойману и сегодня отправил рукопись в „Рютген & Лёнинг“²... Однако господин Нойман пишет: «В предисловии и Вашем сопроводительном письме Вы развиваете основную идею, воплощение которой весьма далеко от того, что Вы излагаете. Смею даже сказать, что Ваш замысел не только превосходит, по-видимому, Ваши возможности (с этим, впрочем, Вы и сами согласны!), но и становится порой — благодаря схеме, избранной Вами для романа, — банальным, а местами просто невыносимым. Почему? Потому что непосредственное действие романа часто оказывается неуклюжим, а еще чаще — крикливым! Закрадывается подозрение, что Вам виделись какие-то европейские образцы, которые, однако, не пошли Вам на пользу». И т. д. и т. п. «Банально... Неудачно... Крикливо...» Каждый человек имеет право сомневаться... Неужели я действительно слеп и ничего не вижу?! Господи! Неужели я послал Вам «банальное», «неуклюжее» и «крикливое» произведение?... Только об этом я и хотел написать. Я чувствую в каждом подлинном писателе собрата. Я чувствую в Стефане Цвейге подлинного собрата. Здесь, в Берлине, нет ни одного человека, с которым я мог бы говорить об этом. Я здесь ужасно одинок. Одиночество же опасно. От этого напряжения я почти утратил мою силу. Сейчас я снова перечитал Ваши письма ко мне. В них — подлинно человеческое и поэтическое чувство. И в сомнамбулическом состоянии я принялся писать Вам это письмо.

Совершенно преданный Вам

Григол Робакидзе

¹ С Мартином Бубером (1878—1965), известным религиозным философом и эссеистом, Робакидзе познакомился в Берлине в марте 1927 г. «Глубокий мыслитель (хотя и устремленный преимущественно к специфически еврейским феноменам), выдающийся писатель, доб-

рый человек — таково мое впечатление», — рассказывал он 27 марта 1927 г. в письме к С. Цвейгу. Буберу посвящена одна из корреспонденций Робакидзе в серии «Листки из Европы», озаглавленная «Еще раз о характерологии» (Заря Востока. 1927. № 1516. 2 июля. С. 5); излагая здесь взгляды Бубера на судьбы еврейства, Робакидзе не сообщает, однако, о личном знакомстве.

В неопубликованном предисловии к роману «Змеиная кожа» Робакидзе называет две книги Бубера, которые — наряду с книгой Германа Кайзерлинга «Путевой дневник философа» — оказались для него «откровением»: «Три речи о еврействе» и «Легенда о Баалшаме». С этими книгами, по словам Робакидзе, можно сравнить лишь очерки «самого оригинального из русских мыслителей» В. В. Розанова и книгу М. О. Гершензона «Ключ веры».

² «Rütten & Loening» — известное немецкое издательство во Франкфурте-на-Майне; Адольф Нойман (1878—1953) — сотрудник этого издательства.

Одним из руководителей издательства был (с 1905 г.) Мартин Бубер.

3

9 сентября 1927

Многоуважаемый господин Цвейг, благодарю за Вашу дружескую открытку. Хочу Вам кое-что сообщить о судьбе моего романа. 20 мая я писал Вам: «Почти закончил переделку моего романа». Слава Богу, что я написал «почти», ибо за то время, что роман переводился на немецкий язык, я еще немало работал над этим произведением (три месяца). Теперь оно обрело законченную форму. Некоторые места я значительно сократил, некоторые изменил, некоторые дополнил. Полагаю, что в своем нынешнем виде роман стал значительно лучше. Но как мне опубликовать его? Моим романом интересуются несколько издателей. Но издатели прежде всего деловые люди и смотрят на все с «деловой» точки зрения. Приведу пример. Мартин Бубер написал одному издателю следующее письмо: «Господин Робакидзе просит меня написать несколько слов по поводу представленного Вам романа. В свое время я читал этот роман в беспомощном черновом переводе... но и этого чтения было достаточно, чтобы у меня сложилось впечатление о своеобразном повествовательном даровании, наиболее замечательными качествами которого являются: весьма импрессионистическое, но острое и подлинное видение и удивительное умение проникать в те «тайны истории», чьи темные и волнующие загадки вплетаются в хроникку современных событий. Думаю, что новизной своего материала, а также своей художественной манерой эта книга заинтересует широкие круги немецкой публики». Так пишет М. Бубер. Но эти слова — пустой звук для делового человека, который пишет: надо еще «подумать» и т. д. Я не понимаю этой деловой психологии. Я создавал свое произведение для «людей», а не для «масс». Кроме того, издатели отдают каждую рукопись своим редакторам (и редактрисам!), а те все делают в страшной спешке и потому не способны к творческому погружению в рукопись. Европа совершенно не знает меня как писателя, к тому же — грузин («Что это такое, Грузия?» — «А, это там, где красивые женщины!»... и т. д.). Сомневаюсь, что при таких обстоятельствах мне удастся найти в Европе издателя. Конечно, я мог бы попросить и Вас написать какому-либо издателю о моем произведении. Уверен, что Вы написали бы такое письмо. Но деловой человек все равно будет «думать» и ждать «критического отзыва» от редакторов (и редактрис!). Это — самое невыносимое! Поэтому я теперь собираюсь издать мой роман на собственные средства (я очень беден, но могу немедленно продать в Тифлисе часть моей библиотеки). Вы спросите: зачем Вы это делаете? Отвечу Вам кратко... Мой народ — очень древний и очень талантливый. Но со времен монголов он пребывает в состоянии «искоренения». В этом — его трагедия. Мой народ понимает меня не до конца. Моя эстетическая линия была (и остается) такой: Шарль Бодлер, Артур Рембо, Поль Верлен, Верхарн, Поль Клодель, Райнер Мария Рильке, Стефан Георге, Стефан Цвейг, Достоевский, Ницше, Розанов, Мережковский, В. Иванов, Ал. Блок, Андрей Белый. Вы как художник и критик поймете, что я имею в виду. Как же мне продолжать эту линию в Грузии? Только творчески. Но «творчество» не знает механических путей: оно

всегда органично. Если я в моем творчестве обрел тысячелетние корни моего народа, значит, я продолжил и эту эстетическую линию. Я по преимуществу лирик. Я создавал надличностную поэзию. Кроме того, я — драматург. Не в смысле европейской «буржуазной драмы» (автор «Иеремии» хорошо поймет меня!). Внутренняя структура моих драм музыкальна (это почувствовал и великий писатель Ромен Роллан¹). «Змеиная кожа» — мое первое произведение (отсюда — его «эпическая неумелость», как Вы верно заметили). В Грузии я весьма знаменит. Но люди ценят меня по третьему или четвертому признаку. В самом деле: по образу своего мышления они — позитивисты, эмпирики, материалисты, в душе — мещане, в искусстве — натуралисты, в религии — нигилисты; они интересуются лишь политикой. Есть одаренные молодые люди, но почти всем им не хватает упорства. Я совсем один. У меня есть друзья, которые меня любят, но они не в состоянии почувствовать до последней капли моего мистического реализма. Отца я давно потерял² (он был священником, а дед — кузнецом). Осталась старая мать. Она живет в деревне. Она не может прочесть то, что пишет ее сын. Все, что она может, — это любить меня и молиться за меня. Жена моя русская³ и не все понимает. Я одинок. Для грузинского языка я сделал необыкновенно много. Я обнаружил его богатства. Я мог бы сказать Вам еще о многом, но не нахожу подходящего выражения по-немецки. Я не стремлюсь к «известности» — известность всегда влечет за собой обстоятельства, роковые для внутренней жизни, — но я хочу выразить себя перед духовными вождями Европы как сын маленького, но очень древнего народа, который достоин того, чтобы о нем знали (и, в конце концов, выразить даже расовую душу⁴ моего народа). В этом смысле я очень обрадовался, прочитав Ваши слова: «...ибо Вы призваны впервые представить грузинский мир европейскому...» Вот почему я хочу сперва опубликовать мой роман в Европе: в нем частица расовой души моего народа. Но если я сам издам свой роман — кто будет его читать? И здесь я вынужден обратиться к Вам с просьбой. Она не легка (в первую очередь — для меня самого). Я очень страдал, прежде чем решился высказать Вам эту просьбу. Вот в чем она состоит: не могли бы Вы предварить мое произведение несколькими строками? Разумеется, это для Вас непросто. Я не знаю, каковы литературные нравы в Европе. Поэтому прошу Вас извинить меня. Если по какой-то причине Вы не можете этого сделать, тогда не напишете ли несколько слов, обращенных ко мне, которые я мог бы процитировать в моем предисловии? Для меня как автора вполне достаточно и того, что Вы написали о моем произведении в Вашем первом письме. Но теперь роман выглядит совершенно иначе. И кроме того: мне интересно знать, насколько мне удалось использовать Ваши советы, — ведь операцию над романом я производил по Вашим указаниям. Если Вы откликнетесь на мою просьбу, я вышлю Вам рукопись (сейчас в ней 238 страниц). Есть еще одно обстоятельство, почему я намерен сам издать мой роман: в октябре я должен ехать в Грузию, и вести переговоры с издателями будет оттуда еще труднее. Я закончил. Если Вы почему-либо не сможете выполнить мою просьбу, прошу Вас не беспокоиться и спокойно написать мне об этом, — Вы и так уже столько сделали для меня, что до конца жизни я буду благодарен Вам всем сердцем. Я устал (сейчас чувствую): вероятно, тому виной моя просьба.

С сердечным приветом Ваш

Григол Робакидзе

<...> P. S. Дерзаю сказать: Вы — борец, а из моих суждений Вы увидите, что в этом я — Ваш соратник. Это может оправдать мою просьбу.

¹ В середине 1920-х гг. Робакидзе отправил Р. Роллану через своего друга Гиорги Элиава, работавшего в Институте Гастера в Париже, свои пьесы «Лонда» и «Мальштрем». Роллан, передавший свой письменный отзыв через Г. Элиава, негативно оценил пьесу «Мальштрем». О второй пьесе он написал так: «Муне-Сюлли очаровала бы «Лонда», но его нет в живых.

Я думаю, что это произведение, особенно первая и последняя части, ближе к творениям музыкантов, а не поэтов. Музыкальная архитектура «Лондъ» меня восхитила» (цит. по: К. Салша. Григол Робакидзе. // Беди картлиса. 1964. № 47. С. 8; Жан Муне-Сюлли (1841—1916) — известный французский актер). Об отношении Робакидзе и Роллана см. также: А. Бакрадзе. Карду, или Жизнь и подвиг Григола Робакидзе. С. 113. А. Бакрадзе, в частности, упоминает о том, что письмо Роллана к Робакидзе пропало в Берлине, откуда писатель уехал в 1945 г. в Швейцарию.

Отрывок из письма Роллана (в частности, цитированные выше слова) приведен в оригинале самим Робакидзе в его неопубликованном предисловии к «Змеиной коже».

² Отец Робакидзе умер в 1911 г.

³ Имеется в виду вторая жена Робакидзе, Елена Владимировна Фиалкина (1900—1957). Она родилась в Орле, в 1917—1920-х гг. училась на медицинском факультете Московского университета. Брак с Робакидзе состоялся в 1922 г. В 1930-е гг., живя в Германии, стала писать немецкую прозу, выступала в печати под псевдонимом Елена Орел. Ей принадлежит, в частности, роман «Нина, дневник любящей и страдающей женщины» (*E. Oriol. Nina, Tagebuch einer liebenden und leidenden Frau. Berlin, 1938*). См. подробнее: А. Бакрадзе. Карду, или Жизнь и подвиг Григола Робакидзе. С. 25—28.

С первой женой Ниной Доменской Робакидзе расстался после смерти их дочери Аллы.

⁴ В оригинале — *Rassensee*.

4

3 октября 1927

Дорогой господин Цвейг,

это благодаря Вам я «быстро нашел такого крупного и уважаемого издателя». Факт. Я собирался приехать в Зальцбург, чтобы лично выразить Вам мою самую сердечную признательность, но чувствую себя в данный момент усталым, нервным, слабым (обычно — здоров). 10 мая приехала моя жена, с мая до августа мы не получили ни одного пфеннига, это было невыносимое состояние (могу теперь написать Вам об этом, поскольку это состояние прошло). К тому же — тяжелая работа, переделка и перевод моего произведения. Собираюсь скоро вернуться в Грузию: на природе я смогу отдохнуть. Но я жду от Вас заверения в том, что в феврале Вы посетите мою родину (и меня), как Вы уже обещали. Иначе не уеду, не повидав Вас.

Сердечно Ваш

Григол Робакидзе

5

12 октября 1927

Дорогой господин Цвейг,

я должен немедленно уехать. Такое сообщение пришло ко мне в эти дни из Тифлиса. В субботу, 15 числа нынешнего месяца, возвращаюсь обратно в Грузию. Очень надеюсь, что увижу Вас в Тифлисе в феврале.

Стилистической правкой перевода моего романа издательство займется самостоятельно. Однако страстно желал бы, чтобы Вы еще раз просмотрели рукопись до того, как она появится в печати. Для меня очень интересно (думаю, для Вас тоже) узнать, насколько я смог воспользоваться Вашими советами при переработке произведения. Об этом я написал Корнелиусу Бергману.¹

Здесь, в Берлине, я не завязал отношений ни с одним из писателей. Пожалуй — намеренно. Ибо здесь царит лишь холодный эгоизм, и сама помощь возможна здесь только по расчету (представьте себе: некий человек оказывает помощь больному, живущему в соседней комнате, тем, что отправляет его на лечение в госпиталь, поскольку видеть страдания больного для него непереносимо)... Но Вы — Вы оказали мне творческую помощь; и в этом проявилась подлинная человеческая любовь — «человеческая» не в смысле плоского «гуманизма». В недрах мира свершается сейчас нечто космическое, нечто ужасное, холодное, дьявольское — и для этого мира невероятно нужна творческая любовь.

Я много буду рассказывать о Вас моей матери, живущей в деревне. Она не

понимает «литературу», но помнит сказки, и в ней еще не угасла почвенная душа.² И она, думаю, сумеет найти слова, чтобы выразить Вам свою самую сердечную благодарность.

Каждое Ваше письмо доставляло мне здесь огромную радость. Буду особенно рад получить от Вас весточку в Тифлисе. <...>

«Иццохлет каргад»³ (всего доброго!)! До скорой встречи! NB.: «Сицохле» (жизнь) и «цецхли» (огонь) имеют в грузинском языке один и тот же корень. Если бы это знал Гераклит Эфесский!⁴

С сердечным приветом Ваш

Григол Робакидзе

¹ Корнелиус Бергман — многолетний сотрудник издательства «Ойген Дидерихс» в Йене. С теплотой и уважением он отзывается о Робакидзе в письме к В. И. Иванову (см.: Письмо Корнелиуса Бергмана к Вяч. Иванову / Публ. Т. Никольской. // Русско-итальянский архив. II. С. 179—180; письмо без даты, судя по содержанию — 1938 г.).

² В оригинале: Erdseele.

³ В оригинале — грузинскими и латинскими буквами.

⁴ Эти слова вошли в роман «Хранители Грааля».

6

27 сентября 1928

Дорогой господин Цвейг, господин Эфрос¹ сообщил мне в Москве, что Вам очень понравился наш народный художник Пиросманишвили (в «Третьяковской»). Посылаю Вам сегодня книгу об этом грузинском примитивисте...²

«Дни Толстого»³ (особенно в Ясной) для меня незабываемы: они прочно связаны с Вашим именем. Чувствую себя счастливым оттого, что смог близко узнать писателя Стефана Цвейга также и с человеческой стороны...

С нетерпением жду моего романа с Вашим предисловием...

Моя жена сердечно благодарит Вас за книгу (о Толстом)...⁴

В надежде, что Вы однажды приедете в Грузию — неизменно Вам преданный

Григол Робакидзе

¹ Абрам Маркович Эфрос (1888—1954) — переводчик, лит. и худож. критик. Встречался с Цвейгом в сентябре 1928 г.

² Робакидзе послал Цвейгу сборник статей (на грузинском, русском и французском языках) «Нико Пиросманишвили» (Тифлис, 1926), в который вошла и собственная его статья «Нико Пиросмани» (С. 55—64, 77—83, 103—109).

³ Так озаглавлен очерк Робакидзе, посвященный юбилею Толстого (Мнатоби. 1928. № 8—9. С. 207—215; № 10. С. 184—188), в основном посвященный Цвейгу, ради встречи с которым Робакидзе и ездил в Москву. «Хочу увидеть Р. Роллана и Ст. Цвейга, — говорится в очерке, — особенно последнего. (Это понятно: его имя тесно связано с появлением моего романа в Европе)» (С. 207).

⁴ Вероятно, имеется в виду русский перевод книги Цвейга «Жизнь Толстого», изданный в сентябре 1928 г. (к юбилею писателя).

7

12 октября 1928

Дорогой господин Цвейг, получил копию предисловия¹ (саму книгу еще не получил). Мне кажется, оно написано превосходно: кратко и выразительно, как сонет. Много, по сути, преувен-

лично, но такова «психология предисловия». Как мне выразить мою признательность? Словами? Но слово уже утратило свой изначальный магический смысл. В Вашем предисловии живет творческая любовь. Надеюсь, что и я смогу когда-нибудь явить Вам творческую силу любви. Я счастлив. Посылаю господину Бергману надпись на открытке: он сразу же перешлет ее Вам вместе с книгой.

Сердечно и искренне приветствую Вас.

Вечно Вам признательный

Григол Робакидзе <...>

¹ Имеется в виду предисловие Цвейга к «Змеиной коже». В очерке «Дни Толстого» Робакидзе приводит слова Цвейга, сказанные австрийским писателем во время их встречи в Москве: «Ваш роман выйдет скоро. Предисловие написал перед отъездом. Спешил: поздно получил приглашение» (С. 209).

8

24 октября 1928

Дорогой друг,

сердечно благодарю Вас за дружеское письмо. Невероятно радуюсь, что Вы назвали меня «другом»: для меня, грузина, дружба — почти культ. А дружбу со Стефаном Цвейгом, который по-моцартовски одарен не только как писатель, но и как человек, каждый должен воспринимать как истинное счастье. Вы напрасно просите меня быть снисходительным по отношению к предисловию. Оно написано великолепно — повторяю еще раз. Весь литературный мир Грузии — в восхищении: ни один европеец не писал ничего подобного о Грузии и ее поэте. Мы все глубоко благодарны Вам, очень и очень благодарны. Нас так же радует, что наш Пирос, как Вы называете нашего Пиросмани, — Вам очень понравился. Воистину он заслуживает того, чтобы о нем однажды узнала Европа. В январе я, видимо, приеду в Берлин — буду делать для этого все возможное (конечно, с Вашей помощью). В настоящий момент я собираю для Вас репродукции наших соборов и фресок. Скоро Вы это получите. Свою книгу я уже получил: прекрасное издание! Меня особенно радует, что издательство Дидерихса изготовит для Вас специальный экземпляр в кожаном переплете. Текст надписей уже отправил. Помните ли Вы о моей драматической пасторали «Ламара», которую я посылаю Вам из Берлина в английском переводе? Если она затерялась (что возможно), могу прислать Вам новый экземпляр рукописи. Вы сможете найти в ней немало характерного.

С самым сердечным приветом Ваш

Григол Робакидзе

9

7 ноября 1928

Дорогой друг,

благодарю сердечно за Ваше дружеское письмо. Вы называете меня «мастером». Но я вовсе не мастер, ибо мастер, по слову Гёте, «познается в ограниченье»,¹ а я... Меня чрезвычайно радует, что мой роман понравился Вашей супруге, особенно — шествие караванов через пустыню и гибель верблюда (в этой главе воистину заключено мое сердце, хочу сказать, оно здесь трепещет)... Сейчас работаю над тремя повестями. Их тема — древний человек. Курды в Персии. Хевсуры (грузинское племя) в Грузии. Евреи в Куби (Азербайджан). Особенно интересны для меня кубийские евреи. Они сохранили себя в чистоте, ни с кем не смешавшись. Здесь видишь век Авраама. Буквально. Среди них встречаются ярко-красные девы. Увлекательнейшая тема. Недавно прочитал исследование Фробениуса об африкан-

ском племени «горуба».² Очень интересно. Интересна также книга Людвиг Клагеса «О космогоническом эресе»³ (хотя в ней, как сказал один критик, мы имеем дело с «переосмыслением всех слов»). Видно, как в Европе, особенно в Германии, нарастает интерес к человеческой древности. Поэтому моя работа над этими повестями кажется мне вполне оправданной... Ваше предисловие уже переведено на грузинский и скоро появится в нашем журнале...⁴ Интерес к моей книге в Грузии велик. Государственное издательство Грузии и Заккнига заказали около 100 экземпляров... Я почти закончил для Вас сбор репродукций, посвященных нашей архитектуре и фрескам, и отправлю их Вам не откладывая... Собираюсь зимой опять приехать в Германию. Тогда мы увидимся, и это будет для меня огромная радость. Должен сказать Вам открыто: Вы обладаете особым даром озарять жизнь солнечным светом — после дней Толстого в Москве и Ясной, когда я впервые увидел Вас, я воспринимаю жизнь совсем по-другому — а это ведь самое замечательное, что может быть на свете. Ваша личность для меня — тема целого разговора, об этом — как-нибудь в другой раз...

Самые сердечные приветствия Вам и Вашей уважаемой супруге.
Ваш неизменно Вам преданный

Григол Робакидзе

¹ Известная фраза Гёте из сонета «Что мы приносим...» (1802).

² Лео Фробениус (1873—1938) — этнолог, путешественник и исследователь культуры народов Африки, профессор Франкфуртского университета. Один из героев романа «Хранители Грааля» Леван (образ во многом автобиографический) излагает фрагмент из этого исследования Фробениуса. В романе «Убиенная душа» изложено одно из положений другой книги Фробениуса — «Учение о судьбе в свете эволюции культуры».

³ Людвиг Клагес (1872—1956) — философ, психолог. Книга «О космогоническом эресе» издана в 1926 г. В «Листках из Европы» коротко излагается содержание этой книги Клагеса (см.: Заря Востока. 1927. № 1494. 5 июня. С. 5); упомянут он и в романе «Убиенная душа».

⁴ Предисловие появилось в журнале «Картули мцэрлоба» (1928. № 10—11. С. 141—143). На русском языке — в журнале «Литературная Грузия» (1991. № 1. С. 7—13; пер. с немецкого С. Окропридзе).

10

1 марта 1929

Дорогой друг!

С декабря прошлого года не было от Вас ни строчки. Наверное, все это время Вы напряженно работали. Мне хотелось бы знать, можно ли в Германии назвать «романом» произведение, в котором приблизительно 130—150 страниц, — разумеется, если оно является романом по внутренней своей природе... В эту зиму я собираюсь вновь приехать в Берлин на несколько месяцев: был бы счастлив свидеться с Вами. Поверьте, что Ваша духовная личность полна для меня огромного смысла — и в художественном, и в человеческом отношении. Это не «фраза»... Моя новая драма поставлена в Грузинском государственном театре¹. Премьера не имела особенного (особенно большого) успеха, хотя постановка была весьма удачной. Мне кажется, это произошло потому, что сюжет и форма драмы слишком новы. Массовый труд на строительстве канала, борьба со стихиями, с рекой — таков основной сюжет. Содержанием является также социальная воля масс, сплавленная с индивидуальной душевной драмой. Силы взаимодействия между людьми и вещами, вещами и судьбами — вот что здесь изображено. Нова и драматическая форма. В «игру» вовлечены сами вещи; известная роль отводится реке. Отдельные сцены сделаны наподобие кадров из фильма «Броненосец „Потемкин“». Не стану утверждать, что пьеса удалась во всех деталях. Но в целом уверен, что удалась. Таиров хочет взять эту пьесу для репетиций.² Собираюсь предложить ее также Эрвину Пискатору.³ С наилучшими пожеланиями

Вам вечно преданный

Григол Робакидзе

¹ Имеется в виду пьеса «Удэга», опубликованная в журнале «Мнатоби» (1929. № 5—6. С. 81—109; № 7. С. 71—98) и подвергнутая критике в советской печати. Так, например, Б. Буачидзе, приветствуя обращение автора к современному материалу, упрекал его в идеализме, «общинном духе» и отсутствии «конкретного советского содержания» (Б. Буачидзе. Заметки о грузинской литературе. // На рубеже Востока (Тифлис). 1930. № 11—12. С. 56).

² Александр Яковлевич Таиров (1885—1950) — режиссер, создатель Камерного театра в Москве. В очерке «Дни Толстого» Робакидзе описывает совместный с Цвейгом ужин у Таирова. Пьесы Робакидзе в театре Таирова не ставились.

³ Эрвин Пискатор (1893—1966) — немецкий режиссер, создавший в Германии революционно-политический «пролетарский театр», которому посвящен очерк Робакидзе «Театр Пискатора» (Мнатоби. 1928. № 7. С. 236—241).

11

17 июля 1929

Дорогой учитель и друг,
благодарю Вас за Ваше дружеское письмо, которое получил лишь в Анапе. Анапа — маленький поселок на берегу Черного моря; прежде здесь жили черкесы. Фиолетовые лучи и ласковые волны. Глубокая радость от небесного света, от фруктов, цветов и трав земли. Мы живем в крестьянской хижине, где полом служит земля. Никакой сырости. Это полезно. Вдыхаешь запах земли. С нами живет девочка, маленькое существо трех с половиной лет, дочь несчастной сестры моей жены. Феноменально одаренный ребенок.¹ Она не знает, что ее мать умерла, но во всех мускулах и сухожилиях маленького тела сквозят звериное предчувствие и меланхолия. В такие мгновения на нее страшно смотреть... В этом году я много работал технически и должен теперь отдохнуть. Моя работа не была интенсивной. Творчество не изнурительный труд; оно само несет с собой отдых как биологическую отраду... Мое новое произведение, как я уже сообщал Вам, закончено. Теперь я должен просмотреть его в целом. Оно уже отделилось от меня и превратилось в объект, который я могу рассматривать на отдалении, словно пейзаж: тогда лишь видишь все в целом... Ваше последнее письмо осчастливило меня. Вы подтверждаете «действительно огромный литературный успех» моего романа. Я читал много весьма благожелательных рецензий — но это подтверждение — Вы меня поймете — имеет для меня особенное значение. Новое мое произведение, посвященное Вам,² ничуть не слабее: заверяю Вас в этом... Посылаю Вам эту фотографию — я обнаружил ее в журнале «Огонек», в котором напечатан Ваш очерк об Эрмитаже.³ Я выгляжу здесь как несчастный факир, не правда ли?.. Надеюсь, что уже в сентябре приеду в Берлин и мы снова увидимся: для меня это будет счастьем.

Примите тысячекратный сердечный привет от Вашего неизменно преданного

Григола Робакидзе

¹ Имеется в виду Елена (Аля) Погорелова, удочеренная супругами Робакидзе. В 1931 г. выехала вместе с приемными родителями в Германию; впоследствии — профессиональная переводчица (работала на Нюрнбергском процессе). Муж — итальянский дипломат Гварад Каллеа. В 1950-е гг. жила с семьей в Австралии.

² Речь идет о романе «Косы Медей», изданном через несколько лет в Германии под названием «Меги. Грузинская девушка». См. подробнее следующ. письмо.

³ См.: Сокровища Эрмитажа. Из очерков об СССР Стефана Цвейга. // Огонек. 1929. № 26. 7 июля. С. 14. В подписи под фотографией, на которой изображены Цвейг и Робакидзе, имя последнего отсутствует.

12

30 декабря 1929

Дорогой друг и учитель,
вчера ответил на Ваше дружеское письмо. Забыл спросить: как обстоит дело с Вашим намерением однажды посетить Грузию? Весь литературный мир советской Грузии ждет Вас с нетерпением... Еще кое-что. Сегодня узнал, что произведение Ремарка¹ оценивается в Германии настолько высоко, что об авторе говорят даже как о претенденте на Нобелевскую премию. Я однажды охарактеризовал этот роман в письме к Вам как «репортаж» (хотя и весьма искусно оформленный). Теперь вижу, что оценил его недостаточно высоко. Возможно, мое суждение вызвало у Вас некоторое неудовольствие...² Еще несколько слов о моем новом произведении. Просто оживить древнюю Колхиду — эта задача не столь интересна. «Косы Медеи» задуманы как первая часть трилогии. Я хочу изобразить: а) человека после Мировой войны; б) человека после великой революции. Мировая война и революция полностью изменили человека. Вы это знаете. Но чтобы осуществить это, я должен сперва изобразить человека таким, каким он был до войны и до революции. Поэтому я взял предметом изображения прошлое (примерно середину девятнадцатого столетия в Грузии). Однако мое сочинение — не «исторический роман». Этим оправдывается тема моего произведения. Произведение построено таким образом, что представляет собой самостоятельный интерес.

Всего доброго.

С сердечным приветом

Ваш

Григол Робакидзе

¹ Речь идет о книге Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен» (1929).

² В 1929 г. Робакидзе написал рецензию на роман Ремарка, озаглавленную «Книга войны» (Картули мцэрлоба. 1929. № 8—9. С. 96—101).

13

26 июня 1930

Дорогой господин Цвейг,
я радуюсь каждый раз, когда получаю Ваше письмо. К сожалению, с декабря не имею от Вас ни строчки... Вас, может быть, обрадует известие о том, что на театральном фестивале народов СССР в Москве грузинский театр выдвинулся на первое место, а на первом плане в грузинском театре оказалась моя драма «Ламара». Собственно, это не драма, а драматически оформленный хорал. В свое время я посылал Вам из Берлина английский подстрочный перевод этого произведения. «Ламара» написана на хевсурском диалекте. Это тот же грузинский язык, но весьма архаический и предельно лаконичный. В драме действуют древние люди, для них мне пришлось использовать древние слова. Успех «Ламары» в Москве был воистину огромен. Наш театр получил приглашение от американского экспериментального театра. Тридцать корреспондентов, представляющих крупные американские и европейские журналы и газеты, видели премьеру «Ламары» 17 июня и победоносно возвестили о ней. Они назвали спектакль «симфоническим»...¹ <...>

Преданный Вам

Григол Робакидзе

Р. С. В третий раз читаю Вашего «Фуше».² То, как написано это произведение, очень много дало мне. Сейчас я пытаюсь в той же манере создать портрет великого русского поэта Пушкина. Я изобразил его (ужас!) африканцем.³

¹ Драма «Ламара», идею создания которой автору подал в 1924 г. режиссер Котэ Марджанишвили, была впервые поставлена в Тифлисском театре им. Руставели в сезон 1925—1926 гг. Вторая постановка «Ламары» была осуществлена в 1929 г. в том же театре режиссером Сандро Ахметели. На Всесоюзной олимпиаде национальных театров в Москве в июне 1930 г. Театр им. Руставели имел оглушительный успех и был признан одним из ведущих творческих коллективов страны. Предполагались и заграничные гастроли, которые, однако, не состоялись.

² Имеется в виду книга Цвейга «Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen», изданная в Лейпциге в конце 1929 г.

³ О судьбе этого замысла сведений не имеется.

14

7 мая 1931

Дорогой друг!

Я несказанно обрадовался, получив от Вас такие слова: «Я знаю, кто Вы и насколько это бессмысленно, чтобы творческой силе Вашего масштаба препятствовали нелепые внешние обстоятельства...» Вы должны знать, почему я приехал в Германию. Два года я добивался разрешения. Наконец мне это удалось в Москве. Но почему мне хотелось так срочно уехать в Европу? Вовсе не потому, что я задумал «бежать» из СССР. Вы знаете мою позицию. Всей Грузии я известен как честный человек: мое слово — мой меч. Я не могу жить (и творить) без почвы и корней. Но в Союзе требуется теперь творить материалистически и марксистски. Я же не материалист и не марксист. Мне очень трудно писать в духе эмпирического реализма, потому что в каждой реальности я вижу другую реальность. Это мой рок. Некоторые поэты могут писать материалистически-марксистски, потому что у них вообще нет никакого мировоззрения. Но что делать мне с моим визионерски-реалистическим мировоззрением? В Москве и Тифлисе меня ценят как писателя и честного человека. Но вы хорошо знаете, что я неприемлем для них идеологически. Между нами: немецкое издание «Змеиной кожи» там запрещено (мистика! миф! Грузинское издание раскуплено¹). Скажу откровенно: они правы. Какая польза от «Змеиной кожи» для классовой борьбы? Никакой! Когда-нибудь мы поговорим об этом. Теперь Вы можете себе представить, почему меня так обрадовали Ваши слова.

Сердечно Ваш

Григол Робакидзе <...>

¹ После публикации романа в 1925—1926 гг. в журнале «Мнатоби» он был выпущен в 1926 г. отдельным изданием (в сокращенном виде).

15

31 мая 1931

Берлин

Дорогой друг,
от всего сердца благодарю Вас за перевод (150 марок). Вы спасли меня. В буквальном смысле. Надеюсь, что в ближайшие месяцы смогу что-нибудь заработать.

Работаю крайне интенсивно.

Пока не мог найти никого, кто взялся бы за стилистическую правку моего романа. Почти все путают стилистические вопросы с языковыми. Жаль.

Только что закончил большую новеллу из жизни загадочного грузинского племени хевсуров.¹ В этом племени все — непостижимо. Например, можно заниматься только бестелесной любовью. Но огненные ласки дозволены.

Еще раз благодарю Вас и шлю Вам тысячу сердечных приветствий.
Ваш

Григол Робакидзе

¹ Очевидно, Робакидзе имеет в виду новеллу «Енгед» (русский перевод В. Зининой: «Литературная Грузия». 1989. № 3. С. 3—30).

16

30 апреля 1932

Дорогой друг Стефан Цвейг,
мне было радостно в Зальцбурге.¹ Все пробуждало радость: русло эпически многошумной реки, речная галька, гигантский позвоночник горного хребта, который, погрузившись в себя и в вечность, сверкает на солнце. Я чувствовал в воздухе моцартовские линии, нежные, гибкие. Все дышало счастьем. И в этой атмосфере — пластический образ Вашей поэтической и человеческой личности! От непосредственной близости этого образа меня пьянило, словно от Солнца. Воистину! Обычно тоска угнетает мне сердце, первобытная тоска. Но в этот раз я чувствовал, что мое отягощенное тоской сердце как бы отделилось от меня. И странно: вместо усталости я чувствовал во всем моем существе какие-то силы. Сердце ликовало, словно ребенок. Беседа с Вами была источником молниеносных озарений. Я был счастлив. Чувствовалась радость жизни, и наступали мгновения: казалось, касаешься края вечности, где-то таинственно возникающего, подобно бетховенскому письменному столу в Вашей комнате. За высокое переживание счастья благодарить не принято. Надо стать лучше, светлее, — это и будет наилучшая благодарность. В Зальцбурге я стал лучше, светлее.

Дружеский привет Вашей уважаемой супруге, которая восхитила меня, и ее дочери.² Передайте от меня также самый дружеский привет господину Иоахиму Маасу.³

Сердечно Ваш

Григол Робакидзе

¹ Робакидзе посетил Цвейга в Зальцбурге между 20 и 30 апреля 1932 г.

² Имеется в виду Фредерике Мария фон Винтерницц, урожд. Бургер (1882—1971), писательница и переводчица. Развелась с мужем в 1913 г., обручилась с Цвейгом в январе 1920 г. Супруги расстались в 1938 г. У нее были две дочери от первого брака: Алиса Элизабет (1907—1986) и Сузанна Бенедектина (1910—1998)).

³ Вильгельм Хайнц Иоахим Маас (1901—1972) — немецкий писатель.

17

27 мая 1932

Дорогой друг,
огромное спасибо за письмо, которое Вы написали господину Киппенбергу.¹ Возможно, переговоры с издательством «Инзель» завершатся удачно. Получаю восторженные письма о «Магических источниках».² Господин Кубин³ тоже нашел их «чрезвычайно» интересными... Из Зальцбурга написал письмо в Грузию. Сегодня получил ответ от нескольких писателей: они радуются, что я был принят в Вашем доме так поэтически великолепно... Господин Везендонк⁴ напечатал обо мне в одном журнале довольно большую статью... <...>

С самым сердечным приветом

Григол Робакидзе

Зубную пасту получил. Спасибо!

¹ Антон Киппенберг (1874—1950) — владелец и руководитель издательства «Инзель» в Лейпциге; коллекционер.

² Новелла Робакидзе (см. следующее письмо).

³ Альфред Кубин (1877—1959) — график и живописец, автор фантазмагорической книги «Die andere Seite» («Другая сторона», 1909; рус. перевод — Екатеринбург, 2000); знакомый Цвейга, его корреспондент в 1909—1937-е гг.

⁴ Отто-Гюнтер Везендонк — ориенталист; дипломат (германский посол в Грузии в 1920-е гг.).

18

14 июня 1932

Дорогой друг,
я только что разговаривал с госпожей Киппенберг,¹ которая очень, очень восхищалась моими новеллами. «Магические источники», «Имам Шамиль» и «Убийство священного быка» отобраны для серии «Инзель-Бюхерай»²... Я очень рад: Вы понимаете, что это для меня значит. Примите в свое сердце мою писательскую и человеческую признательность. Благодаря Вам я могу заниматься в Европе писательством.

Всем сердцем Ваш

Григол Робакидзе <...>

¹ Катарина Киппенберг (1876—1947) — жена А. Киппенберга.

² Массовая серия издательства «Инзель», в которой в 1932 г. вышла книжка Робакидзе «Kaukasische Novellen» («Кавказские новеллы»), составленная из трех названных произведений (Insel-Bücherei, Nr. 83).

19

9 сентября 1932

Дорогой друг,
множественное спасибо за Ваше сердечное письмо. Вы надеетесь, что в моей судьбе многое теперь изменится. Возможно. Хочу верить Вашему предсказанию. Собственно, за этот год я достиг самого главного — литературно. Но вижу недобрые «знаки» с грузинской стороны. Неделю тому назад я получил телеграмму от моих лучших друзей из Тифлиса: дескать, я должен немедленно вернуться в Тифлис... из-за квартиры. Ну не смешно ли? Им, моим друзьям, хорошо известно, что моя литературная деятельность в Европе для меня в тысячу раз важнее, чем проблема с квартирой. Телеграмма показалась мне подозрительной. И еще: вчера получил открытку от сестры. Она пишет, что больна мать. Но вместо меня зовет в Грузию мою жену. Это тоже кажется мне подозрительным. Но хуже всего то, что правду узнать невозможно. Исключено. Я сбит с толку. Если я сейчас вернусь, моя литературная деятельность здесь полностью прекратится — действовать оттуда невозможно. А в нынешней Грузии я писать не смогу: я не материалист, не марксист и совсем иначе понимаю задачу искусства. Может, и жить мне осталось не так уж много, и я хочу служить человечеству, следуя моему внутреннему, но самоотверженному чувству. Мои произведения — дерзаю сказать — я воспринимаю как культовых животных, приносимых в жертву мигам Вечного. Этим я помог уже многим душам: даже здесь, в Германии, даже в труднейших условиях. <...>

Совершенно преданный Вам

Григол Робакидзе

25 октября 1933

Дорогой Стефан Цвейг,
через несколько дней Вы получите от издательства Дидерихса мою новую книгу «Убиенная душа» (заглавие дано издателем). В предисловии коротко и ясно сказано, о чем идет речь. Я чувствую, что был призван — простите мне это слово — написать такую книгу. Ясно сознаю, какую ответственность я беру на себя, выпуская ее в свет: я теряю тем самым мою землю, а вместе с землей — мать и друзей. Но глубоко чувствую, что ответственность перед Вечным была бы для меня еще тяжелее, если бы я по каким-то причинам этого не сделал. Это не пустые слова... Написать эту книгу было для меня непростым делом и в чисто художественном отношении. Трудность заключалась в самом материале: я должен был совершенно объективно передать демоническую сущность большевизма и не остаться при этом нейтральным — страшно ответственная попытка. Форма произведения: книга представляет собой, так сказать, биографию вымышленного лица. Современные биографии, особенно Ваши произведения, оказали влияние на форму моей книги. И хотя жизнь вымышленного лица — это «поэзия», но воздействие оказывается более «правдивым», если ее охватить «биографически». Это следует учитывать современным романистам... Фоном произведения является жуткая фигура Сталина: она возникает как бы «на отдалении», не вблизи. Поэтому я применил здесь искусство портрета... Впрочем, Вы ясно увидите все это сами... В литературном плане многие места сделаны, вероятно, недостаточно хорошо, но я глубоко, очень глубоко убежден в том, что каждая фраза в этой книге пропитана нравственной силой, — и это для меня самое главное. Вы можете себе представить, с каким напряжением я работал все эти месяцы: физическим, моральным, творческим. Отсюда — мое молчание.

Самые сердечные приветствия Вам и Вашей милой жене от Вашего

Григола Робакидзе

5 ноября 1933

Дорогой друг,
сердечно благодарю за Ваше милое письмо. Мне очень приятно, что Вы с нетерпением ждете мою новую книгу. Вы получите ее, надеюсь, в ближайшие дни. Собственно, она уже вышла, и в «Литерарише вельт» тут же появилась большая статья, где говорится: «Наша литература о советской России, по правде, не такая уж художочная; встречаются и просто неплохие книги! Но когда читаешь «Убиенную душу», понимаешь, что нам ничего не известно об истинной природе этого государства-душегуба, порожденного страшной революцией». И далее: «Ничто и никто не в состоянии отчетливее изобразить этого жуткого правителя — Сталина — во всей его бесчеловечности и силе». И еще: в этом произведении «таится динамика, которая настолько покоряет читателя, что ему хочется разом проглотить эту книгу». И т. д. и т. п. «Кельнише цайтунг» уже написала в издательство (рецензия появится позже): «Великая книга». То же — в «Фоссише цайтунг»: «...производит невероятно сильное впечатление». У меня к Вам просьба: не могли бы — лично! — рекомендовать эту книгу какому-нибудь английскому издателю. Разумеется, если Вы сочтете, что она этого достойна. Кроме того: Вы заедете по пути в Париж, и было бы очень хорошо, если бы Вы могли посвятить книге несколько строк в «Нувель лите-рэр». Это очень помогло бы ее публикации за границей.

С сердечным приветом

Ваш-

Григол Робакидзе <...>

15 января 1934

Дорогой друг <...>

На меня обрушились за это время разные бытовые неприятности, и мне никак не удавалось ответить на Ваше сердечное лондонское письмо. Сегодня сел было писать Вам подробно, но прочитал в одной из русских газет: мой друг, великий русский писатель Андрей Белый — Вы, конечно, знаете его замечательное произведение «Серебряный голубь»! — умер в Москве. Я совсем без сил.¹

Сердечно Вам преданный

Григол Робакидзе

Моя книга потрясла множество душ. Идут и идут отклики от незнакомых людей — и ко мне, и в издательство. Морально это очень поддерживает.

Пожалуйста, передайте от меня привет Вашей милой супруге и дочери. Я всегда буду помнить Зальцбург.

¹ Андрей Белый умер в Москве 8 января 1934 г. Личное знакомство Робакидзе с Андреем Белым состоялось 8 мая 1928 г. (Белый находился в это время в Тифлисе). «У меня с ним сразу завязалась дружба, характера духовного, не «личного». Встреча с ним всегда оказывалась „событием“», — писал Робакидзе В. Ф. Ходасевичу 13 мая 1934 г. (хранится в библиотеке Бейнеке Йельского университета, США; выражаем благодарность А. Устинову за возможность ознакомиться с текстом письма). В конце 1920-х — начале 1930-х гг. Робакидзе вел с Андреем Белым содержательную переписку.

Робакидзе принадлежит эссе, посвященное Андрею Белому, в его кн. «Портреты» (Вып. 1. Тифлис, 1919. С. 44—68; первоначально: Агс. Ежемесячник искусства и литературы. 1918. № 2—3. С. 49—61).

*Публикация и перевод Константина Азаговского
Примечания Константина Азаговского и Татьяны Никольской*

XX ВЕК. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

КЛАУС ХАРЕР

ТРОЙНЫЕ ПОЧЕСТИ

А. Ф. Лютер и его «Воспоминания»

На сохранившейся фотографии мы видим приветливого седовласого человека с высоким лбом и чуть старомодной бородкой. Сквозь роговые очки — типичный для той эпохи признак интеллигента — на нас глядят живые, любознательные глаза; взгляд — скептически-сочувствующий. Фотография относится предположительно к середине 1920-х годов. Артуру Лютеру было в ту пору около пятидесяти лет, и он находился в расцвете своих творческих сил — как переводчик, литературный критик и библиограф.

На это время приходится и почести, коими — с трех совершенно разных сторон — он был отмечен за свои заслуги.

В мае 1926 года Московское Общество любителей российской словесности — по предложению проф. П. Н. Сакулина, председателя Общества, и одного из уважаемых его участников, проф. М. Н. Розанова, — приняло в свои члены лейпцигского библиотекаря Артура Лютера.¹ Почему и как немецкому библиографу была оказана честь, которой Общество удостоило к тому времени лишь немногих иностранцев (помимо Романа Роллана, почетного члена Общества, к нему принадлежали Э. Оман, А. Мазон, Ж. Патюйе и А. Краузе ван дер Копп²)?

Ветеранам Общества Лютер был хорошо известен с давних пор; в 1899 году молодой филолог завершил курс Московского университета по кафедре истории всеобщей литературы (ее возглавлял проф. Н. И. Стороженко) и затем преподавал в различных учебных заведениях Москвы. Особенно близкие отношения связывали его с М. Н. Розановым, сменившим Н. И. Стороженко на университетской кафедре. В архиве Общества сохранился — в «деле» Артура Лютера — длинный перечень его многочисленных работ, опубликованных до 1926 года в России и Германии. Основной же причиной, способствовавшей вступлению Лютера в Общество, была, конечно, его обширная «История русской литературы» — это нарядное, богато иллюстрированное издание появилось в Лейпциге в 1924 году. Будучи новой заметной вехой в изучении русской

Кlaus Harer (род. в 1961 г.) — славист, автор монографии о поэтике М. А. Кузмина и ряда статей, посвященных пушкинской эпохе, русско-немецким литературным отношениям XVIII—XX вв. и др. Преподавал славистику в Марбурге. В настоящее время возглавляет Немецкое Пушкинское общество. Живет в Берлине.

литературы в Германии, книга Лютера в то же время опиралась на достижения московской культурно-исторической школы (именно Общество любителей российской словесности объединило в советские времена ее последних представителей). Таким образом, принимая Лютера в свои ряды, Общество не только признавало заслуги зарубежного ученого, посвятившего себя изучению русской культуры, но и чествовало представителя той филологической традиции, которой гордилось и дорожило старшее поколение его собственных членов.

Заслуги лейпцигского библиотекаря, признанные советским Обществом, получили незадолго до этого еще более неожиданное признание — из Парижа. В качестве «награждающей стороны» выступил писатель Алексей Ремизов. Знакомый с Ремизовым, возможно, еще до революции, Лютер в 1919 году (Ремизов был тогда в Петрограде) перевел на немецкий язык его «Легенды и рассказы»³ и продолжал поддерживать с ним отношения и в эмиграции. 23 мая 1924 года он посылает Ремизову в подарок том «Истории русской литературы». В благодарность писатель в июне 1924 года приобретает Лютера к легендарному Обезьяньему Ордену (Обезволпалу) — возводит его «в Кавалеры Обезьяньего знака 1 степени с дуляным крылышком». ⁴ Такими наградами («граммотами») отмечались, как правило, друзья и знакомые Ремизова, а также лица, имевшие, с точки зрения «канцеляриста» Ордена, особые заслуги перед русской литературой и русским искусством. «...Буду прилагать все старания, чтобы оказаться достойным великой чести быть в числе кавалеров Обезьяньего знака!» — писал в своем благодарственном ответе новоиспеченный участник ремизовской игры.⁵

Третья почесть была оказана Лютеру его лейпцигскими друзьями и коллегами, сотрудниками «Литературного листка» («Das literarische Zentralblatt»), периодического библиографического издания при Немецкой Книжной палате в Лейпциге (знаменитая Deutsche Bücherei, в то время — главное в Германии хранилище современной немецкой литературы). 3 мая 1926 года, в день пятидесятилетия Лютера, они поднесли ему в дар библиофильски изданную книжечку, озаглавленную «Bibliographia Lutherana» («Лютеров библиография») ⁶ и выпущенную тиражом 100 экземпляров. В предисловии к этому маленькому «фестшрифту» анонимный автор характеризовал Лютера как «умного и доброго Аттингхаузена» их оощего дела — «Литературного листка» (имеется в виду знаменосец Вернер фон Аттингхаузен из драмы Шиллера «Вильгельм Телль»).

Итак, почести, трижды оказанные в середине 1920-х годов пятидесятилетнему Артуру Лютеру за его различные заслуги.

Кто же был Артур Лютер и какова история его жизни?

Этот вопрос, к сожалению, почти не изучен. Огромное количество разнообразных и многостраничных трудов Лютера (монографии, переводы, предисловия и послесловия, газетные и журнальные статьи, рецензии и т. д.) до сих пор не нашло отражения в библиографических описаниях; содержание этих работ также не получило надлежащей оценки. Сравнительно мало известно и о жизни Лютера. Его личный архив не сохранился: все его имущество погребло в декабре 1943 года во время бомбежки Лейпцига. Исчезли и редкие книги (у Лютера была богатая библиотека), и ценнейшие письма (он имел множество корреспондентов в разных странах).⁷

Сохранились, однако, его неопубликованные «Воспоминания» («Lebenserinnerungen»), которые он писал в 1940-е годы в Лейпциге и Марбурге.⁸ Эти записи, в некотором отношении весьма информативные, сообщают подробности о немецкой семье Лютера, его детстве и юности в Орле, студенческих годах в Москве... Однако о его жизни в целом «Воспоминания» содержат мало конкретных сведений. Хронологически они доведены автором до 1918 года;

задуманное продолжение осталось не написанным.⁹ Весь период после 1918 года освещают лишь скудные материалы и личные дела Лютера, сохранившихся в архиве Немецкой Книжной палаты, где он служил в 1918—1944-х годах, и Марбургского университета, в котором он читал лекции в 1946—1951-х годах.

Предлагаемый читателю краткий очерк — попытка осветить жизненный путь Лютера на основании ряда известных нам материалов, в первую очередь — его «Воспоминаний».

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Артур Лютер родился в Орле 3 мая 1876 года. Этот губернский город, в котором в 1880-е годы насчитывалось восемьдесят тысяч жителей, имел тогда — среди иных учреждений — мужскую гимназию, кадетский корпус, три высших женских учебных заведения, театр и дворянский клуб. Родители Артура поселились здесь давно. Отец, семья которого происходила из Ревеля, изучал в Москве классическую филологию и затем вернулся в свой родной город, где в течение многих лет учительствовал в местной гимназии. Мать была родом из Риги. У Артура и его младшего (рано умершего) брата было, думается, счастливое, благополучное детство, подробно описанное в «Воспоминаниях», откуда и почерпнуты наши сведения. Особое влияние на развитие обоих мальчиков оказала, бесспорно, яркая личность отца, уделявшего воспитанию своих сыновей немало времени и внимания. Чтение по-немецки и по-русски уже в раннем детстве пробудило в них духовные интересы. В своих воспоминаниях Артур перечисляет детские и юношеские издания, предназначенные для немецких мальчиков того времени. Особую роль играл недавно возникший молодежный журнал «Der gute Kamerad» («Хороший товарищ»). В нем печатались — из номера в номер — романы Карла Мая и других авторов, писавших для юношества, а также содержательные статьи о достижениях техники, советы юным умельцам и письма читателей. Современным людям трудно себе представить, сколь важную роль играли в то время журналы для детей и юношества (речь идет о 1880-х и 1890-х годах). Артур, уже посещавший русскую гимназию, находил в «Хорошем товарище» не только интересные сведения о технических новинках, но и литературные образцы — знакомство с ними придавало в его глазах еще большую привлекательность немецкому языку. Журнал осуществлял и другую важную функцию: благодаря рубрике «Почтовый ящик» он способствовал взаимному общению юных немецких читателей, которые таким образом могли обмениваться друг с другом письмами, договариваться об обмене почтовыми марками и т. д. Именно в этой рубрике появилось в одном из номеров журнала за 1888 год первое литературное произведение Артура Лютера — стихотворение, представлявшее собой хвалебный гимн любимому журналу и написанное на мотив известной тогда песни «Gott, erhalte Franz den Kaiser» («Храни, Боже, кайзера Франца»). Автору этого стихотворения было двенадцать лет... Кроме того, орловский гимназист завязал отношения со своими сверстниками в Германии — спустя много лет, уже находясь в Лейпциге, он сумеет восстановить прежние знакомства.

Наряду с этими изданиями Артур пользовался, конечно, библиотекой отца, выписывавшего книги из немецкого книжного магазина в Риге. Он много читал и по-русски. Любопытно, что молодой гимназист тратил свои карманные деньги на то, чтобы заказывать прямо из Лейпцига издания дешевой «Универсальной библиотеки» — в этой популярной серии, основанной издателем Филиппом Рекламом (и существующей поныне), печатались произведения как современных авторов, так и классиков мировой литературы. Много позже в «Универсальной библиотеке» будут изданы и некоторые из переводов самого Лютера.

В «Воспоминаниях» говорится, что еще задолго до окончания гимназии Лютер принял решение изучать историю литературы. В этом он пошел по сто-

пам своего родителя, который был, по-видимому, не только хорошим филологом, но и чутким отцом, сумевшим привить своему сыну Артуру любовь к литературе и театру, а также любознательность, проявившуюся уже в ранней юности. Лютер пишет также об особенностях немецкого языка в России. Неудомимо и, по мнению Лютера, успешно боролись в его семье с многочисленными лексическими и грамматическими погрешностями — они возникали благодаря общению на русском языке, которое неизбежно накладывалось на немецкую речь.¹⁰ Действительно: и оригинальные работы Лютера, и его переводы выделяются ясностью стиля и богатством словаря. В этом можно видеть опять-таки влияние отца. Когда появилось третье, расширенное издание знаменитого русско-немецкого словаря Павловского, в предисловии к нему были названы имена редакторов, преподавателей немецкого языка «...О. Кюна (в Риге) и Ф. Лютера (в Орле): их трудолюбие и настойчивость сделали возможным издание словаря в настоящем виде».¹¹

МОСКВА

В 1894 году Лютер отправляется в Москву, чтобы продолжить образование на историко-филологическом факультете Московского университета, где ранее учился его отец. Своей будущей специальностью он избирает общее языкознание и историю литературы. Артур Лютер был прилежным студентом, тогда как общественные настроения 1890-х годов его почти не затрагивали. Среди своих университетских профессоров Лютер вспоминает историков П. Г. Виноградова и В. О. Ключевского, филологов Ф. Ф. Фортунатова и В. Ф. Миллера, философов С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина. Однако важнее других был для него Н. И. Стороженко, который и направил своего питомца на преподавательскую стезю. К этому Лютера побуждало также желание создать собственную семью. Проведя летний семестр 1900 года в Берлине, Лютер начинает преподавать русский и немецкий языки в различных учебных заведениях Москвы: в женской гимназии св. Елизаветы и реальном училище при евангелической церкви св. Михаила. Эту школу посещали и русские мальчики; одним из учеников Лютера был прославившийся в будущем Федор Степун.¹² В 1903 году Лютер становится — при посредничестве М. Н. Розанова — преподавателем западно-европейской литературы на Высших женских курсах (первый женский университет в России).¹³ Впоследствии М. Н. Розанов хлопот о том, чтобы Лютеру предоставили должность преподавателя в Московском университете. Но для начала, поскольку это выгодное место было в то время занято, Лютер получает в 1910 году двухлетнюю научную командировку в Германию.

Наряду со своей научно-педагогической карьерой Артур Лютер, еще на студенческой скамье обратившийся к журналистике, интенсивно сотрудничает в последующие годы в различных газетах и журналах. Так, при посредничестве своих знакомых, московских немцев, он регулярно, начиная с 1896 года, помещает театральные обзоры и рецензии в «Московской немецкой газете» («*Moskauer Deutsche Zeitung*»). До 1914 года он откликается почти на все важнейшие московские спектакли и гастрели. К этому следует прибавить статьи, посвященные литературным событиям, и путевые очерки — описание впечатлений от большого путешествия по Германии, Австрии, Швейцарии и Италии, которое Лютер предпринял в 1897 году в образовательных целях. Вероятно, во время этого путешествия он завязывает отношения и с германскими изданиями. В 1899 году начинается его постоянное сотрудничество с новым журналом «*Das literarische Echo*» («Литературное эхо»), которому Лютер сохранял верность вплоть до его закрытия в 1942 году (журнал к тому времени назывался «*Die Literatur*»). Со страниц «Литературного эха» Лютер информировал немецких читателей о новых течениях в русской литературе, о молодых авторах, в том числе — символистского лагеря. Лютер был первым (точнее, одним из первых), кто обратил внимание немцев на таких русских поэтов, как Брюсов,¹⁴ Бальмонт¹⁵ и Блок.¹⁶

Тем временем, после революционных событий 1905—1906 годов, расширяются возможности для сотрудничества и в немецкой периодической печати России. В частности, немецкая «С.-Петербургская газета» («St.Petersburger Zeitung») открывает новое литературное приложение, выходящее по понедельникам («Montagsblatt»), и Лютер систематически помещает в этом «Листке» написанные им статьи, посвященные русской и немецкой литературе. До начала Первой мировой войны, подчеркивает Лютер в своих «Воспоминаниях», он опубликовал здесь «более сотни очерков о русской литературе, в которых рассказал о Пушкине и Гоголе, Максиме Горьком и Леониде Андрееве, о мемуарах Екатерины II, о письмах Льва Толстого, о русских драмах про Дон-Жуана и русских школьных историях; при этом он совершенно не подозревал, каким бесценным предварительным материалом окажется вся эта работа для его более поздней „Истории русской литературы“». Одновременно Лютер писал и для рижской немецкой газеты «Последние новости» («Rigasche Neueste Nachrichten»), которую определяет как «единственную либеральную газету Прибалтики».

К неумолимой педагогической и журналистской деятельности Лютера прибавляется в 1900-е годы еще один вид занятий — публичные выступления на литературную тему в различных немецких культурных объединениях. Так, зимой 1903—1904 года он читал в Москве цикл докладов о поэтах «мировой скорби» (Байрон, Леопарди, Ленау и Гейне). С теми же докладами его приглашали выступить и немецкие объединения Петербурга. В своих «Воспоминаниях» Лютер пишет о стремлении «пробудить у наших немцев, в целом еще устремленных к материальному благополучию, интерес к духовным проблемам и прежде всего указать им на красоты немецкой литературы». В культурной жизни немецкой Москвы Лютер проявлял себя чрезвычайно активно. Он был одним из основателей «Литературно-драматического общества» (1904), в котором регулярно проводились литературные чтения и собственными силами ставились спектакли. Кроме того, в течение недолгого времени Лютер возглавлял созданный в 1908 году «Московский немецкий союз», соучредителем которого он являлся.

Отдельная глава творческой биографии Лютера (до 1914 года) — его участие в русском журнале «Весы» и «Русская мысль». Решающую роль в этом сыграло его личное знакомство с Брюсовым, идейным руководителем символистских «Весов» и ближайшим сотрудником либеральной «Русской мысли» (в 1910—1912-х годах Брюсов возглавлял литературно-критический отдел этого журнала).

С Брюсовым, как и с другими писателями символистского круга, Лютер познакомился у Георга Бахмана (1852—1907), с которым в последние годы его жизни поддерживал тесные отношения. Поэт и библиофил по внутреннему призванию, деятельный сотрудник (до 1899 года) газеты «Moskauer Deutsche Zeitung», Георг Бахман обеспечивал себя прежде всего преподаванием немецкого языка; кроме того, он служил цензором, и в качестве такового ему доводилось просматривать рукописи публичных выступлений Лютера (до 1905 года подобные тексты также подвергались цензуре). Именно так они и познакомились друг с другом. В своем некрологе, посвященном Бахману, Брюсов вспоминает о «тех немногих друзьях, которые знали его лично, которые собирались у него из года в год на его приветливых «субботах», и в том числе К. Д. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Валерий Брюсов, М. Дурнов, Г. Тор-Ланге, А. Лютер...»¹⁷

Лютер же почтил память друга статьей-предисловием в книге его стихов и переводов, выпущенной посмертно (опять-таки при активном участии Лютера)¹⁸; другая его статья появилась к пятилетию со дня смерти Бахмана.¹⁹

В журнале московских символистов Лютер сотрудничает в 1905—1908-х годах. Его перу принадлежат две большие обзорные статьи («Немецкая литература в 1905 году» и «1906 год в немецкой литературе»), а также ряд рецензий на немецкие книжные новинки. (В 1907 году Брюсов передоверит «немецкий» раздел «Весов» А. С. Элиасбергу.) Последнее выступление Лютера в «Весах» — эссе, посвященное немецкому поэту и драматургу, уроженцу Москвы, Эдуарду Стукену.²⁰

В сентябре 1910 года Лютер, как уже говорилось, отправляется со своей семьей на два года в Германию. Сперва он живет в Мюнхене, где заводит знакомство с московским немцем Карлом Нётцелем, автором широко известных впоследствии книг о России.²¹ В основном же он проводит время в Гейдельберге и Лейпциге, готовясь к предстоящему магистерскому экзамену и преподавательской деятельности в Московском университете. Последние два года накануне войны Лютер преподает германистику московским студентам — свидетельством его занятий этого времени может служить литографированное издание объемом в 300 страниц: «Введение в германскую филологию. Лекции, читанные в Московском университете» (М., 1913). К этому же времени (1912—1913) относится и его сотрудничество в «Русской мысли». Впрочем, участие Лютера в журнале П. Б. Струве ограничилось лишь несколькими публикациями; наиболее заметной из них была статья о Фридрихе Геббеле,²² появившаяся к столетию со дня рождения этого выдающегося немецкого поэта и драматурга. Кроме того, Лютер предполагал напечатать в этом журнале «очерк жизни и творчества» Генриха Клейста, «непосредственного предшественника Геббеля», как писал он в редакцию «Русской мысли» 5/18 октября 1911 года (из Лейпцига),²³ Статья о Клейсте (в связи со столетием его трагической гибели) появилась в последней книжке журнала за 1911 год за подписью «М. Орлов» (по всей вероятности, псевдоним Лютера).

Отметим и монументальный труд Лютера, выполненный им в начале 1910-х годов, — русское издание «Жизни Фауста», философского романа Ф. М. Клингера, «бурного гения», автора выражения «Sturm und Drang» («Буря и натиск»), навсегда связавшего свою жизнь с Россией. Роман был выпущен одним из наиболее культурных в то время русских издательств — К. Ф. Некрасова.²⁴

ЗАСТРЯВШИЙ В ГЕРМАНИИ

Летом 1914 года Лютер со своей семьей поехал в Германию, намереваясь провести там весь отпуск: в следующем семестре ему предстояло вести семинар по сравнительной грамматике германских языков, и он собирался к нему подготовиться. Кроме того, в Лейпциге открывалась большая выставка книги и графики, и Лютер надеялся рассказать о ней в «Петербуржской немецкой газете». Устроив свою семью в пансионате в Гарце, Лютер начинает работать в лейпцигской библиотеке. В этот самое время — после убийства австрийского престолонаследника — разразилась война. Лютер поспешил обратно в Гарц, чтобы забрать семью и вернуться в Россию. Однако выяснилось, что он, будучи иностранцем призывного возраста и «подданным вражеского государства», не имеет права покидать Германию. Деньги, предназначенные для отпуска, постепенно таяли, семья вынуждена была оставить пансионат и переселиться к отдаленному родственнику в Дрезден. Здесь они встретили своих старых московских друзей, германских подданных, которым удалось выехать в Германию, и те рассказали им об отношении к немцам в России в первые дни войны...

Из Дрездена Лютер сумел связаться со своим банком в Москве и получить жалованье от Высших женских курсов. Этого удалось добиться благодаря помощи испанского консульства, которое в таких случаях поддерживало российских подданных, оказавшихся на территории Германии. Случалось Лютеру и обмениваться письмами с Москвой — через датских знакомых. Сложность заключалась лишь в том, что немцы не пропускали писем, написанных по-русски, а русские не пропускали немецких писем. Так что переписку приходилось вести по-французски.

В ноябре 1914 года «подданным вражеского государства» было запрещено проживание в больших городах. Семье Лютера пришлось перебраться в маленький саксонский городок Фрайберг, где они нашли для себя жилье. Дважды в день Лютер обязан был отмечаться в местном полицейском участке; точно так же просматривалась в полиции вся исходящая и входящая почта, кото-

рая лишь после этого отправлялась по назначению. Тем не менее отношения с полицией и местным населением, как пишет в «Воспоминаниях» Лютер, были дружественные. В 1915 году семья переселилась в Тюрингию, где прожила более четырех лет в курортном городке Бланкенбург. Постепенно Лютер возвращается к литературной работе. Он пишет для «Литературного эха» и других немецких журналов; одна из его публикаций этой поры — некролог великому князю Константину Константиновичу (К. Р.), скончавшемуся 15 июня 1915 года.

Материальное положение Лютера резко меняется к лучшему после того, как Эрих Бёме, преподаватель русского языка в Берлинской Торговой школе, привлекает его к одному довольно деликатному начинанию. В Германии в 1915 году создается организация, призванная заботиться о культурном образовании русских пленных, в частности — формировать на основе русских библиотек, изъятых в ходе войны, своего рода «лагерные библиотеки» для пленных солдат.²⁵ Лютеру было предложено составить простые для усвоения брошюры, которые «неназойливым образом оказывали бы на пленных нужное влияние». Предполагалось выпускать такую литературу, которая без особого нажима («безотносительно к военным событиям») подчеркивала бы превосходство социальных и культурных условий в Германии над условиями жизни в России. В этой серии под звучным названием «Родная речь» (в качестве места издания указывалось: «Москва») было напечатано к 1918 году 120 пропагандистских брошюр самого различного содержания. Здесь печатались, с одной стороны, произведения тех русских авторов (и классиков, и современных писателей), которые критически освещали русскую действительность. С другой стороны, были подготовлены выпуски, посвященные актуальным вопросам политики, экономики и общественной жизни. Сам Лютер, который редактировал всю серию, написал и выпустил под различными псевдонимами (Артемьев, Дроздов, Кабанов, Никольский, Орловский, Силин) около двадцати брошюр о немецких общественных институтах, организации сельского хозяйства, системе школьного образования, благотворительности и помощи бедным. Тем временем к «Родной речи» присоединилась газета «Русский вестник», также предназначенная для русских военнопленных, — ее издавал в Берлине на русском языке М. В. Мейер-Хайденаген, бывший член редколлегии «St. Petersburger Zeitung». Лютер опубликовал здесь в 1915—1918-х годах — также под различными псевдонимами — многочисленные статьи.

Возложенное на Лютера поручение оказалось для него весьма выгодным. Наряду с возможностью дополнительного заработка, оно позволяло ему жить и работать в одном из городов, располагающих богатыми библиотечными фондами. Лютер снова выбрал Лейпциг. Семья же осталась в Тюрингии, поскольку в трудные военные годы там было проще обеспечить себя продуктами.

ЛЕЙПЦИГ

В лейпцигских литературных кругах происходит новое знакомство, во многом определившее дальнейшую жизнь Лютера, — с Георгом Минде-Пуэ, директором Немецкой Книжной палаты, предложившим Лютеру должность научного сотрудника. Лютер, оставивший после октябрьского переворота всякую надежду на возвращение в Россию, соглашается. 1 февраля 1918 года его зачисляют в штат. Основанная в 1913 году Биржевым союзом немецкой книготорговли как центральное хранилище всей книжной продукции, выходящей на немецком языке, лейпцигская Книжная палата ведала составлением национальной библиографии (соответствуя в этом качестве Российской Книжной палате, основанной в 1917 году). Новая должность, которую занимал Лютер вплоть до своего ухода на пенсию в 1944 году, существенно определила всю его дальнейшую деятельность. Лютер ведал составлением предметного каталога, устраивал различные литературные выставки и с 1923 по 1938 год преподавал немецкую литературу в Немецкой школе книготорговли. Постепенно оз

завязал тесные отношения и с крупными лейпцигскими издательствами, прежде всего — с издательством «Библиографический институт», готовившим в те годы к печати наиболее авторитетное немецкое справочное издание того времени — седьмое издание 14-томного словаря Майера (1924—1933). В ведение Лютера как редактора поступил отдел славянских языков и литератур, а также отдел новейшей немецкой литературы. Кроме того, в 1920-е годы Лютер издал в «Библиографическом институте» целый ряд сочинений русских авторов (Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Салтыкова-Щедрина и др.), написав к каждому из них предисловие (или послесловие), комментарий и т. д.; частично им были выполнены также и переводы. Особого упоминания заслуживает переведенный и подготовленный им к печати том под названием «Шедевры русской сцены» (1922). Сверх того, в 1920-е и начале 1930-х годов Лютер перевел для разных немецких издательств, причем не только лейпцигских, множество произведений русских писателей; рядом с классиками (Радищев, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, А. К. Толстой, Тургенев, Островский, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Л. Н. Толстой, Лесков, Чехов, Короленко), мы видим и советских писателей (М. Горький, Сейфуллина, Леонов, Бабель, Эренбург), и эмигрантских (Мережковский, Ремизов). Он также постоянно писал статьи, рецензии, предисловия и послесловия, составлял библиографические обзоры. Он сотрудничал и с русскими издательствами в Берлине; его статьи появляются в литературном альманахе «Грани» и в литературно-научном журнале «Беседа». В 1922 году он выпускает в издательстве «Грани» свои переводы средневековой немецкой литературы²⁶; в том же году издает в престижном лейпцигском издательстве «Insel» антологию русских переводов немецкой поэзии. По-видимому, именно об этой книге в «Воспоминаниях» сказано, что «рукопись была завершена» уже в 1918 году, в рамках упомянутой выше серии «Родная речь», однако «окончание войны положило конец и нашей работе». Поразительно, что в течение этих лет, до предела заполненных самыми разными видами деятельности, Лютер успел найти время еще и для того, чтобы издать свою «Историю русской литературы». Конечно, он опирался на свои многочисленные статьи о русских писателях, появившиеся за последние 25 лет, а также на материалы, которые им использовались в лекциях, тем не менее эта далекая от журналистики, солидная, изобилующая сведениями книга — свидетельство невероятной продуктивности ее автора.

Достигнув в 1926 году вершины своей научно-литературной карьеры, Лютер еще долгие годы не «снижал темпа» — по-прежнему писал многочисленные статьи и рецензии и неумоимо переводил как с русского, так и с французского языков (им переведено на немецкий несколько комедий Мольера). Библиографии его трудов за эти годы также не существует. Особенно мало известно о его жизни и занятиях в годы Второй мировой войны. Готфрид Кратц, знаток русского Берлина, между прочим сообщает, что Артур Лютер, начиная с 1934 года, постоянно сотрудничал в «Новом слове» — берлинской русской газете, близкой к официальной идеологии Третьего рейха.²⁷ Здесь он опубликовал ряд статей (многие из них появлялись, видимо, под псевдонимом).

После того как его лейпцигская квартира оказалась разбомбленной, Лютер перебирается в Марбург к своему сыну Вольфгангу. По окончании войны, когда в Марбургском университете открывается славянская кафедра, Лютер вновь получает возможность использовать свои богатые знания в области русской культуры. В 1951 году он переезжает к дочери в Баден-Баден, где и умирает в 1955 году в возрасте 79 лет.

НЕКРОЛОГ

Откликаясь на смерть Артура Лютера, Максимилиан Браун (1903—1984), петербургский немец, профессор славистики Геттингенского университета, писал: «Если будет когда-нибудь написана история немецко-русских культурных отношений, имя Артура Лютера займет в ней важное место. Роль, которую он

играл, на первый взгляд, не была представительной. Трудолюбивый, достойный и скромный потомок Мартина Лютера, он не имел возможности привлечь к себе внимание, да он и не искал и не желал для себя такой возможности.

Артур Лютер родился в 1876 году в Орле. Свою карьеру он начал с преподавания германистики в русских учебных заведениях. Разразившаяся война задержала его в Германии и повлияла на его дальнейший жизненный путь. Оставшись в Германии, он меняет направление своей деятельности. Если раньше он видел свою задачу в том, чтобы познакомить русских с духовным наследием Запада, прежде всего Германии, то теперь он становится толкователем русского духа для немецкой публики. Его первые труды в этой области появились уже в 1918 году, а в 1924 году он издает «Историю русской литературы» — эта книга и по сей день остается необходимым источником для изучения русской литературы; многим немцам она впервые открыла ее истинный диапазон. Наряду с этим он публикует свои многочисленные превосходные переводы, которые до настоящего времени не получили — возможно, как раз потому, что выполнены столь добротнo, — всеобщего признания, коего безусловно заслуживают. В тех кругах, где знакомство с русской литературой не просто результат увлечения экзотической «чужой душой», переводы Лютера оказали и оказывают воздействие, глубина и размах которого выяснятся лишь по прошествии времени...»²⁸

Соглашаясь с Максимилианом Брауном, высоко оценившим деятельность Артура Лютера, следует уточнить, что намеченная им хронологическая последовательность вызвана, по всей видимости, ситуацией 1950-х годов: трудно было вообразить себе в те годы, что один и тот же человек может чувствовать себя абсолютно свободно в двух культурах — немецкой и русской. На самом деле, Лютер до 1914 года не только пропагандировал в России западную культуру: и в русской, и в немецкой печати он публиковал статьи на совершенно разные темы. Свою особо важную задачу он видел в том, чтобы знакомить с русской литературой немцев, живущих в России. Так, в петербургской и московской немецких газетах он писал не только о Клопштоке и Шиллере, Артуре Шницлере и Рихарде Демеле, но и о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Мережковском, Брюсове, Леониде Андрееве. Выступая с лекциями в немецких культурных «ферейнах» Москвы и Петербурга, он рассказывало новейших течениях именно русской литературы. В Германии же он писал о русской литературе не только для немцев, но и для оказавшихся в Германии русских — военнопленных и эмигрантов (с некоторыми из эмигрантов он был дружен и тесно сотрудничал). Эта закономерность тянется сквозь всю жизнь Лютера. Он обращался в своей работе и к русским, и к немцам в равной степени; он пользовался для этого как русским, так и немецким языками, владея каждым из них равно свободно. Но сутью и целью его деятельности оставалась все же Россия. Лютер стремился внести свой вклад в успешное развитие этой страны, однако такое развитие представлялось ему невозможным без участия немцев, прежде всего русских немцев, воплощавших собой единство немецкого и русского опыта, немецких и русских традиций. Нельзя не признать, что сознательная установка такого рода приводила Лютера к сомнительной и трудно вообразимой — в исторической перспективе — «двойкой лояльности». Если во время Первой мировой войны Лютер мог извлечь выгоду (скорее, материальную) из своего необычного статуса немца с российским паспортом, то после 1933 года он проявляет тяготение к тем кругам русской эмиграции, которые сочувствовали Третьему рейху во имя борьбы с большевизмом. Эта проблема, затрагивающая не только двусторонние русско-немецкие отношения, но и пути самоопределения русских немцев, заслуживает более пристального внимания.

¹ Документы, связанные с приемом А. Ф. Лютера в «Общество...», хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства (Москва). Ф. 590. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 11 — 13.

² См.: *Р. Н. Клейменова. Общество любителей российской словесности. 1811—1930. М., 2002. С. 586—592.*

³ *A. Remisow. Legenden und Geschichten. Übertragen von Arthur Luther. Leipzig, <1919>.*

⁴ См.: *Е. Обатнина. Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. С. 351.*

⁵ Письмо Лютера к А. М. Ремизову от 18 июня 1924 г. // Там же. С. 295.

⁶ *Bibliographia Lutherana. Zum fünfzigsten Geburtstag von Arthur Luther. Leipzig, 1926.*

⁷ Лишь незначительная часть книжного собрания Лютера попала после 1945 года в библиотеку Института славянской филологии Марбургского университета, в том числе — книги А. М. Ремизова с дарственными надписями. Помимо этого, в марбургском Институте Гердера хранятся рукописи Лютера и газетные вырезки с его публикациями за 1897—1944-х гг. См. обзор этих материалов, составленный их хранителем к пятидесятилетию со дня смерти Лютера: *P. Wörster. «Dem wahren Deutschland und dem wahren Russland». Artur Luther zum 50. Todestag // Jahrbuch des baltischen Deutschland 2005. Lüneburg, 2005 (в печати).*

⁸ Сохранилось несколько машинописных экземпляров; один из них был любезно предоставлен в наше распоряжение проф. Людольфом Мюллером (Тюбинген).

⁹ За предоставленные мне сведения выражаю благодарность Кармен Зипль (Мюнхен).

¹⁰ Лютер пишет об этом в конце первой части своих «Воспоминаний». Этот фрагмент опубликован Кармен Зипль (см.: *Die slawischen Sprachen (Salzburg). 1999. Nr. 63. S. 12—21.*)

¹¹ См.: *I. Pawlowsky's Deutsch-Russisches Wörterbuch. Dritte umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage. Dritter Abdruck. Riga — Leipzig, 1902 (предисловие к третьему изданию имеет дату: «Август 1886»).*

¹² А. Лютер упоминается в мемуарной книге Ф. А. Степуна «Бывшее и несбывшееся» (глава «Школьные годы. Москва»).

¹³ См. литографированное издание: Гете и Шиллер. Лекции по истории немецкой литературы, читанные в 1906/07 гг. на Высших женских курсах в Москве А. Ф. Лютером. М., 1907.

¹⁴ Статья Лютера о Брюсове помещена в первом мартовском номере «Литературного эха» за 1904 год; краткая информация об этой статье появилась в журнале «Весы» (1904. № 3. С. 71—72; не подписанная заметка, автором которой был сам Брюсов).

¹⁵ Статья Лютера о Бальмонте напечатана в литературном приложении «Montagsblatt» к «St. Petersburger Zeitung» 25 декабря 1906 г./ 7 января 1907 г. (№ 162. S. 197—198).

¹⁶ «В августовской книжке журнала «Das literarische Echo» за 1906 г. А. Лютер впервые на страницах немецкой печати упоминает «„лирика Александра Блока” — автора „Балаганчика”» (*В. Дудкин. Блок в Германии // Александр Блок. Новые материалы и исследования. Книга пятая (Лит. наследство. Т. 92. В 5 книгах). М., 1993. С. 244.*)

¹⁷ *Аврелий <В. Я. Брюсов>. Памяти Георга Бахмана. † 15 июня 1907 г. // Весы. 1907. № 7. С. 54.*

¹⁸ См.: *G. Bachmann. Gesammelte Gedichte. Mit dem Bildnis des Verfassers und einer Einleitung. Moskau, 1910 (в действительности книга печаталась в Германии при активном участии А. С. Элиасберга).*

¹⁹ *Deutsche Monatsschrift für Russland (Reval). 1912. Н. 6. S. 341—350.*

²⁰ *Весы. 1908. № 12. С. 81—85.*

²¹ См. о нем: *Р. Данилевский. Москвич Карл Нётцель и его мысли о России. // Немцы в России. Российско-немецкий диалог. СПб., 2001. С. 486—492.*

²² *Русская мысль. 1913. № 3. С. 90—111.*

²³ Письмо сохранилось в архиве В. Я. Брюсова. // Рукописный отдел Российской государственной библиотеки. Ф. 386. Карт. 93. Ед. хр. 11. Л. 5.

²⁴ См.: *Ф. М. Клингер. Жизнь, деяния и гибель Фауста / Перевод с нем., вступ. статья и примеч. А. Лютера. М., 1913.*

²⁵ См. об этом: *Г. Кратц. Лагерные библиотеки для русских пленных в Германии времен Первой мировой войны. // Библиотечное дело — 2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве. Тезисы докладов Шестой международной научной конференции (Москва, 26—27 апреля 2001 г.). М., 2001. Ч. 2. С. 392—393.*

²⁶ Повести, рассказы, легенды и шутки немецкого Средневековья. Собрал и по первоисточникам перевел Артур Лютер. Берлин, 1922.

В предисловии к этой книге автор писал:

«Посвящаю свой перевод бывшим участникам моего семинария по средневерхненемецкому языку, московским студентам-германистам, с которыми я в 1913—1914-х годах читал „Бедного Генриха”. Где они теперь? „Одних уж нет, а те далеке...” скитаются по всему свету, и многим из них теперь уже не до германистики и не до „Бедного Генриха”...» (С. 9; «Бедный Генрих» — стихотворная повесть Гартмана фон Ауэ (ок. 1165 — ок. 1210), немецкого поэта-миннезингера и автора «рыцарских романов»).

²⁷ *Г. Кратц. Битов, Бунин и Берлин. // Русский Берлин 1918—1941. <Издание к выставке «Русский Берлин 1918—1941» в Государственном Историческом музее 13—27 мая 2002. М., 2002>. С. 26.*

²⁸ *M. Braun. Arthur Luther zum Gedächtnis. // Osteuropa. 1955. Heft 3. S. 240.*

КАРМЕН ЗИПЛЬ

«ПРЕВОСХОДНЫЙ ПОСРЕДНИК»

Томас Манн и Александр Элиасберг

«О милое взаимотяготенье! О прекрасная и полная сопереживания широ-
та духовной жизни!»

Поводом для этого восклицания послужила Томасу Манну посвященная ему книга «*Neue russische Erzähler*» («Новые русские прозаики»). Выпущенная в Берлине в 1920 году, эта антология имела посвящение: «Томасу Манну, искусному мастеру немецкой прозы, посвящает этот сборник с глубоким почтением составитель». На экземпляре, хранящемся ныне в цюрихском архиве Томаса Манна, от руки приписано: «Александр Элиасберг 8. XI. <19>20».

Приведенное выше восклицание заимствовано из вступления Томаса Манна к специальному номеру журнала «*Süddeutsche Monatshefte*» («Южногерманские ежемесячники»), озаглавленному «*Meisterwerke der russischen Erzählungskunst*» («Шедевры русского повествовательного искусства»); оно появилось в январе 1921 года — вскоре после выхода в свет антологии «Новые русские прозаики». О посвящении, сделанном Элиасбергом, Манн пишет здесь следующее:

«Превосходный этот посредник, конечно, знал, что у жя-то приму близко к сердцу такое прекрасное соединение моего имени с русской литературой. Сколь сильно, сколь глубоко он меня обрадовал, соединив и связав их, каким праздником было для меня увидеть этот посвящение, он знал едва ли. Право!»¹

«Вопросом жизненно важным», «поистине вопросом жизни, жизни духовной» называет Томас Манн в этом вступлении свое отношение к русской литературе. «В самом деле, — провозглашает немецкий писатель, — есть два явления, которые связывают с новым временем сына XIX века, сына бюргерской эпохи, защищая его от оцепенения и духовной смерти и прокладывая перед ним мосты в будущее, — явление Ницше и явление русской идеи».²

Эти мосты, о которых упоминает Манн, и возводил всю свою жизнь переводчик Александр Элиасберг. Его обширная и плодотворная литературная деятельность заслуживает, бесспорно, отдельной монографии.³ Помимо переводов с русского на немецкий и с немецкого на русский (стихи и проза) Элиасберг переводил на немецкий с идиш (произведения Иццока Лейбуша Переца,

Кармен Зипль (род. в 1967 г.) — славистка; училась в Вюрцбурге; преподавала славистику в Зальцбургском университете. Автор работ, посвященных русским и чешским писателям-эмигрантам, русско-германским литературным связям начала XX в. Живет в Мюнхене.

Менделе Мойхер Сфорима, Шолома Алейхема, Давида Бергельсона), на русский с французского (Мопассана), писал (по-немецки и по-русски) рецензии, статьи, очерки; составлял антологии русской поэзии и прозы; его перу принадлежит и несколько авторских книг (о русском искусстве). Бесспорные выдающиеся заслуги этого «превосходного посредника» делают его едва ли не центральной фигурой в области русско-немецких литературных связей первой четверти XX века.

* * *

Александр Самойлович Элиасберг родился в Минске в 1878 году. Выходец из обеспеченной еврейской семьи, он поступил на физико-математический факультет Московского университета, который окончил с отличием в 1902 году. Затем, приблизительно в 1906 году, он уехал за границу, избрав местом своего постоянного жительства Мюнхен, столицу Баварии. Элиасберг с детства владел двумя языками — русским и немецким. Усердный читатель современной литературы, Элиасберг еще в юные годы тяготел к модернизму, увлекался «новым искусством», современной живописью; в Минске, свидетельствует один из друзей его юности, он выписывал из Германии журналы «Jugend» и «Simplicissimus». ⁴ Поселившись в Мюнхене, он обосновался в Швабинге — литературно-художественном квартале города. Его квартира была рядом с Английским садом; по соседству находились мастерские Улафа Гульбрансона, Альфреда Кубина и Пауля Клее, знаменитое издательство Альберта Лангёна; в этом же районе Мюнхена жил в 1915—1919 годах Райнер Мария Рильке.

Дебютом Александра Элиасберга как переводчика была антология «Современная русская лирика» (1907), ⁵ в которую вошли произведения Бальмонта, Брюсова, Бунина, З. Н. Гиппиус, Н. Минского и Ф. Сологуба. Со всеми этими авторами Элиасберг вступил тогда в переписку, спрашивая у них разрешения на перевод и публикацию их стихов. «Я получил Ваше письмо с приложенным к нему переводом моего «Возвращения к океану», — писал Элиасбергу Бальмонт 18 марта 1907 года — Ваш перевод превосходен. Он не только действительно хорош, но мне представляется, что я впервые вижу истинного своего переводчика, который чувствует не только букву текста, но и все оттенки моего стиха...» ⁶ Особенно тесные отношения завязались у Элиасберга с Брюсовым, также одобрявшим его стихотворные переводы. «Вы не поверите, как я горд и счастлив тем, что мне удалось заслужить похвалу от двух любимейших поэтов: Брюсова и Бальмонта!» — восклицает Элиасберг в письме к Брюсову от 16 апреля 1907 года. ⁷

Брюсов охотно привлек Элиасберга к сотрудничеству в «Весах» — печатном органе московских символистов в 1904—1909 годах (Брюсов был одним из инициаторов и идейным руководителем этого издания). В 9-м номере «Весов» за 1907 год появляются «Рассказ монастырского пастуха» австрийского писателя Макса Мелля в переводе Элиасберга и его статья о Мелле и Кристиане Моргенштерне (оба были тогда малоизвестными авторами не только в России, но и в Германии). В том же номере «Весов» Брюсов поместил и рецензию Виктора Гофмана (во многом, следует сказать, скептическую) на «Антологию русской лирики».

С этого началось сотрудничество Элиасберга в «Весах». В 1908—1909 годах он становится, по сути, немецким корреспондентом журнала. Регулярно выступая на страницах «Весов» с очерками о современной немецкой литературе, Элиасберг вдохновляется мыслью познакомить Россию с наиболее талантливыми явлениями в литературной жизни Германии. «Если Вы любезно предоставите мне и в будущем столбцы Вашего уважаемого журнала, я намерен дать приблизительно в 6-ти статьях (по 2 очерка) Вашим читателям возможно полную картину современной немецкой поэзии. Для следующих очерков у меня намечены Schaukal, George, Hofmannsthal, Liliencron, Falke, Holz и т. д.» ⁸ Однако масштабная задача, которую рисовал себе Элиасберг, приступая к сотру-

ничеству в «Весах», осуществилась, к сожалению, лишь отчасти. Тем не менее Элиасберг успел рассказать читателям «Весов» о таких немецких писателях, как Франк Ведекинд, Рихард Шаукаль и Петер Хилле, поместить в журнале московских символистов ряд отзывов о новых книгах (Петера Альтенберга, Рудольфа Борхардта,⁹ Рихарда Шаукаля и др.). Свое сотрудничество в «Весах» — как видно, весьма активное — Элиасберг завершает в 12-м номере 1908 года обзорной статьей «Новости немецкой литературы» и чередой рецензий на новые немецкие издания в первых двух номерах 1909 года.

Летом 1909 года в Мюнхене Элиасберг лично знакомится с Брюсовым, который произвел на Александра Самойловича неизгладимое впечатление. Сообщив Элиасбергу о близящемся закрытии «Весов», Брюсов укрепляет его желание сотрудничать в «Русской мысли», и уже летом 1909 года, в июльском номере этого журнала появляется статья Элиасберга под тем же названием: «Новости немецкой литературы». Дальнейшее сотрудничество Элиасберга в журнале П. Б. Струве — прямое продолжение его работы, начатой в «Весах»: регулярные обзоры немецкой литературы (за 1910-й, 1911-й, 1912-й и 1913-й годы), статьи, посвященные отдельным авторам (Детлеву Либлиенкуну, Максиму Броду), переводы (повесть М. Брода «Прислуга-чешка»). Можно сказать, что статьи Элиасберга в «Весах» и «Русской мысли» создают, в целом, такую панораму немецкой литературы за 1908—1913 годы, равной которой не было тогда в русской печати.

* * *

Одновременно с сотрудничеством в «Весах» и «Русской мысли» Элиасберг энергично печатался и в Германии. Он переводил не только современную русскую поэзию, но и прозу (от Пушкина до Чехова¹⁰). Его творческая активность поражает своим размахом. «За последние два года, — писал Элиасберг Брюсову 24 апреля 1914 года, — я перевел целых десять русских книг; в данное же время подготавливаю большой литературный труд, для которого осенью с. г. придется побывать в Петербурге и Москве; очень надеюсь, что мне удастся повидаться с Вами и возобновить столь ценное и почетное для меня знакомство».¹¹

Побывать в России и «возобновить знакомство» с Брюсовым Элиасбергу, разумеется, не удалось. Мировая война, разразившаяся летом 1914 года, не только положила конец его сотрудничеству в «Русской мысли», но и полностью прервала его связи с Россией и русскими издателями. Вся его дальнейшая деятельность отныне связана исключительно с Германией.

Среди русских авторов, которых увлеченно переводил Элиасберг еще в довоенные годы, следует выделить — в рамках нашей темы — прежде всего Д. С. Мережковского (возможно, самого известного тогда в Германии русского писателя). С его творчеством Элиасберг был хорошо знаком уже в 1900-е годы. В 1908 году он переводит сборник «Царь и Революция», состоявший из статей Мережковского, З. Н. Гиппиус и Д. Н. Filosofova.¹² А приблизительно с 1909 года Элиасберг становится основным переводчиком его произведений на немецкий язык. Элиасберг переводит (в разные годы) — трилогию «Христос и Антихрист» (включавшую в себя романы: «Смерть богов. Юлиан Оступник», «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», «Антихрист. Петр и Алексей»), трилогию «Царство Зверя» (исторические романы «Александр Первый» и «14 декабря» и драма «Павел Первый»), книги «Вечные спутники» и «Гоголь. Творчество, жизнь и религия». Кроме того — статью Мережковского о Достоевском в рекламной брошюре, выпущенной Рейнхардом Пипером в 1914 году (в это издание вошли также статьи Германа Бара и Отто Юлиуса Бирбаума),¹³ и, наконец, автобиографический очерк «Моя жизнь».¹⁴ В течение войны и послевоенные годы Элиасберг выпустит в своем переводе несколько сборников статей Мережковского: «Вечные спутники» (1914); «От войны к революции. Невоенный дневник» (1918); «На пути в Эммаус» (1919),¹⁵ «Тайны Востока» (1924)¹⁶ и, наконец, — составленный Мережковским совместно с З. Н. Гип-

пиус, Д. В. Философовым и В. А. Злобиным сборник статей под названием «Царство Антихриста. Россия и большевизм» (1921). Последняя работа Элиасберга как переводчика Мережковского — роман «Рождение богов. Тутанкамон на Крите» (1924; перевод выполнен совместно с Гансом Руоффом).

Личное знакомство и переписка Элиасберга с Мережковским относятся к началу 1910-х годов. Письма Элиасберга к Брюсову 1911 года свидетельствуют о том, что прямых отношений между писателем и его переводчиком на немецкий язык до того времени не возникало. Так, 22 января Элиасберг спрашивает Брюсова (в связи с романом Мережковского «Александр I», объявленным «Русской мыслью» на 1911 год): «...Когда и где этот роман появится в цельном виде? Обращаюсь к Вам, а не к Мережковскому, ибо опыт показал, что он ни на какие запросы и письма не отвечает».¹⁷ «...Я писал Д. С. Мережковскому об авторизации его нового романа <...>, — читаем в письме Элиасберга от 29 мая 1911 года. — Об этом же писал ему издатель Piper; но Д.<митрий> С.<ергеевич> не отвечает. Могу я Вас попросить написать ему пару слов (конечно, если Вы с ним в соответственных отношениях) и рекомендовать ему меня как переводчика?»¹⁸

Не без участия Брюсова Элиасбергу удалось вступить в переписку с Мережковским и получить от него согласие (авторизацию) на перевод его произведений. В конце 1911 года в издательстве Пипера выходит «Юлиан Отступник»; в 1912 году — «Александр I». Романы Мережковского имели в Германии немалый (в сущности, большой, нежели в России) успех. «Как переводчик Мережковского я в достаточной степени прославился в Германии, и любое издательство согласится иметь роман в моем переводе», — сообщает Элиасберг Брюсову 19 февраля 1912 года.¹⁹

В годы войны переписка Элиасберга и Мережковского, естественно, прерывается. Но как только почтовая связь между Россией и Германией возобновилась, Элиасберг в одном из писем немедля запрашивает об адресе Мережковского. После бегства писателя за границу в конце 1919 года (вместе с З. Н. Гиппиус, Философовым и Злобиным) Элиасбергу, который, как уже говорилось, неумоимо продолжал в те годы свою работу в качестве переводчика и пропагандиста сочинений Мережковского в Германии, удается с ним познакомиться лично. «С месяц тому назад был в Висбадене, где видел между прочим чету Мережковских и Бунина», — сообщает он 19 сентября 1921 года московскому искусствоведа и коллекционеру П. Д. Эттингеру.²⁰

* * *

Знакомство Элиасберга с Манном — писатель жил по другую сторону Английского сада, на Пошингерштрассе (ныне эта улица носит имя Томаса Манна) — состоялось, по-видимому, в 1914 году. О дате их личной встречи позволяет судить первое письмо Томаса Манна к Элиасбергу от 26 марта 1914 года. Манн пишет ему о том, что рад состоявшемуся знакомству «не только по деловым, но главным образом по личным мотивам».²¹ И уже в этом первом письме встречается имя Мережковского. Не удивительно: Томас Манн был, как известно, страстным поклонником русского писателя. Книга Мережковского о Толстом и Достоевском, изданная в Германии уже в 1903 году, во многом предопределила отношение Томаса Манна к русской литературе.²² «Для внутреннего становления Томаса Манна, — отмечает современный исследователь, — Мережковский был, возможно, самой важной фигурой, приобщившей его к русской духовности и русской литературе».²³

«От души благодарю Вас, — пишет Томас Манн Элиасбергу в том же письме от 26 марта, — за Ваши любезные строки и книгу, в чтение которой я сразу же погрузился вчера вечером. Она подтверждает то, что я знаю уже десять лет: Мережковский — самый глубокий европейский критик после Ницше»²⁴. (Имеется в виду книга Мережковского о Гоголе,²⁵ которую переводчик вручил Томасу Манну со следующей надписью: «Господину Томасу Манну с огромным уважением. 24. 3. <19> 14. А. Элиасберг»)²⁶

О высокой оценке, высказанной Манном, Элиасберг сообщил самому Мережковскому. «Отзыв Манна меня очень тронул, — пишет Мережковский Элиасбергу 24 августа 1914 года. — Хотя я сознаю, разумеется, что отзыв этот чрезмерен: далеко мне до Нитче! Передайте Манну мой сердечный привет, в самом деле, сердечный».²⁷

Этому письму предшествовал любезный жест Томаса Манна, отправившего Мережковскому несколько своих книг, — способствовал этому опять-таки Элиасберг. «Конечно, я пошлю ему свою последнюю книгу, — писал Томас Манн Элиасбергу 20 июня 1914 года, — если Вы полагаете, что это его обрадует». Книги были отправлены, и 6 июля 1914 года Мережковский сообщал Элиасбергу: «...Получил две книги (между прочим, «Смерть в Венеции» от Т. Манна). Но горе в том, что письмо прочесть я не могу — такой ужасный почерк. Посылаю его Вам. Если удосужитесь, перепишите человеческим почерком и пришлите мне, чтобы я мог прочесть и ответить».²⁸ Томас Манн, со своей стороны, как будто почувствовал трудности Мережковского, о чем писал Элиасбергу 17 июля 1914 года: «Несколько недель тому назад я отправил Мережковскому «Смерть в Венеции» и «Тонию Крегера» и одновременно написал ему, но не получил никакого ответа. Думаю, что он так и не сможет прочитать моего письма». Элиасберг, очевидно, помог Мережковскому — переписал для него письмо Манна «человеческим почерком». «...Письмо Манна, — пишет Мережковский Элиасбергу 15 июля 1914 года, — действительно милое, но не знаю, что на него отвечать».²⁹

В конце 1914 года Элиасберг дарит Томасу Манну том «Вечных спутников» Мережковского, сопроводив его следующей дарственной надписью: «Господину Томасу Манну с искренним уважением от переводчика. Мюнхен. 11 нояб<ря> <19>14». На это Томас Манн откликается благодарственным письмом (14 ноября 1914 года): «Очень рад великолепному подарку, который Вы мне — и прежде всего мне — снова сделали. Примите мою сердечную благодарность! <...> Я не знаю ничего более высокого в плане критического, духовного познания. <...> Впрочем, я вполне способен оценить и качество Вашего прекрасного перевода, достойного всяческой похвалы. Автор может себя поздравить — у него оказалась достойный посредник».

В течение всех последующих лет Элиасберг остается своего рода соединительным звеном между Томасом Манном и Мережковским. Он регулярно дарит ему свои переводы — эти книги («На пути в Эммаус», «Четырнадцатое декабря», «Тайны Востока» и «Тутанкамон на Крите») с дарственными надписями Элиасберга сохранились в Архиве Томаса Манна.³⁰ В библиографическом отношении ценны инскрипты на книге Мережковского «От войны к революции. Невоенный дневник» (1918) и на коллективном сборнике «Царство Антихриста. Россия и большевизм» (1921). Переводчиком первой книги значится Альберт Цуккер; на второй книге имя переводчика вообще отсутствует (должно быть, Элиасберг опасался за судьбу своих родственников в Советской России). Характерный почерк Элиасберга, а также текст надписи на второй книге («Господину Томасу Манну с приветом и благодарностью от неназванного переводчика. 9. 7. <19>21») недвусмысленно говорят о том, кто был истинным переводчиком обеих книг.

* * *

Пик деятельности Элиасберга как посредника между русской и немецкой литературой приходится на военные и послевоенные годы, когда на книжном рынке Германии возник повышенный интерес ко всему русскому: «...духовное общение с русскими, — говоря словами издателя Рейнгарда Пипера, — стало неизбежностью».³¹ Особенно это относится к периоду между 1917 и 1924 годами — эти годы обозначают для Германии «наивысший подъем литературного увлечения Россией».³² Именно в этот период Элиасберг, отличавшийся паразитическим трудолюбием, создает себе в Германии репутацию «первого» переводчика русской литературы.

«Живем мы в высшей степени хорошо, — рассказывал Элиасберг 13 ноября 1920 года П. Д. Эттингеру, — я доволен работой, которая хорошо оплачивается, и пользуюсь благодаря 82-м книгам, мной переведенным, большой известностью. Спрос на русскую литературу здесь огромный, больший, чем когда-либо, а мое положение в этой области почти монопольное, так что от издателей нет отбою».³³

Знакомство с Томасом Манном, дружески расположенным к Элиасбергу, во многом украшало его мюнхенскую жизнь, а любовь немецкого писателя к «святой русской литературе», естественно, стимулировала его переводческую работу. Обследование библиотеки Томаса Манна в цюрихском архиве позволяет заключить, что Элиасберг снабжал немецкого писателя не только произведениями Мережковского, но и всей своей обширной литературной продукцией, в том числе — оригинальными сочинениями. Так, в 1915 году Элиасберг дарит писателю свою книгу о русском искусстве³⁴ с надписью: «Господину Томасу Манну с сердечным приветом Александр Элиасберг. Мюнхен, 19. X. 1915». Это — вторая по времени дата (первая — на книге Мережковского о Гоголе) в череде дарственных надписей Элиасберга Томасу Манну, который немедленно откликнулся на «Русское искусство». «Многоуважаемый господин Элиасберг, — пишет Манн 20 октября 1915 года. — Вы вновь доставили мне огромную радость. <...> Я все не могу досыта насладиться удивительными церквями».

Богато представленная в библиотеке Томаса Манна русская классика связана — в той или иной степени — с именем Элиасберга. Здесь имеются, например, все десять томов, выпущенные в 1922—1923 годах Александром Элиасбергом и Йоганнесом фон Гюнтером в мюнхенском издательстве «Drei Masken» (серия «Русская библиотека»). Тома, подготовленные Гюнтером («Комические истории» Чехова, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Фантастические повести» В. Ф. Одоевского, «Казачи» Л. Н. Толстого, «Дворянское гнездо» Тургенева), не имеют дарственных надписей; отсутствует таковая и на томе «Русские женщины» А. М. Ремизова, переведенном Элиасбергом. На остальных четырех томах («Петербургские повести» Гоголя, антология «Русский Христос», «Достоевский. Избранные сочинения», а также книга «Народ на войне» Софьи Федорченко) — инскрипты Элиасберга. Последней из перечисленных книг (изданной по-немецки под заголовком «Говорит народ») переводчик особенно пытался заинтересовать писателя: «Господину Томасу Манну с просьбой обратить особенное внимание на эту самую русскую из всех книг. Мюнхен, май 1923. Александр Элиасберг».

Наряду с упомянутой в начале статьи книгой «Новые русские прозаики», содержащей печатное и рукописное обращения к Томасу Манну, среди работ Элиасберга следует выделить еще две, возникшие как результат его непосредственного сотрудничества с немецким писателем. Первая из них — «История русской литературы в портретах» (1922)³⁵; Мережковский написал предисловие к этой книге, озаглавленное «Europa fuit?».³⁶ Вторая книга — двуязычная «Русская литература в портретах и письменах» (1922)³⁷ с введением Томаса Манна. Обе книги сохранились в его библиотеке, но посвящения Элиасберга нет ни на одной из них; писатель получил их, видимо, не из рук переводчика.

Отсутствуют в библиотеке Томаса Манна и надписи Элиасберга на «Письмах» Достоевского, изданных Пипером в 1914 году, на четвертом томе «Дневника писателя» (издание, осуществленное мюнхенским издательством «Musarion» в 1921—1923 годах), а также на книге Тургенева «Записки охотника», выпущенной в 1924 году издателем Густавом Кипенхойером. О Тургеневе следует добавить, что в библиотеке Манна отсутствуют «Видения», книга повестей и рассказов, изданная под таким названием Кипенхойером в 1914 году, — в свое время Элиасберг подарил ее Томасу Манну. «Примите мою сердечную благодарность за прекрасный подарок <...>, — пишет Манн Элиасбергу 5 июня 1914 года. — Я читаю теперь Тургенева с тем же рвением и таким же восхищением, как и 20 лет тому назад».

Зато сохранились надписи на немецких изданиях М. Горького («Мой спутник и другие рассказы», Берлин, 1921) и Чехова (Элиасберг редактировал отдельные тома «Собрания повестей и рассказов», предпринятого под его общим руководством в 1919—1920 годах издательством «Musagion», а также участвовал в этом издании как переводчик). Можно предположить, что с творчеством Чехова Томас Манн в 1910-е годы знакомится во многом благодаря Элиасбергу. Получив от него в 1917 году том рассказов Чехова, изданный Кипенхойером (под заглавием «О любви»), Томас Манн пишет ему 21 мая, как его радует это «глубоко благотворное, здоровое и весьма лакомое, без чрезмерностей, искусство». При этом Томас Манн вновь подчеркивает посредническую роль Элиасберга: «...Не следует забывать *Вашего* участия, Ваш чистый, однако сохраняющий русский дух немецкий перевод, который следует в наши дни оценивать почти, и не только «почти», как *политическую* заслугу».

Восхищаясь переводами Элиасберга, Томас Манн по-разному отзывался о русских авторах, чьи произведения ему приходилось читать в переложении «превосходного посредника». Очевидна, во всяком случае, разница в отношении Манна к русской классике и некоторым современным авторам. «Дорогой господин Элиасберг, — пишет ему Томас Манн 20 августа 1919 года, — с огромным интересом я только что прочитал Ваши переводы из Кузмина (речь идет, по всей видимости, о книге «Зеленый соловей и другие новеллы», изданной Кипенхойером в 1918 году. — К. З.). Изысканное наслаждение! Автор может поздравить себя с таким переводчиком. Но что подобное исходит из России — такая мысль вряд ли приходит в голову!» Аналогичным образом высказался Томас Манн и об «Александрийских песнях» в переводе Элиасберга. «Элиасберг прислал мне свои переводы из «Александрийских песен» Кузмина,³⁸ — записывает Манн в своем дневнике 31 августа 1919 года. — Нечто в высшей степени не русское, позднее, ученое и изысканное».³⁹ Эстетская проза и поэзия Кузмина вовсе не отвечала, как видно, тем представлениям о России, которые сложились у Томаса Манна к концу 1910-х годов. Характерно, что месяц спустя Томас Манн благодарит Элиасберга за его перевод «Легенды о Великом Инквизиторе» (Берлин, 1919). «Как хорошо, — пишет он Элиасбергу 25 сентября 1919 года, — что у меня есть теперь этот демонический отрывок прозы, в отдельном издании и Вашем переводе». Тяготевший к мифическому образу «богоизбранной» и «демонической» России, Томас Манн, читатель и поклонник Мережковского, по-прежнему вдохновлялся Достоевским и Толстым, оставаясь равнодушным к модернистским изыскам.

* * *

Какие же книги Томаса Манна получал Элиасберг в ответ на свои подношения? То, что Томас Манн регулярно дарил ему книги, явствует из его писем к Элиасбергу. Так, накануне Рождества 1919 года Манн пишет Элиасбергу, что послал ему свою «последнюю книжицу», в которую вошли новеллы «Хозяин и собака» и «Песня о ребенке». Что же касается инскриптов, то вплоть до недавнего времени (библиотека Элиасберга полностью не сохранилась⁴⁰) было известно лишь об одном издании: книге «Кровь Вельзунгов», отпечатанной в 1921 году частным способом. На этом издании, представляющем собой ныне библиографическую редкость, имеется дарственная надпись: «Александр Элиасбергу с самым искренним уважением. Мюнхен, апрель 1921. Томас Манн».⁴¹ Сообщая 20 апреля 1921 года в Москву П. Д. Эттингеру о том, что он получил эту книгу «с многочисленными оригинальными литографиями Th. Th. Heine»⁴² от Томаса Манна «с посвящением в подарок», Элиасберг поясняет, что роман «Кровь Вельзунгов» — «иронически-эротический, одно из самых совершенных произведений Th. Mann'a, написан здесь в 1905 году, но издан только теперь как Privatdruck».⁴³

В действительности это посвящение было далеко не единственным; документ, сохранившийся в семье Элиасбергов, вносит в этот вопрос существен-

ные уточнения.⁴⁴ Речь идет о копии машинописного списка, озаглавленного (по-немецки): «Полный перечень книг библиотеки Александра Элиасберга». Все произведения Томаса Манна снабжены в этом перечне пометой «MW» (mit Widmung — «с посвящением»). Общее количество изданий — двенадцать: «Маленький господин Фридеман» (Берлин, 1909); «Вундеркинд» (Берлин, 1914); «Фридрих и великая коалиция» (Берлин, 1915); «Будденброки» (Берлин, 1918); «Размышления аполитичного» (Берлин, 1918); «Смерть в Венеции» (Берлин, 1918); «Тристан» (Берлин, 1918); «Фьоренца» (Берлин, 1918); «Господин и собака. Песня о ребенке» (Берлин, 1919); «Кровь Вельзунгов» (1921), «Вопросы и ответы» (Берлин, 1922); «Гете и Толстой» (Аахен, 1923).

Личные отношения, сложившиеся между Томасом Манном и Элиасбергом, были в те годы вполне дружескими. Они часто виделись, навещали друг друга. Об этом свидетельствуют и письма Томаса Манна, и отдельные записи в его дневнике 1918—1921 годов. «Зайдите к нам как-нибудь выпить чашечку чая и выкурить сигарету», — приглашает Манн Элиасберга 20 октября 1915 года. «Вечером, в половине девятого, у Элиасбергов за чаем в еврейском обществе», — читаем в дневнике Т. Манна (запись от 17 октября 1920 года).⁴⁵ Узнав о смерти Давида Элиасберга,⁴⁶ Т. Манн немедленно откликается сочувственным письмом: «Хорошо, что Вы сообщили мне о постигшем Вас горе, — пишет он Элиасбергу 28 февраля 1920 года. — Впечатление и чувство, побудившие Вас к этому, не обманывают Вас. Бесконечно благодарю Вас и с сердечным участием жму Вашу руку».

Высоко ценя Элиасберга, Томас Манн не только выделял его переводческий талант, но и прислушивался к его мнению относительно собственных произведений. Так, 28 января 1919 года Томас Манн записывает: «Вчера меня очень порадовало теплое письмо русского еврея Элиасберга, посвященное «Размышлениям», исполненное благодарности за ее германский дух (имеется в виду суждение Элиасберга о полученной им в дар книге «Размышления аполитичного». — К. З.). — Для иностранцев, любящих Германию, эта книга должна что-то значить. Ни один немец никогда не сможет так полюбить Германию, как отдельные иностранцы».⁴⁷ Не случайно Элиасберг оказался одним из тех, кого Манн познакомил в рукописи со своим новым романом «Волшебная гора» (впервые изданном в 1926 году). «Thomas Mann уже пять лет пишет новый роман, который я частями читал в рукописи и который все еще не готов; это будет его лучшее произведение», — сообщал Элиасберг Эттингеру 13 ноября 1920 года.⁴⁸

Элиасберг, со своей стороны, также делился с Томасом Манном творческими проблемами, и немецкий писатель искренне старался ему помочь, поддержать его своим авторитетом. 15 апреля 1921 года Элиасберг жалуется Манну на то, что его новая работа «совершенно не продвигается»: «...Дело в том, что я должен написать краткую «Историю русской литературы», но испытываю немалые затруднения, которые не могу одолеть: каторжная переводческая работа, которой я занимаюсь уже много лет, совсем лишила меня способности к самостоятельному творчеству».⁴⁹ Однако спустя три месяца, в начале июля 1921 года, Элиасберг приносит Томасу Манну рукопись своей книги, и в письме от 26 июля 1921 года немецкий писатель высказывает автору свое в высшей степени одобрительное мнение.

«Повторяю то <...>, что уже говорил Вам устно после чтения рукописи: Ваша книга, ясная, лаконичная, обзорная, основательная, мне чрезвычайно понравилась; при том очевидном интересе, какой вызывает у нас сегодня Восток, имею основания надеяться, что многие обратятся к ней для получения информации. Этой книге прямо-таки суждено стать популярной». И писатель заключает свое письмо фразой, отражающей, конечно же, не только его собственное отношение к Элиасбергу. «Во всяком случае, Вы, признанный посредник между Россией и нами, можете, наряду со всеми Вашими переводческими деяниями, считать своей огромной заслугой и это оригинальное произведение».

«Мой отец? — подытоживает художник Павел Элиасберг (1907—1983), сын Александра Самойловича, — преклонялся перед Томасом Манном, он был для него-божеством, его альфой и омегой. За что этот солнечный бог лишь изредка достаивал его своими лучами».⁵⁰

* * *

Последние месяцы жизни Элиасберга отмечены трагическими для него событиями. В конце 1922 года его жена, художница З. Н. Васильева, оказалась вовлеченной в громкий скандал, который в значительной мере сама и спровоцировала. Позволив себе публично (на улице) несколько заявлений, истолкованных в антигерманском духе, она предстала перед судом, который признал ее виновной и приговорил к пятимесячному тюремному заключению. Элиасберг же вместе с сыном вынужден был покинуть Мюнхен. Он переселился в Берлин, где жила его сестра с мужем, однако здоровье его оказалось безнадежно подорванным.

Узнав о случившемся, Томас Манн с глубоким сожалением писал ему 26 октября 1923 года:

«То, что Вы покинули Мюнхен, прожив в нем семнадцать лет, в течение которых Вы пользовались симпатией и доверием всех, кто Вас хорошо знал или хотя бы соприкасался с Вами, — истинная потеря для культурной жизни этого города; дружеское общение с Вами было мне лично так ценно и дорого, что Ваш отъезд для меня — весьма ощутимая человеческая и духовная утрата. Будем надеяться, что германская столица примет Вас дружелюбно, ибо Ваши заслуги как посредника между двумя культурами, как переводчика на немецкий язык столь многих произведений русского духа воистину велики, а благодаря Вашей политической позиции, которая всегда свидетельствовала не только о лояльности, но и о подлинной любви и привязанности Ваших чувств и мыслей к немецкому образу чувств и мыслей, Вы заслужили, чтобы Вас не только терпели в нашей среде, но и ценили и чтити».

Александр Элиасберг умер в Берлине 26 июля 1924 года от сердечного приступа; ему было всего 46 лет. История его отношений с Томасом Манном, преданным и восхищенным ценителем русской литературы, — ярчайший пример плодотворного сотрудничества двух культур. Ибо великий немецкий писатель и «превосходный посредник» неизменно вдохновлялись в своей работе и своем общении той верой и убежденностью, которую с предельной ясностью выразил Томас Манн: «...Россия и Германия должны знать друг друга все лучше и лучше. Они должны рука об руку идти в будущее».⁵¹

¹ Т. Манн. Русская антология. // Т. Манн. Художник и общество. Статьи и письма. Составление С. Апта. М., 1986. С. 37 (перевод С. Апта).

² Там же («Русская идея» в оригинале — *russisches Wesen*; букв. русская суть).

³ Жизни и творчеству Александра Элиасберга посвящена наша книга, подготовленная в настоящее время для швейцарского издательства «Петер Ланг» (серия «Russian Culture in Europe»).

⁴ См.: V. Medem. The Life and Soul of a Legendary Jewish Socialist. Translated and with an introduction by Samuel A. Portnoy. New York, 1979. P. 85. Владимир Давыдович Медем (1879—1923) — публицист; политический и общественный деятель (родом из Минска). В 1900 г. вступил в Бунд; в 1919—1920 гг. возглавлял Бунд в Польше. В 1921 г. эмигрировал в США.

⁵ *Russische Lyrik der Gegenwart*. München, 1907. Книга была выпущена известным мюнхенским издательством Рейнгарда Пипера, с которым впоследствии на протяжении многих лет сотрудничал Элиасберг.

⁶ Цит. по: А. П. Лаптева. Неизвестные автографы Константина Бальмонта в архивах Чехословакии // Русская литература. 1990. № 3. С. 170. Переписка Элиасберга с Бальмонтом охватывает 1907—1921 гг.

⁷ Рукописный отдел Российской государственной библиотеки (далее — РГБ). Ф. 386. Карт. 109. Ед. хр. 40. Л. 7. Все даты (здесь и далее) — по новому стилю.

⁸ Там же. Л. 29.

⁹ Рудольф Борхардт (1877—1945) — немецкий поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Элиасберг был увлечен его стилизованной «Книгой Йорам» (1905; 1907), которую перевел на русский язык; перевод был напечатан в России (СПб., 1910; книгоиздательство «Пантеон»).

¹⁰ См.: Die grossen Russen. Puschkin, Lermontow, Gogol, Tolstoj, Turgenjew, Dostojewskij, Tschewow. Eine Auswahl aus ihren Werken in neuer Übersetzung mit Einleitungen und Porträts. Von Alexander Eliasberg. Leipzig, [1910].

¹¹ РГБ. Ф. 386. Карт. 109. Ед. хр. 42. Л. 39.

¹² Сборник впервые увидел свет в Париже (1907). Первое русское изд. — М., 1999 (серия «Исследования по истории русской мысли». Под общей редакцией М. А. Колерова. Т. 4).

¹³ Dostojewskij. Drei Essays von Hermann Bahr, Dmitri Mereschkowski, Otto Julius Birbaum. München, 1914.

¹⁴ D. Mereschkowskij. Mein Leben // Almanach des Verlages R.Piper & Co. München 1904—1914.

¹⁵ Немецкое название дано по первой статье, вошедшей в книгу: Д. Мережковский. Было и будет. Дневник. 1910—1914. Пг., 1915.

¹⁶ Под этим названием была издана в Германии книга художественно-философской эссеистики Мережковского «Тайна Трех. Египет и Вавилон» (1923).

¹⁷ РГБ. Ф. 386. Карт. 109. Ед. хр. 42. Л. 2.

¹⁸ Там же. Л. 10.

¹⁹ Там же. Л. 26.

²⁰ Архив Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (далее — ГМИИ). Ф. 29. Оп. III. Ед. хр. 4792.

²¹ См.: А. Hofman. Thomas Mann a Rusko. Praha, 1959. S. 114. В дальнейшем письма Томаса Манна к Элиасбергу цитируются без отсылок к данному источнику.

²² Экземпляр этой книги (D. Mereshkowskij. Tolstoj und Dostojewskij als Menschen und Künstler. Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens. Leipzig, 1903) с владельческой пометой Томаса Манна сохранился в его цюрихском Архиве в Техническом университете Швейцарской Конфедерации (далее — Архив Томаса Манна).

²³ См.: G. Koenen. Betrachtungen eines Unpolitischen. Thomas Mann über Russland und den Bolschewismus. In: Deutschland und die Russische Revolution 1917—1924. Hrsg. von Gerd Koenen und Lew Kopelew. München, 1998. S. 372—373.

²⁴ Там же.

²⁵ D. Mereschkowskij. Gogol. Sein Werk, sein Leben und seine Religion. München, 1911.

²⁶ Архив Томаса Манна. Все инскрипты Элиасберга на а книгах, подаренных им Томасу Манну и находящихся ныне в Цюрихе, приводятся в дальнейшем без отсылок.

²⁷ Письма Мережковского к Элиасбергу хранятся в Пражском литературном архиве (фонд Элиасберга).

²⁸ Там же.

²⁹ Там же.

³⁰ Две последние книги («Тайны Востока» и «Тутанхамон на Крите») были позднее подарены Томасу Манну самим автором (по-видимому, в 1926 г. в Париже во время первой — единственной! — встречи Томаса Манна с Мережковским). Дарственная надпись на обеих книгах (по-немецки): «Господину Томасу Манну с искренним почтением Д. Мережковский. 1926».

³¹ R. Piper. Mein Leben als Verleger. Vormittag. Nachmittag. Stuttgart — Hamburg, 1947/1950. S. 282.

³² J. Froberger. Zur Einschätzung der russischen Literatur. Beispiele und Anmerkungen (Dostojewski und Tolstoj) // Die Bücherwelt. 1926. Jg. 23. S. 103.

³³ ГМИИ. Ф. 29. Оп. III. Ед. хр. 4796.

³⁴ A. Eliasberg. Russische Kunst. Ein Beitrag zur Charakteristik des Russentums. München, 1915.

³⁵ A. Eliasberg. Russische Literaturgeschichte in Einzelporträts. München, 1922.

Стефан Цвейг, откликнувшийся рецензией на эту книгу, писал: «Одним из первых шагов нынешнего русского правительства после устранения милитаризма была отмена всех прежних орденов и знаков отличия. Но если бы оно вело какую-либо награду за достижение в области культуры, то я не мог бы назвать никого, кто заслужил бы ее в большей степени, чем широко признанный Александр Элиасберг, которому мы, немцы, обязаны приблизительно половиной всех наших знаний о русской литературе. [...] Если этот человек, коего неутомимую творческую деятельность определяют, как мы видим в течение ряда лет, вкус и художественное чутье, выпускает в свет «Историю русской литературы», то нас должен радовать уже сам факт; и познакомившись ближе с этим изданием, мы не испытываем разочарования» (Neue Freie Presse. 1922. 8 Januar).

³⁶ Была Европа? (лат.)

³⁷ Bildergalerie zur russischen Literatur. Ausgewählt und herausgegeben von Alexander Eliasberg. Eingeleitet von Thomas Mann. München, [1922].

³⁸ Томас Манн читал пять «Песен», переведенных Элиасбергом для одного из мюнхенских журналов (Münchner Blätter für Dichtung und Graphik. 1919. Nr. 1. S. 113—116). Впоследствии Элиасберг выпустил в издательстве «Musarion» полный текст «Александрейских песен» (Мюнхен, 1921).

³⁹ *Th. Mann. Tagebücher 1918—1921*. Herausgegeben von Peter de Mendelsohn. Frankfurt a. M., 1979. S. 298.

⁴⁰ См. подробно: *C. Sippl. Die Bibliothek des Übersetzers Alexander Eliasberg: Eine Spurensuche // Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Neue Folge. 2001. Nr. 16. S. 134—143.*

⁴¹ См.: *Herzlich zugeeignet. Widmungen von Thomas Mann 1887—1955*. Herausgegeben von Gert Heine und Paul Sommer. Lübeck, 1998. S. 47.

⁴² Томас Теодор Гейне (1867—1948) — немецкий художник, автор известных сатирических картин, карикатур и шаржей, выполненных главным образом для мюнхенского журнала «Simplicissimus».

⁴³ ГМИИ. Ф. 29. Оп. III. Ед. хр. 4803. Privatdruck — частное издание (нем.).

⁴⁴ Пользуюсь случаем выразить искреннюю благодарность семье Элиасбергов за предоставленные мне сведения и поддержку моих разысканий.

⁴⁵ *Th. Mann. Tagebücher 1918—1921*. S. 469.

⁴⁶ Давид Самойлович Элиасберг (1898—1920) умер 21 февраля 1920 г. в Кенигсберге от гриппа. «...Мой горячо любимый, богато одаренный, всего 22-летний брат Давид...» — пишет Элиасберг, сообщая 13 ноября 1920 г. П. Д. Эттингеру о его смерти (ГМИИ. Ф. 29. Оп. III. Ед. хр. 4796). Известен главным образом своим участием в издании антологии «Русский Парнас» (Лейпциг, 1920; на рус. яз.), составленной совместно А. С. и Д. С. Элиасбергами и включавшей в себя произведения крупнейших русских поэтов XVIII—XX вв. (от Ломоносова до Игоря Северянина).

⁴⁷ Там же. S. 140—141.

⁴⁸ ГМИИ. Ф. 29. Оп. III. Ед. хр. 4796. Спустя полтора года Элиасберг вновь пишет Эттингеру по поводу «Волшебной горы»: «Вся страна ждет, затаив дыхание, нового романа Thomas Mann «Der Zauberberg», над которым он работает пять лет и который я частью знаю по рукописи. Этим летом он должен выйти в свет» (Там же. Ед. хр. 4817).

⁴⁹ Архив Томаса Манна.

⁵⁰ Письмо от 15 марта 1971 г. к Элизабет Гебель, его многолетней спутнице жизни (Германский национальный музей в Нюрнберге).

⁵¹ *T. Mann. Russische Anthologie*. S. 42.

Перевод К. Константинова

АЛЕКСЕЙ ЖЕРЕБИН

ПОСЛЕДНИЙ СИМВОЛИСТ АВСТРИИ

Австриец Рудольф Каснер (1873—1959), мыслитель и тонкий мастер философской прозы, совершенно неизвестен в России. Маленькая статья в дополнительном девятом томе Краткой литературной энциклопедии до сих пор остается для русского читателя единственным источником сведений об этом авторе. Между тем уже первое упоминание о Каснере на русском языке — в журнале «Аполлон» за 1909 год — намечает важную точку соприкосновения между его творчеством и философско-художественной культурой русского символизма.

Среди иностранных сотрудников «Аполлона» числилось множество известных немецких и австрийских писателей, но единственным, кто действительно участвовал в деятельности журнала своими публикациями, был поэт и переводчик, знаток русской поэзии Иоганнес фон Гюнтер. Он и называет в своем обзоре современной немецкой литературы имя Каснера — с многозначительным определением «мистический». В современной Германии, утверждает Гюнтер, вновь «расцветает Голубой цветок» романтизма: «Этот новый романтизм, охвативший нашу литературу, начиная с такого маленького эклектического таланта, как Герман Гессе, вплоть до редкого индивидуального дарования Рудольфа Борхардта, романтизм, давший нам гениальных критиков и первопроходцев, — таких, как порывистый Франц Блей или мистический Рудольф Каснер, — этот новый романтизм я хотел бы охарактеризовать словами одного русского поэта:

Не мни: мы, в небе тая,
С землей разлучены:
Ведет тропа святая
В заоблачные сны».

Имя русского поэта, утаенное Гюнтером, — Вячеслав Иванов, его святые грезы о соединении «земли» и «неба» — та общая для русской и немецкой поэзии начала XX века концепция творческого преобразования жизни, в истоках которой лежит мистический реализм ранних немецких романтиков. К этой традиции восходит и творчество Каснера, в том числе свойственный ему неоромантический синтез философии, поэзии и жизни.

Алексей Иосифович Жеребин (род. в 1950 г.) — литературовед, переводчик. Доцент Российского гос. университета им. А. И. Герцена. Автор книг «О прошлом одной иллюзии» (СПб., 2003), «Вертикальная линия» (СПб., 2004) и многочисленных публикаций по истории немецкой литературы. Живет в С.-Петербурге.

* * *

На рубеже веков философия эстетизма учила воспринимать реальную жизнь как художественный текст, в котором нет места случайным деталям. Каснер следовал этой традиции и позже, рассказывая о себе в автобиографических книгах «Воспоминания» (1938), «Второе плавание» (1946), «Годы возвратные» (1949). Ему чрезвычайно важно, например, что его родная Моравия — это земля гуситов, где «моравские братья» всходили на костер за еретическую веру в Царство Божие на земле, что его отец — выходец из Силезии, где учил Якоб Беме, — один из несомненных духовных предков Каснера. И вся дальнейшая жизнь, все ее факты и встречи слагаются для Каснера в цепь внутренне обусловленных событий, в «путь», предназначенный художнику, творящему свое истинное Я. «У человека мистического склада, — пишет Каснер, — все его существо находит выражение в каждом поступке, подобно тому, как душа художественного произведения должна целиком выражаться в его форме».

Учителями Каснера в Венском и Берлинском университетах были люди XIX века: историки Теодор Моммзен и Генрих Трейчке, теолог Адольф Гарнак, филолог Эрих Шмидт, подсказавший Каснеру тему диссертации «Образ Вечного жида в литературе», которую тот защитил в 1896 году. Но его единомышленниками, нередко и личными друзьями были уже не они, а поэты и мыслители новой эпохи, составившие славу европейского символизма, — Рильке и Гюфмансталь, Андре Жид и Поль Валери, Оскар Уайльд и Уильям Батлер Йейтс. Мироззрение Каснера складывалось под знаком переоценки нравственных и эстетических ценностей XIX столетия.

Каснер много и охотно путешествовал. Париж, Рим и Лондон, центры европейской культуры, имели для него не меньшее значение, чем Берлин или Вена — место его постоянного жительства до Второй мировой войны. Важными вехами в творческом развитии Каснера стали его поездки в Россию, в Индию и в Северную Африку, предпринятые им в начале века и связанные с его поисками «подлинного варвара», противопоставленного индивидуалистической культуре Запада. По России Каснер путешествовал с апреля по ноябрь 1911 года, был в Петербурге, Москве, Ялте, Тифлисе и Средней Азии, изучал русский язык, свел знакомство с русскими литераторами, в частности с Мережковским, который произвел на него большое впечатление: «Очень много мозгов, больше всего желающих стать сердцем».

Общественные потрясения XX века почти не нашли в творчестве Каснера непосредственного отклика. С юности выработанная им привычка рассматривать явления современности в масштабе многовековой истории человечества, и прежде всего под знаком внеисторической актуальности христианского мифа, удерживала его от политических выступлений и злободневной журналистики. Каснер не был беспристрастным зрителем мировой истории, но современность имела для него значение лишь внутри «большого времени», в общей связи веков и тысячелетий. От этого создается впечатление, что он читал газеты как поэмы Мильтона. Так, например, «железный занавес» Сталина становится у него метафорой искусственного разделения природного и духовного начал, которые в истинной реальности переплетены и взаимообусловлены. Последние годы жизни Каснер провел в Швейцарии, в тех местах, где Рильке писал «Дуинские элегии», из которых одна, восьмая, посвящена Каснеру, по словам Рильке, «важнейшему из всех, кто сегодня пишет и высказывает свои мысли».

* * *

Ключевая категория художественной философии Каснера — это «воображение», осмысленное, если воспользоваться выражением Достоевского, как «чувство соприкосновения таинственным миром иным». «Только тот, чей взгляд обладает силой воображения, видит в части целое или в одном все», — пишет Каснер.

Воображение оперирует, по убеждению Каснера, символами. Знаток и переводчик Платона, Каснер понимает символ как мост между двумя мирами, которые не разобщены окончательно. Сам по себе эмпирический мир не имеет, с его точки зрения, собственного значения и смысла, он получает их из другого, духовного мира; там заложен Логос, и в мире природном он только отображается, символи-

зируется. Быть — значит иметь значение, быть знаком иного мира, и все, что имеет в человеческой жизни значение и смысл, есть знаковое, символическое — «только отблеск, только тени от незримого очами». «Природа — это троп духа», — писал Новалис, и Каснер повторяет за ним: «Тело есть метафора души, природа — метафора духа». По существу, Каснер уже в 1900 году отстаивает ту концепцию «реалистического символизма», которую начинает через несколько лет разрабатывать у нас Вячеслав Иванов: символ у Каснера не только поэтическое средство для выражения субъективных переживаний, но и способ перехода а *realibus ad realia*. Такой символизм, соединяющий два мира, предполагает веру в подлинную, реально существующую связь тех явлений, из сопоставления которых рождаются поэтические тропы. Эссеистика Каснера — это проза поэта-символиста, в которой дискурсивные доказательства вытеснены образными аналогиями. В пространстве его текстов нет мертвых вещей. За символами существования он открывает мир бодлеровских соответствий (*correspondences*), отраженных друг в друге живых Я, каждое из которых составляет часть божественного Я и находит в нем свое высшее единство. Откровения о единстве мира зашифрованы для Каснера в противоречиях эмпирической действительности. Сознание связи всего существующего определяет пафос и поэтику произведений Каснера, овеянных, по выражению Рильке, «мечтой о великой магии». В широком историко-литературном контексте это сближает философию Каснера с романтизмом, в особенности с «магическим идеализмом» Новалиса, в контексте, ему современном и австрийском, — более всего с молодым Гофмансталем, но также и с утопией эссеизма, развернутой Робертом Музилом в его романе «Человек без свойств». Согласно Музилу, настоящее есть лишь не опровергнутая до своего времени гипотеза, и сущность эссеизма, отраженная и жанром эссе, заключается в мышлении аналогиями, которые не подчиняются законам действительного мира, а ставят вещи в вольные отношения возможного сходства, говорят о мире в *conjunctivus potentialis*. Эссеизм выступает у Музила как способ духовного преобразования действительности, которая только кажется незбычемой. Опытом такого преобразования и является вся эссеистика Каснера, причем, если у самого Музила эссе выступает с особой выразительностью под маской романа, то Каснер соблюдает абсолютную чистоту жанра, насколько это вообще возможно в принципиально пограничной эссеистической прозе. Каснер — эссеист *par excellence*, не без оснований названный «немецким Монтенем XX века».

* * *

Все, что было написано Каснером более чем за полвека, насквозь пронизано цепочками лексико-семантических повторов, связывающих произведения различных периодов и жанров (в рамках многообразной эссеистической прозы) — литературно-критические эссе, литературные портреты, мемуары, философские диалоги, параболы, историографические этюды и т. д. Это создает настолько густую сеть межтекстовых связей, что все литературное наследие Каснера можно рассматривать как некую единую структуру, не в плане диахронии, а в плане синхронии. В каждом из его текстов потенциально содержатся все остальные, почти каждый может служить репрезентантом его творчества в целом. Макс Рихнер говорит в связи с этим об островах архипелага, напминающих друг друга очертаниями, Герхард Бахман — о пространственном развертывании идейного ядра, общего всем произведениям и заложенного уже в первом из них.

Архипелаг произведений Каснера представляет собой утопическую страну, населенную персонажами мировой культуры, которые часто переезжают с одного острова на другой, чтобы беседовать друг с другом на особом интернациональном языке, которому обучил их автор — самодержавный правитель архипелага. Ключевые слова этого языка — не строго очерченные понятия, а своего рода музыкальные мотивы с изменчивыми, «мерцающими» значениями, которые получают все новые и новые обертоны. Такими мотивами являются, например, «зеркало», «тождество», «возвращение», «мера», «число», «лицо», «форма», «граница», «ритм», «глубина», «середина» и др. Как в лирической поэзии символизма, смысл прозы Каснера как будто бы растянут на остриях этих ключевых слов.

Центральным символом является у Каснера христианство, символ единства и неслиянности двух миров, к которым принадлежит ищущий себя человек. Свидетельством этого являются уже первые произведения Каснера, созданные на протяжении 1900-х годов: «Мистика, художник и жизнь» (1900), «Смерть и маска» (1902), «Индийский идеализм» (1903), «Мораль музыки» (1905), «Меланхолия» (1908), «Дилетантизм» (1910). Каснер ставит в них чрезвычайно характерную для времени их написания проблему жизни и искусства, чтобы разрешить ее в области мистического сознания, для которого все в мире есть символ бесконечного.

Первая и наиболее знаменитая из этих книг посвящена в основном английской поэзии XIX века, в которой особенно ясно проявляется существование непрерывной мистической традиции, связывающей романтиков, прерафаэлитов и символистов. Блейк, Китс, Шелли важны Каснеру как поэты, чувствующие дыхание вечного, как проповедники «возвращения» природы к Богу. Данте Габриэль Россетти, прерафаэлиты и Броунинг являются, по Каснеру, в такой же мере учениками первых романтиков, в какой они могут быть названы учителями английских символистов, Вильяма Морриса и Суинберна, Берн-Джонсона и Оскара Уайльда. Основой их творчества Каснер провозглашает мечту о преодолении дуализма духа и плоти, о том мистическом реализме, который оправдывает земную жизнь, поскольку видит ее божественной. Эту дорогу для него традицию Каснер противопоставляет искусственному разъединению жизни и идеала, когда действительность, лишенная отношения к Богу, становится единственным содержанием культуры, замыкающейся в бесплодном индивидуализме.

Главный герой молодого Каснера — это, без сомнения, Уильям Блейк, его поэзия «венчает мистическое с жизнью». У Блейка, подчеркивает Каснер, творчество художника, воплощающего свою душу в словах, красках и линиях, отождествляется с вочеловечением Иисуса Христа. Творя миф, художник преображает природу духовностью, подобно мессии, спасающему мир искупительной жертвой. То и другое есть мистический акт воссоединения плоти и духа, ответ на призыв Бога и восхождение к богочеловечеству.

В австрийской литературе начала века книга Каснера имела значение, аналогичное тому, какое в истории русского символизма получила десятилетие спустя книга В. М. Жирмунского о йенском романтизме. Английские поэты XIX века были прочитаны Каснером в таком же обратном времени (где причина идет за следствием), в каком Жирмунский читал немецких романтиков, — сквозь призму неоромантизма начала XX века, с целью его осмысления и в поисках его предшественников. Если говорить о книге Жирмунского, то в этом обратном времени чтения влияние Блока на Новалиса оказывалось ничуть не меньшим, чем влияние Новалиса на Блока, который хорошо понимал, кому адресовал Жирмунский свое исследование. Аналогичным тайным адресатом Каснера был, по собственному его признанию, Гуго фон Гофмансталь, справедливо воспринявший книгу об английских поэтах и художниках как откровение о своем собственном творчестве, как «личное... лично мне адресованное послание».

* * *

Позднейшие сочинения Каснера расширяют и дифференцируют ту мистическую концепцию, которая в общем виде была намечена уже в его философско-эстетических очерках 1900-х годов. Начиная с книги 1912 года «Индийский идеализм» Каснер все решительнее выдвигает на передний план проблему религиозного оправдания культуры. С точки зрения Каснера, как случайный отрывок природного мира человек лишен значительности и глубины, но зато он безмерно значителен и глубок как символ божества, связывающий два мира. Основываясь на этом убеждении, Каснер ставит перед собой задачу создания особой символической науки о человеке, которую он называет «физиогномикой». В 1919 году он пишет книгу «Число и лицо», затем следуют «Основы физиогномики» (1922) с заимствованным у Якоба Беме подзаголовком «О печати вещей», затем книги «Преображение» (1925), «Физиогномическая картина мира» (1930), «Физиогномика» (1932), «Обращенное царство. Опыт физиогномики идей» (1953).

Каснер развивает свои взгляды, переосмысляя культурно-историческую тра-

дицию. Во второй половине XVIII века европейское общество пережило бурное увлечение откровениями швейцарского священника Иоганна Каспара Лафатера, его книгой «Физиогномические фрагменты» (1775—1778). Полемиически переосмысляя это учение, Каснер провозглашает предметом своей физиогномики не устойчивые свойства личности, а драму ее преобразования, бесконечную динамику становления духовного, мистического человека, который раскрывает в себе божественную «идею» своего Я. Физиогномика мыслится у Каснера как опыт описания того самого процесса, который Л. П. Карсавин называет «лицетворением» или «теозисом» (theosis), т.е. «обожением», приобщением человека к полноте божественного бытия. Согласно Каснеру, в мире, скованном цепью причинно-следственных отношений, внешность и внутреннее содержание человека друг другу противоречат, «у каждого лицо другого», и физиогномика, как наука о духовном преобразении, призвана это противоречие раскрыть и устранить.

Когда Каснер утверждает, что физиогномист видит человека одновременно с его «идеей», что физиогномика есть не что иное, как «прикладная мистика», это показывает, что смысл физиогномики заключается для него в постижении бесконечного в конечном. Понятия лицо и облик получают в связи с этим очень широкое значение; их обладателями могут быть в произведениях Каснера не только отдельные люди, но и целые народы, национальные культуры, исторические эпохи и явления культуры, вся плоть мира, поскольку она способна стать хлебом и вином вечной жизни.

Среди физиогномических откровений Каснера не главное, но очень заметное место занимает и «физиономия» русской литературы XIX века. Полиглот и неутомимый переводчик, Каснер знал ее так же хорошо, как и Рильке, оценивал ее как «центральное событие в духовной жизни прошлого века». В 1910-е годы он публикует переводы произведений Пушкина («Пиковая дама», «Арап Петра Великого»), Гоголя («Шинель», «Тарас Бульба»), Толстого («Смерть Ивана Ильича»), Достоевского («Легенда о Великом инквизиторе»). Достоевский, несколько в меньшей степени Толстой и в особенности Гоголь были его «вечными спутниками». Их творчеству он посвятил очерки, вошедшие в книги «Эссе», «Нарцисс» и «О воображении», а также два поздних эссе — «Реализм на Западе и на Востоке» (1947) и «Великие русские» (1948). К Каснеру восходит, в частности, сопоставление Гоголя и Кафки, получившее впоследствии широкое распространение в научной литературе. Большой интерес представляют его размышления об отсутствии в русской культуре глубокой риторической традиции, которая смягчала бы радикализм мифопоэтического сознания. В русской культуре этот радикализм обнаруживает себя, говорит Каснер, в том, что «верх» и «низ» не образуют здесь параллельные миры, как на Западе, где предметом реалистической литературы было «евклидово пространство», их разделяющее, а соприкасаются и интерферируют, вытесняя социально-историческое измерение.

Своеобразие русского реализма определяется, по мнению Каснера, его живой связью с мифом и с магией. Его признаком является «фантастический элемент», благодаря которому эмпирическая действительность размыкается в темную тайну вечности, включает в себя метафизическое измерение, абсолютно чуждое буржуазному, бюргерскому реализму Западной Европы. В Англии, замечает Каснер, Хлестаков носил бы имя Том Джонс, в мире Бальзака трудно найти финансиста или актера, любовника или литератора, в котором не притаился бы Хлестаков или Чичиков; но если мошенники Фильдинга и Бальзака — явление преимущественно социальное, то за образами гоголевских авантюристов угадывается зловещая тень Антихриста. И подобным образом шинель Акакия Акакиевича Башмачкина обнаруживает, с точки зрения Каснера, «физиогномическое» сходство с плащом святого Мартина.

Когда в 1922 году Каснер говорит, что герои русского романа предстают перед нами как бы раздетыми, лишенными всяческой формы, он явно движется в направлении, предуказанном символистской трактовкой Достоевского, и почти буквально предвосхищает позднейшее наблюдение Федора Степуна, писавшего о Достоевском, что в ходе повествования он «незаметно совлекает со своих героев их эмпирическую плоть, их социальное облачение, раздевая их до метафизической наготы». Каснер хорошо понимает, что эмпирическая действительность нужна Го-

голю и Достоевскому как медиум тех космических сил, которые ее определяют, что поразительная психологическая проницательность русских писателей обусловлена их верой в тайную связь каждой личности с метафизическими первопричинами и сущностями бытия. «Психологизм русского романа, — пишет Каснер, — сопоставим разве только с психологизмом Евангелия или Посланий апостола Павла: «Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Только великие русские художники умели осветить жизнь тем неземным светом, каким она сияет в Откровении Иоанна». Именно эта русская психология, граничащая с религиозным учением о душе, является для Каснера положительным противовесом учению Фрейда, в котором он видел одно из самых «симптоматических» заблуждений своего времени.

Незадолго до Каснера именно так писали о Достоевском Вячеслав Иванов и Бердяев. Был ли Каснер знаком с их суждениями, мне неизвестно, но важен сам факт: каснеровская трактовка русского реализма принципиально согласуется с оценкой его у представителей «реалистического символизма» в самой России, утверждавших, что «истинный символизм совпадает с истинным реализмом», поскольку последний включает интуицию сверхчувственной реальности. Изображать «личность и идею личности одновременно», «определять вещи и явления, исходя из их идейного центра» — это главное требование физиогномического метода, выдвигаемое Каснером вопреки психологическому анализу, максимально сближает его физиогномику с философией творчества русских младосимволистов.

«Магическое сознание» русских выступает как проекция взглядов самого Каснера, когда он утверждает, что в творениях Гоголя и Достоевского нет места тому коренному противоречию идеального и реального, в рамках которого осмысляет себя рационалистическая культура Запада: для русского сознания бесконечное незримо присутствует в вещах конечного мира, освященного и оправданного жертвой Христа. Характеризуя христианский мистицизм русской культуры, Каснер сочувственно цитирует слова Чаадаева из письма к графу М. Ф. Орлову: «Ты имеешь несчастье веровать в смерть; для тебя небо не знаю где, где-то за пределами могилы. Ты из числа тех, которые еще думают, что жизнь не есть нечто цельное, что она переломлена на две части и что между этими двумя частями существует бездна. Ты забываешь, что скоро уже восемнадцать с половиной веков, как эта бездна наполнена; наконец, ты думаешь, что между тобою и небом — лопата могильщика. Печальные верования, которые не хотят понять, что вечность — не что иное, как жизнь праведника, — та жизнь, образец которой принес нам Сын Человеческий, что она может, что она должна начинаться в этом мире, что она в самом деле зачнется с того дня, когда мы захотим, чтобы она зачалась; которые не видят, что этот существующий мир изготовлен нашими руками и что только от нас зависит привести его в ничтожество; которые себе воображают, как маленькие дети, что небо — это голубой свод, раскинутый над нашими головами, и что нет средства взойти на эту высоту». Показательно, что позднее эта чаадаевская мысль возвращается у Каснера уже без ссылки на Чаадаева и в новом образном воплощении. «Может быть, это прежде было так, — пишет Каснер, — что человек просто доходил до границы, и когда он там умирал, то начиналась вечная жизнь. Но после Иисуса Христа граница движется, так сказать, вместе с нами, так что, в сущности, никто не знает, когда и где начинается вечность».

Важнейшим мотивом «русских» эссе Каснера является антиномия человека-бога и богочеловека. Варьируя знаменитое высказывание Ницше — «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно быть преодолено», — Каснер говорит о преодолении сверхчеловека русским «всечеловеком» (Allmensch), которому свойственно чувство своей укорененности в вечной жизни Вселенной. Представление о сверхчеловеке, замечает Каснер, связано с ощущением бездны, развернутой между миром земным и вечностью; не будь этой бездны, были бы невозможны ни Фауст, ни Дон Жуан, ни Заратустра. Вот почему в русской культуре Фауст обречен на «дешевый романтический демонизм». Святой идиот князь Мышкин — это, по Каснеру, «не сверхчеловек, а всечеловек (Allmensch), победитель сверхчеловека».

Отсюда видно, что понимание Каснером русской литературы вовсе не покрывается образом примитивного эпического мира, где человек как «неопределенная

тварь» пребывает в божественном всеединстве бессознательно, только потому, что он еще не осознает своей вины и своей свободы. По мнению Герта Матенклота, Россия включена у Каснера в понятие «Восток» наряду с Индией и вообще с Азией, а «каснеровский» Восток — это мир магического сознания, противопоставленный персоналистическому христианству Запада по признаку дорефлективной неразделенности личного и коллективного, мира и Бога. Между тем представление Каснера о России принципиально отличается от такового у Шпенглера, с которым, по Матенклоту, оно совпадает. Россия Каснера — тоже «магическое сознание», но другое, потому что метафизическая идея, его характеризующая, суть не безличная тотальность, а личность как икона космического всеединства в смысле русской религиозно-философской антропологии Серебряного века от Соловьева до Бердяева и Франка. Мистическая этика «великих русских» представляет, с точки зрения Каснера, высшую ступень нравственного сознания, несет в себе спасительную весть о свободном самоопределении личности в Боге.

Русская тема присутствует в произведениях Каснера не только в форме размышлений о творчестве русских писателей. Так, эссе «К семидесятипятилетию со дня смерти Серена Кьеркегора» (1930) неожиданно открывается воспоминанием автора о его путешествии по Волге. Великая русская река служит здесь символом всеобъемлющего бытия. Развертывая метафору, Каснер вводит образ плотов, плывущих вниз по течению до Каспия, где плоты разбирают; единственное, что остается, это яркий флажок, трепетавший на мачте во время плавания. Сплавщики забирают его с собой, чтобы установить на новом плоту, который они свяжут в верховьях. Для Каснера этот флажок — символ человеческого сознания, включенного в могучий поток всеединого бытия, идущего дорогой всех вещей к смерти и возрождению. Высшее мистическое знание, воплощенное в русской культуре, заключается, по Каснеру, в том, что не субъект, не сознание несут в себе бытие, а, напротив, они сами суть лишь островки смысла, «несомые» вечным потоком мировой жизни, — *sie sind das «Getragene»*.

Главная тема творчества Каснера — человек как участник богочеловеческого процесса, как звено великой цепи бытия. Решение этой темы заметно сближает его философскую эссеистику с культурой русского символизма. «*Das Wissen des Mystikers ist die Macht des Dichters*» («Знание мистика есть сила поэта»), — писал Каснер в самом начале своего творческого пути, и каждое его сочинение — это попытка религиозно освятить мировую культуру.

РУДОЛЬФ КАСНЕР

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ

В духовной жизни прошедшего века не было события более значительного, чем зарождение и расцвет русской литературы, — до смерти Льва Толстого. По значению с нею сопоставима только французская живопись той же эпохи, ибо немецкая музыка, сколь бы великой она нам ни казалась, есть все же лишь продолжение того величайшего, что создал век восемнадцатый. И не только нам, людям западной культуры, кажется, что явление это, связанное с именами Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского, возникло словно из ничего. Тот, кто путешествовал по Азии, знает, как часто грандиозные вершины вырастают там перед взором наблюдателя будто прямо из равнины, ничем не предвосхищенные каменные колоссы, формы, словно остранные бесформенностью, опадающие так же внезапно, как появились. Так и эти четыре гиганта. Ничто им не предшествовало, никакого постепенного возвышения, ничего, что подготовило бы к ним наше зрение, наш разум.

Там, где есть развитие, есть и формы, новые формы, развившиеся из старых. Русская литература не создавала новых форм, она перенимала их с Запада: романтическая поэма, гротесковая новелла, социальная драма и, конечно, роман, эта наиболее характерная жанровая форма XIX века, которую именно русские писатели довели до высочайшего совершенства.

Было бы затруднительно дать точное определение того, что произошло с этими традиционными формами западной литературы, когда они попали на русскую почву. Вселилась ли в них новая душа, новый смысл, обрели они новую глубину, вобрали в себя новую кровь — все это не способно выразить наше впечатление. Возможно, дело вот в чем: из того, что было только литературой, только одной из дисциплин в составе более обширного, отмеченного курьезнейшей смесью индивидуализма и романтизма целого, родилась новая, укорененная в глубинах народной души идея человека, чуждая поначалу всякого риторического элемента, не знающая той риторики большого стиля, которая призвана драпировать наготу, каменную глыбу, ее бесформенность, ее гранит. Рассказывают, что Толстой носил в нагрудном медальоне под рубахой портрет Жан-Жака Руссо. Если вычесть из Руссо риторическую традицию, останется разверзнутая бездна, крик отчаяния, как у Толстого, который не считался с риторикой, а, когда все же к ней обращался, то есть изменял безыскусному творчеству, писал вяло и беспомощно. Между тем риторическое есть ведь не

Перевод выполнен по изд.: *Rudolf Kassner. Sämtliche Werke in 10 Bänden. Im Auftrag der Rudolf Kassner Gesellschaft herausgegeben von Ernst Zinn und Klaus E. Bohnenkamp. Bd. IX. Pfullingen, 1990, S. 700—704.*

что иное, как продукт истории, ее печать и сущность, и, не ведая одного, русское сознание не ведало и другого. Именно в этом смысле русская литература поднялась из ничего, и, как я уже говорил, не только для нас, европейцев.

Чтобы придать понятию риторического большую конкретность, я хочу подчеркнуть, что духовная культура русских не знала античности, не испытала ее влияния, в точном и высшем смысле формообразующего, благодаря которому Европа только и могла стать тем, чем она является во всех своих воплощениях. Этим отсутствием античной традиции объясняется целиком и полностью тот многозначительный факт, что русский реализм, откуда бы он ни вел свое происхождение, непосредственно сливается с магическим мифом народной жизни, а следовательно, и не знает той меры и умеренности, той смягчающей шлифовки, которой Запад обязан античной культуре и которая неизбежно вносит в его искусство известный элемент фальши. Вот это и представляется мне самой существенной чертой русского реализма: в гоголевском гротеске ощущим дух иконы, между тем и другим существует глубокое родство.

Из четырех великих Гоголь в наибольшей степени человек судьбы. Его судьба стала его творчеством, стала линией, соединившей «Мертвые души» или «Шинель», эту, по выражению Достоевского, матрицу всего повествовательного искусства русских, с мифологическими представлениями русского народа; их дух открывается нам на иконах ярославских и новгородских монастырей, в сказках, бытующих среди украинских крестьян, к которым восходит род Гоголя. Девятнадцатый век видел в Гоголе сатирика, который кончил религиозным помешательством, — взгляд, вполне соответствовавший индивидуальности; так и весь европейский индивидуализм, взятый как общее явление, не способен был понять русского человека. Русская стихия страдания, я бы сказал, русский пассионаризм, заключается именно в том, что он взрывает принцип индивидуализма, а вместе с тем и усвоившую его романтическую культуру в целом. Отсюда страдальческая природа героев Толстого, таких как Пьер Безухов, Левин и Нехлюдов.

Достоевскому, когда он в дешевой флорентийской гостинице работал над «Идиотом», не пришлось даже в голову посетить какой-либо музей, какую-либо церковь, бросить взгляд на хранящиеся там сокровища высочайшего искусства. Но зато его не покидало жгучее желание увидеть Рим — но и в этом случае не город бесценных картин и статуй, которых для творца «Идиота» ни тогда, ни позже будто вовсе не существовало, а Рим ради Ватикана, ради церкви Святого Петра и всей той велеречивой риторики, которая воплотила в себе дух истории. Можно не сомневаться, что в то время, в конце шестидесятых годов, Достоевский был единственным человеком в Европе, кто понимал, что означает имперский дух барокко. — В эпоху, когда этого не понимал никто из европейцев, подобно Рескину, предпочитавших готику. В Достоевском дух барокко вызывал ненависть и одновременно восхищение. Из этого противоречия и родилась в его душе идея Византии, Восточной империи, и далее, вера в связь между иконой и греческим мифом, в то доисторическое, чуждое риторике царство, которое он именовал не как-нибудь, а словом «народ». Такова была его идея народа, о которой он думал, что она есть исключительно и абсолютно русская, воплотившаяся в народе, не знавшем истории в смысле западных империй. Не должно забывать, что его, Достоевского, идея народа не была романтической, как, например в Германии; ее средоточием была вера в Христа, в богочеловека, и Достоевскому казалось, что связать то и другое можно только через Византию, не через Рим. Стоит задуматься и над тем, что Достоевский был единственным подлинно великим художником, который выстраивал масштабные политические теории и пытался выразить их в своем творчестве. Каким ничтожным выглядит рядом с ним Виктор Гюго, не говоря уже об остальных! А это немалая заслуга — также и таким способом осуществить единство фантастического и реального, в каковом единстве виделось Достоевскому то новое, что дала миру русская литература.

О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ

I

Достоевский писал другу: «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“». Отсюда явствует, каково значение этой несравненной повести. Не новая художественная форма или новое поэтическое настроение, а новый человек — вот о чем идет здесь речь. То, что значили фрески Мазаччо для Ренессанса, значила для русских писателей повесть Гоголя. В ней было положено начало тому, что приобрело новые масштабы и получило свое завершение у Достоевского в «Карамазовых». Только в «Шинели» герой впервые выступает как окончательное преодоление человека восемнадцатого столетия; именно персонаж Гоголя, а не романтическая личность, не Эдгар По, и не человек в романах Бальзака.

(1913)

II

Путешествуя по Европе, Достоевский посетил также и Рим, где его интерес вызвали не памятники старины и не складывавшееся *terzo regno*,* но исключительно и единственно собор Святого Петра и Ватикан. В письме брату он говорит об этом со всей определенностью. К этим впечатлениям, глубоко его поразившим, и восходит, видимо, образ Великого инквизитора. Но в сущности здесь перед нами не один образ, а целая поэма, грандиозная мысль автора, выраженная в форме параболы: борьба механического мира, воплощенного, по мысли Достоевского, в католицизме, против духовности, против Христа.

Все великие христианские мыслители новейшего времени — Паскаль, Гете, Вильям Блейк, Кьеркегор — чувствовали так же, как Достоевский; но отличает его от них то, что в борьбе, им изображаемой, правы оба: кардинал-инквизитор и Христос, а не один только Христос, как у Паскаля, Гете или Кьеркегора. Достоевский решает, а точнее, утверждает конфликт не с позиции фанатика, или теолога, или резонера, не как судья и обвинитель, но как драматург: он влагает его в душу самого сочинителя повести, в глубокую, страдающую, отчаявшуюся душу Ивана Карамазова. Вот это и есть русское, новое, сверхъевропейское в бессмертном романе Достоевского, пережившего великую идею христианства заново и с остротой, невиданной в девятнадцатом столетии.

(1914)

III

«Пиковая дама» была создана в 1834 году. Герой повести Германн, человек «с профилем Наполеона», несет в себе зерно образа Родиона Раскольникова, сравнившего себя с Наполеоном. В этом заключается особое значение «Пико-

Публикуются три послесловия и одно предисловие Каснера к немецким переводам русских классиков: 1. Гоголь, «Шинель» (послесловие). 2. Достоевский, «Великий инквизитор» (послесловие). 3. Пушкин, «Пиковая дама» (послесловие). 4. Пушкин, «Арап Петра Великого. Новеллы» (предисловие).

Перевод выполнен по изд.: *Rudolf Kassner. Sämtliche Werke. Im Auftrag der Rudolf Kassner Gesellschaft, herausgegeben von Ernst Zinn und Klaus E. Bohnenkamp. Bd. VI. Pfullingen, 1982, S. 162—166.* Название «О русских писателях» дано составителем.

* Букв.: третье правление (*итал.*).

вой дамы» среди других творений Пушкина. Она — мост, переброшенный от жанра романтической поэмы, в котором Пушкин был большим мастером, к жанру психологического романа. Не лишен особого значения и тот факт, что Германн — сын обрусевшего немца. Это символично, ибо подчеркивает решающее влияние на духовную жизнь России германского духа: динамит, заложенный в душе русского человека, взорвался от искры, брошенной из Германии. Родион Раскольников — русский из русских, русская кровь, русская судьба, но дух его, дух всего поколения, которое им представлено, воспламенился благодаря Гегелю. Мысль Гегеля воплотилась в деяниях Наполеона — так чувствовали в России, так первым мог почувствовать только русский.

(1920)

IV

В России были поэты-романтики (Пушкин, Лермонтов), но не было романтической школы (как в Германии и Франции). Пушкин — настолько же романтик, насколько Толстой — реалист, но тот и другой как творцы превосходят романтиков и реалистов всех школ и народов. Дух русской культуры — иной по своей природе, чем в других странах; ему чужды политика, партийные интересы, французский стиль мышления. Оригинальность культуры может быть двоякого рода: одна — политически активна, общественно действенна, мужественна — оригинальность тех, кто становится во главе движения, дает ему импульс и лозунг; другая — музыкальна, женственна, восприимчива — оригинальность тех, кто движение завершает, придает ему полноту человечности. Русской культуре эта оригинальность второго рода — завершающая — присуща еще в большей степени, чем культуре германской. Какая бездна разделяет Шатобриана, стоявшего — это нельзя не признать — у истоков всего европейского романтизма, и Александра Пушкина, который его завершает и преодолевает. Там — все история, общественность, риторика, гениальность вождя, логика, а вместе с тем и предельная обостренность чувственных восприятий, которая в такой степени свойственна лишь древним расам и культурам и обуславливает их двойственность: правдивость соседствует в них с актерством, чувство уживается с гримасой. Здесь — безграничная естественность, страстность и всегдашняя русская способность к страданию на самом пороге небытия, бессилие и еще примесь — нет, ни в коем случае не позерства, но какого-то особого шарлатанства, проистекающего из отчаянного одиночества, из беспочвенности и бесформенности русской жизни и русского человека — абсолютно не такого, как у Шатобриана, не французского, не имеющего ничего общего с шарлатанством мысли.

Русский романтизм Пушкина важен, следовательно, — повторю это еще раз — не как школа, но как путь к реализму. Реализм русской литературы не стал бы столь грандиозной манифестацией человеческого духа, если бы не впитал в себя так безоглядно, так судьбоносно и талантливо всю романтическую культуру Запада, не оплодотворился всем содержанием романтической мысли. (И это снова — в отличие от реализма французского. Эмиля Золя называли романтиком. Романтичность Золя так же поверхностна, как и его реализм, а плоские поверхности не могут друг в друга проникать, а могут лишь располагаться рядом одна с другой или разрушать друг друга.) Поэзия Пушкина воплотила этот путь, означающий также и борьбу, неподражаемым образом. Таковы любовь и вражда между Евгением Онегиным и Татьяной, между рефлексией и гениальностью, между бунтом одиночки, а лучше сказать: мятежной жизнью индивида — и народной судьбой. В этом Пушкин глубже, чем Мюссе или Байрон, на которых он опирался. Он не просветляет индивидуальный бунт поэзией, как делают это Мюссе или Байрон, но бунтарство заключается для него в индивидуализме как таковом, и потому в природе, в Татьяне, воплощается закон. Ту же самую борьбу мы находим и в новеллах. Так, Германн в «Пи-

ковой даме» — сродни Онегину и самозванцу Борису Годунову, и он же — предтеча Родиона Раскольникова. Пушкин — романтик и реалист в одном лице, как никто другой. Старая графиня символизирует традицию, нравственный порядок, обычай и еще — снова очень по-русски, не во французском, руссоистском смысле — природу, так же как Татьяна в «Евгении Онегине», как Мария Кирилловна в «Дубровском». И далее мы видим ту же антитезу в «Выстреле» и «Арапе Петра Великого». В последней повести Татьяну зовут Наташей, а Онегина — Ибрагимом; он — одиночка, оторванный листок, чужак, негр, «недочеловек». Прадед Пушкина по материнской линии был родом из Абиссинии. В истории своих предков Пушкин изобразил в какой-то мере и историю своего духа, в которой всечеловеческое чудесным, таинственным образом соединилось с самым чужеродным, демоническим.

(1923)

Перевод Алексея Жеребина

БОРИС ФРЕЗИНСКИЙ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ И ГЕРМАНИЯ

Илья Эренбург знал, что про него говорят: он-де обожает Францию и не любит Германию, обожает французов и не любит немцев. Беседуя в 1966 году в Москве с Генрихом Беллем, он сам заговорил на эту тему: «Меня обвиняют, что я не люблю немцев. Это неправда. Я люблю все народы. Но я не скрываю, когда вижу у них недостатки. У немцев есть национальная особенность — всё доводить до экстремальных крайностей, и добро и зло. Гитлер — это крайнее зло».¹ Уже после смерти Эренбурга его дочь Ирина, когда при ней упоминали про нелюбовь Эренбурга к немцам, всегда отвечала, что ее мать (Е. О. Шмидт) — самая большая любовь отца — немка. Это неизменно производило впечатление. Добавим, что в мемуарах Ильи Эренбурга упоминаются 3500 имен; среди европейцев-иностранцев первое место, понятно, за французами (474 имени), а второе, пусть и с большим отрывом, но, опережая испанцев, итальянцев и англичан, занимают немцы (161 имя). Эта статистика вполне репрезентативна...

Совершая свои первые поездки по Германии (в 1903, 1904 и 1909 годах), юный Эренбург удивлялся в немцах разве что педантичности; Первая мировая война заставила его задуматься о Германии всерьез. Эренбург посылал корреспонденции в российские газеты с франко-германского фронта; отвергая оголтелость французского шовинизма, он поражался методичности немецкого варварства: «Можно колебаться в разгроме городов Реймс или Ипр, лежащих в зоне непрерывных военных действий. Но есть факты неоспоримые и достаточно убедительные в своей простоте. Прежде всего, поджог Лувена. Европейцы XX века наметили по плану кварталы города, подлежащие уничтожению, они обливали воспламеняющимся составом алтарь собора и пергаменты библиотеки. Самое поразительное в этом — обдуманность, осознанность преступления. За преступлением раскаяния не последовало. Я объясню это не природными пороками немецкого народа, а той ролью «вождя», которую ему присудила история. Соборы и старинные памятники для людей этой культуры были предметами не первой необходимости, но роскоши. Изучение не означает любви... Археолог Мюллер может в мирное время изучать раскопки, но генерал Мюллер на войне, не задумываясь, распорядится сжечь и библиотеку, и церковь, и музей».²

Журнальный вариант работы, публикуемой полностью в одном из ближайших томов «Вуппертальского проекта» (Германия).

Борис Яковлевич Фрезинский (род. в 1941 г.) — историк литературы, автор книги «Судьбы Серапионов» (СПб., 2003) и многочисленных статей и публикаций, посвященных советским писателям (прежде всего — И. Г. Эренбургу). Живет в С.-Петербурге.

1. ПОЛЮБИ БЕРЛИН... (1921–1923)

Оказавшись весной 1921 года в Париже с советским паспортом, Эренбург вскоре был оттуда выслан; чудом ему удалось обосноваться в Бельгии. Там он за месяц написал давно продуманный роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито». Среди несомненных удач этого романа — образ Карла Шмидта, одного из спутников главного героя, великого провокатора Хулио Хуренито. Путешествующие с ним — американец, француз, африканец, русский, итальянец, немец и еврей — типы, сатирически воплощающие определенные национальные черты. Эти черты, в общем-то, не открытие Эренбурга, и только Карл Шмидт, который мог одновременно быть и националистом и социалистом (ибо «и те и другие преследуют дорожную ему цель организации человечества»), оказался открытием, поскольку был создан, предвосхищая будущее, до проникновения национал-социализма в германскую жизнь — это одно из пророчеств романа...

В октябре 1921 года Эренбург переехал из Бельгии в Берлин, где поселился в пансионе на Прагерплац (через год перебрался в пансион на Траутенауштрассе).

Интенсивность берлинской жизни Эренбурга впечатляет. С конца 1921 по 1923 год Эренбург — постоянный критик журнала «Новая русская книга», постоянный докладчик и участник дискуссий в Доме искусств. Но главное — за это время он издал 14 книг: романы, повести, новеллы, стихи, стихотворные пьесы, эссеистика, публицистика (половина их написана уже после переезда в Германию; большинство книг выпустило издательство «Геликон»). Отмечу, что в 1923 году в Берлине две книги Эренбурга впервые вышли на немецком — «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.» (издательство Welt-Verlag). В русской литературной хронике Берлина тех лет — весьма плотной и разнообразной — имя Эренбурга встречается повсеместно. «В Берлине существовало место, — вспоминал Эренбург, — напоминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели». ³ Далее следует длинный список: 20 имен — далеко не полный перечень тех, с кем Эренбург тогда общался... Среди не названных в списке — начинающий поэт и прозаик Овадий Савич, впоследствии самый близкий друг Эренбурга, всемирно известный славист Роман Якобсон, великий польский поэт Юлиан Тувим.

В Берлине 1922 года продолжились встречи Эренбурга с Маяковским, Пастернаком, Цветаевой, Ходасевичем, Есениным, Андреем Белым, Шкловским, Таировым...

Кстати, о Шкловском. В 1923 году в Берлине вышла его книга «ZOO, или Письма не о любви», одна из глав ее имеет такой подзаголовок: «О весне, «Prager Diele», Эренбурге, трубках, о времени, которое идет, губах, которые обновляются, и о сердцах, которые истрепываются, в то время как с чужих губ только слезает краска...». «Prager Diele» — это еще одно кафе в Берлине, которое с легкой руки Эренбурга стало популярным среди русских писателей; там он работал, встречался с друзьями и жил неподалеку. В этой же главе, имея в виду политическую эволюцию Эренбурга, Шкловский сказал: «Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович...» Эти слова Эренбургу понравились.

Литературная и художественная жизнь в русском Берлине была переплетены; художественные диспуты собирали подчас ту же публику, что и литературные. Эренбург оказывался вовлеченным в художественные баталии не только из-за своей дружбы с Натаном Альтманом или Эль Лисицким, но главным образом из-за книги «А все-таки она вертится» (этот гимн конструктивизму по выходе своем вызвал яростные споры).

5 декабря 1921 года Эренбург выступил в берлинском Доме искусств с докладом «Оправдание вещи», в котором развил свои соображения, изложенные в книге «А все-таки она вертится»; тогда-то и обнаружилось, что многие его

идеи совпадают с замыслами художника Эль Лисицкого. Объединившись, Эренбург и Лисицкий начали издавать международный художественно-литературный журнал «Вещь» — он пропагандировал конструктивизм во всех видах искусства. Лисицкий осуществлял оформление и макетирование журнала, вместе с Эренбургом определял его художественную направленность. Эренбург был автором программных и полемических редакционных статей, формировал литературную политику.

Главной задачей было взаимное знакомство авангарда Запада и нового искусства послереволюционной России. Журнал должен был стать мостом между Россией и Западом; в основу такого объединения были положены не политические, а эстетические (конструктивистские) установки. Предполагалось печатать материалы по-русски, по-французски и по-немецки. Первый, двоянный, номер вышел в начале апреля, третий — 1 июня 1922 года.

Немецкая часть журнала формировалась безотносительно к тогдашнему униженному положению Германии. В № 1 — 2 была объявлена публикация стихов Карла Эйнштейна. Ряд материалов был напечатан по-немецки — например, статья И. Глебова о С. Прокофьеве и обзорная статья «Die Ausstellungen in Russland» («Выставки в России»), под которой хорошо информированный автор подписался: Шен (возможно, это был сам Лисицкий). В № 3 была напечатана в переводе на русский статья Людвиг Гильберсеймера «Динамическая живопись» (о беспредметном кинематографе Рихарда Эггерлинга). Отметим также помещенную в журнале информацию о первой международной выставке в Дюссельдорфе (май—июль 1922 года) и обзор Лисицкого «Выставки в Берлине» (подпись: Эл).

№ 3 «Вещи» оказался последним — фактически советская власть задушила журнал, запретив его распространение в России...

Для Эренбурга смолоду было характерно беспокойное стремление узнать жизнь и культуру тех стран, куда его забрасывала судьба. Так, в Берлине Эренбург находил время на посещение музеев и выставок, чтение газет и встречи с литераторами, художниками и политиками.

Вспоминая Берлин 1922 года в мемуарах, Эренбург особенно отмечает несколько имен.

Первое — поэт и эссеист Карл Эйнштейн, который за свою пьесу об Иисусе привлекался к суду (Эренбург посещал заседания суда и упомянул их в «Письмах из кафе»): «Это был веселый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка... Он напоминал мне моих давних друзей, завсегдаев «Ротонды», и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи» (7, 179).

Затем известный прозаик Леонгард Франк, автор книги «Человек добр», с которым Эренбург встречался и впоследствии, уже после Второй мировой войны: «Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбаются — и сразу исчезнет злое наваждение» (7, 181).

Третье имя — художник Георг Гросс — требует отступления.

Искусствовед М. В. Алпатов писал, что, ценя новую французскую школу живописи, Эренбург «грешил недооценкой» достижений немецкого экспрессионизма и школы Баухауза.⁴ Это так. Эренбург утверждал: «Экспрессионизм — истерика» и пояснял свою мысль: «В галерее «Штурм» висит громадное полотно, закиданное красной краской. Называется «Симфония крови». Критиковать? Не стоит. Просто художнику надо картин: он хотел плакать или буяннить. Краски оказались под рукой. Мог оказаться револьвер — было бы хуже» (4, 14). Не принимая такого искусства, Эренбург не судил заочно: с Моголи Надем он был в Баухаузе и назвал его творчество «единственной живой художественной школой Германии» (4, 25); он посещал выставки «Штурма» на Потсдамерштрассе 184-а, писал о них, был дружен с Хервартом Вальде-

ном, вдохновителем «Штурма» («В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками — их приносили из соседнего кафе». — 7, 181).

С художественным миром Берлина Эренбург, кроме того, был связан благодаря своей второй жене, Л.М. Козинцевой, — художнице, ученице Экстер и Родченко. 10 мая 1922 года в галерее «Штурм» была устроена первая выставка ее гуашей (совместно с немецким экспрессионистом Куртом Швиттерсом). Козинцева сообщала в Москву Родченко: «Рядом с немецким экспрессионизмом мои вещи имели тихий, чистоплотный вид. В газетах хвалили». ⁵ Берлинский «Голос России» 4 июня 1922 года писал о ее гуашах: «Здесь краски, а не бог знает что, здесь рассчитано и выписано, а не намазано, здесь школа и — по сравнению с немцами — мастерство». С того года выставки Л. М. Козинцевой в Европе проходили ежегодно (так, в мае 1923 года она участвовала в Grosse Berliner Kunstausstellung am Lehrter Bahnhof⁶ вместе с Лисицким; последняя выставка ее гуашей в Берлине состоялась в марте 1929 года в галерее М. Вассерфогеля).

Не любя экспрессионизм, Эренбург полюбил Георга Гросса: «Германия тех лет нашла своего портретиста — Георга Гросса. Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки — сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией... У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмбанфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима» (7, 185). Это — позднее суждение, но и в 1927 году, признавая социальную остроту рисунков Гросса, Эренбург пронизительно подметил: «Однако сущность его демонологии глубже и постоянной. Его дьяволы имеют родословную. Они не только социальный показатель. Они твердят о спертости воздуха и о тяжести сердец. Они рождены в темных закрамах немецкой души» (4, 36).

В личном архиве писателя сохранилась фотография — на обороте его рукой написано: «У Гросса. Берлин 1929». Это встреча Нового, 1930 года — вокруг стола, заставленного нарядными бутылками, — Поль Элюар, Эренбурги, артисты театра Таирова и сам Гросс — с сигарой, смеющийся. И еще сохранился альбом рисунков Гросса, изданный в Дрездене в 1925 году. На нем — четкая карандашная надпись: «Ilya Ehrenburg mit besten Grüßen aus Deutschland. Georg Grosz. Berlin, 11. Juli 1926».⁷

Последний роман Эренбурга, написанный в Германии (сентябрь-ноябрь 1923 года), — «Любовь Жанны Ней». «Я писал «Жанну Ней» в Берлине, в маленьком турецком кафе, где восточные люди суетятся сбывали друг другу доллары и девушек, — вспоминал Эренбург. — Я выбрал эту кофейню, столь непохожую на роскошные кондитерские западного Берлина, за непонятный говор, за полумрак, за угрюмость. Там каждое утро я встречался с моими героями».⁸ Действие этого одновременно сентиментального и авантюрного романа происходит в местах, которые Эренбург хорошо знал, — в Восточном Крыму, Москве, Париже; действие последней главы перенесено на северную окраину Берлина (к этому моменту все сюжетные линии романа уже завершены, осталось посчитать саат со злодеем Халыбьевым — именно на нищей, грязной улице Клейндорф обрекает его писатель корчиться в заслуженных судорогах...).

Илья Эренбург жил в Берлине не безвылазно, он был путешественник по натуре (помимо всего прочего, поездки обычно давали еще и материал для литературной работы). За время оседлой жизни в Германии Эренбург смог побывать в Веймаре (из веймарских впечатлений: «Я долго стоял у простого протертого кресла, на котором умер Гёте». — 4, 25), Магдебурге, в горах Гарца близ Брокена, в Хильдесгейме («Отсюда или из Нюрнберга надо начинать плавание по душе Германии». — 4, 21), на северном побережье (здесь во время «летнего

отдыха» были написаны знаменитые «13 трубок» и книга стихов «Звериное тепло»). Немалый опыт путешественника позволял Эренбургу сравнивать впечатления; он писал о Германии: «Как все здесь не похоже на старую Италию или даже на соседнюю Фландрию! Только тут и чувствуешь вес, вязкость, значимость земли. Умбрийские холмы слишком легко давались. Они напоминают перевернутое небо. А брюгские меланхолики, несмотря на рагу, пиво и полнотелых жен, бредили северной жидкой лазурью. Здесь, в Германии, прекрасный культ уродства. Венеры Кранаха соблазнительны, как таксы. В домах, в картинах, в языке — уют, приземистость, спертость. Всюду — и в узких улицах с крючком-вывеской ростовщика, и в погребках, и в чернявости готических книг, и в топорных пословицах — всюду чувствуется присутствие женского тела, пылающего очага, смерти» (4, 21).

В блистательном «Письме из кафе» возникает образ Берлина тех лет — отталкивающий и одновременно привлекающий: «Берлин уныл, однообразен и лишен *couleur locale*. Это его «лицо», и за это я его люблю. Трудно разобраться в длинных прямых улицах, одна точная копия другой. Можно идти час, два — и увидеть то же самое: дома с противоестественными валькириями или кентаврами на фасадах, чахлые деревья, обципаные вечными сквозняками, и на углу сигарную лавку «Лейзер и Вольф». Это — выставка, громадный макет, приснившийся план» (4, 8). Сравнив Берлин с Парижем и Лондоном, Эренбург замечает: «А Берлин — просто большой город, мыслимая столица Европы. Среди других городов это Карл Шмидт, Поль Дюран, Иван Иванович Иванов» (4, 9). Одной строчкой Эренбург умел создать портрет; таков и его Берлин — «город отвратительных памятников и встревоженных глаз» (4, 16). Попав в немецкую столицу в тяжкое для страны время, подметив городские контрасты (жизнь в Берлине писатель сравнивал с жизнью на вокзале), Эренбург увидел и другое: «Этот город беженцев, несмотря на все свое отчаяние, исступленно работает. И, глядя на его работу, порой забываешь даже о вокзале, — видишь только прекрасные железнодорожные мастерские. А зачем эти люди работают и что будет завтра — они сами не знают». И далее, обращаясь к неназванному другу, он делает существенное замечание: «Как бы ни целила работа души берлинцев, неизвестность томит их. Не забывай, что речь идет о народе философов, социальных доктринеров и моралистов. В маленьком кафе «Июсти» за чашкой желудевого кофе посетители в перелицованных пиджаках спорят о судьбах Европы. Шпенглер писал свою книгу («Закат Европы». — Б. Ф.) здесь же, рядом, на вокзальной стойке» (4, 15). Может быть, поэтому он заканчивает свое послание к другу неожиданно: «Я прошу, поверь мне за глаза и полюби Берлин» (4, 16).

2. СУМЕРКИ СВОБОДЫ (1924–1932)

К концу 1923 года рай для русских эмигрантов в Берлине закончился — марка окрепла, и легко расплодившиеся русские издательства так же легко закрывались; часть эмигрантов перебралась в Париж, часть в Прагу, часть вернулась в Москву. Берлин утратил роль главного центра русской эмиграции. «Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся бури и вдруг увидел, что ветер на дворе улегся. Признаться, я растерялся: не был подготовлен к мирной жизни», — вспоминал Эренбург (7, 223).

Начало 1924 года Эренбург провел в России и в конце марта вернулся в Берлин. «За время моего отсутствия, — писал Эренбург прозаику Владимиру Лидину, — русское издательское дело здесь окончательно зачахло, зато немецкое поправилось».⁹

Эренбург утвердился в мысли покинуть Германию и 15 мая уехал из Берлина в Италию, откуда двинулся в Париж. Уже 1 сентября в письме к Владимиру Лидину, сравнивая две столицы, он заметил: «В Берлине сейчас страшная мертвачина», хотя вместе с тем в конце года в письме Евгению Замятину, говоря о

парижской жизни, признался: «Здесь живем как-то глуше, изолированней, нежели в Берлине».

Берлинская жизнь завершилась, но в 1925—1931-е годы Эренбург ежегодно неоднократно приезжал в Берлин — по издательским и киноделам, на выставки Л. М. Козинцевой, в гости к Савичам, для встречи Нового года, а то и просто транзитом: по дороге в Прагу, Варшаву или Москву; бывал он и во Франкфурте, Штутгарте, Нюрнберге...

Особенно близкие отношения сложились в эти годы у Эренбурга с берлинским левым издательством «Малик»; именем Малик Эренбург даже назвал любимую собаку. «В Германии, — вспоминал он много лет спустя, — переводы моих книг выпускало издательство «Малик Ферлаг». Его создал мой друг, немецкий коммунист, прекрасный поэт Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям, которые оказывались за границей без денег...» (7, 285). Издательство «Малик», несомненно, было левее тогдашнего Эренбурга и не все его книги готово было выпускать (речь, конечно, не идет о каком-либо одобрении издательских планов «Малика» Коминтерном — скажем, изданный «Маликом» роман Эренбурга «Единый фронт» вообще не вышел в СССР,¹⁰ а «День второй» в Берлине напечатали раньше, чем в Москве, — тем не менее среди изданных «Маликом» книг Эренбурга не было не только «Бурной жизни Лазика Ройтшванца», но и опубликованного в СССР романа «В Проточном переулке» — их в немецком переводе выпустили другие издательства). «Малик» начал издавать Эренбурга в 1926 году — первыми были две книжки: «Любовь Жанны Ней» (тираждважды допечатывался и достиг рекордных для Эренбурга 21 тысячи; обычный тираж укладывался в пределах 10 тысяч) и «13 трубок». Эти книги, как и последующие, блистательно оформил брат Виланда Герцфельде — Хельмут, взявший себе псевдоним Джон Хартфильд. В СССР внимательно следили за переводами с русского в левых немецких издательствах, печатали соответствующие обзоры; в связи с изданиями Эренбурга в Германии «напостовцы» высказывали опасения, что некоторые его произведения, проникнув на страницы немецкой коммунистической печати, «создадут путаницу».¹¹ В 1927 году «Малик» выпустил «Избранные статьи» Эренбурга и запрещенного в Москве «Рвача» (под названием «Михаил Лыков»), в 1929-м — «Хулио Хуренито» и «Заговор равных», в 1930-м вышла книга «10 л. с.», в 1931-м — «Единый фронт» (немецкое название — «Священный груз»), «Фабрика снов», «Виза времени» и «Трест Д. Е.», в 1932-м — «Москва слезам не верит» и «Испания сегодня». С приходом гитлеровцев к власти издательство перебралось в Прагу, и книги Эренбурга выходили там: в 1933-м — «День второй», в 1934-м — «Гражданская война в Австрии», в 1936-м — «Не переводя дыхания» и, наконец, в 1937-м — последняя книга Эренбурга в издательстве «Малик» — «No pasaràn!».

Дружеские отношения Эренбурга с братьями Герцфельде продолжились и после войны. В архиве Эренбурга сохранились надписи на двух книгах, подаренных ему Хельмутом Герцфельде («Дж. Хартфильдом») в Москве 14 декабря 1957 года. В 1962 году братья Герцфельде вручили Эренбургу и его жене альбом «Джон Хартфильд», выпущенный в Берлине, с большой вступительной статьей Виланда. В конце 1967 года Виланд приезжал в Москву, но Эренбурга уже не было в живых; посетив его вдову, Герцфельде подарил ей книгу своей прозы, изданную в Москве.

Не обходил Эренбург и немецкую периодику — печатался в журнале «Russische Rundschau» («Русское обозрение») начиная с его первого номера, вышедшего в 1925 году, и в газете «Die literarische Welt» («Литературный мир») — там, в частности, была напечатана его статья памяти Есенина. В 1927 году Эренбург писал: «Я встречаюсь здесь со многими немецкими писателями. Я плохо говорю по-немецки, но у меня с ними общий язык — это язык времени и ремесла. У меня немало друзей среди французских писателей, но я никогда себя не чувствую с ними как равный с равными. Я знаю, что в глубине души

они удивлены: как это я говорю с ними о Прусте или о Валери, вместо того, чтобы предаваться джигитовке или тренькать на балалайке? В Берлине я не экзотика, не казак, который случайно знает грамоту и даже пишет романы, но современник» (4, 39—40). Это наблюдение относится к рассказу о разговоре с Альфредом Деблином, автором нашумевшего тогда романа «Берлин, Александерплац» (отметим, что в 1928 году в Берлине Эренбург вместе с Деблином, Брехтом и Толлером участвовал в русско-немецком поэтическом вечере¹²).

В 1927 году Эренбург познакомился и подружился с двумя немецкими писателями, которым потом посвятил портретные главы в мемуарах «Люди, годы, жизнь» (пожалуй, единственные главы, целиком посвященные немцам). Это драматург и поэт Эрнст Толлер и прозаик Йозеф Рот — оба они окончили жизнь в возрасте сорока пяти лет в мае 1939 года, не дожив до начала Второй мировой войны.

Знакомство с Ротом произошло в редакции «Frankfurter Zeitung» («Франкфуртская газета») — Эренбург предлагал газете свои очерки о Германии; когда вышел немецкий перевод «Рвача», газета откликнулась на него большой рецензией; Рот работал корреспондентом этой газеты в Москве, потом в Париже. О Роте в мемуарах «Люди, годы, жизнь» написано очень душевно; перечитав его книги, Эренбург заново осознал их масштаб. «Он никогда не писал стихов, — сказано о Роте в «Люди, годы, жизнь», — но все его книги удивительно поэтичны — не той легкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей; нет, Рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подмечал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть, жалел. Не забуду я тонкой, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице» (7, 329—330). В монологах Рота, которые Эренбург привел в мемуарах, есть отголосок какого-то их скрытого спора, горечь и недосказанность. Сейчас опубликованы письма Рота и видно, что он был умнее многих и понимал, что происходит в СССР, куда глубже других. Наверное, он говорил об этом с Эренбургом, хотя написано, что он спорит с его «друзьями». Понятно, что подцензурные мемуары не позволяли Эренбургу последовательную открытость в описании этих встреч, но и сказанного было достаточно его внимательным читателям, чтобы о многом задуматься...

Судьба Эрнста Толлера, писателя, у нас теперь полузабытого, привлекала Эренбурга не только трагичностью и, в противовес Роту, событийной насыщенностью, но и контрастностью: «Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жесткую». Для мемуаров Эренбург перевел несомненно близкие ему стихи Толлера из «Книги ласточек» и написал: «Толлер сам ходил на ласточку, может быть, на ту «одну», что прилетает слишком рано и не делает погоды» (7, 356). В библиотеке Эренбурга сохранились две книги Толлера: французский перевод стихотворной трагедии «Хинкеман» (надпись по-французски: «Илье Эренбургу дружески Эрнст Толлер. Берлин, 5.2.27) и русский перевод повести «Юность в Германии», изданный в Москве в 1935 году, — такая же надпись помечена: «Лондон, 23 июня 1936 года». Кроме того, в архиве Эренбурга сохранилась дарственная надпись Толлера на книге, подаренной в Берлине 30 сентября 1931 года: «Илье Эренбургу, попутчику нынешней революции и подлинному участнику вечной революции, — сердечно Эрнст Толлер».¹³

Что касается немецкого языка, то — в сравнении с французским (он говорил с русским акцентом, но словарь его, включавший всевозможные арготизмы, все же производил впечатление на французов) — Эренбург знал его неважно. А. Я. Савич рассказывала: «ИГ заменял знание немецкого языка находчивостью. Они жили тогда в Берлине. ИГ отправился за ветчиной: Bitte, Schinken. Продавщица: Im Stück oder geschnitten? — Bitte, oder.¹⁴ Покупая носки: Geben Sie mir bitte etwas zum Fuss...¹⁵

В Берлине была выставка Любиных картин. Слова *Mahlerin* и *Gemahlin* часто слышались в разговорах и, говоря о Любе с устроителем выставки, ИГ сказал: *Meine Gemahlerin*.¹⁶

В начале 1927 года на берлинской киностудии «УФА» режиссер Георг Пабст приступил к съемкам фильма по роману Эренбурга «Любовь Жанны Ней». В феврале по приглашению Пабста Эренбург приехал в Берлин; потом он приезжал еще раз в мае, затем присутствовал на натуральных съемках в Париже. В разгар съемок роман «Любовь Жанны Ней» вышел еще раз по-немецки в издательстве «Rhein-Verlag» и был встречен восторженно в «Die literarische Welt» (по поводу этого отклика литературовед Н. Я. Берковский писал в статье «Советская литература в Германии»: «Не без оттенка оппозиции чрезвычайно чествуется Эренбург, тот самый, которого в СССР считают «наполовину агентом Чемберлена, на три четверти угнетателем китайского народа» и о котором польская пресса отзывается в то же время как о «кровавом коммунисте»). Эренбург, беспартийный адогматик — сделан центром русского номера «Литерарише вельт». Хвалебный отзыв дан только что появившейся в немецком переводе «Жанне Ней» — Эренбурга называют несравненным романистом, поэтом, исполненным глубочайших переживаний, поэтом для немногих, недоступным читательской толпе»¹⁷).

Поскольку фильм Пабста был немой, актеров набрали разноязыких. «Из актеров, — вспоминал Эренбург, — мне понравился Фриц Расп. Он выглядел доподлинным злодеем, и, когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыря доллар, я забыл, что передо мною актер» (7, 288). Эренбург подружился с Распом; все гитлеровские годы тот сохранял подаренные ему писателем книги, фотографии — они помогли ему, когда в Германию вступила Красная Армия.

В очерке «Встреча автора со своими персонажами» Эренбург рассказал об атмосфере съемок фильма: «Когда я попал на фабрику «Уфы» в Бабельсберге, я увидел аркады Феодосии, заседание совета солдатских депутатов, парижские притоны, русскую гостиницу, холмы, татарские деревни, монмартрские бары... Москва здесь находится в десяти шагах от Парижа, — между ними только торчит какой-то крымский холм. Белогвардейский кабак отделен от советского трибунала одним французским вагоном. Здесь нет никакой иллюзии; обман искусства здесь откровенен и сух, но здесь не упущено ничто для поддержания иллюзии на экране».¹⁸

Эренбург впервые столкнулся с киноиндустрией; то, как она обращается с литературным произведением, его сильно задело. Точный в подробностях и деталях снимаемого материала, Пабст считал себя свободным в обращении с замыслом писателя — фильм, вопреки роману, имел *happy end*; его идеологическая направленность была изменена так, что из-за опасения реакции Москвы Эренбург вынужден был от фильма отмежеваться. Его письма протеста в редакции газет В. Герцфельде издал в виде памфлета отдельной брошюрой — но, разумеется, безрезультатно: протесты Эренбурга киностудия проигнорировала.

Фильм «Любовь Жанны Ней» время от времени показывают в киноретроспективах. Если не сопоставлять его с романом и не обращать внимания на то, что бутафория лезет в глаза в крымской части, надо признать: Париж снят Пабстом замечательно.

Разумеется, фильм Пабста прибавил известности Эренбургу в Германии, вызвал он и завистливые отклики русской эмиграции. Продолжали выходить немецкие переводы его книг; свободная немецкая критика имела возможность адекватно о них высказываться. Так, в вышедшей по-немецки книге Эренбурга «Заговор равных» (роман о Гракхе Бабефе, навеянный Эренбургу раздумьями о завершении русской революции) эмигрантская печать увидела «жесткую критику сталинизма и прозрение советского термидора».¹⁹

Эренбурга издавали едва ли не во всей Европе, но он не мог не ценить осо-

бую открытость Германии зарубежной литературе — того, что немцы «сумели обуздать свои духовные таможи»: «Знакомство с иностранной литературой стало здесь почти общим достоянием. Неизвестные вне своих стран русский Бабель, ирландец Джойс, чех Гашек здесь переведены и оценены» (4, 39). При этом одно противоречие бросалось ему в глаза: «Странная страна: машина в ней окружена куда большим почетом, нежели человек, но Достоевский в ней популярнее, общедоступней и Бенуа, и Лондона, и Синклера» (4, 61; имеются в виду писатели Пьер Бенуа, Джек Лондон и Эптон Синклер). Отношение же Эренбурга к тогдашней немецкой литературе было достаточно критичным: «Нет сейчас более безудачной литературы, нежели немецкая. Здесь забываются и временные эстетические мерки, здесь забываются и непреложные каноны искусства. Чувство социальной тревоги треплет, как лихорадка, эти страницы» (4, 40).

В книгах, которые Эренбург писал начиная с 1929 года, он исследовал работу воротил бизнеса. Издательство «Малик» тут же издавало их в переводе на немецкий; не всем в Германии они приходились по душе. Так было, например, с романом «Единый фронт» (в немецком переводе — «Священный груз»), посвященном королю спичек Ивару Крейгеру. Немецкий публицист Курт Тухольский свидетельствует: «Илья Эренбург был единственным писателем, который в книге «Die heiligsten Güter», выпущенной издательством «Малик» в Берлине, указал пальцем на Ивара Крейгера перед самым его крахом. Крупные финансисты были возмущены, они содрогались, читая его книгу: «Что может понимать в этом какой-то литератор?» И опять-таки следует подчеркнуть их глупость, близорукость, отсутствие инстинкта и неоправданное игнорирование. Раньше человеческая глупость аккумулировалась в военном сословии, теперь же — в хозяйственном... Если бы Ивар Крейгер был еврей — тогда понятно, если бы Ивар Крейгер был маленьким бухгалтером — тогда понятно. Он был, однако, крупным предпринимателем капиталистической системы...».²⁰

Книгу, о которой пишет Тухольский, в Москве не издали. Этому противилась не одна только цензура — ортодоксов хватало; в 1930 году Георг Лукач (немецкий философ и теоретик литературы, работавший в Москве) писал в «Moskauer Rundschau» («Московское обозрение») о слепоте Эренбурга перед лицом самых больших событий современности: «Он видит их детали, но только детали. И потом видит их глазами лакея. «Для камердинера нет героя», — цитирует Гегель популярную поговорку, добавляя при этом: «Не потому, что герой не является героем, а потому, что камердинер является камердинером». Это банальное лакейское суждение о революции обрекает Эренбурга при всей его одаренности на полный провал в большом современном романе. Но именно такая неудача обусловила успех Эренбурга в Европе и способствует ему в его дальнейших успехах».²¹

Уже в статьях 1922 года Эренбург писал о немецких маргиналах. Похоже, однако, что в художественной прозе его мысль была свободнее; недаром в «Хуренито» он предсказал не только национал-социализм, но и Холокост, а в новелле «Пивная „Берлинер Киндль"» (1925) создал едва ли не мистический образ убийцы. В публицистике же Эренбург старался быть ближе к сиюминутной жизни; как и большинству читателей, ему не нравятся любые политические крайности, он от них, как теперь говорят, равно дистанцирован: «Ни у тех, ни у других нет своего собственного знамени. В дни уличных стычек мелькают международные символы — знак свастики и пятиугольная звезда. И тех и других мало. Огромное большинство берлинцев не верит в эти спасительные расписания»²² (4, 15–16). Но чувство тревоги все-таки не покидало Эренбурга: «Да, конечно, здесь жизнь еще не налаживается, юноши склонны к неврастении, писателей новых нет, а работе трестов мешают их же кузены — французские тресты. Но скучный абстрактный Берлин снялся с места, двинулся в ночь. Поэтому Фридрихштрассе темнее и страшнее Пикадилли или Бульвар-де-Капузин. Мне кажется, что тот, кто первый вышел, раньше всех дойдет» (4, 16). Гер-

мания и в самом деле первой пришла к войне, но неизвестно, это ли имел в виду Эренбург. В очерках «Пять лет спустя» он писал о «голом физиологическом пафосе» нацистов, который порой превращает «сухую, мозговую, книжную страну, гордую железнодорожной сетью и густой порослью школ в чащи пращуров со звериными шкурами и убогой пращой» (4, 55). Ощущение тревоги уже в 1930 году стало подавляющим: «Еще год назад Германия зачитывалась романами Ремарка или Ренна. Европа ответила на эту эпидемию высокими тиражами переводов и приятной сонливостью: воскресение на страницах книги или на экране, казалось, уже забытой войны Европа приняла за торжество мира. Но страсти сильней воспоминаний...», и дальше уже однозначно: «Растет ненависть. Чрезмерность немецкой природы, хаос чувств, древнее безумие ищут выхода. Бритые затылки отнюдь не слепы. Они знают, о чем говорит это молчание... Гитлеровцев поддерживают невидимые и неназываемые» (4, 67 – 69). А в январе 1931-го рефреном очерка о Германии становятся слова: «Это конец». Картина страшная: «Так называемая «интеллигенция» мечется, как крыса, облитая керосином. Издали это похоже на фейерверк, издали — это трагедия, интересные романы, которые тотчас переводятся на все европейские языки <...> даже «непримиримость духа» <...>. Вблизи это просто запах паленой шерсти и душу раздирающий писк. «Стальная каска»,²³ «Красный фронт»,²⁴ «раз-два» у гитлеровцев, ячейки коммунистов...» (4, 74). Его вывод в октябре 1931 года безнадежен: «Берлин похож на самоубийцу, который, решив перерезать горло бритвой, сначала мылит щеки и тщательно бреется» (4, 81); паритет нарушен: власть откровенно потворствует наци и преследует коммунистов; выбор сделан... Эренбург открыто писал о трагедии германского пролетариата: «Когда он потребовал право на жизнь, его сумели раздробить и снова стиснуть» (4, 86); Эренбург не назвал всех виновников этого раздробления, лишь со временем все они были названы...

Внешне жизнь текла, однако, как обычно. 1930 и 1931 годы Эренбурги встречали в Берлине. 1930-й — у Георга Гросса (тогда-то и сделана упомянутая выше фотография), 1931-й — у матери Савича и его тетки (они оставались в Берлине до прихода к власти Гитлера, потом уехали в Америку, откуда мать Савича рассказывала сыну, имея в виду обоих фюреров: «Наш и ваш снюхаются...»). А. Я. Савич рассказывала про встречу 1931 года: «Собирался круг друзей. Из Праги должен был приехать Роман Якобсон; пригласили профессора Яценко. Как все было чудесно, весело, шумно, вкусно; много разных напитков. Якобсон разошелся, целуя всех подряд, и стильный ИГ очень выгодно выделялся на его фоне... Кто мог себе представить, что ждало Берлин через два года...»

3. АНТИФАШИСТ № 1 (1933–1945)

30 января 1933 года Гитлер был назначен канцлером; в феврале в Германии отменили все гражданские свободы и ввели цензуру печати; 5 марта нацисты выиграла выборы в парламент; 1 апреля началось официальное преследование евреев. Германия сделала свой выбор.

9 марта Эренбург писал в Москву своему секретарю: «Немецкие события отразились и на мне. Не только погибло мое издательство, но в нем погибли пять тысяч марок — мой гонорар от американской фирмы «Юнайтед артист», которая делает теперь «Жанну» и часть денег для меня передала „Малику"». (Гитлеровцы прибрали к рукам и те деньги Эренбурга, на которые наложил арест суд, и, поскольку эта история тоже связана с Германией, расскажем ее вкратце. В № 7 берлинского журнала «Tagebuch» («Дневник») за 1931 год Эренбург опубликовал очерк «Томас Батя — король обуви». Батю очерк Эренбурга разозлил, и, пригрозив редакции журнала судебным преследованием, он добился публикации своего гневного ответа Эренбургу, после чего благополучно подал на него в суд. 24 декабря 1931 года Берлинский гражданский суд в отсутствие обвиняемого рассмотрел иск обувного союза Бати к Эренбургу. Соглас-

но иску, статья в «Tagebuch» содержала 12 необоснованных обвинений против Бати. Суд необоснованность признал и постановил взыскивать с Эренбурга судебные издержки, а также 20 тысяч марок за каждую последующую публикацию очерка. Вспоминая эти события, Эренбург писал: «Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники: рабочие Злина. Они прислали мне документы, фотографии, подтверждающие достоверность моего очерка... Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолет Томаса Бати разбился. В Германии к власти пришел Гитлер. Нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Бати. Что касается моего скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаса Бати, а Третьему рейху...» (7, 309).

20 марта 1933 года Эренбург публикует в «Известиях» статью «Их герой» (о Хорсте Весселе). Уже эта статья резко отличается от того, что и как он писал о Германии прежде. В 1922—1928-е годы Эренбург блистательно показывал многогранную социальную и интеллектуальную жизнь Германии, контрастные картины ее городов, ее литературы, ее искусства. Теперь сама эта жизнь, подчиненная расистской идеологии, внешне предельно упростилась. Эренбург мог писать о ней только со стороны, не вдаваясь в подробности. Из всего былого разнообразия германских тем остается одна — нацистское варварство; теперь Эренбург употребляет слово «они», не поясняя, имеются ли в виду нацистские громилы, или все стадо: идейные и одурманенные, бездумные или даже колеблющиеся. Эренбург сразу нашел ту хлесткую, убойной силы смесь сарказма и риторики, которой отмечена вся его антифашистская публицистика. Он обвиняет: «Они начали с петард. Они кончают поджогами, погромами и убийствами. Они не виноваты: они делают то, что умеют. Они переименовали «дом Карла Либкнехта» в «дом Хорста Весселя». Вот он — их герой: сутенер, виршеплет, убийца из-за угла, воспетый старым похабником. Что же, каждому — свое» (4, 559—560).

Совпали: собственные, оскорбленные нацистами, национальное и эстетическое чувства Эренбурга, природа его литературного дара и официальная (хотя по сути более формальная) интернациональная советская доктрина — такого Эренбурга пока что охотно печатали в СССР...

Два раза в жизни Эренбурга его публицистика обрела набатное звучание — антибольшевистская в 1919 году и антифашистская в 1933—1945-х годах. Не случайно герой романа «Хулио Хуренито», которого звали Илья Эренбург, из двух слов — «да» и «нет», в отличие от всех других персонажей романа, предпочитает «нет». Именно в резком, страстном отрицании ненавистного ему сильнее всего выражался публицистический дар Ильи Эренбурга. Недаром знавшая его с юности Елизавета Полонская уже в глубокой старости назвала его в стихах «мой воинственный» — такова была особенность его человеческой природы и, следовательно, его литературного таланта...

В апреле — мае 1933 года в Германии публикуются черные списки подлежащих сожжению книг — в них все книги Эренбурга. Гитлеровская Германия для него закрыта (он проедет через нее лишь в конце июля 1940 года, и то по фальшивым документам). 26 мая 1933 года Эренбург пишет Юлиану Тувиму: «О Гитлере вряд ли стоит долго говорить. Это те явления, которые менее всего допускают обсуждения. Настроен я очень мрачно и, кажется, не без оснований. Я посылаю Вам две статьи, которые я напечатал о Гитлере и Розенберге. Если найдете нужным, можете их использовать для польской печати...»

Лучшие писатели Германии эмигрировали из страны; со многими из них Эренбург виделся в Париже. Вспоминая свои литературные встречи 1933 года, Эренбург писал: «Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюблялся, отчаивался, строил планы — и театраль-

ных пьес, и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово» (7, 392). В другом месте, вспоминая, как его представляли писателям, к книгам которых он относился с благоговением, Эренбург назвал несколько имен — среди них Томаса и Генриха Маннов (7, 271).

В 1934 году в письме к Сталину Эренбург выдвинул идею широкого международного антифашистского объединения писателей, разумеется, включая цвет немецкой литературы, полагая, что объединение художественной интеллигенции важно не только для борьбы с европейским фашизмом, оно поможет и улучшению интеллектуального климата в СССР, потеснив ортодоксов. Парижский конгресс писателей 1935 года, в организации которого Эренбург играл самую деятельную роль, собрался на деньги, которые дал Сталин (конгресс был сочтен полезным). Понятно, что это была лишь иллюзия объединения — к 1939 году от нее ничего не осталось. В 1935 году пронизательным умом на Западе казалось, что история не оставляет иного выбора — только между одним злом и другим. Но поскольку в 1935 году внутреннее тождество империй зла (завуалированной, трансформированной Сталиным и демонстративной, построенной Гитлером) было еще далеко не очевидно, Гитлер многим казался существенно бóльшим злом. Генрих Манн писал 16 июля 1935 года брату Томасу о работе парижского конгресса: «Речи русских — Эренбурга, Алексея Толстого, Кольцова — были целиком посвящены защите культуры. Большого требовать нельзя».²⁵

В 1934 году Эренбург написал: «Битва может быть проиграна. Война — никогда».²⁶ Эти слова ему приходилось повторять в Австрии и Сааре в 1934-м, в Эльзасе в 1935-м, в Испании в гражданскую войну 1936 — 1939-х годов. В его работе военного корреспондента были только два перерыва: с января по май 1938 года (когда в Москве шел процесс над Бухариным и Эренбурга лишили зарубежного паспорта) и с апреля 1939 года (когда Сталин начал практическую подготовку к сговору с Гитлером, ликвидировав антифашистскую публицистику) по 22 июня 1941 года (когда Гитлер напал на СССР). Оба эти периода были смертельно опасными для Эренбурга...

Будучи свидетелем вступления гитлеровских войск в Париж, Эренбург из разговоров немцев на улицах и в кафе понял, каковы их последующие военные планы. Именно это позволило ему вернуться в Москву — он снова увидел для себя «место в боевом порядке». Началась работа над романом «Падение Парижа»; главы из рукописи Эренбург читал в московских клубах, пресекая попытки немецких дипломатов присутствовать на чтениях. Вторую часть романа запретила цензура; но, позвонив Эренбургу, Сталин дал понять, что разрешает ее печатать...

22 июня 1941 года (эта дата, как вспоминал Вениамин Каверин, была предсказана писателем достаточно точно) начался новый, беспрецедентный этап журналистской работы Эренбурга — ставшего первым публицистом антигитлеровской коалиции. Это его звездный час. Полторы тысячи статей для центральных, фронтовых, армейских и дивизионных газет, для зарубежных агентств и зарубежной печати за годы войны сделали имя писателя всемирно известным. Об этой его работе восторженно отзывались самые разные авторы — Хемингуэй и Пристли, Гроссман и Неруда.

Одна из тем этих статей сформулирована Эренбургом предельно кратко: «Убей немца!». Смысл этого призыва абсолютно точен в рамках конкретного времени и пространства — речь идет о гражданах гитлеровской Германии, с оружием в руках вторгшихся на территорию СССР. Одолеть врага, который уже захватил всю Европу (за вычетом Великобритании), можно было только не щадя собственной жизни, только напряжением всех мыслимых и немыслимых сил, когда все живут одним — выстоять и победить! Блюстители юриди-

ческой чистоты текстов хотели бы, чтобы Эренбург писал «фашист» всюду, где у него было «немец». Но в реальных обстоятельствах Отечественной войны Эренбург писал так, как он писал.

Геббельсовская пропаганда на свой лад использовала публицистику Эренбурга, старательно лепя для своей паствы образ «кровожадного сталинского еврея». (В ход шло все — от сфальсифицированных призывов «насилловать немцев» до плана уничтожения Европы в давнем фантастическом романе Эренбурга «Трест Д. Е.» — всего за несколько дней до крушения гитлеровского режима немецкая солдатская газета «Фронт и родина» использовала такой сюжет в статье об Эренбурге «Враг без маски».²⁷ В богатейшем военном архиве Ильи Эренбурга сохранилось огромное количество материалов (зачастую с грифом «секретно»), которые он в годы войны ежедневно получал из ТАССа. Это была информация из всей, включая германскую, мировой прессы и тексты радиоперехватов основных радиопередач в Европе (в Германии и Италии в том числе) и США (присылалось Эренбургу то, что могло быть ему полезно для работы, и, конечно, все упоминания его имени). Из всех этих материалов видно, как пристально следил мир за его публицистикой (печатавшейся и в советских изданиях и за рубежом) и радиовыступлениями. Едва ли не о каждом материале писателя (а это значит — почти ежедневно) германская печать и радио «информировали» своих граждан, изображая Эренбурга как «типичного представителя советских евреев, которые безгранично ненавидят Германию и немецкий народ».²⁸ Разумеется, в своих статьях и выступлениях Эренбург выражал волю, в частности, и еврейского народа, которого гитлеровцы решили уничтожить, но — подчеркнем это — прежде всего он выражал волю советской Красной Армии, сражавшейся со смертельным врагом. Тысячи писем, которые приходили к писателю от фронтовиков, говорят именно об этом; солдаты-евреи были горды тем, что представитель именно их народа является самым любимым на фронте советским публицистом, но большинство писавших Эренбургу вообще не задумывались о его национальности. Между тем систематически тиражировавшиеся в Германии фразы о кровожадном еврее Эренбурге вбивались в головы слушателей, заставляя их думать, что, если бы не призывы Эренбурга, Красная Армия не стала бы уничтожать напавших на СССР немцев. Уже наступил 1945 год, а Геббельс все еще внушал читателям «Das Reich» и радиослушателям, что Каганович и Эренбург — «идеологические представители Сталина — виновники несчастья всего мира».²⁹

Вспоминая военные годы в мемуарах «Люди, годы, жизнь», Эренбург писал: «Пропаганда сделала свое дело: немцы меня считали исчадием ада... Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили «между Одером и Рейном», не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее близких мне поэтов — Гейне, а потому, что они были фашистами» (7, 669 — 670).

В начале 1945 года Эренбург выехал на фронт в Восточную Пруссию. Спустя почти 20 лет он писал об этом: «По правде сказать, я боялся, что после всего учиненного оккупантами в нашей стране, красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить — мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа — в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия» (8, 86). Эти взвешенные (с учетом и внутренней, и внешней цензуры) слова были напечатаны в 1963 году. А вот в феврале-марте 1945 года, сразу же по возвращении с фронта Эренбург говорил об увиденном куда резче. В марте 1945 года начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ НКО СССР В. Абакумову вручили девять доносов на Эренбурга (три из них — от сотрудников газеты «Красная звезда», где Эренбург проработал всю войну, четыре — из Военной академии им. Фрунзе, где 21 марта он читал лекцию начальствующему составу, и два — от оперу-

полномоченных СМЕРШ). В доносах приводились заявления, сделанные Эренбургом о том, что советские войска политически плохо подготовлены к наступательной операции, не могут организовать порядка, в результате чего допускают самоуправство; бойцы тащат все, что им попадетс под руку; происходит излишнее истребление немецкого имущества; что вторые эшелоны Красной Армии находятся на грани разложения, занимаются мародерством, пьянствуют и не отказываются от «любезностей немок»; комендантами немецких городов назначают случайных лиц, не дают им никаких указаний, в результате чего они занимаются только конфискацией имущества, добывают спирт и пьянствуют; кроме того, Эренбург говорил, что упитанный и нарядный вид возвращающихся с немецкой «каторги» советских женщин³⁰ делает неубедительной для бойцов всю пропаганду на этот счет. 29 марта эту информацию Абакумов доложил письменно Сталину, охарактеризовав ее как клевету на Красную Армию³¹; для большей убедительности были сообщены фамилии доносчиков.

Сталин, решая одновременно несколько политических задач, наказал Эренбурга по-своему, по-сталински. Он распорядился подготовить для «Правды» статью, в которой виновником возможных незаконных действий Красной Армии по отношению к немецкому населению объявлялся бы Эренбург. Так, 14 апреля 1945 года в «Правде» появилась статья «Товарищ Эренбург упрощает» за подписью начальника управления пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова; на следующей день ее перепечатали в самой популярной у фронтовиков газете «Красная звезда», всю войну изо дня в день печатавшей Эренбурга. Статья Александрова обвиняла писателя в недифференцированном подходе к немецкому населению, в пропаганде насилия и прочем. Имя Эренбурга впервые за годы войны исчезло со страниц советской печати.

Эренбург понимал, что дело не в Александрове. 15 апреля он обратился к Сталину: «Статья в «Правде» говорит, что непонятно, когда антифашист призывает к поголовному уничтожению немецкого народа. Я к этому не призывал. В те годы, когда захватчики топтали нашу землю, я писал, что нужно убивать немецких оккупантов. Но и тогда я подчеркивал, что мы не фашисты и далеки от расправы. А вернувшись из Восточной Пруссии, в нескольких статьях («Рыцари справедливости» и др.) я подчеркивал, что мы подходим к гражданскому населению с другим мерилем, нежели гитлеровцы. Моя совесть в этом чиста». Сталин на это письмо не ответил. На фронте статья Александрова вызвала оторопь. Эренбург получил массу писем и телеграмм фронтовиков в свою поддержку. Гитлеровская пропаганда воспользовалась статьей Александрова, чтобы 17 апреля 1945 года заявить: «Илья Эренбург изолгался до того, что был изобличен во лжи своими же собственными руководителями». ³² На Западе статья Александрова была воспринята как сигнал об изменении политики русских в отношении Германии. «В Москве видят, — говорилось в одной шведской газете; перевод с грифом «секретно» сделало ТАСС, — что статьи, подобные эренбургским, только дают оружие в руки геббельсовских пропагандистов и затрудняют раскол между немецким народом и нацистским режимом, которого русские желают добиться. Для создания новой в отношении России, абсолютно дружественно настроенной и верной Германии, по мнению русских, важно не допустить отождествления нацистов с немецким народом». ³³ Понятно, что ни сами немцы, ни Красная Армия в силу инерции сознания не изменились в такт этому политическому ходу.

4. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (1946—1967)

После войны у власти в Восточной Германии поставили людей, которых Эренбург знал и не любил. Это относится и к литераторам, осуществившим литполитику ГДР, — скажем, Бехеру или Бределю. (Еще во время войны известный дипломат К. А. Уманский писал Эренбургу из Мехико об интригах тамошней немецкой писательской колонии — Людвиг Ренн и др., — публично

хвалившей публицистику Эренбурга, но тайком препятствовавшей ее распространению.) Однако официальное участие в Движении сторонников мира (единственная для Эренбурга возможность после войны быть на Западе) требовало его контактов и с этими людьми. А. Я. Савич запомнила иронический рассказ Эренбурга о его поездке в ГДР, когда по протоколу он должен был присутствовать на приеме у председателя Госсовета В. Ульбрихта:

«В правительственную гостиницу к ИГ приходит секретарша Ульбрихта и просит пройти на прием. ИГ смотрит на часы и говорит: сейчас половина четвертого, а прием назначен на 4, мне придется полчаса стоять на ногах, а я уже не молод. Она продолжает настаивать: надо прийти заранее. Нет, говорит ИГ, я не пойду, я еще выспаться перед этим успею. И развязывает галстук, расстегивает воротник. Посрамленная секретарша удаляется и приходит за Эренбургом без пяти минут 4. На приеме к Эренбургу подходит чин и говорит: сейчас освобождается третье место налево от председателя, вы можете его занять на 6 минут. Эренбург занимает освободившееся место, зовет официанта и заказывает рыбное блюдо. В течение 5 минут деловито чистит рыбу на своей тарелке. Приближается конец 6-ти минут, возникает некоторое замешательство. В последний момент ИГ смотрит на часы, освобождает место и просит официанта перенести рыбу на старое место».

Нельзя сказать, чтобы к Аденауэру Эренбург относился сердечней; он разделял официальные и в значительной степени демагогические советские опасения по части милитаризации Германии и в своих статьях, естественно, поддерживал соответствующие советские инициативы. В мемуарах он признал свою долю ответственности за пропагандистское обеспечение сталинской «холодной войны», но уже в годы, которые с его легкой руки во всем мире зовут «оттепелью», Эренбург был очень аккуратен в этом; так, он ни словом не осудил берлинские выступления рабочих 1953 года и в мемуарах упоминает их сугубо дипломатично (8, 391)... В мемуарах бытовое благополучие Западного Берлина сталкивается с культурными интересами населения Восточного, как они, в свою очередь, сталкиваются с чиновничьей тупостью и произволом. Говоря о послевоенной немецкой литературе, Эренбург называет Брехта, Анну Зегерс и Арнольда Цвейга. Упомянув типичные западные нападки на них, он замечает: «Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс» (8, 291). «Некоторые критики» — это, конечно, характерный для «оттепельного» Эренбурга эвфемизм: имелись в виду партоткрыты, руководившие культурой. Говоря о своем споре с этими «критиками», Эренбург посетовал, что горячился зря: «есть люди, которые умеют говорить, но не слушать» (8, 291) — это суждение о специфике руководителей культуры при социализме.

Послевоенные встречи и беседы с Брехтом были Эренбургу дороги; он пишет: «Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим. Такое впечатление обманывало — он слушал, многое подмечал, порой усмехался. Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил, — не Парижа или Берлина, а некоей страны, которую я про себя называл «Брехтией». Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека» (8, 291—292). И еще одно существенное замечание, связанное с упреком одного неназванного западногерманского автора в адрес Брехта: «Хитрость Брехта была хитростью ребенка, и все его «расчеты» — просчетами поэта». Насчет «расчетов» и «просчетов» Эренбург, наверное, мог бы это сказать и о себе.

Анна Зегерс, всегда защищавшая Эренбурга от нападков на него в СССР, не

забывала, как он, по существу, спас ее в оккупированном гитлеровцами Париже (используя хорошие отношения с советским консулом, Эренбург добился нелегальной отправки Зегерс в свободную зону).

Следил Эренбург и за немецкой поэзией, причем в суждениях о стихах был достаточно широк — принимал и ветерана Стефана Хермлина (его русская книга вышла с предисловием Эренбурга), и молодого бунтаря Г.-М. Энциенсбергера (на ленинградском симпозиуме 1963 года Эренбург защищал его от возможных нападок все тех же «критиков». — 6, 321).

Незадолго до смерти Эренбург принимал у себя дома Генриха Белля. Встреча была радушной и откровенной. Присутствовавший Лев Копелев вспоминал эпизод, рассказанный Эренбургом: «Недавно я встретил молодого немца, он стал мне доказывать, что в этой войне все стороны были равно жестоки, все народы одинаково виноваты. Это совершенно неправильно. Сталин обманывал народы. Он сулил им добро, обещал все только хорошее, а действовал жестоко. Но Гитлер ведь прямо говорил, что будет завоевывать, утверждать расу господ, уничтожать евреев, подавлять, поработать низшие расы. Так что нельзя уравнивать вины». Белль с этим согласился.³⁴

В 1997 году в Карлсхорсте (Берлин) была проведена возбуждавшая общественное внимание выставка «Илья Эренбург и немцы».³⁵ В контексте музейной экспозиции, посвященной двум европейским тоталитарным режимам XX века, выставка позволила объективно представить жизненный и литературный путь Ильи Эренбурга, его связи с Германией. Приехавший из Цюриха германский издатель Хельмут Киндлер на открытии выставки напомнил собравшимся, в какой нелегкой обстановке ему приходилось в начале 1960-х годов выпускать немецкий перевод мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (издание этой книги вызвало крайне враждебные нападки эсэсовских ветеранов и постыдную газетную кампанию в печати³⁶ — забыв о печах Освенцима, требовали бойкота мемуаров; подавлением литературные критики ограничились поверхностными суждениями и грубостью).³⁷ Помнится, говоря об этом, Киндлер не мог скрыть волнения. Он вспоминал, как Эренбург пришел к нему в издательство с переводчиком, а когда после заключения соглашения он пригласил писателя к себе на ужин, Эренбург пришел один и заговорил с хозяином по-немецки. Киндлер удивился, а Эренбург объяснил: с 1941 года он никогда не говорил по-немецки, но после сегодняшней встречи решил нарушить это правило...

Другого рода трудности (не нацистские, а советские) преодолевал в ГДР литературовед Ральф Шредер, осуществивший уже после смерти Эренбурга выпуск его многотомных сочинений в то самое время, когда в СССР издавать Эренбурга было практически запрещено...

Тема «Эренбург и Германия» все еще не принадлежит истории всецело — в этом убеждают и события 2001 года, когда Союз немецких женщин потребовал переименования берлинского кафе «Илья Эренбург».³⁸ Так старые пропагандистские клише оказываются весьма действенными (в этом, увы, убеждает и многое в российской повседневности...).

¹ Р. Орлова, Л. Копелев. Мы жили в Москве. 1956—1980. М., 1990. С. 165—166.

² См.: Биржевые ведомости (Петроград). 1916. Утр. вып. 29 июля (11 августа).

³ И. Эренбург. Собр. соч. в 8 тт. М., 1991—2000. Т. 7. С. 188 (далее в тексте указываются лишь том и страница).

⁴ М. Алпатов. Воспоминания. М., 1994. С. 220.

⁵ А. М. Родченко. Статьи. Воспоминания. Автобиографические заметки. Письма. М., 1982. С. 117.

⁶ Большая берлинская выставка на вокзале Лертер (нем.).

⁷ «Илье Эренбургу с наилучшими приветствиями из Германии. Георг Гросс. Берлин. 11 июля 1926» (нем.).

⁸ И. Эренбург. Белый уголь или Слезы Вертера. Л., 1928. С. 97.

⁹ Все письма Эренбурга цитируются по двухтомному изданию (М.: Аграф, 2004; Т. 1. Письма 1908—1930 гг.; Т. 2. Письма 1931—1967 гг.).

¹⁰ На русском роман был издан в Берлине издательством «Петрополис» в 1930 г.

¹¹ На литературном посту. 1927. № 20. С. 93.

¹² Сообщено К. М. Азадовским.

¹³ РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3064.

¹⁴ — Пожалуйста, ветчины.

— Куском или нарезать?

— Пожалуйста, или (нем.).

¹⁵ Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь на ногу (нем.).

¹⁶ Игра слов: Mahlerin — художница; Gemahlin — супруга (нем.).

¹⁷ Вечерняя Красная газета (Ленинград). 1927. 4 мая.

¹⁸ И. Эренбург. Белый уголь, или Слезы Вертера. Л., 1928. С. 98—99.

¹⁹ Руль (Берлин). 1928. 19 декабря.

²⁰ Цитирую по выписке, сделанной для Эренбурга К. П. Богатыревым.

²¹ Цит. по: Russen in Berlin. 1918—1933. Eine kulturelle Begegnung. Hrsg. von Fritz Mierau. Leipzig, 1991. S. 426.

²² Имея в виду особую склонность берлинцев к отсутствовавшим в то время точным расписаниям, Эренбург трактует слово «расписание» расширенно — применительно к укладу жизни.

²³ Имеется в виду «Стальной шлем» — монархический военизированный союз бывших фронтовиков, созданный в 1918 г.

²⁴ «Красный фронт» — левая организация фронтовиков.

²⁵ Цит. по: Г. Манн — Т. Манн. Переписка, статьи. М., 1988. С. 249.

²⁶ И. Эренбург. Границы ночи. М., 1934. С. 38.

²⁷ Front und Heimat. 1945. Nr. 99. S. 7.

²⁸ Радиоперехват 20 октября 1944 г. // РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3677. Л. 161.

²⁹ Там же. Л. 169.

³⁰ Речь идет о женщинах, отправленных в Германию на принудительные работы.

³¹ Новое время (Москва). 1994. № 8. С. 50—51.

³² РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3677. Л. 200.

³³ Там же. Л. 207.

³⁴ Р. Орлова, Л. Копелев. Мы жили в Москве. 1956—1980. С. 165—166.

³⁵ Идея проведения выставки принадлежала проф. Петеру Яну, литературная концепция — Э. Пассет и Р. Петшнеру. Среди обстоятельных откликов прессы на эту выставку, затрагивающих проблему «Эренбург и немцы», отметим: «Neues Deutschland» (28.11.1997); «Berliner Zeitung» (3.12.1997); «Der Tagesspiegel» (10.12.1997); «Die Zeit» (12.12.1997); «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (15.12.1997).

³⁶ См. например, номера «Soldaten-Zeitung» за май-июнь 1962 г.; заголовки напоминали геббельсовские: «Убийца без маски», «Величайший мастер массовых убийств во всей истории человечества». Эренбург ответил на это статьей «Сказка не про белого бычка» (Литературная газета. 1962. 25 октября).

³⁷ См., например, статьи Ф. Зибурга в «Frankfurter Allgemeine» или Д. Циммера в «Die Zeit».

³⁸ Об этом был прямой репортаж из Берлина по российскому телевидению; удручает, признаться, не столько даже интервью представительницы Союза немецких женщин, сколько абсолютно беспомощный комментарий московского корреспондента.

ПЕТЕРБУРГ—ПЕТРОГРАД—ЛЕНИНГРАД

ЙОЗЕФ РОТ

ЛЕНИНГРАД

1

В воскресный день, когда я приехал в Ленинград, стоял лютый мороз. Воздух звенел как стекло. Улицы были в снегу; на солнечной стороне — слепящая белизна, на другой — тень. Тротуары отделены от мостовой кучами снега, которые возвышались на одинаковом расстоянии друг от друга, как вешки демаркационной линии на границе. От саней слышался веселый перезвон, от пешеходов — скрип и сопение. Галоши скрипели на непокорном снегу, который при каждом шаге вздыхал так, как будто страдал от того, что на него наступают. Дыхание громко вырывалось изо ртов и ноздрей идущих людей. Перед каждым лицом то появлялось, то исчезало маленькое облачко пара. Самые большие — перед мордами лошадей, запряженных в сани. Высоко в бледно-голубом небе мороз, казалось, пел или скулил тоненьким голоском, но выражал этот звук не боль, а холодное наслаждение холодной болью. Этот напев невидимого холода под зимним небом звучал контрастом воображаемому пению весенних жаворонков. Хотя солнце светило очень ярко, на него можно было смотреть. Его бледное сияние успокаивало взор, утомленный ослепительной белизной снега. И подобно тому, как в летний день мы отворачиваемся от солнца, чтобы глаз отдохнул на зеленых покровах земли, так отводил я теперь взгляд от слепящего снежного покрова, стараясь смотреть в светлую синеву неба. Снег был ярким как солнце, а солнце — матовым как снег. Холодное, оно, казалось, излучало тепло. Было 28 градусов ниже нуля. Холод был прижат к лицу как обоюдоострый клинок. Уши обжигала боль, как будто в них вонзали тонкие иглы. Чувствовалось, как пульсирует в теле кровь, как велика скорость кровообращения, работающего на самообогрев. От этого учащался шаг. Все живое двигалось в ускоренном темпе. Люди почти пробегали мимо, отчужденные друг от друга холодом. Сани летели. Иногда проносились редкие автомобили. Низкорослые лошади мчались галопом, под дугами галопировали колокольчики. Отдельные звуки складывались в мелодии, вызывали какие-то песни.

Перевод выполнен по изд.: *Joseph Roth. Werke: Das journalistische Werk 1924—1928.* Herausgegeben von Klaus Westermann. Köln—Amsterdam, 1991. S. 915—920.

Йозеф Рот (1894—1939) — известный австрийский писатель-прозаик и журналист. В качестве корреспондента газеты «Frankfurter Zeitung» посетил Советский Союз в 1926 г. В 1933 г. эмигрировал в Париж, где и умер. Ряд произведений Рота, в том числе романы «Отель Савой» (1924), «Иов», «Марш Радецкого» (1932) и др., переведен на русский язык.

Очерк «Ленинград» написан в 1928 г.

© S. Fischer Stiftung (перевод), 2004

Но и все стоящее на месте казалось неподвижным вдвойне. Дома, мосты, будки, фонари словно вросли в землю навсегда, — вечные, как пирамиды. Даже тени от предметов были уже не игрой света, а темными пятнами, нарисованными серой краской на белом снегу и утратившими всякую зависимость от перемещения солнца. Дворцы — их в Ленинграде столько же, сколько в других городах доходных домов — приобрели в этой атмосфере удвоенную устойчивость. Запас прочности, заложенный строителями, увеличился благодаря освещению; свет подчеркнул монументальность дворцов, словно подтвердил их право оставаться на своих местах, как будто прежде была опасность, что они, несмотря на основательность фундаментов, могут куда-то сдвинуться. Но из противоречия между скоростью всего, что движется, и рассчитанной на тысячелетия неподвижностью всего, что стоит, возникало непривычное волнующее ощущение; оно обостряло видение, заставляя творчески осмыслять как очарование скорости, так и механизм устойчивости. Фасады возвысились до символов вечности. Мчащиеся люди и экипажи унизились до символических образов вечной переменчивости и ничтожества. Словно передо мной была сцена, на которой разыгрывалось захватывающее зрелище непрерывного процесса гибели и становления, жестокого безразличия вечных сил жизни.

Таким я увидел Ленинград в первый раз. Он предстал передо мной как город Петра Великого, универсального европейца, мечтавшего, что из этого города он будет править Азией, и воздвигнувшего себе, в отличие от других властителей, не бронзовый монумент, а целую резиденцию на краю огромного царства, — словно капитан, устроивший командный мостик на буге своего корабля. Это был город царя, который так любил вечность, что повелел веками хранить свое тело в саркофаге, и, когда после революции саркофаг открыли, лежал в нем все еще цел и невредим настолько, что люди ужаснулись — как когда-то ужасались его живого.

2

На следующее утро мороз ослабел, растворился в тумане. Туман рождался из реки. Снег был все еще твердым, но уже не скрипел. Серое небо предвещало новые снегопады. Воздух теперь походил уже не на стекло, а на молочно-белый фарфор. Солнце не воспринималось больше как небесное тело, казалось, оно рассеяно за облаками по всему горизонту. Над крышами домов и дворцов поднимался серо-голубой пар, и если стоять на возвышении или на площади, так, чтобы открывался широкий обзор, то чудилось, будто перед тобой затонувший город на дне невесомого моря из дыма. Звон колоколов, санных колокольчиков, все звуки — приглушены так, словно они совсем близко, за завесой, но мне никогда не будет позволено увидеть их источник собственными глазами. Когда я пытался проникнуть туда, за полог, чтобы увидеть башни, людей, улицы, то было ощущение, что я разрушаю чары, навевные туманом. Мне больше не казалось, что фасады созерцают бегущую перед ними брентную жизнь. Напротив, они дрожали, раскачивались, едва ли не изменяли свою форму. Было все еще холодно. Но мороз словно мехами окутался теплыми облаками — уже чувствовалась умиротворяющая мягкость заключенного в них снега. Вспыхнул шпиль Адмиралтейства, как золотая пика, пронзившая туман и подцепившая его на острие. В блеске этой пики было невероятное торжество. Она возвышалась над городом как символ той действительности, которая не боится тумана, задумавшего ее поглотить, ибо этот туман есть собственное ее порождение. Она торжествовала как скипетр грозной власти, которая еще таит в себе опасность, — просто потому, что еще существует.

Туман, окутавший Ленинград, — настоящее порождение этого города, построенного на болотах. Земля под ним мягкая и коварная; тяжелые фундаменты дворцов и церквей не столько стоят на ней, сколько в ней утопают. Великий и своевольный государь хотел утвердить свою власть и над самой природой. И

так же, как Венеция царит над морем, Ленинград царит над болотами. Но не просто царит, — он впитывает их в себя, его стены насыщаются влагой, оседают и, если бы не холодный климат, если бы влажная земля не затвердевала от сильных морозов, дома не были бы уже так высоки, как сегодня. Большую часть года город утопает в мягких клубах тумана, словно примирившего камень и воду, и на расстоянии кажется, что перед тобой не реальность, а сон, пригрезившийся природе. Однажды, говорит Достоевский, проснешься, а Петербурга как не бывало. Может быть, Петр, воздвигший его при жизни, после смерти снова его отменит, превратит в ничто, из которого он был создан. Ибо этот город нельзя разрушить. Он может лишь испариться, как окутывающий его туман.

3

«Ах, — говорили мне патриоты Петербурга, — если бы вы знали, каким был этот город раньше. Он был таким европейским, оживленным, богатым, — богаче, чем Париж!» В России повсюду можно встретить убежденных петербуржцев, которые всегда против убежденных москвичей. Москва не уступала своему древнему праву, исторического и этнографического. Европейскому и придворному Петербургу она противостояла как хранительница «подлинной» «русской» традиции. Но в Петербурге, где цари держались на достаточно безопасном расстоянии от своих подданных, возникла особая, удивительная разновидность русского человека. Возник тип высокопоставленного русского чиновника, почти по-немецки пунктуального, но с признаками тихого помешательства, тип «чудака». Тут, в Петербурге, были по-европейски широкие улицы, но по-русски несовершенная канализационная система. Говорили по-французски и по-немецки, а бранились по-русски. Жили по соседству с границей, на берегу моря, перед глазами — иностранные корабли, за углом — дипломаты других держав. И, оставаясь у себя дома, в России, заглядывали в окна Европы. Имя города было Петербург, у него не было русского имени. Когда во время войны царь Николай II перекрестил его в Петроград, недовольны были как раз русские патриоты, для которых немецкое название их города стало священным. «Петербург» означал аристократический космополитизм, желанный царю-основателю и потому русский. «Петроград» означал дешевую уступку национализму черни, означал мещанский, собственно говоря, западноевропейский языковой пурим, в угоду которому срывались таблички с чужеземными названиями. Переименовать Петербург в Петроград — в этом выразилось мещанское умонастроение последнего царя, который позаимствовал свое национальное чувство у уличных демонстрантов. Город, переименованный в Петроград, должен был в конце концов сделаться и Ленинградом, утверждают ныне русские реакционеры. Они все еще хранят верность царю Петру. Николай II кажется им провозвестником революции.

Эти реакционеры еще живут в Петербурге. Некоторых революция пощадила, потому что они не интересовались политикой. Они были слишком горды, чтобы ею интересоваться. Они встали из-за своих письменных столов, сняли свои мундиры и стали созерцать крушение своего мира с тем же презрением, которое они испытывали и к самим себе. Своего рода аристократический нигилизм. Героика безразличия. Как призраки бродят они по знакомым улицам. Они были призраками уже тогда, когда еще сидели за своими столами. Болотные привидения с манерами придворных. Добровольно они не покинут Петербург никогда. Двора больше нет, но остались болота, их родина, в ее влажной атмосфере призракам хорошо, они в ней сохраняются.

Площадь перед Зимним дворцом просторна, и снег заметает ее границы. Она так же безгранична, как безгранична Российская Империя. Сквозь желтоватые оконные стекла на нее смотришь как на замерзшее озеро — от него веет тоской из камня и льда, тоска поднимается с его поверхности как туман над живым озером. Замкнутая со всех сторон, связанная с городом только узкими выходами, она словно образ его самоотречения, его отрешенности от самого себя. По сравнению с этой площадью царь был крошечным — маленький пленник. Как пуглив становится властитель, когда его держит в осаде такая огромная, белая, безмолвная площадь! Тот, кто недостаточно велик, чтобы править, становится здесь, от безграничной широты, тираном.

Ранним вечером пошел свежий, легкий снег. Он падал, смешиваясь с темнотой, как будто бы для того, чтобы ее освещать. Но сколько бы снега ни напало, площадь оставалась все такой же темной и низкой, ее уровень не поднялся ни на сантиметр. Слишком уж эта площадь широка, подумалось мне, слишком широка.

Перевод Алексея Жеребина

ПЕТЕР РОЗАЙ

КРАСАВИЦА ХРОМАЕТ

Петер Розай родился в 1946 г. в Вене. По образованию юрист, доктор юриспруденции. После окончания университета полтора года работал личным секретарем известного венского художника Эрнста Фукса, затем руководил небольшим издательством учебной литературы. Первая книга — сборник рассказов «Ориентация на местности» — вышла в свет в 1972 г. С тех пор Розай создал более тридцати произведений в различных жанрах — романы и повести, пьесы и сборники лирических стихотворений, разнообразную эссеистику. О ранней прозе Розая писали, что она «выразила мироощущение целого поколения». Прежде всего это относится к повести «Отсюда — туда» (1978), переведенной на все основные европейские языки, в том числе и на русский.

В позднейшем творчестве Розая выделяется созданный им во второй половине 1980-х гг. цикл романов о современности под общим названием «15 000 человеческих душ». Одна из шести частей, составивших этот цикл, — роман «Мужчина & Женщина» (1984) вышла в русском переводе в 1994-м. В 1990-е гг. Розаем опубликованы романы «Ребус», «Персона», «Человек, который хотел умереть, и еще одна история былых времен», книга путевых заметок «Летающие стрелы», несколько сборников эссеистической прозы (из которых на русский язык переведены «Очерки поэзии будущего»), два сборника драматургии (2003 и 2004). Сегодня Петер Розай — признанный мастер современной прозы. Свидетельством признания явилось, в частности, присуждение ему престижных литературных премий: в 1993 г. — имени Франца Кафки, которого Розай считает одним из своих главных учителей. Творчеству Розая, уже давно привлекающему повышенное внимание критики, посвящены два сборника литературно-критических статей — «Петер Розай. Досье» (1994) и «Basic Розай. Справочник путешественника по литературному континенту» (2000).

Все написанное Розаем за несколько десятилетий создает в сознании читателя некое единое, хотя и сложно устроенное смысловое пространство, пронизанное цепочками лексико-семантических повторов, которые связывают произведения разных жанров и периодов, стихи и прозу, оригинальные сочинения и переводы. Едва ли не самым звучным из лейтмотивов Розая является мотив пути, на который указывают уже названия многих его вещей, например, таких, как эссе «Проект бесцельного путешествия» (1975) или роман «Млечный путь» (1981).

Розай много и охотно путешествует. Он тонко чувствует чужую культуру и умеет передать свои впечатления в открыто субъективных, лирически насыщенных образах. Таковы, в частности, его этюды о Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде. «Путь»

Перевод выполнен по изд.: *P. Rosei. Die schöne Dame hinkt // Spektrum* (литературное приложение к газете «Die Presse»), Samstag, 8. Mai 1999.

© Peter Rosei, 1999

© Алексей Жеребин (вступительная заметка), 2004

© S. Fischer Stiftung (перевод), 2004

выступает у Розая и в качестве метафоры поэтического творчества, художественного познания жизни, которое есть не что иное, как нескончаемое путешествие художника, идущего к самому себе. В начале века именно об этом писал у нас Блок: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство пути».

В речи по поводу присуждения ему премии имени Франца Кафки Розай говорил: «Мы исследуем мир, пользуясь тем богатством систематизирующей мысли, которое предоставляют в наше распоряжение разные научные дисциплины, а потом пробуем заглянуть дальше, продолжить рассказ. Что начинается там, где заканчивается пространство, измеренное рассудком? Я описываю здесь целую поэтику. Она выводит за пределы творчества Кафки, как дорога, по которой выезжают за черту столичного города. Мы находимся в пути и хотим именно этого. Грунтовка наших дорог становится все тверже. На них уже оседают первые поселенцы, и пусть вдалеке, но мы различаем контуры нового города, возникающего на наших глазах». Черты этой поэтики, открывающей новое в хорошо знакомом, угадываются и в эссе Петера Розая о Петербурге.

На Моховую мы приезжаем под вечер. Я хочу купить пару бутылок пива, захожу в соседнее кафе, по ступенькам в полуподвал, все пусто, на стеллаже несколько консервных банок с сардинами и — для украшения — пустые пачки от сигарет «Мальборо». Под неоновой рекламой за стойкой из грубого дерева — эффектная блондинка: большой, ярко покрашенный рот, платье с глубоким вырезом. Свет падает на столы и скамьи из маленького оконца сверху.

Мы — моя жена, я сам и наш маленький сын — сняли на Моховой квартиру, то есть хозяйка переехала на время к своей дочери, а нам предоставила за доллары свое жилье: две комнаты окнами во двор, расположенные одна за другой вдоль узкого коридора; видимо, квартира была когда-то намного больше и эти комнаты были потом отделены. Входная дверь обита железом и запирается на три замка. Запыленная лестничная клетка выкрашена в серо-голубой цвет, окна разбиты, на лестнице множество бездомных кошек. Они запрыгивают на почтовые ящики, по большей части сломанные.

Почти всю посуду наша хозяйка заперла в шкафу. На плите полно жженных спичек, потому что конфорки все время гаснут. В основном мы кипятим здесь воду для питья и варим ячневую кашу для малыша.

Из комнат виден просторный двор между облупившимися, когда-то цвета королевской охры домами. Во дворе растет дерево. Я лежу на диване в полутьме и смотрю на гардины, свисающие из-под очень высокого потолка.

«Лучше был бы аристократизм, чем никакого», — замечает позднее наш русский знакомый: он подразумевает наше жилище, которое, по его мнению, выигрывает в сравнении с новыми домами на окраинах.

Вскоре грузинское кафе по соседству с Симеоновской церковью становится нашим вторым домом. Улица Моховая, хотя и широкая, зажата как ущелье между двумя рядами почтенных громоздких зданий XIX века. Мне никогда не забыть обнадеживающие вечерние блики на окнах, черные тени на стенах, обрызганных зеленью чахлах деревьев. Немного дальше по набережной Фонтанный дом графа Шереметева, с другой стороны — глыба Михайловского замка на фоне Летнего сада. «И лебедь, как прежде, плывет сквозь века, Любуясь красой своего двойника».

В кафе Лагидзе подают острый суп, куриное мясо в ореховом соусе или что-то, похожее на гуляш в горшочках; гарнир — жареный картофель. Спускаешься по маленькой лесенке, садишься за липкий стол в полутемном зале. Крепкое пиво «Балтика», иногда, в зависимости от поставок, финское пиво. Нашему сыну разрешают забегать за занавеску, там коридор и кухня, и можно поиграть с хозяйскими детьми. Мужчины сидят в глубине зала за длинным столом, играют в карты или ведут торговые переговоры вполголоса, пока женщины работают.

Детей куча. Сделки заключаются иногда и на улице в машинах. Бывает, что широкоплечий кавалер приводит парочку породистых дам. Водку заказывают на унции, минимальная доза — четверть литра.

С точки зрения социологии и архитектуры город делится на пять стилей: аристократический центр в окружении каналов, барокко и классицизм; за ним — буржуазные кварталы; затем кварталы мещанские, например около Кузнечного рынка — здесь жил Достоевский — или на Васильевском острове; кварталы бедноты, с громадными доходными домами-казармами, построенными на рубеже веков (таких кроличьих питомников я не видел еще никогда); наконец, неоклассицизм сталинской эпохи и кирпичные или панельные новостройки.

Днем на улицах черно от городского транспорта, но сейчас они почти пусты. Я бесцельно фланирую. Город очень просторный, все время чувствуешь, как широк равнинный ландшафт, в который он был встроен. Петербург расположен на Неве — как Париж на Сене. Но Нева — большая полноводная река, широкая, как Дунай, и нужно немало времени, чтобы перейти по мосту с одного берега на другой.

Исторический центр окружен тройным кольцом одетых в гранит каналов — Мойка, канал Грибоедова, Фонтанка. Широкие, с размахом проложенные проспекты и многочисленные мосты связывают центр с другими частями города.

Матрос в бескозырке с лентами, черно-красные кадеты Суворовского училища, бабушка в клетчатом платке и с хозяйственной сумкой, пьяница в обнимку со своей бутылкой; красавица-блондинка на высоких каблуках, в светлом воздушном платье под распахнутым, развевающимся на ветру пальто — волнующий аромат женственности. Я иду за ней, просто так, от нечего делать. Вот она переходит через мост, сворачивает в боковую улицу. Теперь я замечаю, что красавица прихрамывает. Она исчезает в дверях гостиницы «Европейская».

Мой сын играет на полу, покрытом линолеумом, жена пошла на концерт.

Концерты в Филармонии — наша радость, самая светлая. Большой зал с его сверкающими люстрами и белыми колоннами на фоне серебристо-серых с розовым стен заполняет пестрая толпа слушателей. Билеты дешевы, намного дешевле, чем в Австрии. Среди дам и господ нередко встречается вошедший в поговорку русский пролетарий в клетчатой рубашке. Дирижирует Гергиев. Моцарт, Бетховен, Шостакович. Два часа пролетают незаметно.

Потом в «Чайку» на Мойке, в пивной ресторан, где всегда полно немцев: они накачиваются пивом под шумную, громкоголосую беседу. Или в «Амбасадор» на Конюшенной, куда нувориши в шикарных полосатых костюмах приводят своих накрашенных и напудренных подруг. На столах шампанское в серебряных ведерках.

Когда идет дождь — а дождь здесь бывает часто — мой маленький сын вне себя от восторга: он не может вдоволь надивиться на потоки воды, хлещущей из толстых дождевых труб. Такие есть только в России. Или по вечерам на набережной у цирка мы смотрим, как служитель выводит на прогулку медведя, и тот становится на задние лапы. Яркий мяч сына пролетает сквозь решетку Летнего сада и, покачиваясь на покрытой рябью воде, уплывает по Фонтанке.

До Невского проспекта от нас два шага. Туда мы ходим за продуктами в новый, с иголки супермаркет, где торгуют почти сплошь иностранными товарами и где можно купить все, что нам нужно. Впрочем, кое-чего нет и там, например, свежего молока, и у нас входит в привычку, если мы видим где-нибудь молочные бутылки, сразу же их покупать и грузить на детскую коляску.

Темная кучка пьянчуг, стоящих по ночам на Литейном перед магазином, который работает круглые сутки: деньги протягиваешь через окошко, и тогда снизу вверх тебе выдают желаемое, чаще всего бутылку водки или пива.

Санкт-Петербург задуман и построен в классическом стиле, здесь все, каждое здание, каждая деталь, подчинено строгому единству формы, расчисленной по законам симметрии и перспективы, состоящей из предписанных кано-

ном, постоянно повторяющихся элементов. Даже излуцины и повороты каналов, вроде бы predetermined природой, кажутся спланированными намеренно, так, чтобы подчеркивать величественную красоту дворцов и домов богатых горожан. Гений города: все давать в перспективе — купол, шпиль, колоннаду. И взгляд под арку или в ворота обыкновенного дома встречает лишь замызанную вариацию все того же генерального плана: ты следуешь зову какого-нибудь внутреннего двора, но там снова влекущая темнота второй арки, за которой угадывается слабо освещенный контур еще одного здания.

Небо над Питером, как любовно называют свой город местные жители, не слишком высокое, но бескрайнее, это бледно-голубое небо, по которому почти всегда плывут облака, переливающиеся всеми оттенками, от ослепительно белого до насыщенного темно-синего с зеленоватыми прочерками. Северное небо — более прозрачное и разреженное, более пустое и усталое, чем у нас. В нем нет энергии. Поэтому очертания деревьев, домов и людей выделяются отчетливее, все кажется объемнее, тверже и живее. Небо Севера почти не держит, не дает опоры, — сквозь него просто проваливаешься, выпадаешь наружу. Все, что переживаешь, все впечатления любого свойства нужно вписывать в общий план, иначе они исчезают, гаснут.

«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту». Это из «Преступления и наказания». Это тоже: «Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!»

Многие черты города, например, железные козырьки над подъездами, уличные фонари и, особенно, лабиринты сообщающихся внутренних дворов, кажутся продолжением описаний Петербурга в романах Достоевского.

«Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампы, И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла...» Пушкин. Великий Пушкин! (Для меня он связан узами духовного родства с Моцартом, в нем живет дух того же времени между рококо и Просвещением.)

Площадь перед спящей громадой Исаакиевского собора; как выглядела она в ту ночь 1925 года, как выглядели заиндевшие купола из окон гостиницы «Англетер», в ту ледяную зимнюю ночь, когда встретился со своей бедой Сергей Есенин — и написал другу: «До свиданья, друг мой, без руки, без слова, Не грусти и не печаль бровей, — В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей».

Мимо провозят коляску, в которой сидит светловолосый ребенок; может быть, он и не русский; ребенок улыбается. Если мыслить апофеозами, как это делали зодчие эпохи барокко и их заказчики, цари и в особенности Екатерина II, то этот светловолосый мальчик мог бы быть олицетворением счастья, ожидающего Санкт-Петербург.

Снова один из этих воскресных дней, когда улицы почти пусты. Я решаю ехать на Андреевский рынок, это на Васильевском острове. Мужчины на корточках, во рту сигареты, на асфальте перед ними разложен товар: карбюраторы, солнечные очки, нейлоновые сумки. Нищие и нищенки. Горькая бедность у мусорных баков и распивочных.

Изысканное наслаждение смотреть Леонардо — и какого Леонардо! (не знаешь, чему отдать предпочтение, «Мадонне с цветком» или какой-нибудь другой картине); слева перед тобой эти полотна Эрмитажа, а справа, когда отводишь взгляд от картин, видишь в громадных окнах Неву и далеко за рекой — Васильевский остров и Петроградскую сторону!

Слышно, как крадется вперед время, когда смотришь на большие часы с заводом — собственность нашей квартирной хозяйки. Потертая мебель; бес-

конечная струйка воды из водопроводного крана; под утро — кошачий концерт, грохот мусоровоза...

Много лет назад, в маленьком итальянском городе Виченца я уже видел своего рода матрицу Санкт-Петербурга: Teatro Olimpico работы Андреа Палладио, где галереи построены по закону укороченной перспективы и на них сразу же, вольно или невольно чувствуешь себя актером. Иногда Санкт-Петербург кажется чем-то нереальным, и хочется протереть глаза, чтобы убедиться в том, что он действительно существует.

Чтобы немного отвыкнуть от исторического центра, я еду в пригороды. Там и тут, перед зданием городской администрации, перед школой, перед вокзалом, видишь все одно и то же — Владимир Ильич Ленин, весь город уставлен его бесчисленными копиями.

После дождя остаются большие лужи... Сталин приказал убить Кирова. Потом устроили похороны государственного масштаба — все в кумаче. А дальше начались показательные процессы. Лужи, в которых отражаются дома: здесь, где все во всем отражается, отражается, отражается...

Из самолета, уже совсем напоследок, мы видим, как вспыхивают в тумане сегменты золотого купола Исаакиевского собора. И в этот момент я начинаю сочинять себе город Санкт-Петербург заново...

*Перевод и вступительная заметка
Алексея Жеребина*

ЭССЕИСТИКА

КРИСТОФ РАНСМАЙР

И СЛЕД ПРОСТЫЛ...

Страничка воспоминаний для моей попутчицы

Кашмир, Непал, Бутан... и дальше, дальше, по пыльным или раскисшим от дождей дорогам, воздушными и водными путями, мглистыми от муссонов, вниз по Брахмапутре и вдоль берегов Бенгальского залива, а потом через Андаманское море в Малайский архипелаг, на Суматру, Яву, Борнео... И на Борнео? Да, думаю, и на Борнео... Конечно! Настоящее, большое путешествие в Азию, в Индонезию, по всему белу свету!.. Вот так, в первый же день нашего знакомства.

Оно состоялось, наше путешествие, в октябре 1988 года, во Франкфуртена-Майне, где проходила книжная ярмарка; для всех, кто сумел сбежать из выставочных павильонов на воздух, тот день был ясным, безоблачным, со слабым ветерком. Но мы с вами, милая попутчица, в тот день не искали своей дороги ни на воздухе, ни в павильонах ярмарки, между стендов книготорговых фирм, прилавков и громадных башен из книг, где не было вывесок с названиями фирм, а были только опознавательные знаки, — мы просто отправились в путь, дальний путь, и добрались до Борнео, да, я все теперь вспомнил, мы прошли в Южно-Китайское море и достигли Сибу и Саравака на Борнео.

Определенно, предыстория нашего путешествия связана с тем, что я впервые в жизни посетил книжную ярмарку, ни раньше, ни в течение долгого времени затем подобных событий в моей жизни не было. Мой только что вышедший в свет роман не позволял мне в те дни покинуть ярмарку — то ли некое виртуальное пространство, то ли поле сражений, оно — так я до тех пор думал, во всяком случае, надеялся — и есть Литературный Мир и, следовательно, должно служить неким пристанищем всем, кому небезразличны рассказы и повести, драмы и стихи. Так я думал, и, разумеется, поэты, читатели, издатели, а также рецензенты мне казались близкими по духу людьми, которые, быть может, и не всегда относятся друг к другу благожелательно, однако мало-мальски способны друг друга понять. Ведь в конце концов все они члены одной семьи,

Перевод выполнен по изд.: *Christoph Ransmayr. Die Verbeugung des Riesen. Vom Erzählen.* S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., 2003

Кристоф Рансмайр (род. в 1954 г.) — австрийский писатель и эссеист. Изучал философию в Венском университете; литературную известность ему принес роман «Последний мир» (1988), переведенный на русский. На русский язык переведены также романы «Болезнь Китахары» (2002) и «Ужасы льдов и мрака» (2004). В настоящее время живет в Ирландии.

© S. Fischer Verlag, 2003

© S. Fischer Stiftung (перевод), 2004

блуждающие среди книжных горных массивов, вероятно, преследуют сходные цели... Одна семья. Родство. Понимание. Как же я ошибался!

А в день нашего путешествия по свету, милая спутница, мне уже казался не лишенным оснований следующий вопрос: почему именно на книжной ярмарке люди должны лучше понимать друг друга и быть дружелюбнее, чем, скажем, на ярмарке крупного рогатого скота, на рыбном рынке или распродаже подержанных автомобилей? Впереди простиралось царство изданной, напечатанной поэзии, и вдруг оказалось, оно представляет собой огромное каменное поле, на котором разыгрываются матчи по регби или сражения. Если не подводит память, я тогда — был ли то вечер моего первого дня на ярмарке или утро второго? — хотел лишь одного, вернуться в мир моей книги, мой мир. Иными словами, моим единственным желанием было уйти, хотя порой я сомневался и считал его слишком поспешным, капризным, даже ребяческим. Но уйти. Чтобы и след простыл.

В общем, милая спутница, я был готов совершить побег, и как раз в этот момент мне доставили ваше приглашение отправиться в путешествие. Написанное от руки на листке дорогой бумаги ручной выделки, с напечатанным именем и с адресом вашего издательства: *Monika Schoeller. S. Fischer Verlag. Frankfurt am Main.** Строго говоря, в письме вы приглашали меня не совершить путешествие, а встретиться и побеседовать, но, конечно же, среди этих безымянных стендов беседовать серьезно и без помех можно только на ходу, в безостановочном движении. Ведь и поток писателей, читателей, книгоглотателей и книгоиздателей неторопливо катил мимо стендов, и останавливались посетители лишь там, где уже застрял кто-то, предположивший, что здесь он может что-то увидеть, услышать или еще как-нибудь обогатиться.

Итак, мы встретились в какой-то точке посреди сутолоки и сразу, не задерживаясь, тронулись в путь, пошли вдвоем дальше и неожиданно быстро очутились на краю этого книжного света, в узком и довольно тихом коридоре, разделяющем тыльную сторону стендов и наружную стену павильона, на ничьей земле, где на первый взгляд не на что было посмотреть и нечем разжиться. Мы прогуливались по этому коридору, обходя вокруг гудящий книжный рынок, и путешествовали, потому что говорили мы о путешествиях. В конце концов каждый, кто отправился в путешествие, узнает не только чужие края и дальние страны, он непременно познает и мир своей души, вот почему иногда бывает, что человек, оставаясь (или снова очутившись) где-то в далекой стороне, в то же время по-прежнему (или вновь) безвылазно сидит дома, у себя на родине.

Все, что находился за глухими стенами павильона и по ту сторону книжных нагромождений, внезапно перестало быть местом проведения ярмарки — там был Катманду, с его храмами в квартале Пашупатинат, там был Дели, его переулки серебряных дел мастеров, и звуки, доносившиеся к нам, были уже не разноголосицей франкфуртской книжной ярмарки, а скорбными песнопениями над гробницами Шах-Джахана и его молодой жены, умершей родами Мумтаз-и-Махал, были криками зазывал на базарах Рангуна и Сурабаи, гудением диких пчел в развалинах Фатихпура. Но какие бы ни открывались впереди дороги, мы говорили не о муках творчества и не о трудностях издательского дела, а с самого первого шага только о невероятной и драгоценной свободе: сорваться и уехать, куда бы не лежал путь... А если речь все же заходила о книгах, мы говорили лишь о том, какую составили бы дорожную библиотеку, особенную для каждого маршрута. Ведь в багаже путешественника ничто не весит так много и так мало, как книга.

Мы говорили и о снах, которые часто бывают намного более отчетливыми и яркими, когда снятся нам в пути или в чужих краях, по сравнению со снами, приснившимися где-нибудь в знакомом месте. Я пытался описать маршрут нашего предстоящего путешествия в Гималаи, в Индию и далее — в Юго-Восточную Азию и Индонезию, а вы вспоминали тишину Бутана и краски Борнео. Впро-

* Моника Шёллер. Издательство С. Фишера. Франкфурт-на-Майне (нем.).

чем, почему *описать*? — мы же *были* в пути, видели краски, слушали тишину, мы уносились из шумного павильона все дальше и дальше в огромный мир.

На мусорных свалках Дели январской ночью пылали костры, возле них грелись нищие, прикрывавшие наготу тряпьем и клочьями бумаги. В доме некоего сикха стоял на страже повар, вооруженный ружьем и ножами, прислушивался к воплям возмущенных индусов. В Куала Лумпуре казнили преступника — вешали торговца наркотиками, а на скалистом рифе близ Явы перевернулся и затонул паром с паломниками. В Шринагаре и на границе между Пенджабом и Кашмиром солдаты, не известно чьи, оборудовали пулеметные гнезда и возводили поперек улочки баррикаду из бочек с горящим мазутом.

Милая спутница! В нашем путешествии от нас не укрылось, что мир может быть столь же страшен, сколь прекрасен, мы видели его красоту и его ужас, мы в густейшей ярмарочной толпе сумели вырваться на простор, и мы расстались с вами, на прощание пожелав друг другу того же, чего желают друг другу попутчики, расставаясь на причалах портов Индийского океана и на перронах европейских городов, когда думаешь не о разлуке, а только о счастье, которое, может быть, еще ждет впереди; мы пожелали друг другу того, чего желаем и самим себе: **доброе пути!** И всего вам доброго!

ПОКЛОН ВЕЛИКАНА

Паломничество в Южно-Китайское море

Синюю башню Бэнк оф Чайна мгновенно поглотило пламя, на миг, равный удару сердца, она, словно стрелка огненных часов, показалась в пылающем алом облаке и тотчас склонилась вниз, к морю, разломилась надвое, полыхая, упала и скрылась под водой. После здания Бэнк оф Чайна в считанные секунды вспыхнули, точно сигнальные огни, и, рассыпая тучи искр, обрушились в воды Южно-Китайского моря окутанные тропическими туманами крепостные стены Гонконгской и Шанхайской банковской корпорации. И вот уже огонь метнулся на Стэндрд Чартред Бэнк, на Сити-бэнк, на Хоупвэлл-сендер, на Ван-Чай-Тауэр и, наконец, — на мерцающий шелковистым блеском небоскреб Бэнк оф Америка. Гонконг в огне! Один за другим его символы, охваченные пламенем, сгорали и рушились в море, в залив Джосс-Хаус. Было утро двадцать третьего дня третьего месяца по китайскому календарю, жаркий день в конце апреля 1989 года. Праздник в честь повелительницы неба и богини Южно-Китайского моря Тянь Хоу.

В то утро мы с моим другом и другими паломниками завтракали на палубе джонки, ее красные люгерные паруса лениво раздвигали стлавшийся над морем дым, и пылающие силуэты высотных зданий Гонконга то появлялись, то вновь пропадали в клубящейся мгле над берегом. С небольшого расстояния было хорошо видно, как огонь перелетает с башни на башню, но оказалось невозможно разглядеть, что горевшие небоскребы на самом деле не дома, а макеты, сделанные из фанеры и шелковой бумаги, в точности воспроизводившие даже цвет и стальной блеск оригинальных зданий-гигантов, высотой до нескольких сотен метров. Бумажное двухметровое здание Бэнк оф Чайна, бумажная, не выше среднего человеческого роста, башня Бэнк оф Америка покачивались на волнах, как и все прочие башни и дворцы финансового рынка, политики и торговли, и все они полыхали, вспыхивали, сгорали — мерцающие плавучие факелы, огненная жертва, принесенная богине моря, дабы снискать ее милость.

Тянь Хоу — владычица небес у даосов. Чтобы оказать ей подобающие почести, мы в то утро оказались на борту одной из джонок в составе целой флотилии, где кроме джонок были плоты и прогулочные кораблики, и снялись с якоря в заливе Джосс-Хаус. На холме, возвышающемся в этой отдаленной бухте у берегов новых территорий к востоку от Гонконга, сверкал в лучах солнца построенный семь столетий тому назад храм морской богини, красная деревянная пагода, которая словно парила над туманными облаками и роями мух, вившихся над копченными свинными тушами, сладким печеньем, мисками с медом

и прочими жертвенными дарами, что были разложены и расставлены вдоль всего берега бухты. Под гром литавр и громохание оркестра с музыкантами в красных одеждах в воздух взлетали порхающие красные листочки, испещренные золотыми печатными знаками, они взвивались с палубы судна на подводных крыльях — деньги для мертвецов, плата живых, которые откупались от призраков умерших, чтобы те не нарушали их покой. И когда вспыхивал еще один бумажный небоскреб, над гладкой водой бухты разносились аплодисменты и крики ликования. Непрерывной чередой по мелководью на берег шли процессии, одна за другой двигались судовые команды, люди высаживались на берег из переполненных шлюпок, и все раскладывали на песке свои жертвенные дары, а потом, развернув шелковые знамена, все двинулись на вершину холма, к храму, чтобы там, в сумрачном свете святилища возжечь благовонные курения и склониться перед статуей богини.

Мы с другом пили чай с рисовым печеньем и ждали, когда дойдет очередь до нашей джонки, тем временем две поэтессы из Чунь Ваня, центрального района Гонконга, рассказывали всем сидевшим за нашим столом историю богини. Поэтессы! На знаменах и транспарантах судов, стоявших поблизости, я прочел имена крупных банков и всемирно известных торговых компаний, но здесь, на нашей джонке, находились только поэтессы и поэты, писатели, переводчики — пишущая братия, отправившаяся на экскурсию по лабиринту островов в дельте Жемчужной реки: Ламма, Ланьтао, Чэун Чао, Пэн Чао, Тун Лун, Макао...

Наше плавание было устроено по случаю завершения симпозиума, который состоялся в Гонконге, встречи европейских поэтов и писателей с поэтами двух китайских государств. Весна 1989 года была весной надежд. На пленарном заседании один пекинский поэт сообщил нам о десятитысячной демонстрации, вышедшей в те дни — после смерти Ху Яо Баня — на площадь Тянь Ань Мынь. Демонстранты скандировали лозунги и несли транспаранты, они требовали обновления Китая, отстранения от власти лидера олигархов Дэн Сяопина, свободы собраний, свободы слова, свободы мысли. Ни ударов дубинками, ни единого выстрела! — с восторгом говорил пекинский поэт. — До поздней ночи на площади Небесного Мира раздаются песни и хоровое скандирование лозунгов...

Как я сказал, то была весна надежд. То были дни празднеств в честь морской богини Тянь Хоу, покровительницы всех, кому грозит гибель...

Богиня Тянь Хоу, — мелодичным речитативом, чередуясь, рассказывали поэтессы из Чунь Ваня, — жила в X веке по западному летосчислению. В те времена она была простой рыбачкой и однажды в открытом море спасла от гибели моряков, направив терпящий бедствие корабль к безопасному берегу восточнее современного Макао.

Тянь Хоу повелела волнам отбросить белые короны и прочие символы власти, смирить свой нрав. Она прогнала туман, а мачту корабля превратила в пышно цветущее дерево. Наконец, в XIII веке, когда Тянь Хоу уже давно удалась на высоты бессмертия, монгольский Кубла-хан, владевший тогда Китаем, на торжественной церемонии провозгласил ее владычицей неба, уравнивая с нефритовым императором, всемогущим владыкой даосов.

Название Макао, — поэтессы напомнили нам об отдаленной гавани, которую мы посетили во время нашего путешествия по дельте великой Жемчужной реки и континентальному Китаю, — это название хранит в себе память об имени А Ма Гао, прозвании богини. Макао означает «Бухта А Ма», именно в ней совершилось первое из многих чудес богини. Макао — это место спасения.

Тайфун. Кораблекрушение. Богиня. Спасение. Мы сидели за бамбуковым столом на корме и смотрели, как на глазах у нас горел и исчезал в клубах дыма бумажный город, а наша джонка, целая и невредимая, качалась над безднами. Сталли непотопляемым корабль, над которым простерла свою охранительную девичью руку Тянь Хоу? Лишь бессмертная богиня могла превратить море в безопасное место, а портовый город — в горящую флотилию.

Тянь Хоу превратила и нас, нашу экскурсию — в паломничество, чайные пиалы — в стаканы с вином и виски, а мерцающую отблесками огня туманную гряду — в сверкающее чудо, и даже мой друг уже не был тем вдохновенным

туристом, с кем мы облазили все рынки возле гавани в Каулуэне, предназначенной для спасения от тайфунов, с кем в рыночных лавках и киосках покупали карандаши розового дерева, блокноты из рисовой бумаги, письменные принадлежности в шкатулках камфарного дерева, метелки из утиного пуха и литые латунные иероглифы Шу — талисманы долголетия... На Джервейс-стрит, улице продавцов змей в центре Гонконга, мы торговались о цене кобры, их здесь десятками тысяч убивают для продажи, так как мясо кобры согревает, но мы тогда купили не кобру, а компас Фэн-Шуй, с его помощью геоманты определяют пути, которыми незримый и вездесущий дракон Гонконга ползет к морю с вершины горы Тай Пин Шань, горы Великого Мира. Мы попросили аптекаря в Яо Ма Тай растолковать нам, в чем целительная сила высушенной саранчи и жареных костей тигра, истолченных в пыль жемчужин, носорожьего рога и самого чудодейственного из всех снадобий — размолотого и смешанного с утренней росой нефрита, дарующего бессмертия.

Во время наших походов по лавкам мы торговались, покупали сувениры и всевозможную дребедень, ели в крохотных закусовых кантональной кухни морские огурцы и плавник акулы и много смеялись. Но теперь, когда в тихих водах залива погибал целый бумажный город, принесенный в жертву девушке, жившей в X веке, мой друг, только что бывший лишь пассажиром и туристом, вновь стал поэтом. Это Ханс Магнус Энценсбергер, создатель Тридцати трех песен, которые он написал в тревожные годы, прожитые под знаком Карлсбургского кризиса, на Кубе и в Берлине, и озаглавил «Гибель „Титаника“».

Мы погружаемся в беззвучной тишине.

Спокойна, словно дома, в ванне,
вода в салонах ярко освещенных...

.....
Ты даже в шлюпке слышишь скрежет, скрип канатов,
и видишь: на весле повисли капли, мучительно поднышаем
из вод,
и капли падают, спеша обратно в море.
Но в миг последний — вот уже корабль
отвесной тенью, выросшей из моря,
восстал над бездной, словно памятник абсурду,
и в окнах тьма... кто на часы посмотрит? —
неслыханный ударит грохот
в стеклянность тишины.

Но в нашей джонке ничего не было слышно, кроме стука дизельного мотора, работавшего вхолостую. Машинные блоки не отрывались от своих креплений, не сокрушали, грохоча, переборки «Титаника», вертикально уходящего в бездну.

Мы не тонули.

Не тонули в то утро в заливе Джосс-Хаус. Не захлебывались — хлебали вино, поднимая бокалы на палубе джонки, над которой простерла руку бессмертная Тянь Хоу. Не наш корабль тонул — тонул весь мир: горящие небоскребы, дворцы из шелковой бумаги, твердыни бесстыдно жиреющих богатеев.

Как строго, почти торжественно стало на душе... Но даже в эту минуту мой друг Ханс Магнус Энценсбергер поднялся (и поднял меня) над строгим и торжественным настроением, рассказав двум поэтессам о том, как он открыл в трагедии стихию комического.

Какой же это язык? Японский? Древнекитайский? Может, корейский? Я забыл, о каком языке упомянул поэт, запомнил лишь метаморфозу, о которой он радостно сообщил. Он попросил одного читателя-полиглота сделать обратный перевод на немецкий названия своего цикла «Гибель „Титаника“», переведенного на — какой же? — японский? китайский? корейский язык? И волшебство интерпретации превратило «гибель» в «поклон», а «Титаника» — в «Великана», катастрофа стала «Поклоном Великана».

«Поклон Великана?» — переспросила одна из поэтесс и, в упор посмотрев на моего друга, скрестила руки на груди и поклонилась — с улыбкой, грациозно, слегка.

Перевод Галины Снежинской

КНИГИ XX ВЕКА

ЕЛЕНА ЧИЖОВА

«СТЕПНОЙ ВОЛК» РОССИЙСКИХ СТЕПЕЙ

«Степной волк» Германа Гессе — одна из тех *скучных* и *странных* книг, к которым влечет все новые поколения читателей. Более того: возвращаясь к фантастической истории Гарри Галлера, старые читательские племена находят в ней все новые изломы, как будто отвечающие их собственным. «Стакан эльзасского и ломоть хлеба — вот лучшая трапеза». Не в последней степени этот афоризм хорош потому, что обращается к безупречности *подлинного* — открывает простор для бесконечных интерпретаций и переживаний. Кастилец в «Игре в бисер» назвал бы это медитацией. Основа медитации — содержательность, не сводимая к сюжету. Такова и эта странная книга, посвященная участи человека-волка. В трех отделениях ее шкатулочной конструкции лежат свидетельства того, что сознание заумного невротика, отражаясь в магических зеркалах XX века, являет собой многофигурную композицию, заведомо чуждую целостности.

В российский культурный контекст Гессе вошел в 1970-е годы трудами блестящего переводчика Соломона Апта. Широким вниманием российской читательской аудитории — по крайней мере таково мое давнее впечатление — немецкий писатель обязан Сергею Аверинцеву. Оглядываясь назад, трудно избавиться от мысли, что для самого Аверинцева знакомство с творчеством Германа Гессе («Игра в бисер», «Паломничество в страну Востока») оказалось в свое время значительным духовным событием. Фигура Аверинцева, в сознании читателя воплощавшая идею русского богоискательства на ниве европейской культуры, придавала процессу чтения особую метафизическую осязаемость.

Герой «Степного волка», олицетворяющий собой мифологему «конца Европы», — сталдиковинкой для советского (антисоветского) читателя. Мы привыкли к существованию в целокупности своей веры (безверия), лояльности (диссидентства). Насельники советского мира считали «ненормальными» не себя, а тех, кто, в отличие от них, верующих, не верит, отрицающих — покоряется. Мир Гессе, двоящийся на «природу» и «культуру», виделся совсем в другом свете. Что касается конца Европы, тут мы, и вправду, были ни при чем. «Может, Запад и загнивает, но как хорошо пахнет!» — убеждение, на котором сходились обе стороны.

Елена Семеновна Чижова (род. в 1957 г.) — писательница, главный редактор журнала «Всемирное слово» (С.-Петербург), автор романов «Крошки Цахес» (2000) и «Лавра» (2002), публиковавшихся в «Звезде». Лауреат премий журнала «Звезда» (2000) и «Северная Пальмира» (2001), финалист премии «Русский Букер» (2003). Живет в С.-Петербурге.

Что и говорить, автор «Степного волка» не имел в виду российского интеллигента — ни дореволюционного, ни советского образца. У его героя все иное: вкусы, пристрастия, фобии. «Подполье» личности Гарри Галлера не имело ни малейшего отношения к «советскому подполью». Его болезненная раздвоенность ничем не напоминала нашего «двоемыслия». Не говоря уж о манерах и вкусах. Он был совсем другим, этот Гарри Галлер.

Европеец, скитающийся из города в город, Галлер никогда не останавливается ни в бедных, ни в богатых домах, предпочитая им интерьеры мелкобуржуазные, где на лестничных площадках растут араукарии и пахнет так вкусно, что от этой вкусноты невольно расплывается в улыбке волчья физиономия, пугая случайного свидетеля. Нашего интеллигента, коему довелось родиться в советском мелкобуржуазном доме, годам к восемнадцати начинала терзать иная двойственность: налево пойдешь, уподобишься мещанским родственникам, направо — станешь для них чужим и возненавидишь родительское гнездо. В общем, СССР — не Европа...

Апологет индивидуализма, Гарри Галлер никак не соответствовал нашим представлениям об индивидуализме. Это несоответствие легко объяснить. Индивидуализм советского и западного интеллигента поднимался на разных «дрожжах». Первый противостоит обществу, второй — *душевно* с ним связан. Его отчужденность сродни его личности. Не общество отвергает Галлера. Он сам то отступает, то приближается к людям, иными словами, как и подобает волку, рыщет, *бегает кругами*. И влечет-то его не к единомышленникам — это нас, прежних, тянуло к своим. Чуткий волчий нос вынюхивает чужих.

Со всеми оговорками, Гарри Галлер — alter ego Германа Гессе. Подлинное содержание творчества Гессе — жизнь идей, бытование духовного. Дух бьется меж двумя полюсами: инстинктом и разумом. «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам» — вряд ли Гессе заходил так далеко в своем интересе к русской литературе, тем не менее, *форма* его творческого существования напоминает *движение по кругу*. Три великих романа — это три концентрические окружности, разноудаленные от центра, которые описал (в обоих русских значениях этого слова) немецко-швейцарский писатель-гуманист. Собственно, степным волком европейской культуры Гессе стал именно потому, что сумел разглядеть в ночном тумане три замкнутых контура, очерчивающих мир европейских идей.

Романы, о которых идет речь, писались в известной последовательности: «Степной волк» (1927), «Нарцисс и Гольдмунд» (1930), «Игра в бисер» (1943). Реальность, если обратиться к подробностям биографии, разворачивалась в последовательности обратной. Родители, миссионеры и востоковеды, задали контур итоговой «Игры в бисер»: острие циркуля — европейская культура; карандаш, оставляющий след, — Восток с его культурой медитаций и идеями «Дао». Круг второй, вычерченный «Нарциссом и Гольдмундом», обозначился в 1891 году, когда Гессе, четырнадцатилетний подросток, стал слушателем теологического семинара в монастыре Маульбронн. Через полгода, отринув будущее священника, семинарист пускается в бегство. Острие циркуля — жизнь отшельника; перо, оставившее глубокий след, — мирская писательская судьба. Третий круг — тему «Степного волка» — задала литература. Юность Гессе совпала с началом XX века — временем посмертной славы Ницше и европейской (посмертной же) славы Достоевского. По прошествии трех десятилетий, когда душа Гарри Галлера будет «взвешена», именно этих «апостолов» новейшего времени Гессе положит на одну чашу весов, отчаянно пытаясь уравновесить ее другой, на которую ляжет Гете — символ европейского гуманистического наследия.

На первый взгляд может показаться, что пафос «Степного волка» — протест против буржуазного миропорядка; на рубеже XIX и XX веков этот протест разделяла едва ли не вся европейская культура. Главным борцом и властителем дум стал Ницше, выпустивший из «подполья» инстинкт и волю. Извест-

но, что молодой Гессе, подобно многим образованным европейцам, находился под обаянием ницшеанских идей. Ницше хорошо представлял себе врага: с рождения до смерти его окружала бюргерская действительность, еще не тронутая распадом. Мировопорядок, отворачивающий «сверхчеловека», глядел на него с каждого чистенького крыльца.

С точки зрения поклонника Заратустры, мир Достоевского — один из возможных выходов: герои русского писателя принципиально не буржуазны. Все они, и «хорошие» и «плохие», смотрят поверх обыденности, дышат разряженным воздухом *сверхидей*. Они раскованны и свободны. Каждый из них — не столько человек социума, сколько персонаж магического театра, открытого лишь для сумасшедших. Для «нормального человека» герои Достоевского действительно сумасшедшие, во всяком случае, раздвоенные личности. Их бытование — сродни гипнотическому сну: где, кроме сонного пространства, позволительно проговаривать вслух все без исключения промельки сознания? Новый мировопорядок, достигаемый таким путем, напоминает хаотический морок.

Еще одно существенное отличие: герои Достоевского живут не умом, но сердцем. Идеи, проникающие в сознание, захватывают душу и принимают формы фантазмагорические, с точки зрения человека культуры, то есть, собственно говоря, Гарри Галлера, который въезжает в меблированные комнаты «с двумя чемоданами и большим, набитым книгами ящиком»: этот ящик достаточно вместителен, чтобы хранить главнейшие достижения пишущего и читающего человечества. Все остальное, не поместившееся в ящик (таково уж обаяние волчьей улыбки), кажется факультативным чтением. Этому носителю (учитывая тяжесть ящика, хочется сказать *носильщика*) культуры мир Достоевского должен был показаться варварским. Собственно, таковым он и казался, но было в этом варварском мире нечто, обладавшее в глазах рафинированного европейца неодолимой притягательностью.

Вот почему, начиная бег по кругу, где Ницше — острое циркуля, а Достоевский — его широчайший радиус, Гессе не отвращается варварством, но, напротив, впадает в соблазн — в этот, если можно так выразиться, исконный грех русской интеллигенции. Стремясь к «идейному» метафизическому пространству, русский интеллигент с готовностью жертвовал «простой» обыденной жизнью. Гессе же, описав круг, возвратился под сень буржуазной араукарии, но стал, однако, другим. Из глубоко пережитого им увлечения Достоевским, которого Гессе считал провозвестником азиатских идей, родился образ «степного волка».

«Взгляд в хаос» — размышления о русском писателе, изданные в 1920 году, — метафизическое путешествие по России, предпринятое Гессе в ту пору. Внимательный и увлеченный читатель произведений Достоевского, Гессе соотнес европейский кризис «эпохи войн и революций» с русским «достоевским» хаосом. Его Гессе называет не иначе как «царство Карамазовых». Мир, окружающий писателя, проникнут хаосом, грозящим гибелью западной («фаустовской») культуре. Этому катастрофическому предчувствию Освальд Шпенглер дал лаконичную формулу: «Закат Европы».

Интерес Гессе к «пророчествам» Достоевского постепенно ослабевает, но что-то, проникшее в душу писателя, остается в ней навсегда. Антиномии, пронзившие Западную Европу после Первой мировой войны — «культура—одичание», «порядок—хаос», «разум—инстинкт», определили «вечную раздвоенность» Гессе, а значит, и суть его произведений. Однако русские мифологемы, открывшиеся Европе гением Достоевского, пустили более глубокие корни, чем кажется на первый взгляд. Собственно, мир Достоевского, в котором каждая фигура — доминанта на местности, и есть та самая русская степь, по которой бегают европейский «волк». Кроме как из этого российского пространства «степному волку» взяться-то и неоткуда: в западноевропейском мире, в котором живет Гарри Галлер, нет никаких степей.

Собственно, Гессе ведет речь о том, как человек «фаустовского склада»,

воспитанный на европейских идеях просвещения, переживает личный слом. Учитывая единство места и времени, этот слом можно толковать как следствие мировой войны, потрясшей европейские гуманистические основы. Однако сам Гессе этим толкованием не ограничивается. Гарри Галлер, европейский интеллигент первой трети XX столетия, с точки зрения Гессе, отмечен «достоевским хаосом». Именно этот хаос, рвущийся из «подполья» личности на верхние уровни сознания, Гессе отказывается считать «вывертами какого-то одиночки», а называет «болезнью самой эпохи, неврозом того поколения, к которому принадлежит Гарри Галлер». По Гессе, этим неврозом охвачены не слабые и неполноценные индивиды, а сильные, наиболее умные и одаренные.

Погружаясь в детали заболевания, читатель слышит провидческие ноты. Записки Гарри Галлера — своеобразная история болезни европейского XX века — фиксируют «то бодрящее, то мужественное сощещение в ад помраченной души». В отличие от большинства реальных душ, живших и умиривших в ушедшем веке, литературный герой Гессе предпринимает это путешествие по собственному выбору и с твердым намерением помериться силами с хаосом и подпольем.

Размышляя о судьбах своего поколения, Гессе исполнен сочувствия. Не снимая ответственности с европейского интеллигента, чья душа преломляется в зеркалах потаенных желаний, он не умалчивает о том, что человек рубежа столетий «оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни, утрачивая всякую защиту и непорочность». Два «уклада», о которых говорит Гессе, — это традиционная европейская «упорядоченность» и «хаос» души, который неудержимо проникает в Европу — из российских волчьих «степей».

Не Гессе «придумывает» себе хаос, пользуясь русскими рецептами Достоевского, а, кажется, сама европейская душа, застигнутая врасплох, словно бы открывает свой потаенный болезненный сегмент, не осознав которого, она не в состоянии встретить во всеоружии грядущие времена. Рационально-прагматическое сознание «фаустианца» потеряло способность переживать религиозные мистерии, однако душа, оказавшаяся между молотом прошлого и накопительной будущей, ощущает сомнительность отдельной человеческой жизни, и не находит силы, на которую можно опереться. В поисках потерянной непорочности она, как во ад, сходит в «русское подполье».

«Фаустовская» двойственность — апофеоз сложности человека XVII—XIX века — в новых исторических условиях кажется лишь первым приближением к истине.

Герман Гессе — Германия и Россия. Трудно не расслышать созвучия. В русской сказке, глотнув воды из копытца, Иванушка превращается в козленка. Степной волк, пробежавший по российским просторам, ударяется о европейскую землю и обращается в Гарри Галлера, человека-волка. Снова Европа и Россия глядятся друг в друга как в зеркала. Этот перекрестный взгляд чужд этнографического любопытства. Смысл его заключается в следующем: чтобы обнаружить в себе человека, Россия должна была взглянуть в Европу. Европа, обращаясь к России, обнаруживала в себе волка. Без этих перекрестных взглядов Россия не могла приблизиться к Европе, Европа — не взглядевшись в Россию, не могла осознать всей трагической противоречивости своей интеллигентской души.

Гарри Галлер, человек-европеец, далеко зашедший в своей рефлексии, не способен общаться с Богом напрямую. Фальшивая бюргерская «религиозность» отравляет саму мысль об этом общении. Однако этот потомок просветителей, не желающих до конца поверить в господство зла, готов вступить в диалог с чертом, чтобы обойти все потаенные уголки своей души. Он, потомок просветителей, не желающих до конца поверить в мировое зло, обращается к той силе, «что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Отличие от своего предшественника, являвшегося Фаусту, черт XX века не демонстрирует своему «клиенту» трагедию всемирной истории. Новый черт,

не понаслышке знающий о рефлексии, способен уловить мировую трагедию в страданиях отдельной человеческой души. На том экране, на котором Фауст видит мифологическую историю человечества, Гарри Галлеру демонстрируют его личную историю.

В отличие от Мефистофеля, являющегося в одеждах странствующего студента, новый Соблазнитель приходит как бы понарошку, в фантазии, от которой, очнувшись, можно решительно отказаться. Ну действительно, что может быть нелепее, чем — хотя бы и во сне — наделять дьявольскими чертами юного саксофониста Пабло, «обладателя черных глаз и грустных кистей рук»? Однако именно Пабло, самозабвенно игравший *шимми* на потребу невзыскательной публике, оказывается всеильным распорядителем магического театра — этого странного подobia второй части «Фауста», — в зеркалах которого блуждает и познает себя душа Гарри Галлера. «Камасутра. Обучение индийскому искусству любви», «Наслаждение от самоубийства», «Хотите превратиться в дух?», «Все девушки твои» — в этом театре, в котором платой за вход выступают культурность и разум, все надписи на дверях отдают газетной пошлостью, но одновременно воплощают в себе подлинные соблазны подполья.

«Абсолютное знание», к которому стремится фаустовская душа, зиждется на вере в абсолютного Бога. «Абсолютное понимание», влекущее Гарри Галлера, требует присутствия «бессмертных», «смеющихся звонким, неистовым, неземным смехом, каким заливался Моцарт». Соприкосновение с «бессмертным» Моцартом, соединяющим в себе божественные и дьявольские черты (чего стоит простонародный говорок, заставляющий вспомнить о черте — собеседнике Адриана Левекурюна), пресекает человеческое дыхание и лишает чувств. И все-таки именно «бессмертный», образ которого тоже двоятся, становясь то Моцартом, то Пабло, дает высшее оправдание многогранности человеческой природы, в которой находится место и «хорошему», и «плохому», и «верху», и «низу», и «высокому», и «низкому». Только обладая этим знанием, можно надеяться достойно выйти из подполья. Именно этот процесс Герман Гессе называет «прохождением через ад своего нутра».

Прежде чем обрести мировую славу, Герман Гессе был — во всяком случае, так принято думать — писателем *традиционным*. В этом легко убедиться, обратившись к его раннему творчеству: «Петер Каменцинд», «Под колесами», «Демиян». При всех несомненных достоинствах этих произведений они вряд ли выводят писателя Гессе за рамки тривиальной литературы. В то же время, воспользовавшись сомнительным преимуществом потомков, позволяющим читать произведения писателя в произвольном (например, в обратном) порядке, можно начать с великих романов, оставив раннее творчество «на потом». Тогда, добравшись наконец до истоков, читатель переживает странное чувство. У него создается впечатление, что в течение всей своей жизни автор «бежит» кругами, точнее говоря, по крайней мере дважды «пробежит» каждым из трех кругов. Начинающий писатель предугадывает темы будущих открытий — апробирует условия своего грядущего величия. Именно этот факт заставляет пересмотреть поспешные суждения: никогда, даже в первые годы творчества, Гессе не был писателем традиционным или узконациональным. На арену мирового признания он ступил прямо с *европейских* подмостков. Интерес к Востоку, ужас надвигающегося хаоса, бездуховная враждебность бюргерского мира, пути самоопределения личности — с самого начала Гессе вобрал в себя весь этот джентльменский набор европейской культуры начала века.

В духовном смысле Европа — накануне 1914 года — была, как никогда, единой. В поисках новой духовности, казалось, размывались национальные границы. В 1933 году, вспоминая о том времени, Фейхтвангер пишет о пробывавшейся наружу общеевропейской идее, связанной с темами «Азия и Европа», «Будда и Ницше», «действие и бездействие». От исканий такого рода русская мысль тоже не оставалась в стороне. Это время можно было бы назвать периодом духовного сотрудничества Европы и России, если бы не тот факт, что парт-

нерство оказалось неравным. Для Европы Россия, как уже сказано, стала воплощением Азии, в то время как русская интеллигенция в очередной раз пыталась осознать свою принадлежность к Европе. Иными словами, проблемой европейской культуры стало соотнесение себя с Азией; проблема «Европа и Россия» осталась исключительно российской.

Тогда же, в начале века, наметилось еще одно, не менее важное, различие: русские писатели (традиционно играющие роль и мыслителей, и философов) фатально двинулись в направлении социально-нравственного переустройства мира, тогда как их европейские коллеги не могли отказаться от культурно-исторических вех. Позже многие из них свернули с этой дороги, одурманенные «достижениями» первого в мире государства рабочих и крестьян. Герман Гессе, хотя и взглядылся порой в течение Великого эксперимента, остался верен избранному пути.

Германия и Россия — главные соперники по XX веку, по сравнению с Гессе, существенно упростили задачу. Не сумев гармонически соотнести Ницше и Достоевского, каждая из них выбрала вульгарную версию своего национального писателя: Германия поставила на «сверхчеловека», Россия (по слову Достоевского) впустила в себя «бесовский легион». «Русская свинья», расхожее немецкое ругательство времен Второй мировой войны, в этом контексте приобрело неожиданное подобие смысла: в свиней, свое последнее убежище, устремлялись евангельские бесы, вынесенные Достоевским в эпиграф романа.

Гессе, европейский степной волк, пребывал в духовном уединении. Осмысляя судьбы ойкумены, он описывал человеко-волчьи круги. В тишине швейцарской Касталии Гессе-человек взглядылся в европейский хаос, время от времени ощеривая волчью пасть. Европа, начинавшая XX век в предчувствии конца, пережила — между 1933 и 1945 годами — свой Апокалипсис. Время Советского Союза, одержавшего сокрушительную победу, начало обратный отсчет. Медленно, но верно в нем нарождалась революционная ситуация, когда низы не хотели жить, а верхи не могли управлять по-старому. Русская интеллигенция, самый революционный класс, которому — воспользуемся выражением немецкого Карла Маркса — нечего терять, кроме своих цепей, теряла последние надежды. «Личный» гессевский путь вовнутрь — *Weg nach Innen* — такой далекий от российских дорог, представлялся все более близким. *Степной волк*, заговоривший по-русски, показался на краю степи. Страстный интерес, с которым русская интеллигенция вчитывалась в европейские книги, возвращал русскую культуру на ее главный, магистральный путь. Сходя постепенно с «волчьего» круга, Россия вновь соотносила себя с Европой.

Есть писатели, без которых не полна русская культура. Герман Гессе из их числа. Он, когда-то обретший благодаря России свои «волчьи» степи, пришел сюда так, как вернулся в мир Иозеф Кнехт — ради последователей и учеников. Нам, прозябавшим в своей Касталии, Гессе рассказал обо всем, что необходимо знать европейцу. Преподал уроки, которые мы пропустили.

Эти уроки трудно назвать простыми. Есть в них и то, что и теперь нелегко осознать. Каждый интеллигент — степной волк. Мещанство — защита от хаоса. Интеллигент как особь выживает лишь там, где есть мещанство — овечье стадо, вокруг которого он рыщет. Там, где овец нет, человеко-волк становится просто волком. Вот достойная тема для мастер-класса: интеллигенты как пастыри овечьего стада. Гарри Галлер — интеллигент. Пастырь-волк — степной простор для размышлений.

В те годы, к которым я, обдумывая эти строки, возвращаюсь мысленно, одним из самых расхожих было представление о том, что общество, свободное от политического гнета, делает выбор в пользу культуры. Этот выбор казался единственно разумным. Десятилетие, завершившее век, одарило нас новым опытом. Оказалось, что общество, предоставленное само себе, становится враждебным культуре. Абсолютное большинство политически свободных людей выбирает культурный суррогат. Интеллигенция, отвечая на вызов време-

ни, учится изготавливать поделки, похожие на салонный портрет Гете: обывательский образ, украшающий гостиную. Фильм «Идиот», успешный проект российского телевидения, пример из этого ряда. Метафизический хаос Достоевского, пережитый и осмысленный Германом Гессе, превращается в запутанный, но вполне житейский сюжет, позволяющий любителям сериалов почувствовать себя приобщенными к культуре.

С культурной точки зрения современное российское общество делает очередную *загогулину*. Словно стыдясь своего не пройденного европейского прошлого, оно пытается приобщиться к американскому будущему, бьющему чикагскую чечетку на московских подмостках.

Для человека европейского сознания творческий дар, не имеющий житейских примесей, кажется невыносимым. Еще невыносимее обнаружить себя на кладбище культуры, где лишь жестяные ржавеющие доски сохраняют великие имена: Иисус Христос и Гете, Моцарт и Гайдн, Ницше и Достоевский. Пошляки, обступившие могилы, обмениваются понимающими ухмылками, при виде которых хочется оскалить пасть. В этом противоречии — судьба европейского интеллигента, требующая многолетней выдержки и стойкости. Иными словами, судьба Германа Гессе.

ИЗ ГОРОДА ЭНН

ОМРИ РОНЕН

«ЭТО»

Вокруг неоконченной грамы Бориса Пастернака «Этот свет»

Склонность к самообвинению — свойство совестливых людей, объяснять ли ее робостью «морали рабов» или простодушием «не умеющего спросить». Даже в повседневной жизни незлой человек не верит, что враждебное отношение к нему может быть вызвано причинами, не зависящими от его личных качеств. Он думает, что ненароком провинился и чем-то задел своего обидчика. Этот соблазн винить самого себя и трогателен, и противен, от него рукой подать до убеждения, что всякий во всем виноват перед всеми или что нет в мире виноватых. Совесть — дурной советчик, она побуждает забывать о чести, об истине и о справедливости.

В области племенного сознания самообвинение — оборотная сторона самовозвеличения — и не менее вредно. Крайности сходятся: отталкивающие формы самообвинения у всех на виду в либеральной журналистике наших дней. Существуют языки, в которых нет разных слов для правды и истины, а всякое широко распространенное ложное или неприемлемое мнение именуется мифом.

Один мало известный русский трактат о правде говорит так:

«Чем отличается правда от истины?»

Истина — полагает, а правда — относится.

Истина — положение; правда есть жест; и — без всякого положения в мире...»

Это значит, что истину нужно высказывать, полагая за верное, а на правду достаточно указать пальцем.

Некоторые явления, когда на них указывают и говорят «вот — это», так испепеляют зрителя, что неподготовленный к ним боязливый разум отворачивается или отрицает их существование, а более смелый смотрит на них, как на голову Медузы, с помощью зеркального щита. Иные создают теневые портреты страшной правды. Мертвецов недаром называют тенями. «Быть может, весь Шекспир лишь только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет», но сам Пастернак замечал теневой коллизией ужас казни в медном быке, чтобы не касаться «этого». Мне кажется полным ослепительного смысла то случайное биографическое обстоятельство, что автор «Сестры моей жизни» и внебрачный сын Льва Шестова были соперниками в любви.

Полвека длится спор о правде и лжи «Доктора Живаго». Специфической стороне этой полемики Д. Сегал посвятил в 1977 году исследование «Pro domo sua». Высказанные им мысли подтверждаются опубликованными с тех пор высказываниями Пастернака, без обиняков определившего задачу и личный смысл своего романа в письме к Ольге Фрейденберг: «Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской им-

перии какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности».

Это написано в октябре 1946 года.

Пастернак считал, что если бы евреи приняли христианство, то не было бы ни наций, ни юдофобии, и что весь мир, «этот свет», будто не состоит уже из народов, а одни лишь евреи хотят быть народом, чтобы «второразрядные силы» «наживались на жалости» к ним. Не стану приводить целиком известный монолог Гордона, еврейского персонажа, которому, как признался Пастернак Эмме Герштейн, в раннем варианте «Доктора Живаго» отводилась роль главного героя. Вот лишь несколько характерных мест: «...мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи... В чьих выгодах это добровольное мученичество..! <...> Отчего властители дум этого народа ...не распустили... этого, не известно за что борющегося и за что избиваемого отряда?.. Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане земли. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».

«Самые худшие и слабые». Это памятное суждение дарвиниста фон Корена из чеховской «Дуэли» в ответ на слова дьякона о том, что сильные распяли Христа: «В том то и дело, что распяли его не сильные, а слабые». Но какая робость и самообман, какое презрение к древней святыне и к имени, которое дал Иакову и его потомкам Некто, боровшийся с ним до зари, какой призыв к сдаче на сомнительную милость «всех» у Пастернака — певца творческой силы. Какое странное, чтобы не сказать филистерское, понятие о силе у художника, полагавшего, будто Ницше потрясал мировые устои оттого, что потерпел неудачу как музыкант, в то время как Вагнер — «олицетворенное творчество, полное бытия и победы, чей каждый след остается явным и осязательным, продолжает жить» («Что такое человек?», 1957).

Сила всегда была главной темой Пастернака — «артиста в силе». «Из этой темы, — писал он, — и рождается искусство». Из «силового луча», а не из солнечной правды, на которую можно указать пальцем. Об этой силе свидетельствует «Охранная грамота»: «В сравненьи с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, которая еще требует проверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающей очевидность света».

Историческая правда о борьбе христианства с «иудео-христианством», заклеянным как ересь еще в первые века, по-видимому, не существовала в теневой концепции Пастернака, как и преследование крещеных евреев при инквизиции и при национал-социализме. Идеиная борьба с еврейским элементом в христианстве достигла апогея, когда Чемберлен и Юнг вслед за Вагнером провозгласили арийского Христа. Тем более давали себя знать в духовном мире Пастернака «счета с еврейством», которому писатель не мог простить, в первую очередь, своей родовой принадлежности к нему. «Мне, с моим местом рождения, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влечениями не следовало рождаться евреем, — писал он Горькому в 1928 году. — Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языке я сам, с роковой преднамеренностью урезаю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем. Разве почти до неподвижности доведенная сдержанность моя среди общества, живущего в революцию, не внушена тем же фактом? ...не бывает случая, когда бы моя свобода в теперешнем окруженьи не казалась мне (мне самому, а не «кн. Марье Алексеевне(sik! — О. Р.)») неудобной, потому что все пристрастья и предубежденья русского свойственны и мне. Веянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалуясь на вынужденные пути, которые постоянно накладываю на себя я сам, по «добррой», но зато и проклятой же воле!»

Пастернак здесь ретуширует всё, что знаем мы о его юности, о расизме в среде «Мусагета», о взглядах Метнеров и Дурылина, о «диалекте аптек и больниц», то есть евреев-фармацевтов, которым ему «глаза колол» Юлиан Анисимов, и об их несостоявшейся дуэли на этой почве. В письме Горькому он винит себя не столько

в несвободе инородца по отношению к русскому языку, сколько в том, что евреи после революции стали, по его мнению, свободнее других.

Ситуация изменилась через двадцать лет. В августе 1949 года, в дни гонений на космополитов, уже отождествленных с еврейской интеллигенцией, он отмежевался от евреев по противоположной причине: «Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, какое я, действительно, притязательное ничтожество, если кончаю узкой, негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных? О, ведь если так, то тогда лучше ничего не надо...»

Вернее всего передают отношение Пастернака к еврейству слова из необыкновенной русскоязычной пьесы, написанной поэтом, полиглотом и патриотом, пожертвовавшим литературой ради борьбы за национальное освобождение: «...он в нашем стане ознакомился только с нашей прозой, в их стане — только с поэзией. И мы стали ему противны до тошноты, и сознание родства с нами стало для него, как ядро на ноге, и хуже — как уродливый горб, от которого нельзя отвязаться...». Биографы говорят о «грязи стадности, племенной и социальной», «мешающей истории человечества стать историей свободной, никого не угнетающей личности», которая отталкивала Пастернака от еврейства. Это представляется мне натяжкой. Он ведь не находил ничего мешающего истории человечества как свободной личности в принадлежности к русским или немцам. Более того, стыдясь еврейских страданий и говоря о них с брезгливостью, Пастернак зато всегда наделял ореолом высокой жертвенности и трагического героизма женщину (здесь он оспаривает Вейнингера, своего учителя в других отношениях) и немцев, русских немцев в особенности. О невропатологической подоплеке этого «перенесения» не стоит говорить.

Существует незавершенная драма Пастернака, кое-что объясняющая в системе нравственных ценностей, которая побудила его к сведению счетов с еврейством в то время, когда война Гитлера против евреев только что кончилась, а война Сталина против них начиналась. Называется она «Этот свет» и была написана вслед за пьесой Леонова «Нашествие», о которой Пастернак отзывался восторженно — за исключением ее «казенного конца».

Сюжет «Нашествия» представлял собой перелицовку не раз ставившейся в СССР пьесы Шоу «Ученик дьявола». Отсидевший в тюрьме за убийство из ревности молодой эгоист возвращается в родной город перед приходом немцев и, хотя даже собственная семья не доверяет ему, героически гибнет на виселице, заменив собою командира партизан, которого разыскивали оккупанты. Самое интересное в пьесе, как отметил Пастернак, это часы промежутка, когда Красная Армия уже оставила город, а немцы еще не пришли.

Пастернак тоже инсценирует такой период свободной самодеятельности как пример того, чем могла быть русская среда, если бы не мертвящая власть «общих мест», советских и гитлеровских (Ванька разглядывает немецкую листовку: «Антисоветские выражения. Комиссары и потом это самое «бей». И еще четыре раза жиды. А вообще мысли понятные»). Персонажи сохранившихся отрывков — Дудоров и Гордон, но героиней на манер Зои Космодемьянской должна была стать девушка по имени Груня Фридрих, выдающая себя за русскую крестьянку, предкам которой помещик дал такую фамилию, а на самом деле, очевидно, русская немка. Пьеса обрывается на том, что она приводит к добровольцам-партизанам немецкого пленного — и «бросается на шею» Дудорову, когда тот разрешает ей немца приютить. Психологически симптоматично, что Пастернак дал своей героине фамилию Хедвиги Фридрих, финансировавшей до 1914 года издательство «Мусагет» при условии его арийской ориентации, в конце концов, вынудившей Пастернака покинуть этот круг.

Но надо отдать должное пророческой интуиции Пастернака. Когда Горбачев пришел к власти, мне позвонил мой приятель, киевлянин, служивший в юности в казачьем корпусе генерала фон Паннвица. «Ожидай больших перемен, — сказал он. — Этот человек мальчиком был при оккупации». Мой приятель оказался прав.

Страдания, выпавшие на долю русских евреев и русских немцев, разумеется, несоизмеримы. Друг Пастернака Г. Г. Нейгауз был арестован на год, но детей его

не бросали в ров. Однако ничего фальшивого не было бы и в сюжете вокруг русской немки-мученицы и симпатичного военнопленного, если бы не то, что Пастернак, судя по воспоминаниям Тамары Ивановой, считал всю ведущую войну нацию «как всегда, в целом, неповинной и воюющей против своей воли, вынужденной к тому власть имущими». Здесь я вижу намеренную слепоту поэта перед лицом «этого», перед устрашающим обликом исторической правды. Народ совершал зверства своими руками. Тем более выделяются на фоне падшей нации такие одинокие праведники, как Рек-Маллецевен или прототипы романа «Каждый умирает в одиночку».

Слепота Пастернака была художественной разновидностью еврейского самообвинения. Среди так называемых политических философов мы видим другой вариант — например, в трудах Ханны Арендт, немецкой еврейки и, пожалуй, немки в первую очередь. Здесь самообвинение основано не на эстетических или христианско-толстовских предпосылках, а на социально-политических. Не веря, чтобы такие кары обрушились на целое племя без причин (и игнорируя многовековую ненависть новых вероучений и народов-экспроприаторов к историческому создателю и владельцу присвоенного ими религиозного и иного предания), Ханна Арендт отвергала «соблазн такого объяснения антисемитизма, который автоматически снял бы с жертвы ответственность». Сама она видела еврейскую «ответственность» в том, что евреи в течение веков закрытой группой работали на государство, создавая необходимый для государей кредит, и поэтому пользовались их защитой, а от народа были отторгнуты. В новое время, при демократии, правительство перестало нуждаться в них, и они были брошены на произвол политических настроений. Арендт, имевшая несчастье быть влюбленной в своего учителя Хайдеггера, заслуживает жалости, как все те немецкие евреи, которые, не будучи в силах взглянуть «этому» в лицо, пытались переложить общую вину немецкого народа и его духовных вождей на плечи «тоталитарного режима», а отчасти и самих жертв.

Насколько благороднее темной логики Ханны Арендт та простодушная готовность взять на себя вину и умереть за других, о которой оставил нам свидетельство Вс. Иванов в своем ташкентском дневнике 1942 года: «Маникюрша, еврейка, у которой двое детей, сказала в воскресенье Тамаре: «Евреев всех надо перерезать. И меня. И моих детей. Если бы не евреи, войны бы не было». Чисто еврейское самопожертвование. Бедная! Она уже поверила, что война из-за евреев!»

В самом деле, доверчивая склонность к чужой правде и к самообвинению — вот, кажется, главная душевная черта европейского ашкеназийского еврейства. Сефарды, на свое счастье, лишены ее.

Доверчивости должен быть предел, это единственное, чему положительно учит история.

В 2005 году состоится очередной съезд «средне- и восточноевропейских исследований» (бывших *Soviet and East European Studies*). Он будет в Берлине, и я бы участвовал в нем, если бы не объявленная заранее его главная тема-лозунг: «Европа — наш общий дом». Местоимения, в том числе притяжательные, как известно, суть «шифтеры», смысл которых зависит от обстоятельств высказывания. Формулировка вообще невежливая, поскольку на съезд приедут и жители других континентов, от американцев до японцев. Она в особенности иронически звучит для лиц моей национальности. Я родился и вырос в Европе, но назвать ее своим домом, а тем более «нашим домом», у меня не повернется язык. Мир этому дому — но он чужой дом. У меня свой, которым я не пожертвую ни для чьего блага. Признание того, что у всякого своя правда, вовсе не должно иметь своим логическим и нравственным следствием, что правда относительное понятие или что ради чужой правды надо поступиться своей правдой и жизнью. В одном замечательном романе жестокая обездоленная сестра хочет лишиться наследственного дома и сжить со свету медленным ядом добрую и счастливую. Хотя расчет был точен, «еще точнее была случайность, подстерегающая ум наш, как кошка у входа, за которую, торопясь, запнулась уверенно шагающая нога». Затея терпит крушение, и злая гибнет от собственной руки. Сестра говорит о ней, прочтя письмо невольной самоубийцы: «Умереть она не хотела; я это поняла. Но здесь написана правда. Чужая правда. Я не виновата в том, что она чувствовала невиноватой — себя. Я к чужой правде не склонна и платить за нее не хочу. Моя правда — другая. Вот и всё».

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

Михаэль Вик. Закат Кенигсберга. Свидетельство немецкого еврея. С предисловием Зигфрида Ленца \ Перевод с немецкого Ю. А. Волкова под редакцией Ренаты фон Майдель и Михаила Безродного. — СПб.: Гиперион; Потсдам: Немецкий форум восточноевропейской культуры, 2004.

А я и не знал про этот научный факт, непреложно установленный пытливым умом человечества: что если бросать лягушек в горячую воду — они мгновенно выпрыгивают из нее (то есть имеют шанс на спасение; впрочем, все зависит от диаметра котла), но если воду нагревать постепенно — лягушки гибнут все, притом агония настолько мучительна, что представляет для естествоиспытателя, надо полагать, огромный интерес.

Возможно, и вы не знали этого. Зато Гитлер знал. Гестаповские аналитики были в курсе передовых достижений.

Избранный ими путь к реальному и конкретному окончательному решению известного вопроса может показаться искусственно затянутым, излишне окольным, абсурдно дробным: тысяча мельчайших шажков как бы несколько вкось, как бы под углом к ясной цели. Вместо того чтобы всех сразу собрать да сжечь, развели, понимаешь, на несколько лет правовое государство: закон о том, закон о сем, аккуратно заштриховывая клеточку за клеточкой.

Про штампы в паспортах. Про смешанные браки. Про крупное имущество евреев. Про мелкое. Про жилье. На все — закон, все исключительно по закону, и пока не войдет в силу следующий закон, — что не запрещено предыдущим, то как бы и разрешено. Преподавать нельзя, но учиться — что ж, продолжайте. Хотя посещать библиотеки тоже нельзя. И читать в общественных местах. И держать книжки дома. Впрочем, к моменту этого запрета обучение тоже вне правового поля.

Темп стремительный, но последовательность законодательных инициатив

нарочито загадочна. Не как полет, например, стрелы. Государство без конца отвлекается на мелочи: под влиянием праведного гнева и поддаваясь естественному отвращению. Не забыть принять закон, чтобы евреи не курили сигар. И сигарет! Чтобы не курили на улицах! Чтобы не курили вообще, под страхом смерти! И не ходили по тротуарам! И не сидели на садовых скамейках! И не держали домашних животных! И не ели мороженого! И чтобы в булочных им не продавали ни выпечки, ни сдобы!

Еще на градус, еще — вот уже и кипяток: единственное право еврея — оно же и обязанность — носить на одежде желтую звезду; каждый, кто выкажет сочувствие человеку с желтой звездой, подлежит наказанию; теперь (только теперь!) отменяем эмиграцию и включаем на полную мощность газовые печи.

Именно такую скорость, что бы ни говорили максималисты, следует признать оптимальной. При ней главные психологические процессы идут как надо.

Во-первых, в дурацком положении оказывается заграница. Западным корреспондентам никто не верит: запрет на сдобу — ведь это бред. Книжки — это, конечно, посерьезней, но нельзя же, согласитесь, по таким поводам вмешиваться в чужие внутренние дела. Что же до газовых печей — то кто же их видел? кто наблюдал в действии? кто испытал его на себе и представил засвидетельствованный отчет?

Во-вторых, местное население тоже в одночасье не оскотинить: есть образованные, есть верующие, вообще у многих поначалу представления о порядочности как-то не совмещаются с истреблением людей за здорово живешь. Поэтому необходимо еврея помаленьку девальвировать, чтобы в конце концов никто уже не принимал его за человека. Одной пропагандой этого не добьешься, искреннюю злобу всем поголовно не привить, а вот легкое удовлетворение —

скорее даже облегчение — от того, что ты-то, слава Богу, полноценный, тебя не тронут, с тобой и с твоими детьми ничего такого не сделают, — это да. Плюс правосознание: с кем ты? — спрашивает государство. — Со мной или с моими врагами? Плюс коллективизм: народ и партия едины, а ты, что ли, отщепенец безродный? Плюс шкурный вопрос.

Наконец — тоже не самое немало-важное: такая стратегия полностью дезориентирует жертв. А если бы объявили с ходу, скажем, год открытых убийств: с 1, допустим, января по 31 декабря все евреи от мала до велика должны быть уничтожены, — уверяю вас, они оказали бы сопротивление. Армия, полиция, гестапо, народные дружины понесли бы огромные потери. Чего доброго, прочие граждане выступили бы на помощь государству не поголовно, и кончиться могло черт знает чем.

А так... Вы только вообразите себе кенигсбергского мальчика 1928, например, г. р., из интеллигентной еврейской семьи (папа у него, кстати, ариец), воспитанного на Шиллере, Бетховене, и все такое. Влюбленного в немецкую природу (сосны и дюны на Куршской косе), в родной, старинный, сказочно прекрасный город. Как вы думаете: возненавидит он свою страну, свою Германию за то, что она лишила его выпечки и сдобы, или за то, что отобрала у старого учителя канарейку? не позволяя кататься на велосипеде, играть на скрипке? или даже за то, что велела тете Фанни явиться на вокзал с вещами и увезла неизвестно куда?

Не возненавидит. Даже не разлюбит. В том-то и дело. Родина, блин. Ее отнимают, а шарик летит. В этом ужас положения. Анне Франк, ровеснице, в Голландии — нет, разумеется, не легче, но все-таки проще: ее ищут враги, она прячется от врагов. Она знает, что она для них — не человек, и поэтому тоже отчасти сомневается — люди ли они. У Михаэля Вика таких сомнений нет. Анна не умеет ненавидеть, он — не может. И не хочет.

Это в самом деле поразительная, как называется ее Зигфрид Ленц, книга.

Описывает опыт невыносимый — буквально: которого не вынес практически больше никто. Выжить евреем в нацистской Германии, немцем — в оккупированном советскими Кенигсберге; уцелеть самому, спасти родителей среди неотвратимых опасностей, неслыханных жестокостей, — история этого мальчика затмевает всю мировую приключенческую литературу, от Дефо до Майн Рида.

(Ее следовало бы изучать в школах, — да педагоги не допустят: что выделявали, например, с немками освободители Восточной Пруссии, — ученикам ни к чему.)

Но Михаэль Вик не просто разгружает измученную память. А также не плачется. Не поучает. Не обвиняет. Никого (кроме разве теоретиков расового отбора) не презирает. Не оправдывая, понимает мотивы всех увиденных злодеяний.

Так, вообще-то, обращаются визионеры с опытом мистическим: Михаэлю Вика было дано заглянуть на ту сторону человеческой так называемой реальности. Чистого подростка с душой и талантом словно кто-то выбрал из всех, чтобы именно он своими глазами убедился, как подл и жесток может быть человек — вообще человек, любой из нас, — где предел, до которого мы способны упасть, если нас поставит в такие-то и такие-то условия и обстоятельства.

Подросток запомнил. И с тех пор все как будто болен: так называемая реальность дрожит в его глазах, как разогретый воздух.

Когда-то, в особенно страшную минуту, он дал себе обет: что если все-таки спасется, то в течение всей дальнейшей жизни, какова бы она ни была, до самого конца, будет всегда благодарен, и счастлив, и всем доволен. Счастлив впоследствии бывал. Благодарен — тоже. Третью часть обета исполнить не удалось. «Наверное, никогда мне не избавиться от волнения и сердцебиения, лишь заходит речь о «евреях»...»

Если бы вы только знали, какая глубокая эта книга! Простодушная, бесконечно печальная. В некотором смысле — единственная на свете, а именно вот в каком: брезгует ненавистью, простоне в силах опуститься до нее.

Вы скажете: как — единственная? перебрал, верхогляд! Были же Иисус, Франциск, Спиноза. Это, точно, с моей стороны перебор. На месте Михаэля Вика все перечисленные, несомненно, держались бы не хуже, а Спиноза и писал — не сравнить. Но Вика достался материал другого качества.

И все равно страшно редкая, согласитесь, эта черта — неспособность к умственной куриной слепоте, отождествляющей зло с его функционерами. Если так посмотреть, сюжет Михаэля Вика — метафизический: ненависть искажала его всеми своими средствами; но слышавой паучихе, в какой бы флаг ни завернулась, интеллигентного мальчика из Кенигсберга не соблазнить, не разлить.

Вот только Кенигсберга не существует, и вообще утешение остается одно:

«Наблюдая за умирающими, я убеждался, что все они воспринимали смерть как избавление от страданий. Поэтому смерть для меня позитивная реальность — объятья, распахнутые каждому в конце его пути... Людям следовало бы научиться видеть в ней величайшее утешение, финал, гарантирующий мир и покой».

Кенигсберга не существует. «Окончила в Калининграде по специальности акушер-гинеколог», — в эту самую минуту произносит сопрано по радио. (Включенному ради подробностей сегодняшнего убийства: человек писал против нацистов, его застрелили, кто следующий?) Пораженный совпадением, прислушиваюсь — что бы вы думали: эта, значит, из Калининграда повивальная бабка рекламирует свой опус про секс. Ну и отлично, переключаюсь опять на рецензию, — не тут-то было. С разбором отдавайте, девушки, честь, — вещает сопрано, — с разбором: чтобы впоследствии не огорчить супруга-славянина *пестрыми детьми!* Что характерно — ее не прогоняют от микрофона пинками — конфузливо хихикая, просят не оставить советом: нет ли, дескать, какого технического способа сбросить расовую... эту самую... цельность.

А фундаментальный научный факт — из жизни лягушек — всем по фигу.

Katja Mann. Meine ungeschriebenen Memoiren — Катя Манн. Мои ненаписанные воспоминания \ Перевод, вступ. ст., сост., коммент., примеч., имен. указ. Л. Миримова. — СПб.: Бельведер, 2003.

Чемхороша была советская власть — образованных людей употребляла в качестве корректоров. Нынче иных уж нет, а те далече. Издательству «Бельведер» не удалось найти ни самого завалыщенького. А прекрасный, например, был обычай — ставить запятую перед союзом «и» в сложносочиненных предложениях!

А еще была, говорят, и такая должность — редактор. Должность, прямо скажем, собачья, — но, вместе с тем, предполагалось, что личность, ее занимающая, ни за что не пропустит в тексте оборот типа «Люси имела брата», «комната имела также дверь, ведущую в сад», — непременно зачеркнет, а сверху напишет: «у Люси был брат». И про комнату что-нибудь придумает.

А уж там, где перевод по неловкости опрокидывает вверх дном политику оригинала, — там вообще, под благотворным воздействием шкурного страха, редактор становился беспощаден. И ему действительно не поздоровилось бы, оставь он как есть вот такое, скажем, предложение: «Судя по тону, каким была написана статья, Томасу Манну ни в коем случае нельзя было возвращаться, он только заявил, что видел все в ложном свете, а теперь понимает, что речь идет об обновлении Германии». Ежу, который по-немецки ни бум-бум, и то понятно: требуется — разве только он заявил бы, — хотя, впрочем, настоящий советский редактор еще усилил бы для ясности.

Все это в прошлом. И не имеет значения. Данной книжке ляпсусы не повредят. Поскольку ее читатель должен сам быть с усами. Компетентный должен быть человек. Некомпетентному и профессиональный перевод ничего не скажет. Представьте текст — состоящий, как и положено, из предложений, — но в котором что ни подлежащее — алгебраический символ, а в сказуемых объем информации близок к нулю.

Пример. Не самый наглядный. Первый попавшийся. Где раскрылось.

«Томас Манн охотно встречался с Рене Шикеле, с интересом читал его произведения. Он ценил талант Бруно Франка, который был его другом. Верфеля он тоже очень любил как человека. Стефана Цвейга — не так».

Спрашивается: кому интересно, что Верфеля как человека Томас Манн любил не так, как Стефана Цвейга? Правильно: знатоку и ценителю немецкой словесности. Но с какой стати знатоку и ценителю читать мемуары Кати Манн по-русски? Они тридцать лет как опубликованы в Германии.

Вы скажете: бывают и такие знатоки и ценители, вроде упомянутого ежа, которые не знают языка излюбленной литературы. И это даже типично для бывших советских людей. В рассуждении чего подобные книжки снабжают справочным аппаратом. Загляните в именной указатель, сходу врубитесь, кто есть кто.

Но, во-первых, глупо доверять указателю — он составлен автором примечаний, а там среди прочего черным по белому: «Грааль — это чаша, из которой по христианской легенде Христос на тайной вечере вкушал пасхального агнца»!!!

Во-вторых же, указатель расшифрует только подлежащие (ну, и дополни-

ния, грамматически говоря). Температура сказуемых от этого не возрастает. Проверяем методом подстановки: Верфеля, Франца (1890—1945), австр. писателя, поэта, он тоже любил как человека. Стефана Цвейга (1881—1942), австр. писателя, драматурга, поэта, переводчика — не так. Легче стало?

«В пределах досягаемости находились Верфели, Макс Рейнгардт, Герман Брох, Эрих Калер, которого мой муж также очень ценил и на которого возлагал большие надежды».

Нет, я не спорю — более того, я уверен, что эти сведения обладают определенной ценностью. Вполне допускаю — большой. Почти как если бы очевидец подтвердил, что Пушкину случилось перекинуться в карточки с Лермонтовым, или что Михалков, сидя на горшке, с выражением декламирует Ахматову. Для специалистов такие свидетельства — золотой песок. А профану-то какое дело, что, допустим, бормотал за пивом один полузабытый классик про малоизвестную вещь другого — правда, еще не забытого?

«Мы знали, естественно, Ведекинда, но близких отношений у мужа с ним не было. Однажды они встретились в мюнхенском винном погребке «Торгельштубе», в котором часто бывали писатели и Ведекинд имел там свой столик завсегда (переводчик в своем репертуаре. — С. Г.). Он, по-видимому, подготовился к встрече, так как сказал:

— Я только что прочитал «Фьоренцу». Черт возьми! Черт возьми!»

На немецком — для человека, не равнодушного к мнениям Ведекинда («1864—1918, нем. драматург») и, конечно, читавшего эту самую «Фьоренцу», — эпизод, надо думать, не лишен смысла.

Бедному невежде вроде меня — в чужом пиру похмелье.

Но все-таки вдову Томаса Манна — уважаю. Замечательная старая дама была. Питала отвращение к любопытству толпы — и не выдала ни волоска. Разглядывала реальность исключительно сквозь литературу отца своих детей — прочих современников полагала его персонажами.

А вот про себя самое — похоже, думала, что Бог обошелся с нею недостаточно внимательно. Что создал ее для чего-то большего, чем родить гению шестерых, — верней, для чего-то другого, — а потом позабыл, для чего.

«Итак, появилась девочка, Эрика.

Я была очень рассержена. Я всегда сердилась, когда рожала девочку, поче-

му — не знаю. У нас всего было три мальчика и три девочки, таким образом существовало равновесие. Будь у меня четыре девочки и два мальчика, я была бы очень недовольна. А так — ничего».

Это дети — сами уже пожилые — уговорили ее хоть что-нибудь вспомнить вслух.

Подбадривали, подначивали:

«Эрика Манн. У нас всегда было такое ощущение, что она, пожалуй, держит свои многогранные таланты под спудом, отдав всю себя целиком бесчисленным заботам о муже, о семье. Не так ли?»

Катя Манн. Я хотела только сказать: я в своей жизни никогда не могла делать то, что хотела бы делать.

Голо Манн. Нет, но после смерти нашего отца ты могла бы немножко сделать (ах, г-н переводчик! — С. Г.), например, написать воспоминания или что-нибудь подобное.

Катя Манн. Но я не хотела делать это».

По-моему — была права.

Марсель Райх-Раницкий. Моя жизнь. Пер. с немецкого В. Брун-Цехового. — М.: Новое литературное обозрение, 2002.

В 1979 году в пекинском валютном магазине (типа советской «Березки») Райх-Раницкий случайно столкнулся — будучи случайно же знаком — с Иегуди Менухиным.

«Я спросил, что он здесь делает. Он кратко ответил: «Бетховен и Брамс со здешним оркестром». Потом спросил, что делаю в Китае я. «Я выступаю здесь с докладами о Гёте и Томасе Манне». Менухин недолго помолчал, а потом сказал: «Ну да, ведь недаром мы евреи». А после маленькой паузы добавил: «Это хорошо, это правильно, что мы ездим из страны в страну, чтобы распространять и интерпретировать немецкую музыку и немецкую литературу». Мы посмотрели друг на друга задумчиво и, пожалуй, немного грустно».

Эта книга (не знаю, с блеском ли написанная: очень уж тусклый перевод) есть попытка личного оправдания в любви, роковой и унижительной: любви еврея к немецкой культуре. Как может счастлив ею быть человек, не раз и не два прошедший селекцию: это когда вы, и ваши родители, и жена продвигаетесь в многотысячной очереди к некоему молодому офицеру, называете ему свое место работы в гетто и должность, — а он, мельком взглянув на вас, показыва-

ет хлыстиком: направо или налево, и вы становитесь в соответствующий строй. Слева — значит, через час вы в вагоне, через три — в газовой печи, через пять — в крематории. Справа — отдыхайте до следующего раза, только прежде взгляните на родителей:

«Когда группа, в которой они стояли, приблизилась к человеку с хлыстом, тот, очевидно, потерял терпение. Он заставлял немолодых людей быстрее идти налево и уже хотел воспользоваться своим красивым хлыстом, но в этом не было необходимости. Я мог видеть издали, как отец и мать, боясь строгого немца, пустились бегом, так быстро, как только могли».

Райх-Раницкий бежал из варшавского гетто, до прихода советских войск прятался в одном из пригородов, потом поступил в польскую армию (он ведь был уроженец Польши, ее, так сказать, гражданин), потом вступил в польскую компартию, даже успел поработать в польской разведке, — но когда (очень скоро) отовсюду исключили и вышвырнули, оказалось, что он умеет, и хочет, и любит только одно — писать про немецкую словесность.

С какой стати? А с такой, что девять лет — с 1929-го по 1938-й — жил в Берлине, окончил тамошнюю гимназию. Почти сразу же был депортирован (как в некотором роде поляк), — но: «Из страны, из которой меня изгнали, я увез ее язык и ее литературу...»

Сколько людей подсталили себе под судьбу подобные фразы! (Например — наш Ходасевич.) Но тут случай не тривиальный: что значит — увез? Так обзаводится волшебной лампой Аладдин. Увез на географическую родину — провез в головном мозгу — некий набор ценностей, спасающих (молодого Марселя Райха действительно спасавших) от бессмыслицы и ужаса жизни вообще, а в гетто — и подавно.

Потому что гетто и прочий кошмар нацизма — это, видите ли, немецкое варварство. А он усвоил немецкую культуру. И она его присвоила. Согласно закону избирательного родства.

И в подсоветской Польше он сделался (под псевдонимом Раницкий) признанным специалистом по ПНР-ГДРовским литературным связям: рецензировал, редактировал, интервьюировал, переводил — почти процветал, если забыть взбухавший вокруг антисемитизм, вскипающий, как волна, — пока не по-

нял окончательно: «что у меня тоже есть портативное отечество — литература, немецкая литература». В 1958 году он убыл в научную командировку в Западную Германию на три месяца — и не возвратился.

Сбылась детская мечта: Райх-Раницкий стал (не окончив университета, даже польского) самым влиятельным, самым, говорят, знаменитым в XX веке немецким литературным критиком. Причина — поверх таланта — я думаю, еще и та, что он вложил в эту профессию ту самую культуру, которую когда-то вывез, а Германия о ней позабыла, — что-то такое, чему обучали (разбирая классические образцы) в берлинских гимназиях между войнами. Художественные особенности, законы композиции, то да сё — и наивысшая оценка только за сочинение безупречное.

А также личная страсть — неутолимая страсть к сочинениям не только безупречным, но и разного сорта, — поскольку в любом отсвечивает идеал, наличие коего — и счастливая возможность содействовать его обнаружению — только и придают существованию смысл.

Сколько замечательных писателей в Германии! — думаешь над этой книгой, — даже завидно. И со всеми-то он знаком или был знаком, и все такие занятные субъекты. И так серьезно все относятся к этой пресловутой великой немецкой культуре.

А все-таки нет-нет и мелькнет какая-то тревожная тень. В разговорах, скажем, о Вагнере.

В самом-то деле, как же с Вагнером? Который был ведь отнюдь не варвар, правда? Но встретясь критик Райх-Раницкий с ним глазами — припомнил бы, полагаю, выражение лица того, на варшавской площади, молодого человека с хлыстом.

Наш автор отгоняет эту мысль такой остроотой:

«В мире было и есть много благородных людей, но они не написали ни „Тристана“, ни „Мейстерзингеров“».

Это да. Например, из ушедших налево, — точно никто. Многим и благородство проявить не пришлось.

А все же, думаю, тяжело бывает почувствовать этот мрачный взгляд из глубины прекрасного облака. Что, разумеется, не мешает наслаждаться его полетом, раз уж научился разбираться в таких вещах.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

РИКАРДА ХУХ. Стихи. <i>Перевод Елены Баевской</i>	3
БОРИС ХАЗАНОВ. Ксения. <i>Повесть</i>	6
ИЛЬМА РАКУЗА. Nowhere. <i>Стихотворение. Перевод Елены Баевской</i>	28
БАРБАРА ХОНИГМАН. Глава из моего прошлого. <i>Перевод Елены Михелевич</i>	30
АЛЕКСАНДР КЛЮГЕ. Из книги «Черт оставляет лазейку». <i>Перевод Галины Снежинской</i>	85
МАРСЕЛЬ БАЙЕР. Стихи. <i>Перевод Михаила Рудницкого</i>	92

XX ВЕК. ДНЕВНИКИ

ГАРРИ ГРАФ КЕСЛЕР. Из «Дневников». <i>Перевод, вступление и примечания Константина Азадовского</i>	95
ВАЛЬТЕР КЕМПОВСКИ. Из книги «Алькор. Дневник 1989 года». <i>Перевод и примечания Людмилы Есаковой</i>	109

XX ВЕК. АРХИВЫ

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК. Из переписки Бориса Пастернака с Куртом Вольфом	121
ТАТЬЯНА НИКОЛЬСКАЯ. Триумф и трагедия Григола Робакидзе	128
ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ. Листки из Европы. <i>Примечания Татьяны Никольской. «Я всегда буду помнить Зальцбург...» Из писем к Стефану Цвейгу. Публикация и перевод Константина Азадовского. Примечания Константина Азадовского и Татьяны Никольской</i>	138

XX ВЕК. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

КЛАУС ХАРЕР. Тройные почести. А. Ф. Лютер и его «Воспоминания». <i>Перевод Марины Корневой</i>	159
КАРМЕН ЗИПЛЬ. «Превосходный посредник». <i>Томас Манн и Александр Элиасберг. Перевод К. Константинова</i>	169
АЛЕКСЕЙ ЖЕРЕБИН. Последний символист Австрии	180
РУДОЛЬФ КАСНЕР. Великие русские. О русских писателях. <i>Перевод Алексея Жеребина</i>	187
БОРИС ФРЕЗИНСКИЙ. Илья Эренбург и Германия	192

ПЕТЕРБУРГ — ПЕТРОГРАД — ЛЕНИНГРАД

ЙОЗЕФ РОТ. Ленинград. <i>Перевод Алексея Жеребина</i>	209
ПЕТЕР РОЗАЙ. Красавица хромает. <i>Перевод и вступительная заметка Алексея Жеребина</i>	213

ЭССЕИСТИКА

КРИСТОФ РАНСМАЙР. И след простыл... <i>Страничка воспоминаний для моей попутчицы. Перевод Галины Снежинской</i>	218
---	-----

КНИГИ XX ВЕКА

ЕЛЕНА ЧИЖОВА. «Степной волк» российских степей	223
--	-----

ИЗ ГОРОДА ЭНН

ОМРИ РОНЕН. «Это». <i>Вокруг неоконченной драмы Бориса Пастернака «Этот свет»</i>	230
---	-----

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

С. ГЕДРОЙЦ. Михаил Вик. Гибель Кенигсберга. Свидетельство немецкого еврея. <i>Катя Манн. Мои ненаписанные воспоминания. Марсель Райх-Раницкий. Моя жизнь</i>	234
---	-----

CONTENTS

Poetry and Prose

Ricarda Huch. <i>Poems. Translated by Yelena Bayevskaya</i>	3
Boris Khazanov. "Xenia". <i>A short story</i>	6
Ilma Rakusa. "Nowhere". <i>Poem. Translated by Yelena Bayevskaya</i>	28
Barbara Honigmann. "A Chapter from My Past". <i>A novel. Translated by Yelena Mikhelevich</i>	30
Alexander Kluge. From the book "The Devil Leaves a Loophole". <i>Translated by Galina Snezhinskaya</i>	85
Marcel Bayer. <i>Poems. Translated by Michael Rudnitsky</i>	92

XX Century. Diaries

Harry Graf Kessler. From the "Diaries". <i>Translated with an Introduction and Commentary by Konstantin Azadovsky</i>	95
Walter Kempowski. From the book: "Alcor. Diary of 1989". <i>Translated and commented by Ludmila Yesakova</i>	109

XX Century. Archives

Yevgeny Pasternak. "Correspondence of Boris Pasternak and Kurt Wolff"	121
Tatyana Nikolskaya. "Triumph and Tragedy of Grigol Robakidse"	128
Grigol Robakidse. "Papers from Europe". <i>Commentary by Tatyana Nikolskaya.</i> <i>"I will always remember Salzburg..." From Letters to Stefan Zweig. Edited and translated by Konstantin Azadovsky, Commentary by Konstantin Azadovsky and Tatyana Nikolskaya</i>	138

XX Century. People and Events

Klaus Harer. "Triple Honours". <i>Arthur Luther and his 'Memoirs'.</i> <i>Translated by Marina Koreneva</i>	159
Carmen Sippl. "Excellent Intermediary". <i>Thomas Mann and Alexander Eliasberg.</i> <i>Translated by K. Konstantinov</i>	169
Alexey Zherebin. "The Last Symbolist of Austria"	180
Rudolf Kassner. "Great Russians". "About Russian Writers". <i>Translated by Alexey Zherebin</i>	187
Boris Frezinsky. "Ilya Erenburg and Germany"	192

Petersburg – Petrograd – Leningrad

Joseph Roth. "Leningrad". <i>Translated by Alexey Zherebin</i>	209
Peter Rosei. "A lame beautiful woman". <i>Translated with an Introduction by Alexey Zherebin</i>	213

Essays

Christoph Ransmayr. "Not a trace remained..." <i>A page of recollections for my travel companion.</i> <i>Translated by Galina Snezhinskaya</i>	218
---	-----

XX Century. Books

Yelena Chizhova. "«Steppenwolf» from the Russian Steppe"	223
--	-----

From the Town of Ann

Omry Ronen. "This". <i>Around Boris Pasternak's unfinished drama "This World"</i>	230
---	-----

Printing House

S. Gedroits. <i>Michael Wieck. "Destruction of Königsberg, witnessed by a German Jew". Katja Mann. "My Unwritten Memoirs". Marcel Reich-Ranicki. "My Life".</i>	234
---	-----

Сдано в набор 05.06.2004. Подписано в печать 28.07.2004.
Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая. 21,0 усл. печ. л. 23,58 уч.-изд. л.
Тираж 5000 экз. Заказ № 101.

Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

**Издательство журнала «Звезда»
предлагает вниманию читателей и книгопродавцев
следующие книги:**

Константин Азадовский. «Жизнь Николая Клюева» (серия «Русские поэты»).

Андрей Арьев. «Царская ветка». Книга о русской поэзии XX века.

Мир Иосифа Бродского: путеводитель. Хроника жизни, эссе, воспоминания, фотографии.

Кейс Верхейл. «Вилла Бермонд». Роман голландского писателя о Тютчеве, цесаревиче Николае Александровиче и любви к России.

Кейс Верхейл. Танец вокруг мира. Встречи с Иосифом Бродским. С голландского.

Серена Витале, Вадим Старк. «Черная речка: до и после». К истории дуэли А. С. Пушкина. Письма Жоржа Дантеса. Публикация писем из семейного архива Геккеренов и материалов из голландских государственных архивов.

Татьяна Галушко. Жизнь. Поэзия. Пушкин. Стихи, эссе, воспоминания друзей.

Яков Гордин. «Кавказ: земля и кровь». Россия в Кавказской войне XIX века.

Г. И. Гюрджиев. «Рассказы Вельзевула своему внуку». Философская эссеистика.

«Даргинская трагедия 1845 г.» Воспоминания участников Кавказской войны XIX века.

Сергей Довлатов. Сквозь джунгли безумной жизни. Письма друзьям и знакомым, фотографии.

Кавказская война: истоки и начало (1770–1820). Воспоминания участников.

Нина Катерли. «Рукою мастера». Новые повести известного петербургского прозаика.

Игорь Кузьмичев. «А. А. Ухтомский и В. А. Платонова». Эпистолярная хроника.

Ефим Курганов. Русские пословицы и Талмуд. Исследование.

«Мы были на этих войнах». Воспоминания участников и свидетелей кавказских войн 1989–2000 гг.

Николай Набоков. «Багаж». Воспоминания. С английского.

Александр Никитин, Нина Катерли. «Дело Никитина: стратегия победы».

М. Ольшевский. «Кавказ с 1841 по 1866 гг.». Записки.

Евгений и Елена Пастернаки. «Жизнь Бориса Пастернака» (серия «Русские поэты»).

Е. Петрушанская. Музыкальный мир И. Бродского.

Валерий Попов. «Запомните нас такими». О жизни моего поколения.

«Россия и Кавказ: сквозь два столетия». Сборник эссе.

«Россия и Чечня: поиски выхода». Сборник эссе.

Глеб Семенов. «Концерт для возраста с оркестром». Книга стихов.

Судьба века: Кривошеины. Страницы семейных воспоминаний.

«Сумма» – за свободную мысль. Подпольный машинописный журнал (1979–1982).

«Факультет чудаков». Проза 1920–1930 гг: Геннадий Гор, Леонид Рахманов, Михаил Слонимский.

Аннабел Фарджен. «Приключения русского художника». Биография Бориса Анрепа.

Магнус Флорин. Братцы-сестрицы. Роман. С шведского.

Дина Хапаева. Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории.

Владимир Шляпентох. «Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом». Воспоминания.

Ст. Юрьев. «Похищение Европы». Философские эссе на темы православия.

Готовятся к печати:

Л. Добычин. Полное собрание сочинений и писем. 2-е издание.

Элеонора Иоффе. «Маннергейм: загадочный и открытый». Документальное повествование.

Ирма Кудрова. «Жизнь Марины Цветаевой». II часть (серия «Русские поэты»).

Елена Кумпан. «Наши старики». Воспоминания о 60-х годах.

Александр Панченко. Избранные сочинения. Т. 1.

Омри Ронен. Из города Энн.

Р. Д. Тименчик. «Жизнь Анны Ахматовой» (серия «Русские поэты»).

Книги можно заказать по адресу редакции журнала «Звезда»:

191028, С.-Петербург, Моховая, 20.

Тел. (812) 273-37-24, факс (812) 273-52-56.

В следующем номере журнала читайте:

- Владимир Рецептер. «Эта жизнь несправима...» Записки театрального отщепенца
- Рассказы итальянских писателей о Петербурге
- Письма В. П. Некрасова к В. Л. Кондыреву
- Эдуард Эрлих. Найти месторождение. О якутских алмазах

Звезда

СТЕФАН ГЕОРГЕ
12 VII 1868 — 4 XII 1933

* * *

Я твой друг и вождь и перевозчик.
Не к лицу тебе весь этот спор
С мудрецами не намного ль проще
Вниз смотреть на них вот с этих гор.

Погляди как чернь могуче плещет
Шумно о делах своих хлопочет:
Разбирает пользу всякой вещи
Радость неземную миру прочит.

Впереди белеет всадник бледный
Толпы провожают в нем кумира
Вслед ему несется гимн победный:
Крест ты все еще надежда мира.

Небольшая группа-одиночка
В стороне от пошлого парада
На знаменах у нее — лишь строчка:
Вечная любовь — Эллада.

Перевод Нины Гучинской

